КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА



Эрих Мария
РЕМАРК

Три товарища

Три товарища
Эрих Мария Ремарк

Аннотация
Эрих Мария Ремарк. Три товарища
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX

XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
XXVIII
ВО ИМЯ МИРА

Аннотация

«Три товарища» — роман немецкого писателя-антифашиста Эриха Марии Ремарка (1898–1970) был написан им в эмиграции и опубликован в 1938 году. Действие его разворачивается в Берлине. Память о первой мировой войне прочно входит в нынешнее существование трех главных героев романа — Роберта Локампа, Отто Кестера и Готтфрида Ленца.

В этой книге Ремарк исследует думы и настроения «потерянного поколения», к которому относится также одна из главных фигур романа — Патриция Хольман. Роман замечателен удивительной по своей поэтичности картиной любви — от зарождающегося чувства до трагической развязки.

Эрих Мария Ремарк
Три товарища

I

Небо было желтым, как латунь, и еще не закопчено дымом труб. За крышами фабрики оно светилось особенно ярко. Вот-вот взойдет солнце. Я глянул на часы. До восьми оставалось пятнадцать минут. Я пришел раньше обычного.

Я открыл ворота и наладил бензоколонку. В это время первые машины уже приезжали на заправку. Вдруг за моей спиной послышалось надсадное кряхтенье, будто под землей прокручивали ржавую резьбу. Я остановился и прислушался. Затем прошел через двор к мастерской и осторожно открыл дверь. В полумраке, пошатываясь, сновало привидение. На нем была испачканная белая косынка, голубой передник и толстые мягкие шлепанцы. Привидение размахивало метлой, весило девяносто килограммов и было уборщицей Матильдой Штосс.

С минуту я стоял и разглядывал ее. Переваливаясь на нетвердых ногах между радиаторами автомобилей и напевая глуховатым голосом песенку о верном гусаре, она была грациозна, как бегемот. На столе у окна стояли две бутылки коньяка — одна уже почти пустая. Накануне

вечером она была не почата. Я забыл спрятать ее под замок.

— Ну знаете ли, фрау Штосс… — вымолвил я.

Пение прекратилось. Метла упала на пол. Блаженная ухмылка на лице уборщицы погасла. Теперь привидением был уже я.

— Иисусе Христе… — с трудом пробормотала Матильда и уставилась на меня красными глазами. — Не думала я, что вы так рано заявитесь…

— Понятно. Ну, а коньячок ничего?

— Коньяк-то хорош… но мне так неприятно. — Она вытерла ладонью губы. — Прямо, знаете, как обухом по голове…

— Не стоит преувеличивать. Просто вы накачались. Как говорится, пьяны в стельку.

Она едва удерживалась в вертикальном положении. Ее усики подрагивали, а веки хлопали, как у старой совы. Но вскоре она кое-как овладела собой и решительно сделала шаг вперед.

— Господин Локамп!.. Человек всего лишь человек… Сперва я только принюхивалась… потом не выдержала, сделала глоток… потому что в желудке у меня всегда, знаете ли, какая-то вялость… Вот… а потом… а потом, видать, бес попутал меня… И вообще — нечего вводить бедную женщину в искушение… нечего оставлять

бутылки на виду.

Уже не впервые я заставал ее в таком виде. По утрам она приходила на два часа убирать мастерскую, и там можно было спокойно оставить сколько угодно денег, к ним она не прикасалась… А вот спиртное было для нее то же, что сало для крысы.

Я поднял бутылку.

— Коньяк для клиентов, вы, конечно, не тронули, а любимый сорт господина Кестера вылакали почти до дна.

Огрубевшее лицо Матильды исказилось гримасой удовольствия.

— Что правда, то правда… В этом я знаю толк. Но, господин Локамп, неужто вы выдадите меня, беззащитную вдову?

Я покачал головой.

— Сегодня не выдам.

Она опустила подоткнутый подол.

— Ладно, тогда улепетываю. А то придет господин Кестер… ой, не приведи Господь!

Я подошел к шкафу и отпер его.

— Матильда…

Она торопливо подковыляла ко мне. Я поднял над головой коричневую четырехгранную бутылку.

Она протестующе замахала руками.

— Это не я! Честно вам говорю! Даже и не пригубила!

— Знаю, — сказал я и налил полную рюмку. — А вы это когда-нибудь пробовали?

— Вопрос! — Она облизнулась. — Да ведь это ром! Выдержанный ямайский ром!

— Правильно. Вот и выпейте рюмку!

— Это я-то? — Она отпрянула от меня. — Зачем же так издеваться, господин Локамп? Разве можно каленым железом по живому телу? Старуха Штосс высосала ваш коньяк, а вы ей в придачу еще и ром подносите. Да вы же просто святой человек. Именно святой… Нет, уж лучше пусть я умру, чем выпью!

— Значит, не выпьете?.. — сказал я и сделал вид, будто хочу убрать рюмку.

— Впрочем… — Она быстро выхватила ее у меня. — Как говорят, дают — бери. Даже если не понимаешь, почему дают. Ваше здоровье! А у вас, случаем, не день ли рождения?

— Да, Матильда. Угадали.

— Да что вы! В самом деле? — Она вцепилась в мою руку и принялась ее трясти. — Примите мои самые сердечные поздравления! И чтобы деньжонок побольше! — Она вытерла рот. — Я

так разволновалась, что обязательно должна тяпнуть еще одну. Ведь вы мне очень дороги, так дороги — прямо как родной сын!..

— Хорошо.

Я налил ей еще одну рюмку. Она разом опрокинула ее и, прославляя меня, вышла из мастерской.

* * *

Я спрятал бутылку и сел за стол. Через окно на мои руки падали лучи бледного солнца. Все-таки странное это чувство — день рождения. Даже если он тебе в общем безразличен. Тридцать лет… Было время, когда мне казалось, что не дожить мне и до двадцати, уж больно далеким казался этот возраст. А потом…

Я достал из ящика лист бумаги и начал вспоминать. Детские годы, школа… Это было слишком давно и уже как-то неправдоподобно. Настоящая жизнь началась только в 1916 году. Тогда я — тощий восемнадцатилетний верзила — стал новобранцем. На вспаханном поле за казармой меня муштровал мужланистый усатый унтер: «Встать!» — «Ложись!» В один из первых вечеров в казарму на свидание со мной пришла моя мать. Ей пришлось дожидаться меня больше часа: в

тот день я уложил свой вещевой мешок не по правилам, и за это меня лишили свободных часов и послали чистить отхожие места. Мать хотела помочь мне, но ей не разрешили. Она расплакалась, а я так устал, что уснул еще до ее ухода.

1917. Фландрия. Мы с Миддендорфом купили в кабачке бутылку красного. Думали попировать. Но не удалось. Рано утром англичане начали обстреливать нас из тяжелых орудий. В полдень ранило Кестера, немного позже были убиты Майер и Детерс. А вечером, когда мы уже было решили, что нас оставили в покое, и распечатали бутылку, в наши укрытия потек газ. Правда, мы успели надеть противогазы, но у Миддендорфа порвалась маска. Он заметил это слишком поздно и, покуда стаскивал ее и искал другую, наглотался газу. Долго его рвало кровью, а наутро он умер. Его лицо было зеленым и черным, а шея была вся искромсана — он пытался разодрать ее ногтями, чтобы дышать.

1918. Это было в лазарете. Несколькими днями раньше с передовой прибыла новая партия. Бумажный перевязочный материал. Тяжелые ранения. Весь день напролет въезжали и выезжали операционные каталки. Иногда они возвращались пустыми. Рядом со мной лежал

Йозеф Штоль. У него уже не было ног, а он еще не знал об этом. Просто этого не было видно — проволочный каркас накрыли одеялом. Он бы и не поверил, что лишился ног, ибо чувствовал в них боль. Ночью в нашей палате умерло двое. Один — медленно и тяжело.

1919. Я снова дома. Революция. Голод. На улицах то и дело строчат пулеметы. Солдаты против солдат. Товарищи против товарищей.

1920. Путч. Расстрел Карла Брегера. Кестер и Ленц арестованы. Моя мама в больнице. Последняя стадия рака.

1921… Я напрасно пытался вспомнить хоть что-нибудь. Словно этого года вообще не было. В 1922-м я был железнодорожным рабочим в Тюрингии, в 1923-м руководил отделом рекламы фабрики резиновых изделий. Тогда была инфляция. Мое месячное жалованье составляло двести миллионов марок. Деньги выплачивали дважды в день, и после каждой выплаты предоставлялся получасовой отпуск, чтобы обежать магазины и что-нибудь купить, пока не вышел новый курс доллара и стоимость денег не снизилась вдвое…

А потом?.. Что было в последующие годы? Я отложил карандаш. Стоило ли воскрешать все это в памяти? К тому же многое я просто не мог

вспомнить. Слишком все перемешалось. Мой последний день рождения я отмечал в кафе «Интернациональ», где в течение года работал пианистом — должен был создавать у посетителей «лирическое настроение». Потом снова встретил Кестера и Ленца. Так я и попал в «Аврема» — «Авторемонтную мастерскую Кестера и К°». Под «К°» подразумевались Ленц и я, но мастерская, по сути дела, принадлежала только Кестеру. Прежде он был нашим школьным товарищем и ротным командиром; затем пилотом, позже некоторое время студентом, потом автогонщиком и, наконец, купил эту лавочку. Сперва к нему присоединился Ленц, который несколько лет околачивался в Южной Америке, а вслед за ним и я.

Я вытащил из кармана сигарету. В сущности, я мог быть вполне доволен. Жилось мне неплохо, я работал, силенок хватало, и я не так-то скоро уставал, — в общем, как говорится, был здоров и благополучен. И все же не хотелось слишком много думать об этом. Особенно наедине с самим собой. Да и по вечерам тоже. Потому что время от времени вдруг накатывалось прошлое и впивалось в меня мертвыми глазами. Но для таких случаев существовала водка.

* * *

На дворе заскрипели ворота. Я разорвал листок с датами моей жизни и бросил клочки в корзинку. Дверь распахнулась настежь, и в ее проеме возник Ленц — длинный, худой, с гривой волос цвета соломы и носом, который подошел бы совсем другому человеку.

— Робби, — рявкнул он, — старый спекулянт! Ну-ка встать и стоять смирно! Начальство желает говорить с тобой!

— Господи Боже мой! — Я поднялся. — А я-то надеялся, что вы и не вспомните. Помилосердствуйте, ребята, прошу вас!

— Так легко от нас не отделаешься! — Готтфрид положил на стол пакет, в котором что-то здорово задребезжало. За ним вошел Кестер. Ленц встал передо мной во весь свой огромный рост.

— Робби, что тебе сегодня бросилось в глаза раньше всего другого?

— Танцующая старуха, — вспомнил я.

— Святой Моисей! Дурная примета! Но, знаешь ли, она в духе твоего гороскопа. Только вчера я его составил. Итак, рожденный под знаком Стрельца, ты человек ненадежный и колеблешься, как тростник на ветру. А тут еще эти подозритель-

ные тригоны Сатурна. Да и Юпитер в этом году подкачал. Но поскольку мы с Отто вроде как твои отец и мать, то я первым преподношу тебе нечто для самозащиты. Возьми этот амулет. Когда-то я получил его от девы, чьими предками были инки. В ней текла голубая кровь, были у нее плоскостопие, вши и дар предсказывать будущее. «О, белокожий чужеземец, — сказала мне она, — этот талисман носили на себе короли, в нем заключены все силы Солнца, Земли и Луны, уже не говоря о более мелких планетах. Дай доллар серебром на водку и бери его». И дабы не обрывались звенья счастья, я передаю его тебе, Робби.

С этим он надел мне на шею крохотную черную фигурку на тонкой цепочке.

— Вот так-то! Это против горестей высшего порядка. А от повседневных неприятностей вот — шесть бутылок рому. Их дарит тебе Отто! Этот ром вдвое старше тебя!

Он развернул пакет и одну за другой поставил бутылки на стол, залитый светом утреннего солнца. Бутылки сверкали, как янтарь.

— Великолепное зрелище, — сказал я. — И где ты их только раздобыл, Отто?

Кестер рассмеялся.

— Довольно путаная история. Долго рассказы-

вать… Лучше скажи, как ты-то себя чувствуешь? Как тридцатилетний?

Я махнул рукой.

— Да вроде бы нет — чувство такое, будто мне шестнадцать и в то же время пятьдесят. В общем хвалиться нечем.

— И это ты называешь «хвалиться нечем»! — возразил Ленц. — Да пойми ты — выше этого вообще ничего нет. Ведь ты без чьей-либо помощи, так сказать, суверенно покорил время и проживешь целых две жизни.

Кестер внимательно смотрел на меня.

— Оставь его, Готтфрид, — сказал он. — Дни рождения ущемляют самолюбие человека. Особенно по утрам… Но ничего — постепенно он придет в себя.

Ленц сощурился.

— Чем меньше у человека самолюбия, Робби, тем большего он стоит. Тебя это утешает?

— Нет, — ответил я, — нисколько. Если человек чего-то стоит, значит он уже как бы памятник самому себе. По-моему, это и утомительно и скучно.

— Ты только подумай, Отто! Он философствует, — сказал Ленц. — Следовательно, он спасен. Он преодолел самое страшное — минуту безмол-

вия в собственный день рождения, когда человек заглядывает самому себе в глаза и внезапно обнаруживает, какой же он жалкий цыпленок… А теперь мы можем со спокойной совестью приступить к трудам праведным и смазать внутренности старого «кадиллака»…

* * *

Мы кончили работать, когда уже смеркалось. Затем умылись и переоделись. Ленц с вожделением смотрел на батарею бутылок.

— Не свернуть ли нам шею одной из них?

— Это должен решить Робби, — сказал Кестер. — Человек получил подарок, а ты к нему с такими прозрачными намеками. Некрасиво это, Готтфрид.

— А заставлять дарителей подыхать от жажды, по-твоему, красиво? — ответил Ленц и откупорил бутылку.

Сразу по всей мастерской разлился аромат рома.

— Святой Моисей! — воскликнул Готтфрид.

Мы стали принюхиваться.

— Не запах, а просто какая-то фантастика, Отто. Для достойных сравнений нужна самая высокая поэзия.

— Просто жалко распивать такой ром в этой конуре! — решительно заявил Ленц. — Знаете что? Поедем за город, там где-нибудь поужинаем, а бутылку прихватим с собой. Разопьем ее на природе.

— Блестящая мысль.

На руках мы откатили «кадиллак», с которым провозились почти весь день. За ним стоял довольно странный предмет на колесах. То была гордость нашей мастерской — гоночная машина Отто Кестера.

В свое время, попав на аукцион, Кестер по дешевке приобрел этот высокий старый драндулет. Знатоки без колебаний утверждали, что это был бы любопытный экспонат для музея истории транспорта. Больвис, владелец фабрики дамских пальто и гонщик-любитель, посоветовал Отто переделать эту штуку в швейную машину. Но Кестера все это ничуть не трогало. Он разобрал свое приобретение на части, словно часовой механизм, и несколько месяцев кряду ежедневно возился с ним дотемна. Как-то вечером подкатил на нем к бару, который мы обычно посещали. Больвис так расхохотался, что едва не свалился со стула, — детище Кестера по-прежнему выглядело крайне смешно. Чтобы позабавиться, Больвис

предложил Отто пари — двести марок против двадцати, если тот рискнет на своей таратайке помериться силами с его новой спортивной машиной. Дистанция — десять километров, Кестер получает для своей машины фору в один километр. Отто согласился. Кругом стоял хохот — все предвкушали небывалую потеху. Но Кестер изменил условия состязания: он отказался от форы и с самым невозмутимым видом предложил повысить ставку до тысячи марок с обеих сторон. Больвис оторопел и спросил Отто, не отвезти ли его в дом для душевнобольных. Вместо ответа тот запустил двигатель. Оба сразу же тронулись с места, чтобы решить, кто кого. Через полчаса Больвис вернулся с таким расстроенным видом, словно увидел морского змея. Молча он выписал чек и тут же стал выписывать второй — хотел, не сходя с места, купить эту старомодную машину. Но Кестер высмеял его. Теперь он не хотел расстаться с ней ни за какие деньги. Но как бы она ни была безупречна по своим техническим качествам, ее внешний вид все еще оставался страшноватым. Для каждодневного использования мы смонтировали какой-то особенно старомодный, прямо-таки допотопный кузов. Лак утратил блеск, крылья были в трещинах, а ветхий

откидной верх прослужил никак не меньше десяти лет. Мы, конечно, могли бы придать машине куда более привлекательный вид, но по определенной причине сознательно не делали этого.

Машину мы назвали «Карл». «Карл» — призрак шоссейных дорог.

* * *

Шурша шинами и сопя, «Карл» мчался по дороге.

— Отто, — сказал я. — Приближается жертва.

За нами нетерпеливо ревел клаксон тяжелого «бьюика». Он быстро нагнал нас, радиаторы поравнялись. Мужчина за рулем небрежно глянул на нас. Затем презрительно скользнул взглядом по обшарпанному «Карлу», тут же отвернулся и, казалось, забыл о нашем существовании.

Но через несколько секунд ему пришлось убедиться, что «Карл» все еще идет с ним вровень. Он уселся поудобнее, с веселым любопытством снова посмотрел на нас и прибавил газу. Но «Карл» не сдавался. Словно терьер рядом с догом, маленький и юркий, он стремительно несся вперед, не отставая от здоровенной махины, сверкающей лаком и хромом.

Мужчина покрепче ухватился за баранку. Не

подозревая, что его ждет, он надменно скривил губы. Мы поняли — теперь он нам покажет, на что способна его колымага. Он с такой силой нажал на педаль газа, что его выхлопная труба заверещала, точно стая жаворонков над летним полем. Но все было напрасно — он не мог оторваться от нас. Неказистый, пожалуй, даже уродливый «Карл» как заколдованный прилепился к «бьюику». Его ошеломленный водитель вытаращился на нас. Ему было невдомек, как это при скорости свыше ста километров в час невозможно стряхнуть с себя этакое старье. Не веря глазам своим, он еще раз посмотрел на спидометр, видимо, усомнившись в точности его показаний. Затем пошел на всю железку.

Теперь обе машины неслись ноздря в ноздрю по длинному прямому шоссе. Через несколько сотен метров показался шедший навстречу грохочущий грузовик. «Бьюику» пришлось отстать. Едва он опять поравнялся с «Карлом», как мы увидели другую встречную машину — на сей раз атокатафалк с венками, обвитыми развевающимися лентами. «Бьюик» вновь пристроился нам в хвост. А потом, насколько хватил глаз, — ничего встречного.

И куда только подевалась спесь нашего сопер-

ника! Злобно сжав губы, плотно усевшись за рулем и захваченный азартом гонки, он подался вперед. Казалось, честь всей его жизни зависит от одного: ни за что не уступить этой жалкой шавке.

Мы же, напротив, притворяясь безразличными ко всему, сидели спокойно. «Бьюик» для нас просто не существовал. Кестер невозмутимо смотрел вперед, на шоссе, я со скучающим видом уставился куда-то в небо, а Ленц, хотя он внутренне и сжался в комок, достал газету и принялся якобы читать ее, да еще с таким интересом, словно в эту минуту ничто не могло быть для него важней.

Через две-три минуты Кестер нам подмигнул. «Карл» незаметно терял скорость, и «бьюик» стал медленно обходить его. Вот перед нашими глазами проплыли широкие, блестящие крылья. Синеватый отработанный газ, шумно вырывавшийся из выхлопной трубы, обдал нас. Постепенно «бьюик» ушел метров на двадцать вперед, и — как можно было предвидеть — его хозяин на мгновение высунулся из окна и, повернувшись к нам лицом, победоносно ухмыльнулся.

Но он позволил себе лишнее. Не в силах сдержать ощущение полнейшего торжества, он махнул нам рукой — дескать, попробуйте дого-

ните!

Взмах его руки был небрежным, самоуверенным.

— Отто! — призывно воскликнул Ленц.

Но это было ни к чему. В ту же секунду «Карл» рванулся вперед. Засвистел компрессор, и сразу же исчезла только что махавшая нам рука. Послушный посылу, «Карл» набавлял скорость, и удержать его уже не могло ничто, он наверстывал все сполна. И вот тут-то мы как бы впервые заметили этот чужой автомобиль. С невинно вопрошающим видом мы смотрели на мужчину за рулем. Нам просто хотелось узнать, зачем это он махал нам рукой. Но он судорожно вперил взор вдаль, а перепачканный «Карл», распластав свои потрескавшиеся крылья, на полном газу ушел далеко вперед — непобедимый замарашка!

— Здорово получилось, Отто, — сказал Ленц Кестеру. — Боюсь, этот тип будет сегодня ужинать без всякого удовольствия.

Вот ради таких гонок мы и не меняли кузов «Карла». Стоило ему появиться где-нибудь на шоссе, как тут же находился охотник обставить нас. На иные машины он действовал, как ворона с подбитым крылом на свору изголодавшихся кошек. Он приводил в состояние сильнейшего

возбуждения водителей самых мирных семейных автоэкипажей. Всем хотелось его обогнать. Даже самые солидные бородачи, отцы семейств, и те попадали под власть неодолимого честолюбия, когда перед ними, подпрыгивая и спотыкаясь на ухабах, двигалось это нечто на колесах. Никто из них не мог додуматься, что внутри смехотворного сооружения бьется великое сердце — отличный гоночный двигатель!

Ленц утверждал, что «Карл» играет чисто воспитательную роль. Он учит людей чтить творческое начало, которое всегда заключено в неприметной оболочке. Так рассуждал Ленц, который и о себе говорил, что он — последний из романтиков.

* * *

Мы остановились перед небольшой рестрацией и вылезли из машины. Стоял прекрасный тихий вечер. Борозды вспаханного поля с золотисто-коричневыми краями отливали фиолетовыми оттенками. На яблочно-зеленом небе, словно огромные фламинго, плыли облака, нежно оберегая мелькавший между ними молодой месяц. На ветках куста орешника было какое-то предощущение утренней зари. Орешник был

трогательно наг, но полон надежд на близящееся набухание почек. Из кухни доносился аромат жареной печенки. И еще — запах жареного лука. Наши сердца забились сильнее.

Ленц не выдержал и ворвался в дом. Вскоре он вернулся с просветленным лицом.

— Посмотрели бы вы на этот жареный картофель! Давайте поторопимся, а то, чего доброго, прозеваем самый смак!

В эту минуту с легким гудением подъехала еще одна машина. Мы застыли, словно пригвожденные. Это был тот самый «бьюик». Он резко затормозил около «Карла».

— Оп-ля! — вымолвил Ленц.

Из-за подобных приключений у нас уже была не одна драка.

Мужчина вышел из автомобиля. Это был рослый и грузный человек в просторном реглане из верблюжьей шерсти. Он с досадой покосился на «Карла», затем снял плотные желтые перчатки и подошел к нам. Лицо его напоминало маринованный огурец.

— Что это у вас за модель? — спросил он Кестера, который стоял к нему ближе.

С минуту мы молча смотрели на него. Видимо, он принял нас за каких-то автомехаников,

которые, нарядившись в воскресные костюмы, решили прокатиться на угнанной машине.

— Вы что-то сказали? — спросил Отто, как бы не решаясь намекнуть ему, что можно быть в повежливее.

Мужчина покраснел.

— Я просто спросил про эту машину, — буркнул он в том же тоне.

Ленц выпрямился. Его крупный нос вздрогнул. Он очень ценил вежливость в других. Но прежде чем он успел раскрыть рот, вдруг, словно по мановению какого-то духа, отворилась вторая дверца «бьюика». Из нее высунулась стройная ножка с узким коленом, а затем вышла девушка и медленно направилась к нам. Мы удивленно переглянулись. До этого мы и не замечали, что в «бьюике» был еще кто-то. Ленц мгновенно перестроился. Его веснушчатое лицо расплылось в широкой улыбке. Да и все мы — Бог знает почему — заулыбались.

Толстяк озадаченно глядел на нас. Он потерял самообладание и явно не знал, как себя вести.

— Биндинг, — наконец, полупоклонившись, представился он, словно мог уцепиться за свою фамилию, как за якорь спасения.

Теперь девушка стояла вплотную к нам, и мы

стали еще приветливее.

— Да покажи ты ему машину, Отто, — сказал Ленц, бросив торопливый взгляд на Кестера.

— А почему бы и нет, — ответил Отто и весело улыбнулся.

— Я и в самом деле о удовольствием посмотрю на нее, — уже примирительно проговорил Биндинг. — Чертовски скоростная машина. Как это вы запросто обштопали меня!

Оба ушли к стоянке, где Кестер поднял капот «Карла».

Девушка не последовала за ними. Стройная и безмолвная, она стояла в сумерках рядом с Ленцем и со мной. Я ожидал, что Ленц воспользуется случаем и с ходу взорвется, как бомба. Он был создан как раз для таких ситуаций. Но он словно лишился дара речи, и вместо того чтобы затоковать, как тетерев, стоял как монах ордена кармелитов и не мог пошевельнуться.

— Простите нас, пожалуйста, — сказал я наконец. — Мы не заметили вас в машине. Иначе наверняка не стали бы так глупить.

Девушка посмотрела на меня.

— А почему бы и не поглупить? — спокойным, неожиданно глуховатым голосом ответила она. — Не так уж это было страшно.

— Не страшно, конечно, но и не так уж прилично. Ведь наша машина развивает около двухсот в час.

Она слегка подалась вперед и засунула руки в карманы пальто.

— Двести километров?

— Ровно сто девяносто восемь и две десятых, официально установлено, — с гордостью, точно выпалил из пистолета, объявил Ленц.

Она рассмеялась.

— А мы-то думали, что ваш потолок — шестьдесят, семьдесят.

— Видите ли, — сказал я, — этого вы просто не могли знать.

— Нет, конечно, — сказала она, — этого мы действительно не могли знать. Мы думали, что «бьюик» вдвое быстрее вашей машины.

— Понятно. — Я отбросил ногой валявшуюся ветку. — Но, как видите, у нас было очень большое преимущество. Господин Биндинг, надо думать, здорово разозлился на нас.

Она рассмеялась.

— На какое-то мгновение, вероятно, да. Но ведь надо уметь и проигрывать. Иначе как же жить?

— Разумеется.

Возникла пауза. Я посмотрел в сторону Ленца.

Но последний романтик только ухмыльнулся, повел носом и не стал выручать меня. Где-то за домом закудахтала курица.

— Прекрасная погода, — проговорил я наконец, чтобы как-то нарушить молчание.

— Да, чудесная, — ответила девушка.

— И такая мягкая, — добавил Ленц.

— Просто необыкновенно мягкая, — дополнил я его мысль.

Возникла новая пауза. Девушка, видимо, считала нас законченными кретинами. Но при всем желании ничего более умного я придумать не мог.

Вдруг Ленц стал принюхиваться.

— Печеные яблоки, — сказал он с чувством. — Похоже, к печенке нам подадут еще и печеные яблоки. Какой деликатес!

— Несомненно! — согласился я, мысленно проклиная и себя и его.

* * *

Кестер и Биндинг вернулись. За эти несколько минут Биндинг стал совсем другим человеком. Видимо, он принадлежал к категории авто-идиотов, которые испытывают абсолютное блаженство, если где-нибудь встречают специа-

листа, с которым могут всласть наговориться на любимую тему.

— Не поужинать ли нам всем вместе? — спросил он.

— Само собой разумеется, — ответил Ленц.

Мы пошли в зал. В дверях Готтфрид, подмигнув мне, кивком головы указал на девушку.

— Считай, что ты стократ вознагражден за утреннюю пляшущую старуху.

Я пожал плечами.

— Может, оно и так. Но почему ты не выручил меня, когда я стоял перед ней, точно какой-то заика?

Он рассмеялся.

— Надо чему-то научиться и тебе, дитя мое!

— Нет у меня охоты учиться еще чему-нибудь, — сказал я.

Мы последовали за остальными. Они уже сидели за столом. Хозяйка как раз внесла дымящуюся печенку с жареным картофелем. Кроме того, в качестве прелюдии она поставила перед нами большую бутылку пшеничной водки.

Биндинг извергал потоки слов — прямо какой-то неумолчный водопад. Впрочем, он удивил нас своей осведомленностью по части автомобилей. Когда же он узнал, что Кестер вдобавок ко всему

еще и автогонщик, его восторг перед Отто возрос до беспредельности.

Я повнимательнее пригляделся к нему. Это был тяжелый, крупный мужчина с густыми бровями и красным лицом; чуть хвастливый, чуть шумливый и, вероятно, добродушный, как и все, кому сопутствует успех. Я вполне мог себе представить, как вечером, перед отходом ко сну, он серьезно, с достоинством и уважением разглядывает себя в зеркале.

Девушка сидела между Ленцем и мною. Она сняла с себя пальто и осталась в сером костюме английского покроя. На шее у нее была белая косынка, похожая на шарф амазонки. При свете люстры ее каштановые шелковистые волосы мерцали янтарными отблесками. Очень прямые плечи слегка выдавались вперед, узкие руки казались непомерно длинными и, пожалуй, скорее костистыми, а не мягкими. Большие глаза придавали узкому и бледному лицу выражение какой-то страстной силы. На мой вкус, она выглядела просто очень хорошо, но я нисколько над этим не задумывался.

Зато Ленц превратился в огонь и пламя. Его нельзя было узнать — настолько он преобразился. Золотистая копна волос блестела, как хохолок

удода. Из него так и вырывался искрометный фейерверк острот. За столом царили двое — он и Биндинг. А я только при сем присутствовал и мало чем мог обратить на себя внимание — разве что передать какое-нибудь блюдо, или предложить сигарету, или чокнуться с Биндингом. Это я делал довольно часто. Вдруг Ленц хлопнул себя по лбу:

— Ну-ка, Робби, притащи наш ром! Ведь он заветный — припасен для дня рождения!

— Для дня рождения? А у кого это день рождения? — спросила девушка.

— У меня, — сказал я. — Меня и так уж весь день преследуют из-за этого.

— Преследуют? Вы что же — не хотите, чтобы вас поздравляли?

— Нет, хочу, — сказал я. — Поздравлять — это совсем другое.

— Ну тогда всего вам самого хорошего!

Секунду я держал ее руку в своей и чувствовал ее теплое, сухое пожатие. Потом пошел за ромом. Небольшой загородный ресторан стоял посреди огромной безмолвной ночи. Кожаные сиденья нашей машины были влажны. Я стоял и смотрел на горизонт, где небо окрасилось красноватым заревом города. Я охотно стоял бы так еще и еще,

но Ленц уже звал меня.

Биндингу ром пришелся не по нутру. Это стало заметно уже после второй рюмки. Пошатываясь, он пошел в сад. Я встал и вместе с Ленцем направился к стойке. Он потребовал бутылку джина.

— Изумительная девушка, тебе не кажется? — спросил он.

— Не знаю, Готтфрид, — отвечал я. — Я не присматривался к ней.

Он пристально посмотрел на меня своими лучистыми голубыми глазами, затем покачал разгоряченной от хмеля головой.

— Зачем же ты, собственно, живешь, детка?

— Сам уже давно хочу это понять, — ответил я.

Он рассмеялся.

— Мало ли чего ты хочешь! Так просто этого никому не понять… А я пойду и попробую разведать, что там между ними — между этой девушкой и этим толстым автомобильным каталогом.

Он пошел в сад за Биндингом. Вскоре они оба вернулись к стойке. Видимо, полученная информация оказалась благоприятной, и, полагая, что путь перед ним открыт, Ленц о возрастающим восторгом стал обхаживать Биндинга. Они распили еще одну бутылку джина и через час перешли на «ты». Уж коли на Ленца находило хорошее

настроение, он делался таким неотразимым, что противостоять ему было нельзя. Тут он и сам не мог бы устоять против себя. Теперь же он окончательно покорил Биндинга и уволок его в беседку, где оба принялись распевать солдатские песни. Увлеченный пением, последний романтик начисто забыл про девушку.

* * *

В зале трактира остались только мы трое. Почему-то вдруг наступила полная тишина. Только раздавалось тиканье шварцвальдских ходиков с кукушкой. Хозяйка на водила порядок и по-матерински поглядывала на нас. На полу около печки растянулась рыжая охотничья собака. Иногда она взвизгивала во сне — тихо, высоко и жалобно. За окном проносились легкие порывы ветра. Их заглушали обрывки солдатских песен, и мне почудилось, будто этот небольшой зал вместе с нами поднимается куда-то вверх и парит сквозь ночь и годы, мимо нескончаемых воспоминаний.

Я впал в какое-то удивительное состояние. Время словно исчезло. Оно перестало быть потоком, вытекающим из мрака и вливающимся в него. Оно превратилось в озеро, в котором беззвучно

отражается жизнь. Я взял свою рюмку с искрящимся ромом. Подумал о листке, который утром с грустью исписал в мастерской. Теперь грусть прошла, и казалось — все безразлично, лишь бы быть живым. Я посмотрел на Кестера. Он говорил с девушкой, но я не обращал внимания на его слова. Я ощущал нежный блеск первого хмеля. Он горячил кровь и нравился мне потому, что любую неопределенность облекал в иллюзию какого-то приключения. Где-то в беседке Ленц и Биндинг пели песню про Аргоннский лес. А рядом со мной слышались слова незнакомой девушки. Она говорила тихо и медленно своим низким, будоражащим и чуть хрипловатым голосом. Я допил свою рюмку.

Ленц и Биндинг снова присоединились к нам. На свежем воздухе они слегка протрезвели. Настало время собираться в обратный путь. Я подал девушке пальто. Она стояла передо мною, расправив плечи и откинув назад голову, с полураскрытыми губами и никому не адресованной улыбкой, обращенной куда-то вверх. И вдруг я на мгновенье невольно опустил ее пальто. Где же все время были мои глаза? Спал я, что ли? Теперь я понимал восхищение Ленца.

Полуповернувшись, она вопросительно по-

смотрела на меня. Я быстро приподнял ее пальто и тут заметил Биндинга, который все еще стоял у стола, красный как рак и в каком-то оцепенении.

— По-вашему, он сможет повести машину? — спросил я.

— Думаю, сможет…

Я продолжал смотреть на нее.

— Если он недостаточно уверен, то с вами может поехать кто-нибудь из нас.

Она достала пудреницу и открыла ее.

— Да уж как-нибудь доедем, — сказала она. — После выпивки он водит намного лучше.

— Лучше, но, вероятно, менее осторожно, — ответил я.

Она посмотрела на меня поверх своего маленького зеркальца.

— Что ж, будем надеяться, — сказал я.

Мои опасения были преувеличены, Биндинг довольно прилично держался на ногах. Но мне не хотелось так просто отпустить ее.

— Нельзя ли мне завтра позвонить вам и узнать, как все получилось? — спросил я.

Она не сразу ответила.

— Ведь мы несем какую-то долю ответственности за эту пирушку, — продолжал я. — Особенно

я со своим днем рождения и ромом.

Она рассмеялась.

— Ну ладно, если хотите. Вестен 27–96.

Выйдя на воздух, я записал номер. Мы посмотрели, как отъехал Биндинг, и выпили еще по рюмке. Затем взревел мотор нашего «Карла», и мы понеслись сквозь легкий мартовский туман. Сверкая огнями, город надвигался на нас в зыбкой дымке и наконец из клочьев тумана, словно освещенный, пестрый корабль, выпростался бар «Фредди». «Карл» встал на якорь. В баре золотисто отсвечивал коньяк, джин переливался, как аквамарин, а ром был как сама жизнь. Словно налитые свинцом, мы недвижно восседали за стойкой бара. Плескалась какая-то музыка, и бытие наше было светлым и сильным. Оно мощно разлилось в нашей груди, мы позабыли про ожидавшие нас беспросветно унылые меблированные комнаты, забыли про отчаяние всего нашего существования, и стойка бара преобразилась в капитанский мостик корабля жизни, на котором мы шумно врывались в будущее.

II

Назавтра было воскресенье. Я долго спал и проснулся, когда солнце осветило мою постель. Я быстро вскочил на ноги и распахнул окно. Стоял прозрачный прохладный день. Я поставил спиртовку на табурет и стал искать банку с кофе. Фрау Залевски — моя хозяйка — разрешила мне готовить кофе в комнате. Ее кофе был жидковат и не устраивал меня, особенно после выпивки накануне.

В пансионе фрау Залевски я пребывал уже целых два года. Район пришелся мне по вкусу. Здесь всегда что-то происходило, потому что дом профсоюзов, кафе «Интернациональ» и зал собраний Армии спасения стояли вплотную друг к другу. Вдобавок перед моим домом расстилалось старое, давно уже заброшенное кладбище. Оно заросло деревьями, словно парк, и в тихие ночи могло показаться, что все это где-то далеко за городом. Но тишина воцарялась поздно — рядом с кладбищем грохотал луна-парк с каруселями и качелями.

Что касается фрау Залевски, то кладбище определенно давало ей дополнительный доход. Ссылаясь на чистый воздух и приятный вид, она

взимала со своих постояльцев повышенную плату. А стоило кому-то на что-то пожаловаться, как она неизменно отвечала: «Но позвольте, господа! Подумайте, какое тут местоположение!»

* * *

Одевался я не торопясь. Это помогало мне полнее ощущать воскресенье. Я умылся, походил по комнате, полистал газету, вскипятил кофе, постоял у окна и посмотрел, как поливают мостовую, послушал пение птиц на высоких кронах кладбищенских деревьев, и казалось, будто какие-то крохотные дудочки самого Господа Бога нежно заливаются под аккомпанемент негромкого и сладостного урчания меланхолических шарманок, расставленных у аттракционов луна-парка.

Я долго выбирал рубашку и носки, делая это так, точно у меня их было раз в двадцать больше, затем, насвистывая, опустошил карманы костюма: мелочь, перочинный нож, ключи, сигареты — и вдруг вчерашний листок с именем девушки и номером телефона. Патриция Хольман. Странное имя — Патриция. Я положил бумажку на стол. Неужто это было только вчера, а не давным-давно? Разве это не потонуло в серебристо-жемчужном угаре опьянения? Какая все-таки удивительная

штука выпивка! Пока ты пьешь, у тебя накапливаются разные мысли, ты сосредоточиваешься. А пройдет ночь, и возникают какие-то провалы, и думается — да ведь с тех пор прошла целая вечность!

Я переложил бумажку на стопку книг. Позвонить ей? Может, да, а может, и не стоит. Днем все выглядит иначе, чем вечером. Моя спокойная жизнь в общем вполне устраивала меня. За последние годы было предостаточно всякого шума и суеты. «Ты только никого не подпускай к себе близко, — говаривал Кестер, — а подпустишь — захочешь удержать. А удержать ничего нельзя...»

В эту минуту в смежной комнате, как всегда, началась утренняя воскресная перебранка. Я поискал глазами шляпу, которую вчера вечером, вероятно, где-то оставил, и невольно прислушался. Жившие за стеной супруги Хассе яростно укоряли друг друга. Уже пять лет они снимали здесь небольшую комнату. В сущности, это были неплохие люди. Будь у них трехкомнатная квартира с кухней для жены да еще и ребенок в придачу, их брак, надо думать, остался бы вполне благополучным. Но такая квартира стоила немалых денег. А заводить ребенка в эти шаткие

времена — кто себе мог это позволить…

Так они и теснились вдвоем, жена превратилась в истеричку, а муж, опасаясь лишиться своего скромного места, жил в постоянном страхе. И в самом деле — увольнение было бы для него полной катастрофой. Остаться без работы в сорок пять лет — значит уже нигде не устроиться. В этом и заключался весь ужас его положения. Прежде, случалось, люди медленно шли ко дну, но у них все же оставался какой-то шанс вынырнуть. Теперь же за каждым увольнением зияла пропасть вечной безработицы.

Я уже было решил незаметно выбраться из пансиона, но раздался стук в дверь, и Хассе, споткнувшись, ввалился ко мне. С тяжким вздохом он опустился на стул.

— Больше не могу…

По сути это был добросердечный человек с покатыми плечами и усиками. Скромный, исполнительный служака. Но именно таким, как он, теперь было особенно трудно. Скромность и добросовестность вознаграждаются только в романах. В жизни же подобные качества, пока они кому-то нужны, используются до конца, а потом на них просто плюют.

Хассе развел руками.

— Вы только представьте себе — в моей конторе уволили еще двоих. Следующим буду я, вот увидите!

В этом страхе он жил уже не первый месяц. Я налил ему рюмку водки. Он исходил мелкой дрожью, и было видно — недалек день, когда его нервы сдадут окончательно. Он не знал, что еще добавить к сказанному.

— И потом эти нескончаемые упреки, — наконец пролепетал он.

Видимо, супруга не могла ему простить свое безрадостное существование. Ей было сорок два года. Уже несколько обрюзгшая и поблекшая, она все же не выглядела настолько потрепанной, как ее супруг. Она панически боялась близящейся старости.

Не имело никакого смысла вмешиваться в их дела.

— Послушайте, Хассе, — сказал я. — Мне нужно уйти, а вы посидите здесь, сколько захотите. Вот ром. Если предпочитаете коньяк — найдете его в шкафу. Вот газеты. А попозже возьмите жену и вытащите ее из вашей конуры. Сводите ее, например, в кино. Это не дороже, чем посидеть час-другой в кафе. А толку больше! Уметь забыться — вот девиз сегодняшнего дня, а бесконечные

раздумья, право же, ни к чему!

С не очень чистой совестью я похлопал его по плечу. Хотя, с другой стороны, кино — это всегда выход из положения. Там каждый может о чем-то помечтать.

* * *

Дверь в соседнюю комнату была открыта. Оттуда доносились всхлипывания жены Хассе. Я пошел по коридору. Следующая дверь была слегка приоткрыта. Там подслушивали. Сквозь просвет шел запах духов. Здесь жила Эрна Бениг — чья-то личная секретарша. Одевалась она куда шикарнее, чем могло бы ей позволить скромное жалованье. Но было известно, что раз в неделю шеф диктовал ей до утра. Весь следующий день она проводила в очень дурном расположении духа. Зато каждый вечер ходила на танцы. Если не танцевать, так и жить-то незачем, говорила она. Были у нее два поклонника. Один любил ее и дарил ей цветы. Другого любила она и давала ему деньги.

Комнату рядом с ней занимал ротмистр граф Орлов, русский эмигрант, кельнер, статист на

киностудии, «жиголо»[1] с поседевшими висками. Великолепный гитарист. Ежевечерне он молился Казанской Богоматери, испрашивая у нее должность администратора в каком-нибудь отеле средней руки. Напившись, пускал слезу.

Следующая дверь — фрау Бендер, медсестра в приюте для младенцев. Пятьдесят лет. Муж погиб на войне. В 1918 году ее двое детей умерли с голоду. Единственное, что осталось, — пестрая кошка.

Рядом с ней — Мюллер, бухгалтер-пенсионер. Письмоводитель какого-то союза филателистов. Живая коллекция марок, больше ничего. Счастливый человек.

Дойдя до последней двери, я постучал.

— Георг, как дела? — спросил я. — Все еще без перемен?

Георг Блок покачал головой. Он был студентом второго курса. Чтобы осилить плату за учение, он два года проработал на руднике. Теперь его сбережения были почти полностью израсходованы. Денег у него оставалось месяца на два. Вернуться на рудник он не мог, там и без него хватало безработных горняков. Всеми способами

---

[1] Примечания: 1
Наемный партнер для танцев.

он пытался заработать хоть что-нибудь. Целую неделю ему удалось распространять рекламные объявления маргаринового завода. Но завод обанкротился. Вскоре он устроился на должность разносчика газет и уже было вздохнул свободной грудью. Через три дня на рассвете его остановили двое неизвестных в форменных редакционных фуражках, отняли у него газеты, разорвали их в клочья и посоветовали оставить профессию, к которой он не имеет никакого отношения. У них, мол, и без него немало безработных. И хотя ему пришлось заплатить за разорванные газеты, он, несмотря ни на что, на следующее утро опять вышел на работу. Его сшиб с ног какой-то велосипедист, газеты полетели в грязь. Это ему обошлось в две марки. Он вышел в третий раз и вернулся домой в изодранном костюме и с разбитым лицом. Пришлось сдаться. Теперь, впав в отчаяние, он безвылазно сидел в своей комнате и до одури зубрил, словно это еще имело какой-то смысл. Питался только один раз в сутки. И было уже неважно, сдаст ли он экзамены за оставшиеся семестры. Даже в случае успеха рассчитывать на какую-то работу он мог лишь лет через десять, никак не раньше.

Я дал ему пачку сигарет.

— Пошли ты все это к чертям собачьим, Джорджи. Именно так поступил я. А начать все сначала сможешь и потом.

Он покачал головой.

— Не то ты говоришь. Еще тогда, после рудника, я понял: заниматься надо каждый Божий день, а то выбьешься из колеи. По второму разу мне этого не сдюжить.

Бледное лицо с оттопыренными ушами, близорукие глаза, щуплое тело, впалая грудь… Вот ведь проклятье, черт побери!

— Ладно, Джорджи, всего!..

Вдобавок ко всему он еще был круглым сиротой.

Кухня. Чучело кабаньей головы — память о покойном господине Залевски. Телефон. Полумрак. Пахнет газом и скверным жиром. На входной двери, у кнопки звонка, много визитных карточек. И моя тоже — пожелтевшая и вся в пятнах; «Роберт Локамп. Студ. фил. Два продолжительных». Студ. фил.! Подумаешь, важная птица!.. Все это было давно…

Я спустился по лестнице и направился в кафе «Интернациональ». Оно представляло собой довольно большой, темный и закопченный продолговатый зал со множеством задних комнат.

На переднем плане, у стойки, стояло пианино. Инструмент был сильно расстроен, несколько струн лопнуло, на добром десятке клавиш не хватало костяных накладок. И все-таки я был привязан к этому честному и заслуженному «музыкальному мерину», как его здесь называли. С ним меня связывал целый год жизни, когда я работал в «Интернационале» пианистом для «создания настроения».

В задних комнатах происходили совещания скототорговцев, иногда здесь собирались владельцы аттракционов.

Впереди, невдалеке от входа, сидели проститутки.

Кафе было пусто, если не считать плоскостопого кельнера Алоиса, стоявшего за стойкой.

— Тебе как обычно? — спросил он.

Я кивнул. Он принес мне бокал портвейна пополам с ромом. Я сел за столик и бездумно уставился в стенку. Сквозь запыленное оконное стекло косо падал серый луч солнца. Он путался среди бутылок с пшеничной водкой, расставленных на многоярусном полукруглом стеллаже. Словно рубин, рдел шерри-бренди.

Алоис ополаскивал рюмки и бокалы. Хозяйская кошка примостилась на пианино и мурлыка-

ла. Я не спеша покуривал сигарету. От теплого неподвижного воздуха я стал клевать носом. Странный все-таки голос был у этой вчерашней девушки. Низкий, чуть грубоватый, почти хриплый и все-таки мягкий.

— Дай-ка мне, Алоис, какие-нибудь иллюстрированные журналы.

Тут скрипнула дверь, и вошла Роза, кладбищенская проститутка по прозвищу Железная кобыла. Ее назвали так за редкостную неутомимость в работе. Роза заказала себе чашку шоколада — роскошь, которую она позволяла себе во всякое воскресное утро. Выпив шоколад, она отправлялась в Бургдорф навестить своего ребенка.

— Привет, Роберт!

— Привет, Роза! Как твоя малышка?

— Вот собралась к ней. Глянь, что я ей везу.

Она достала из пакета румяную куклу и нажала на ее живот.

«Ма-ма», — проверещала кукла. Роза сияла.

— Замечательно! — сказал я.

— Нет, ты только посмотри. — Она опрокинула куклу назад. С легким щелчком кукольные глазки сомкнулись.

— Это что-то небывалое, Роза!

Довольная моим одобрением, она снова вложи-

ла игрушку в пакет.

— Ты разбираешься в этих делах, Роберт! Когда-нибудь из тебя получится отличный муж.

— Ну уж прямо! — усомнился я.

Роза обожала своего ребенка. Всего только три месяца назад, когда девочка еще не умела ходить, она держала ее у себя в комнате. Несмотря на ремесло матери, это было вполне возможно — к комнате примыкал небольшой чулан. Если вечером Роза приводила домой кавалера, то, попросив его под каким-нибудь предлогом подождать на лестнице, она торопливо входила в комнату, вталкивала коляску с ребенком в чулан, запирала дверку и лишь затем впускала к себе гостя. Но в декабре малышке слишком уж часто приходилось перекочевывать из теплой комнаты в нетопленный чулан. Вот она и простудилась и нередко заливалась плачем, когда мама принимала клиента. И как это ни было тяжело для Розы, а все-таки пришлось ей расстаться с дочуркой. Она отдала ее в дорогой приют. Там Розу считали добропорядочной вдовой. Иначе ребенка не взяли бы.

Роза поднялась.

— Так, значит, в пятницу ты придешь?

Я кивнул.

— Тебе ведь известно, в чем дело, да?

— Конечно, известно.

Я не имел ни малейшего представления о том, что будет в пятницу. Но расспрашивать не хотелось. К этому я приучил себя еще в тот самый год, когда работал здесь пианистом. Во всяком случае, так все было проще. Так же, как обращение на «ты» ко всем здешним девицам. Иначе было нельзя.

— Прощай, Роберт.

— Прощай, Роза.

Я еще немного посидел за столиком. Но сегодня меня почему-то не разморило, не получилось этакого сонливого покоя. Ведь «Интернациональ» постепенно превратился для меня в некое тихое воскресное пристанище. Я выпил еще одну рюмку рома, погладил кошку и вышел из кафе.

* * *

Весь день я где-то околачивался, не знал толком, чем бы заняться, отовсюду старался поскорее убраться. Вечером пошел в мастерскую и застал там Кестера, хлопотавшего вокруг «кадиллака». Незадолго до того мы за бесценок купили эту уже видавшую виды машину, сделали ей капитальный ремонт, и теперь Кестер занимался ее

доводкой до товарного вида. Мы намеревались загнать «кадиллак» подороже и рассчитывали неплохо заработать. Впрочем, я сомневался в возможности такой спекуляции. В эти трудные времена покупатели стремились приобретать маленькие автомобили, но никак не такие полуавтобусы.

— Нам его не сбагрить, Отто, — сказал я.

Но Отто был полон оптимизма.

— Сбагрить трудно машину среднего класса, — заявил он. — Спросом пользуются самые дешевые и самые дорогие автомобили. Еще не перевелись люди с деньгами. А у иного хоть и нет денег, а ему, видите ли, страсть как хочется сойти за богатого.

— Где Готтфрид? — спросил я.

— Отправился на какое-то политическое собрание…

— Рехнулся он, что ли? Что ему там нужно?

Кестер улыбнулся.

— Этого он и сам не знает. Видимо, из-за весны кровь заиграла — все время хочется чего-то новенького.

— Может, ты и прав, — сказал я. — Давай подсоблю тебе немного.

Не особенно утруждая себя, мы все-таки провозились до сумерек.

— Ну хватит, шабаш! — сказал Кестер.

Мы умылись. Затем, хлопнув по бумажнику, Отто спросил:

— Угадай, что у меня здесь?

— Ну?

— Билеты на сегодняшний матч по боксу. Точнее, два билета. Пойдем вместе?

Я заколебался. Отто с удивлением взглянул на меня.

— Штиллинг против Уокера, — сказал он. — Будет интереснейший бой.

— Возьми с собой Готтфрида, — предложил я, чувствуя, что отказываться просто смешно. Но идти мне определенно не хотелось, хоть я и сам не понимал почему.

— У тебя какие-нибудь планы? — спросил он.

— Нет.

Он посмотрел на меня.

— Пойду-ка я домой, — сказал я. — Надо написать письма и все такое прочее. Ведь хоть когда-нибудь нужно и для этого найти время.

— Уж не заболел ли ты? — озабоченно спросил он.

— Нет, нисколько. Но, может, и во мне кровь заиграла — ведь на дворе весна.

— Ладно, как хочешь.

Я поплелся домой. Но, очутившись в своей комнате, я, как и прежде, не знал куда себя девать. Нерешительно я расхаживал вперед и назад. Теперь я уже совсем не понимал, чего это меня, собственно, потянуло сюда. Наконец решил снова навестить Джорджи и вышел в коридор, где сразу же наткнулся на фрау Залевски.

— Вот так раз! — изумилась она. — Вы дома? В такой вечер?

— Мне трудно отрицать это, — ответил я не без раздражения.

Она покачала головой в седых завитушках.

— Как же это вы сейчас не гуляете! Чудеса да и только!

У Джорджи я пробыл недолго. Через четверть часа вернулся к себе. Подумал, не выпить ли чего. Но нет — не хотелось. Я подсел к окну и принялся глядеть на улицу. Над кладбищем, словно крылья огромной летучей мыши, распластались сумерки. Небо за домом профсоюзов было зеленым, как недозревшее яблоко. Уже зажглись фонари, но окончательно еще не стемнело, и казалось, фонарям зябко. Я порылся среди книг и нашел бумажку с номером телефона. В конце концов — почему бы не позвонить? Ведь сам же наполовину обещал сделать это. Хотя, конечно, скорее

всего девушки нет дома.

Я вышел в переднюю к аппарату, снял трубку и назвал номер. В ожидании ответа я почувствовал, как из черной раковинки заструилось что-то мягкое, теплое, и меня охватило какое-то смутное предощущение неведомо чего. Девушка оказалась дома. И когда в передней фрау Залевски, где со стен на меня глядели кабаньи головы, где пахло жиром, а из кухни доносилось звяканье посуды, будто из потустороннего мира послышался ее низкий, тихий, чуть замедленный, грудной и хрипловатый голос, когда мне почудилось, что она обдумывает и взвешивает каждое слово, мое раздражение и недовольство как рукой сняло.

Я не ограничился расспросами о том, как она вчера доехала, но и договорился о встрече послезавтра. Только после этого я повесил трубку, и внезапно меня осенило: не так уж все глупо и бездарно. «С ума сойти!» — подумал я и покачал головой. Потом снова снял трубку и позвонил Кестеру.

— Билеты еще у тебя, Отто?

— Да.

— Ну и прекрасно! Пойдем смотреть бокс.

После матча мы еще побродили по ночному городу. Освещенные улицы были пустынны.

Вспыхивали и гасли световые рекламы. В витринах бессмысленно горел свет. В одной из них красовались голые восковые куклы с пестро разрисованными лицами. Выглядели они как-то призрачно и развратно. В другой поблескивали ювелирные изделия. Потом мы прошли мимо универсального магазина, озаренного белыми лучами прожекторов и похожего на собор. За зеркальными стеклами пенились лоснящиеся шелка всех оттенков. У входа в кино на тротуаре примостилось несколько бледных, явно изголодавшихся горожан. И тут же рядом, за стеклом, пышно раскинулась пестрая выкладка продовольственного магазина. Громоздились башни консервных банок, на толстом слое ваты лежали сочные яблоки «кальвиль», на натянутой веревке, словно белье, повисли развешенные в ряд жирные гуси, твердые копченые колбасы перемежались круглыми поджаристыми караваями хлеба, розовато мерцали срезы окороков, окруженных деликатесными печеночными паштетами.

Мы присели на скамью около сквера. Дул свежий ветерок. Над домами дуговой лампой висела луна. Было уже далеко за полночь. Метрах в двадцати от нас рабочие поставили на мостовой

палатку. Они ремонтировали трамвайные пути. Шипели сварочные горелки. Снопы искр пролетали над согнувшимися темными фигурами. Сварщики занимались серьезным делом. Рядом с ними дымились котлы с асфальтом, похожие на полевые кухни.

И Отто и я думали каждый о своем.

— А знаешь, Отто, как-то странно, когда вдруг воскресенье, верно? — сказал я.

Кестер кивнул.

— И даже вроде бы приятно, когда оно остается позади, — задумчиво проговорил я.

Кестер пожал плечами.

— Может быть, мы так привыкли без конца вкалывать, что даже от какой-то капельки свободы нам и то становится не по себе.

Я поднял воротник.

— А разве в нашей нынешней жизни что-нибудь не так? Скажи, Отто.

Он поглядел на меня и усмехнулся.

— Раньше многое у нас было не так, Робби.

— Это правда, — согласился я. — И все-таки…

Слепящий зеленоватый свет автогена метнулся по асфальту.

Освещенная изнутри палатка рабочих казалась каким-то теплым, уютным гнездышком.

— Как, по-твоему, ко вторнику «кадиллак» будет готов? — спросил я.

— Возможно, что и будет, — ответил Кестер. — А почему ты спрашиваешь?

— Просто так…

Мы встали и пошли домой.

— Что-то сегодня я сам не свой, Отто, — сказал я.

— Не беда, с каждым бывает, — ответил Кестер. — Приятных тебе сновидений, Робби.

— И тебе, Отто.

Придя домой, я не сразу лег в постель. Моя берлога вдруг окончательно разонравилась мне. Уродливая люстра, чересчур яркий свет, потертая обивка кресел, невыразимо унылый линолеум, кровать с висящей над ней картиной «Битва под Ватерлоо»… Разве сюда можно привести приличного человека? Нет, конечно! А уж женщину тем более. Разве что проститутку из «Интернационаля».

III

Во вторник утром мы сидели во дворе нашей мастерской и завтракали. «Кадиллак» был готов. Ленц держал в руке лист бумаги и, торжествуя, глядел на нас. Он был у нас главным по рекламе и только что зачитал Кестеру и мне текст сочиненного им объявления насчет продажи этой машины. Оно начиналось словами: «Отпуск на южном побережье в роскошном авто» — и было чем-то средним между интимно-лирическим стихотворением и патетическим гимном.

Выслушав Ленца, мы с Кестером на какое-то время онемели, не в силах прийти в себя от такого безудержного шквала буйной и витиеватой фантазии. Ленц считал, что ошеломил нас.

— Тут вам и поэзия, и размах, и шик! Скажете нет? — гордо произнес Ленц. — Именно в век деловитости надо быть романтиком, вот в чем фокус. Противоположности взаимно притягиваются.

— Но не тогда, когда речь идет о деньгах, — возразил я.

— Покупка автомобилей — это тебе не способ капиталовложения, мой мальчик, — отмел мое

возражение Готтфрид. — Их покупают, чтобы истратить деньги. И вот тут-то как раз и начинается романтика, по крайней мере, для делового человека. А для большинства людей она на этом, пожалуй, и кончается. Как ты считаешь, Отто?

— Видишь ли… — осторожно начал Кестер.

— Да не нужно лишних слов! — прервал я его. — Это объявление для какого-нибудь курорта или для косметического крема, но никак не для продажи автомобиля.

От неожиданности Ленц раскрыл рот.

— Не торопись, Готтфрид, — продолжал я. — Ведь нас ты считаешь пристрастными. Поэтому я предлагаю: давай спросим Юппа. Юпп — это глас народа.

Юпп был нашим единственным служащим — пятнадцатилетний подросток, что-то вроде подмастерья. Он обслуживал бензоколонку, заботился о завтраке и убирал мастерскую по вечерам. Он был маленького росточка, усеян веснушками и обладал такими оттопыренными ушами, каких я не видел больше ни у кого. Кестер шутил, что если, мол, Юпп выпадет из самолета, то ничего с ним не случится: на таких ушах он плавно спланирует на землю.

Мы позвали его, и Ленц прочитал ему объяв-

ление.

— Ты заинтересовался бы таким автомобилем, Юпп? — спросил Кестер.

— Автомобилем? — переспросил Юпп.

Я рассмеялся.

— Ну, конечно, автомобилем, — буркнул Ленц. — Или, по-твоему, тут говорится о саранче?

— А какой это автомобиль? Есть ли у него ускоряющая передача, распредвал с верхним управлением эксцентриками, гидравлические тормоза? — спокойно осведомился Юпп.

— Дурья твоя башка, да это же наш «кадиллак»! — прошипел Ленц.

— Не может этого быть! — возразил Юпп, ухмыляясь от уха до уха.

— Слыхал, Готтфрид? — сказал Кестер. — Вот это и есть романтика сегодняшнего дня.

— Топай к своей колонке, Юпп, проклятый сын двадцатого века!

Раздосадованный Ленц направился в мастерскую, решив внести в свое объявление чуть побольше технических данных, но обязательно сохранить его поэтический пафос.

Несколько минут спустя к нам совершенно неожиданно нагрянул старший инспектор Бар-

зиг. Мы его встретили как самого почетного гостя. То был инженер-эксперт общества по страхованию автомобилей «Феникс», важная персона, от которой зависело получение заказов на ремонт. Он был знающим и дотошным автомобилистом, требовал от нас безукоризненной работы. Но был он еще и специалистом по бабочкам, и, играя на этой его страсти, мы могли вить из него веревки. Однажды мы пополнили его и без того богатую коллекцию «мертвой головой» — крупной ночной бабочкой, залетевшей на огонек в нашу мастерскую. С торжественной миной, побледнев от неподдельного волнения, Барзиг принял от нас этот дар, — чрезвычайно редкий экземпляр, о котором он уже давно мечтал. Этот эпизод запомнился ему, и авторемонтные работы так и сыпались на нас. Со своей стороны, мы старались ловить для него любую моль, попадавшуюся нам на глаза.

— Не угодно ли рюмку вермута, господин Барзиг? — спросил Ленц, опять овладевший собой.

— До вечера ни капли спиртного, — ответил Барзиг. — Мой железный принцип!

— От принципов необходимо иногда отступать, иначе они не доставляют радости, — заявил Готтфрид и разлил вермут по рюмкам. — Предлагаю

за процветание «перламутровок», «бражников» и «павлиноглазок»!

— Ну, знаете ли, у вас такой тонкий подход, что попробуй-ка откажись, — сказал Барзиг после недолгих колебаний. — Но уж коли на то пошло, то заодно выпьем еще и за «бычий глаз». — Он застенчиво улыбнулся, точно сболтнул нечто двусмысленное о дамах. — Дело в том, что я обнаружил новую разновидность — со щетинистыми усиками.

— Вот это да! — воскликнул Ленц. — Снимаю шляпу и низко кланяюсь вам! Выходит, вы первооткрыватель и ваше имя будет вписано в анналы истории естественных наук.

Мы выпили еще по одной за щетинистые усики. Барзиг вытер собственные усы.

— Я к вам с приятной новостью: можете забрать «форд». Дирекция решила поручить ремонт вам.

— Прекрасно! — сказал Кестер. — Это нам вполне подойдет. А как насчет предложенной нами сметы?

— Ее утвердили.

— Неужто не урезали?

Барзиг хитро прищурил глаз.

— Сперва эти господа сопротивлялись, но в конце концов…

— Еще раз выпьем до дна за успехи страховой компании «Феникс», — заявил Ленц и снова налил всем.

Барзиг встал и откланялся. Уходя, он сказал:

— А женщина, находившаяся в «форде» во время аварии, несколько дней назад все-таки скончалась, хотя у нее были только резаные раны. Видно, из-за слишком большой кровопотери.

— А сколько ей было лет? — спросил Кестер.

— Тридцать четыре, — ответил Барзиг. — Беременность на четвертом месяце. Покойная была застрахована на двадцать тысяч марок.

* * *

Мы сразу поехали за машиной. Она принадлежала одному булочнику. Поздно вечером в полупьяном виде он наехал на кирпичную стену. Его жена получила ранения, он же нисколько не пострадал.

Когда мы готовили машину к буксировке, он пришел в гараж. С минуту молча глядел на нас, поникший, с изогнутой спиной, короткой шеей, слегка подавшись вперед. Как у всех пекарей, у него был нездоровый серовато-белый цвет лица, и в полумраке он вдруг показался мне каким-то большим и печальным мучным червем. Медлен-

но он подошел к нам.

— Когда машина будет готова? — спросил он.

— Недели через три, — ответил Кестер.

Пекарь показал на складной верх автомобиля.

— Это тоже входит в оплату?

— О чем вы говорите? — удивился Кестер. — Ведь верх совершенно цел.

Пекарь раздраженно передернулся.

— Сам вижу. Но разве из общей суммы нельзя выкроить деньги на новый верх? Вы получили довольно крупный заказ, и я надеюсь — мы поймем друг друга.

— Нет, не поймем, — сказал Кестер.

Он отлично понимал булочника. Этот тип желал бесплатно заполучить новый верх, на который страховка вообще не распространялась. Во что бы то ни стало он хотел контрабандой протащить его стоимость в смету. Мы начали было спорить с ним. Тогда он пригрозил аннулировать заказ и предложить составление сметы более сговорчивой мастерской. В конце концов Кестер сдался. Будь у нас побольше работы, он бы ни за что не пошел на попятный.

— Чего же сразу не согласился! — сказал булочник и криво усмехнулся. — В ближайшие дни зайду выбрать ткань. Хотелось бы бежевого

цвета. Люблю нежные оттенки…

Мы двинулись. По дороге Ленц показал нам на сиденьях «форда» крупные черные пятна.

— Кровь его умершей жены. А он выклянчил себе новый верх. Бежевый, видите ли! Нежные оттенки! Вот уж действительно мертвая хватка. Он еще, чего доброго, выжмет страховую сумму сразу за двух покойников: ведь жена была беременна.

Кестер пожал плечами.

— Что ж, он, видимо, считает, что жена женой, а деньги деньгами.

— Очень может быть, — сказал Ленц. — Говорят, есть люди, для которых страховка — это как бы утешение в горе. А наш убыток составляет ровно пятьдесят марок.

* * *

Во второй половине дня я под каким-то предлогом отправился домой. Мое свидание с Патрицией Хольман было назначено на пять часов, но в мастерской я об этом ничего не сказал. И не потому, что хотел что-то утаить. Просто все это вдруг показалось мне самому довольно неправдоподобным.

Она попросила меня прийти в какое-то неизвестное мне кафе. От кого-то я слышал, что оно небольшое, но элегантное и уютное. Не ожидая

ничего плохого, я поехал туда. Но, едва переступив порог, я испуганно остановился. Помещение было переполнено на редкость словоохотливыми женщинами. Я попал в типичную дамскую кондитерскую.

С трудом мне удалось захватить только что освободившийся столик. Испытывая чувство неловкости, я осмотрелся. Из мужчин, кроме меня, здесь были еще только двое, но они мне не понравились.

— Кофе, чай, шоколад? — осведомился кельнер и салфеткой смахнул мне на костюм разбросанные по столешнице крошки от пирожных.

— Двойной коньяк, — ответил я.

Он принес его. А заодно приволок группу любительниц кофе, искавших, где бы им сесть. Их возглавляла атлетического телосложения дама уже весьма зрелого возраста. На ней была шляпка с траурным крепом.

— Вот, пожалуйста, четыре места, — проговорил кельнер и указал на мой столик.

— Простите! — ответил я. — Столик не свободен. Я здесь ожидаю кое-кого.

— Не полагается, сударь! — сказал кельнер. — В эти часы у нас нельзя резервировать места.

Я посмотрел на него. Затем перевел взгляд на

корпулентную даму, стоявшую теперь вплотную у столика, крепко ухватившись за спинку стула. Приглядевшись к ее лицу, я решил не сопротивляться. Дама была полна такой решимости завоевать столик, что даже артиллерийский залп не поколебал бы ее.

— Тогда не могли ли бы вы, по крайней мере, принести мне еще один коньяк? — с досадой обратился я к кельнеру.

— Слушаюсь! Опять двойной?

— Да.

— Пожалуйста! — Он поклонился мне. — Ведь столик-то на шесть персон, сударь! — как бы извиняясь добавил он.

— Ладно, пусть! Только поскорее принесите мне коньяк.

Дама, поразившая меня своими могучими телесами, видимо, состояла членом какого-нибудь клуба трезвенниц. Она уставилась на мою рюмку с таким отвращением, словно это была протухшая рыба. Чтобы позлить ее, я заказал еще рюмку и, в свою очередь, уставился на ее крупнокалиберные формы. Но внезапно все происходящее представилось мне в каком-то совершенно дурацком свете. Чего ради я приплелся сюда? Чего хотел от девушки, которую ожидал?

Я даже сомневался, узнаю ли ее среди всей этой кутерьмы и гула. С недобрым чувством к самому себе я единым духом выпил рюмку.

— Салют! — сказал кто-то за моей спиной.

Я вскочил на ноги. Она стояла передо мной и улыбалась.

— А вы, я вижу, не теряете время даром!

Я поставил рюмку, которую все еще держал в руке, на столик. Я растерялся. Девушка выглядела совсем иной, чем запомнилась мне. Среди этого множества упитанных баб, поглощающих пирожные, она казалась стройной юной амазонкой, холодной, сияющей, уверенной в себе и неприступной. Ничего у меня с ней не выйдет, подумал я и сказал:

— Как же это вы возникли здесь, как привидение? Я ни на секунду не спускал глаз с дверей.

Она указала направо.

— Там есть другой вход. Но я опоздала. А вы давно уже ждете?

— Не более двух-трех минут. Я тоже пришел только что.

Компания за моим столиком умолкла. Затылком я чувствовал оценивающие взгляды этих четырех солидных матерей семейств.

— Мы останемся здесь? — спросил я.

Девушка посмотрела на столик, огляделась вокруг, и ее губы смешливо искривились.

— Вероятно, все кафе на один лад.

Я покачал головой.

— Лучше, когда они пустые. А в этом чертовом заведении человека охватывает комплекс неполноценности. Приятнее посидеть в каком-нибудь баре.

— В баре? А разве бары бывают открыты днем?

— Я знаю один такой бар, — сказал я. — Правда, там очень тихо. Если это вас устраивает…

— Иногда, пожалуй, устраивает.

Я посмотрел ей в глаза, не сразу поняв, что она имеет в виду. Вообще я не против иронии — если, конечно, она не в мой адрес. Но теперь совесть моя была почему-то нечиста.

— Тогда идемте.

Я окликнул кельнера.

— Три двойных коньяка! — заорал этот жалкий неудачник таким голосом, будто хотел докричаться до посетителя, уже лежавшего в гробу. — Три марки тридцать пфеннигов.

Девушка обернулась ко мне.

— Три коньяка за три минуты! Вот это темп!

— Два были выпиты вчера.

— Нет, каков врун! — прошипела мне вслед

пышнотелая дама. Она слишком долго молчала, и наконец ее прорвало.

Я повернулся к столику и поклонился.

— Благословенного вам Рождества, милые дамы!

Затем я быстро пошел.

— Вы что, поссорились с ними? — спросила девушка уже на улице.

— Да ничего особенного. Просто я обычно произвожу неважное впечатление на хорошо обеспеченных домохозяек.

— И я тоже, — ответила она.

Я посмотрел на нее. Какое-то существо из другого мира. Я начисто не мог себе представить, какова она и как живет.

* * *

В баре я почувствовал себя более уверенным. Когда мы вошли, бармен Фред стоял за стойкой и надраивал до блеска конусовидные коньячные рюмки. Он поклонился мне так, будто увидел меня впервые в жизни и словно не он, а кто-то другой всего лишь позавчера с трудом дотащил меня до дому. За плечами этого отлично вышколенного человека был огромный жизненный опыт.

В зале было пусто. Лишь за одним столиком, как почти всегда, сидел Валентин Гаузер. Мы познакомились на фронте — служили в одной роте. Однажды, преодолев полосу заградительного огня, он принес мне на передний край письмо — думал, что оно от моей матери. Он знал, что я очень жду этого письма, — мать должна была лечь на операцию. Но он ошибся — это была всего лишь реклама подшлемников из какой-то особой ткани. На обратном пути его ранило в ногу.

Вскоре после войны Валентин получил наследство и начал его методически пропивать. Он утверждал, что каждодневно обязан отмечать свое счастье: ведь вышел живым из мясорубки войны. При этом его ничуть не занимало, что война кончилась несколько лет назад. Он часто повторял, что такое везенье сколько не отмечай — все будет мало. Он был одним из тех, кто запомнил войну в мельчайших подробностях. Мы, его товарищи, о многом давно позабыли, он же помнил каждый день, каждый час.

Я сразу заметил, что он уже порядком хлебнул. Всецело поглощенный собой, он с отсутствующим видом сидел в своем углу.

Я приветственно поднял руку.

— Салют, Валентин!

Он глянул на меня и кивнул.

— Салют, Робби!

Мы уселись за столик в другом углу. Подошел бармен.

— Что желаете пить? — спросил он девушку.

— Рюмочку мартини, — ответила она. — Сухого мартини.

— В этом Фред большой специалист, — заявил я.

Фред не мог удержаться от улыбки.

— А мне, пожалуйста, как всегда, — сказал я.

В баре царил полумрак и было прохладно. Пахло пролитым джином и коньяком — терпкий запах, напоминавший ароматы можжевельника и хлеба. Под потолком висела деревянная модель парусника. Стенка за стойкой была обита листами меди. Приглушенный свет люстры переливался в них красными отблесками, словно медь отражала какой-то подземный огонь. В стенах были укреплены чугунные бра. Но только в двух из них — у столика Валентина и у нашего столика — горели лампочки. На бра были надеты прозрачные желтые абажуры, вырезанные из старых пергаментных географических карт и казавшиеся какими-то светящимися фрагментами нашего мира.

Я был слегка смущен и не знал толком, с чего бы начать разговор. Ведь эту девушку я, в общем, совсем не знал, и чем дольше я смотрел на нее, тем более чужой она мне казалась. Уже Бог знает как давно я ни с кем не был вот так вдвоем и просто утратил навык подобного общения. Другое дело контакты с мужчинами — тут у меня было куда больше опыта. Мы с ней встретились в чересчур шумном кафе, а здесь все вокруг показалось мне слишком уж тихим. И в этой тишине каждое слово приобретало настолько большой вес, что разговаривать непринужденно стало невозможно. Мне уже вроде бы захотелось вернуться в то кафе.

Фред принес рюмки. Мы выпили. Ром был крепок и свеж, с каким-то солнечным привкусом. Он как бы служил мне какой-то опорой. Я выпил рюмку прямо при Фреде и сразу отдал ее.

— Вам здесь нравится? — спросил я.

Девушка кивнула.

— Больше, чем в той кондитерской?

— Вообще-то я терпеть не могу кондитерских, — сказала она.

— Тогда почему же мы встретились именно там? — удивленно спросил я.

— Не знаю. — Она сняла с себя берет. — Просто

ничто другое мне не пришло в голову.

— Ну а раз вам здесь нравится, то тем лучше. Мы приходим сюда частенько. По вечерам этот кабачок становится для нас чем-то вроде дома.

Она улыбнулась.

— Это, пожалуй, печально. Или нет?

— Нет, — ответил я. — Сейчас такое время.

Фред принес мне вторую рюмку. Рядом с ней положил зеленую гавану.

— Это вам от господина Гаузера.

Валентин помахал мне из-за своего столика и поднял свою рюмку.

— Робби, тридцать первое июля семнадцатого года, — произнес он тяжелым голосом.

Я кивнул ему и тоже поднял рюмку.

Гаузеру всегда нужно было пить с кем-то или в память о чем-то. Вечерами мне случалось наблюдать его в крестьянском трактире, где он пил, адресуясь к луне или к кусту сирени. Потом он вспоминал какой-нибудь из дней, проведенных в окопах, где мы порой попадали в особенно тяжелый переплет, и преисполнялся чувством благодарности судьбе за то, что он еще существует и может вот так сидеть за столиком.

— Это мой друг, — сказал я девушке. — Фронтовой товарищ. Единственный из знакомых мне

людей, который из великого несчастья создал себе маленькое счастье. Он уже не знает, что делать с собственной жизнью, и поэтому просто радуется тому, что еще живет.

Она задумчиво посмотрела на меня. Косая полоска света освещала ее лоб и губы.

— Все это я очень хорошо понимаю, — сказала она.

Я взглянул на нее.

— Нет, вам этого понимать пока что не следует. Вы еще слишком молоды.

Она улыбнулась легкой, едва заметной улыбкой. Улыбались только глаза. Лицо же ее почти не изменилось, разве что просветлело, засветилось изнутри.

— Слишком молода! — повторила она. — Это только так принято говорить. По-моему, человек никогда не бывает слишком молодым. Напротив, он всегда слишком стар.

С минуту я молчал.

— Тут вам можно бы многое возразить, — сказал я потом и жестом попросил Фреда принести мне еще чего-нибудь.

Девушка вела себя уверенно и естественно. Рядом с ней я чувствовал себя прямо-таки бревном. С каким удовольствием я завел бы легкий, игри-

вый разговор, тот самый настоящий разговор, который, как правило, с опозданием приходит на ум, когда ты снова один-одинешенек. Вот Ленц — тот мастерски вел такие разговоры. У меня же они с самого начала получались неловкими и тяжеловесными.

Готтфрид не без оснований говорил про меня, что как собеседник я нахожусь примерно на уровне самого скромного почтового служащего.

К счастью, Фред был разумным человеком. Вместо прежних наперстков он принес мне сразу большой и полный бокал. Это избавляло его от лишней беготни, и теперь никто уже не мог бы заметить, сколько я пью. А пить мне было необходимо — иначе я бы никак не отделался от этой тягостной скованности.

— Не выпить ли вам еще рюмку мартини? — спросил я девушку.

— А вы-то сами что пьете?

— Это ром.

Она внимательно посмотрела на мой бокал.

— Вы ведь и в прошлый раз пили то же самое.

— Да, — сказал я, — это я пью почти всегда.

Она покачала головой.

— Но разве это вкусно? Не представляю себе.

— Вкусно? Об этом я уже давно не задумыва-

юсь, — сказал я.

— Так зачем же вы это пьете?

— Ром, — сказал я, обрадованный, что нашлась тема, на которую я могу поговорить, — ром, видите ли, и вкус — вещи, почти не связанные между собой. Это уже не просто напиток, а, так сказать, друг. Друг, с которым все становится легче. Друг, изменяющий мир. Поэтому, собственно, и пьют... — Я отодвинул бокал в сторону. — Так заказать вам все-таки еще один мартини?

— Лучше ром, — сказала она. — Хочется и мне хоть разок попробовать его.

— Хорошо, — ответили. — Только не этот. Для начала он слишком крепок. Принеси нам коктейль «Баккарди», — крикнул я Фреду.

Фред принес заказ, добавив к нему тарелку с соленым миндалем и жареными кофейными зернами.

— Оставь здесь всю бутылку, — сказал я.

* * *

Постепенно все стало доступным, все озарилось ярким блеском. Исчезла неуверенность, слова возникали сами собой, и я уже не так внимательно следил за тем, что говорю. Я продолжал пить и чувствовал, как на меня накатывается

огромная и нежная волна, как она подхватывает меня, как этот пустой сумеречный час наполняется образами, как над равнодушными и серыми пространствами бытия призрачной и безмолвной вереницей опять воспарили и потянулись вдаль мечты. Стены бара раздвинулись, и вдруг бар перестал существовать, а вместо него возник какой-то уголок мира, какое-то пристанище, полутемное укрытие, где притаились мы, непостижимо сведенные воедино, занесенные сюда смутным ветром времени. Съежившись, девушка сидела на своем стуле, чужая и таинственная, будто ее прибило сюда с другой стороны жизни. Я слышал свои слова, но мне казалось, что это уже не я, что говорит кто-то другой, человек, которым я хотел бы быть. Мои слова становились неточными, они смещались по смыслу, врывались в пестрые сферы, ничуть не похожие на те, в которых происходили маленькие события моей жизни. Я понимал, что слова мои — неправда, что они перешли в фантазию и ложь, но это меня не тревожило, ибо правда была бесцветной, она никого не утешала, а истинной жизнью были только чувства и отблески мечты…

Медная обшивка полыхала отраженными огнями. Время от времени Валентин поднимал свою

рюмку и бормотал себе под нос какую-то дату. За окнами приглушенно плескалась улица, оглашаемая сигналами клаксонов, похожими на крики хищных птиц. Когда открывалась дверь, улица внезапно становилась шумливой и скандальной, словно крикливая и завистливая старуха.

* * *

Я проводил Патрицию Хольман до ее дома. Уже было темно. Обратно я шел медленным шагом. Вдруг я почувствовал себя одиноким и опустошенным. Сеялся мелкий дождь. Я остановился перед какой-то витриной и лишь теперь почувствовал, что перепил. Хоть я и не качался, но это ощущение было совершенно отчетливым.

Мне стало очень жарко. Я расстегнул пальто и сдвинул шляпу на затылок. Проклятие! Неужто эти капли опять опрокинули меня! Чего я ей только не наболтал! Я даже не решался поточнее разобраться во всем. Да и не помнил я ничего, и это было самым страшным. Теперь, когда я стоял один на холодной улице и мимо с грохотом проносились автобусы, все выглядело совсем по-иному, чем в полумраке бара. Я проклинал себя. Хорошее же впечатление произвел я на эту девушку! Уж она-то, конечно, все заметила.

Сама почти ничего не пила. А при прощании так странно посмотрела на меня…

О, Господи!.. Я круто повернулся и столкнулся с проходившим мимо толстеньким коротышом.

— Это еще что! — злобно рявкнул я.

— Протри глаза, чучело гороховое! — огрызнулся толстяк.

Я вытаращился на него.

— Людей ты, что ли, не видел? — тявкнул он.

Я словно только этого и ждал.

— Людей-то я видел, — сказал я, — но разгуливающую пивную бочку вижу впервые.

Толстяк не полез в карман за словом. Остановившись и разбухая на моих глазах, он процедил сквозь зубы:

— Знаешь что? Пошел бы ты к себе в зоопарк! Мечтательным кенгуру нечего шляться по улицам!

Я понял, что передо мной весьма квалифицированный мастер перебранки. И все-таки, несмотря на всю мою подавленность, я должен был позаботиться о своей чести.

— Топай, топай, псих несчастный, недоносок семимесячный, — сказал я и благословил его жестом.

Но он не внял моим словам.

— Пусть тебе впрыснут бетон в мозги, идиот морщинистый, болван собачий! — продолжал он лаять.

Я обозвал его плоскостопым декадентом; он меня — вылинявшим какаду; я его — безработным мойщиком трупов. Тогда, уже с некоторым уважением, он охарактеризовал меня как бычью голову, пораженную раком, я же его — чтобы окончательно доконать — как ходячее кладбище бифштексов. И вот тут он просиял.

— «Ходячее кладбище бифштексов» — это здорово! — сказал он. — Такого еще не слышал. Включу в свой репертуар! До встречи…

Он вежливо приподнял шляпу, и мы расстались, преисполненные уважения друг к другу.

Эта перепалка несколько освежила меня. Но чувство досады не прошло. Напротив, чем больше я трезвел, тем оно становилось сильней. Я казался себе каким-то выжатым мокрым полотенцем. Постепенно я начинал злиться уже не только на себя, но и на весь мир, в том числе и на эту девушку. Ведь напился-то я из-за нее. Я поднял воротник пальто. Ладно, пусть себе думает, что хочет. Мне все равно. По крайней мере, сразу узнала, с кем имеет дело. Изменить уже ничего нельзя. Может, так оно и к лучшему…

Я вернулся в бар и только теперь напился до зеленых чертиков.

IV

Стало тепло и влажно. Несколько дней кряду шли дожди. А потом небо прояснилось, солнце начало пригревать, и когда в пятницу утром я пришел в мастерскую, то увидел во дворе Матильду Штосс. Она стояла с метлой под мышкой и с лицом впавшего в умиление бегемота.

— Что вы скажете на эту роскошь, господин Локамп? И ведь что ни год — снова и снова этакое чудо!

В изумлении я остановился. Старая слива около бензоколонки расцвела за одну ночь.

Всю зиму она стояла голая и кривая. Мы вешали на нее старые покрышки и насаживали на сучки канистры из-под масла для просушки. Это была просто удобная подставка для всего — от обтирочной ветоши до капотов. Еще несколько дней назад на сливе развевались наши застиранные синие комбинезоны, еще вчера ничего особенного не было заметно, и вдруг, за одну-единственную ночь, дерево, как по волшебству, преобразилось в сплошное розовато-белое мерцающее облако, облако из светлых цветов, словно на наш грязный двор ненароком залетел заблу-

дившийся сонм бабочек…

— А уж запах какой, запах-то!.. — мечтательно произнесла Матильда и блаженно закатила глаза. — Потрясающий запах! Именно так пахнет ваш ром.

Я потянул носом, но никакого запаха рома не услышал. Впрочем, все было ясно.

— Пахнет скорее коньяком для клиентов, — заявил я.

— Видимо, вы простудились, господин Локамп! — энергично возразила она. — Или, может быть, у вас в носу полипы. Теперь полипы почти у всех. Но у старой Штосс нюх, как у гончей, можете не сомневаться. Пахнет именно ромом… выдержанным ромом…

— Хорошо, Матильда…

Я налил ей рюмку рома и затем подошел к бензоколонке. Юпп уже был здесь. Перед ним стояла ржавая консервная банка, в которую он вставил пучок веток в цвету.

— Это еще что? — удивился я.

— Это для дам, — пояснил Юпп. — Если какая-нибудь дама заправляется у нас, я ее премирую такой веточкой. Под это дело я сегодня залил в баки на девяносто литров больше обычного. Так что это дерево стоит золота. Не будь его у нас,

надо было бы поставить вместо него бутафорию.

— А ведь ты, парень, настоящий делец.

Он усмехнулся. Лучи солнца просвечивали сквозь его уши, и они походили на рубиновые церковные витражи.

— Меня уже дважды сфотографировали, — доложил он. — На фоне дерева.

— Вон что! Ты еще станешь кинозвездой, — сказал я и направился к смотровой яме; оттуда, из-под «форда», как раз выбирался Ленц.

— Робби, — сказал он, — ты знаешь, о чем я подумал? Надо бы нам позаботиться о девушке этого Биндинга.

Я посмотрел на него.

— Как это понять?

— Точно так, как я сказал. А чего ты на меня уставился?

— Я на тебя не уставился.

— Не только уставился, но даже вылупился. Между прочим, как ее зовут? Пат… А дальше как?

— Не знаю, — ответил я.

Он выпрямился.

— Как то есть не знаешь? Ты ведь записал ее адрес. Сам видел.

— Потерял бумажку.

— Потерял! — Он запустил две пятерни в заросли своих желтых волос. — Значит вот ради чего я тогда битый час провозился с Биндингом! Потерял!.. Но, может, Отто запомнил адрес.

— Отто его тоже не знает.

Он подозрительно поглядел на меня.

— Жалкий дилетант! Тем хуже для тебя! Неужели ты не понял, какая это чудесная девушка? Господи! — Он взглянул на небо. — В кои-то веки нам попалось что-то стоящее, так эта зануда теряет адрес.

— А мне она не показалась такой уж замечательной.

— А это потому, что ты осел, — ответил Ленц. — Болван, который не понимает ничего, что возвышается над уровнем шлюх из кафе «Интернациональ». Эх ты, пианист! Повторяю: познакомиться с ней — с этой девушкой — просто счастье, особенное, исключительное счастье! Но ты, конечно, ни черта в этом не смыслишь! Ты видел ее глаза? Разумеется, не видел… Все больше в рюмку глядел…

— Да заткнись ты! — прервал я его, потому что этой рюмкой он попал мне прямо в открытую рану.

— А руки, — продолжал он, не обращая на

меня внимания, — тонкие, длинные руки, как у мулатки. Уж в этом-то Готтфрид знает толк, можешь мне поверить. Святой Моисей! Вдруг, нежданно-негаданно встречается девушка что надо — красивая, естественная, а главное — умеющая создать определенную атмосферу… — На мгновение он остановился. — А ты-то вообще понимаешь, что это такое — атмосфера? — добавил он.

— Воздух, который накачивают в баллоны, — угрюмо заявил я.

— Ну конечно! — сказал он с выражением жалости и презрения. — Конечно же, воздух! Атмосфера — это ореол, излучение, тепло, таинственность — все, что одушевляет красоту и делает ее живой… Впрочем, с кем это я говорю… Испарения рома — вот твоя атмосфера…

А теперь перестань, а то как бы я не уронил что-нибудь на твой черепок, — буркнул я.

Но Готтфрид говорил и говорил, и ничего я ему не сделал. Ведь он не знал ничего о том, что произошло, не знал, что каждое его слово задевает меня за живое. Особенно насчет выпивки. Я уже как-то преодолел эти мысли и начал утешаться. А Ленц взворошил во мне все это заново. Он без умолку продолжал расхваливать эту девушку, и

вскоре мне стало казаться, будто я и впрямь безвозвратно потерял что-то редкостно прекрасное.

* * *

Около шести вечера, все еще в расстроенных чувствах, я пошел в кафе «Интернациональ» — мое давнишнее убежище. Ленц лишний раз дал мне это почувствовать. В зале, против моих ожиданий, царило большое оживление. На стойке пестрели блюда с тортами и кексами, а плоскостопый Алоис проковылял мимо меня с большим подносом, уставленным кофейной посудой, и скрылся в заднем коридоре. Я остановился. Почему сегодня кофе подается не в чашках, а в кофейниках? Вероятно, какое-то общество или союз затеяли грандиозную пирушку и, следовательно, под столиками уже валяются упившиеся гости.

Но хозяин кафе объяснил мне, в чем дело. Сегодня в большом отдельном кабинете друзья чествуют Лилли — подружку Розы. Я хлопнул себя по лбу. Как же я мог забыть. Ведь и меня пригласили на это торжество, — единственного из всех мужчин, как мне многозначительно сказала Роза. Гомосексуалиста Кики, который тоже присутствовал, можно было не считать. Я поспешно вышел из кафе и купил букет цветов,

ананас, погремушку и плитку шоколада.

Роза встретила меня с улыбкой великосветской дамы. На ней было черное платье с вырезом, и она царственно восседала во главе стола. Ее золотые зубы сверкали. Я справился о здоровье ее малышки и передал для девочки целлулоидную погремушку и шоколад. Роза просияла от удовольствия.

Ананас и цветы я преподнес Лилли.

— Прими мои самые сердечные поздравления!

— Этот мужчина был и остался кавалером! — сказала Роза. — Робби, сядь, пожалуйста, между Лилли и мною.

Лилли была лучшей подругой Розы. Ей удалось сделать блестящую карьеру — самая недосягаемая мечта любой мелкой проститутки стала для нее явью: она поднялась до уровня «дамы из отеля». «Дама из отеля» не выходит на панель. Она постоянно живет в отеле и здесь же заводит знакомства. Мало кому из проституток удается таков. У них недостаточно богатый гардероб, и им всегда не хватает денег для того, чтобы в ожидании клиентов продержаться какое-то время. Правда, Лилли обитала только в провинциальных гостиницах, но все же с течением лет накопила почти четыре тысячи марок. И вот

теперь она решила выйти замуж. Ее будущий супруг содержал небольшую мастерскую по ремонту водопровода и газовых плит. Про Лилли он знал все, но это его ничуть не волновало. За свое будущее он был вполне спокоен: уж если какая-нибудь из этих девиц выходит замуж, то на такую жену можно положиться. Все они хорошо знали свое ремесло и были им сыты по горло. Из них выходили верные спутницы жизни.

Свадьба Лилли была назначена на понедельник. А сегодня Роза давала в ее честь прощальный кофе. Все девушки пришли, чтобы в последний раз посидеть с подругой. После свадьбы она уже не сможет появляться здесь.

Роза налила мне чашку кофе. Алоис принес огромный кекс, нашпигованный изюмом и посыпанный миндалем и зелеными цукатами. Роза отрезала мне внушительный ломоть. Я сразу же понял, как себя повести. С видом знатока я попробовал кусочек кекса и притворился крайне удивленным.

— Позвольте! Но ведь в магазине этого наверняка не купишь.

— Сама испекла, — с ликующей улыбкой объявила Роза.

В кулинарии она знала толк и любила, когда

это признавали. А уж по части гуляша и кекса с изюмом никто с ней тягаться не мог. Недаром же она была чешкой.

Я оглядел собравшихся. Они сидели вокруг стола, эти поденщицы райских кущ, безошибочно разбиравшиеся в людях, эти солдаты любви, — красотка Валли, у которой недавно во время ночной поездки в машине стащили горжетку из белого песца; одноногая Лина с деревянным протезом, все еще находившая себе партнеров; бедняжка Фрицци, беззаветно любившая плоскостопого Алоиса, хотя уже давным-давно она могла бы иметь собственную квартиру и друга, который содержал бы ее; краснощекая Марго, неизменно щеголявшая в платье горничной, которое привлекало к ней довольно шикарных ухажеров; Марион, самая молодая из всех — улыбчивая и бездумная; Кики, который не числился в мужчинах, ибо всегда носил женскую одежду и красил губы; глубоко несчастная Мими, которой в ее сорок пять лет да еще вдобавок при вздутых венах на ногах становилось все труднее ходить на панель. Было еще несколько незнакомых мне буфетчиц и «застольных дамочек». И, наконец, в роли второго почетного гостя фигурировала маленькая, седенькая и сморщенная, как промо-

роженное яблоко, «мамочка» — доверенное лицо, утешение и опора всех ночных путников: на углу Николаиштрассе, где стоял ее жестяной котел, она содержала забегаловку под открытым небом, торгуя не только горячими колбасками, но также — из-под полы — и сигаретами и интимными резиновыми изделиями; здесь же «мамочка» разменивала деньги, а при необходимости и ссужала ими.

Я отлично знал, что здесь можно и что не дозволено. Ни слова о делах, ни одного неделикатного намека. Надлежало забыть небывалую стойкость Розы, принесшую ей прозвище Железная кобыла, забыть беседы о любви между Фрицци и скототорговцем Стефаном Григоляйтом; забыть предрассветные танцы Кики вокруг корзинки с солеными крендельками… Короче, разговоры за этим столом сделали бы честь даже самому изысканному дамскому обществу.

— Ты все подготовила, Лилли? — спросил я.

Она кивнула.

— Приданым я обзавелась уже давно.

— Чудесное приданое, — сказала Роза. — В нем есть все — вплоть до кружевных накидок.

— А зачем нужны кружевные накидки? — спросил я.

— Ну знаешь ли, Робби! — Роза так укоризненно посмотрела на меня, что я тут же вспомнил, зачем они, и сообщил ей об этом. Сплетенные вручную кружевные накидки для предохранения мебели. Как же, как же! Символ мелкобуржуазного уюта, священный символ брака и потерянного рая. Ведь все эти женщины были проститутками отнюдь не от избытка темперамента. Просто им не удались попытки обеспечить себе добропорядочное бюргерское существование. Их заветной мечтой было брачное ложе, но никак не порок. Впрочем, в этом они никогда бы не признались.

Я сел за пианино. Роза уже давно ждала этого. Как и все уличные женщины, она любила музыку. На прощание я сыграл все песни, которые особенно нравились ей и Лилли. Сперва «Молитву девы». Правда, название не слишком уместное для подобного заведения, но это была бравурная пьеса, громыхливая и пустая. Затем последовали «Вечерняя песня пташки», «Закат в Альпах», «Когда умирает любовь», «Миллионы Арлекина» и в заключение «Вернуться б мне на родину». Это была любимая песня Розы. Проститутки — самые суровые, но вместе с тем и самые сентиментальные создания. Все стройно подпевали. Гомосексуалист Кики пел вторым голосом.

Лилли поднялась — ей нужно было заехать за женихом. Роза сердечно расцеловала ее.

— Всего тебе, Лилли, самого лучшего! Не давай себя в обиду!

Лилли ушла, сгибаясь под тяжестью подарков. Бог его знает почему, но лицо ее совершенно преобразилось. Исчезли жесткие черты, присущие каждому, кто сталкивался с человеческой подлостью. Выражение ее лица стало мягче, и в нем вновь проступило что-то девичье.

Мы вышли на тротуар и махали ей вслед. И вдруг ни с того ни с сего Мими разревелась. Когда-то и она была замужем. Ее муж умер на войне от воспаления легких. Погибни он в бою, она получала бы за него небольшую пенсию и была бы избавлена от панели.

Роза похлопала ее по спине.

— Сейчас же брось, Мими! Нечего нюни распускать! Пойдем выпьем еще по чашечке кофе.

Все общество вернулось в полумрак «Интернационаля», словно куры на насест. Хорошего настроения как не бывало.

— Робби, сыграй на прощание еще что-нибудь, — попросила Роза. — Подбодри нас.

— Хорошо, — согласился я. — Давайте-ка долбанем «Марш старых товарищей».

Затем откланялся и я. Роза сунула мне кулек с пирожными. Я подарил их сыну «мамочки», который, как и во всякий вечер, устанавливал на тротуаре котел с колбасками.

* * *

Я задумался — чем бы заняться. Идти в бар мне определенно не хотелось. В кино — тоже нет. Разве что пойти в мастерскую? В нерешительности я посмотрел на часы. Было восемь. Кестер, вероятно, был уже там. В его присутствии Ленц не посмеет опять бесконечно болтать про эту девушку. Я пошел в мастерскую.

В ней горел свет. И не только в помещении — весь двор был ярко освещен. Кроме Кестера, не было никого.

— Что тут происходит, Отто? — спросил я. — Уж не продал ли ты «кадиллак»?

Кестер рассмеялся.

— Нет. Просто Готтфрид устроил небольшую иллюминацию.

Обе фары «кадиллака» были включены. Машина стояла так, что снопы света через окно падали прямо на сливу в цвету. Какая-то удивительно яркая меловая белизна. А черный мрак по обе стороны дерева, казалось, шумит, как море.

— Фантастика! — сказал я. — А где Ленц?

— Пошел купить чего-нибудь поесть.

— Блестящая идея, — сказал я. — Что-то у меня вроде как ветер в голове. Но, возможно, это просто голод.

Кестер кивнул.

— Поесть — всегда хорошо. В этом основной закон всех старых вояк. Знаешь, и у меня сегодня, кажется, ветер гулял в голове — я записал «Карла» на гонки.

— Что? — спросил я. — Уж не на шестое ли число?

Он кивнул.

— Ничего себе, Отто! Но там ведь будут самые что ни на есть асы.

Он снова кивнул.

— По классу спортивных машин выступает Браумюллер.

Я принялся засучивать рукава.

— Ну, коли так, Отто, то за дело! Выкупаем нашего любимца в масле.

— Стоп! — крикнул только что вошедший последний романтик. — Сперва сами подзаправимся.

Он развернул свертки с ужином: сыр, хлеб, твердокаменная копченая колбаса и шпроты. Все

это мы запивали отлично охлажденным пивом. Ели мы так, словно от зари до зари молотили цепами зерно. Потом взялись за «Карла». Работали два часа, все проверили и отрегулировали, смазали подшипники. Вслед за этим Ленц и я поужинали вторично. Готтфрид включил свет и на «форде». При аварии одна его фара уцелела. И теперь, укрепленная на выгнутом кверху шасси, она испускала косой луч света куда-то в небо.

Вполне удовлетворенный, Ленц повернулся к нам.

— Ну вот! А теперь, Робби, достань-ка бутылки. Давайте отметим «Праздник цветущего дерева»!

Я поставил на стол коньяк, джин и два бокала.

— А ты? — спросил Готтфрид.

— Я пить не буду.

— Что?! Почему не будешь?

— Потому что пропала у меня охота продолжать это чертово пьянство!

Ленц пристально посмотрел на меня.

— Отто, наш ребеночек свихнулся, — сказал он Кестеру.

— Оставь его в покое. Не хочет — не надо, — ответил Кестер.

Ленц налил себе полный бокал.

— Вообще у этого мальчика с некоторых пор

пошли завихрения.

— Это еще не самое худшее, — заявил я.

Над крышей фабрики напротив нас взошла большая красная луна. Некоторое время мы сидели молча.

— Скажи мне, Готтфрид, — заговорил я затем, — ведь ты специалист по части любовных дел, не так ли?

— Специалист? Нет, я классик любви, — скромно ответил Ленц.

— Хорошо. Я хотел бы знать, всегда ли влюбленный человек ведет себя по-идиотски?

— То есть как это по-идиотски?

— Ну, в общем так, как будто он полупьян. Болтает невесть что, несет всякую чепуху, да еще и врет.

Ленц расхохотался.

— Что ты, детка! Ведь любовь — это же сплошной обман. Чудесный обман со стороны матушки-природы. Взгляни на это сливовое дерево! И оно сейчас обманывает тебя: выглядит куда красивее, чем окажется потом. Было бы просто ужасно, если бы любовь имела хоть какое-то отношение к правде. Слава Богу, что растреклятые моралисты не властны над всем.

Я встал.

— Так, по-твоему, без некоторого жульничества это дело вообще невозможно?

— Да, детонька моя! Вообще невозможно!

— Но ведь тогда можно попасть в глупейшее положение.

Ленц усмехнулся.

— Запомни одну вещь, мальчик: никогда, никогда и еще раз никогда ты не окажешься смешным в глазах женщины, если сделаешь что-то ради нее. Пусть это даже будет самым дурацким фарсом. Делай все, что хочешь, — стой на голове, неси околесицу, хвастай, как павлин, пой под ее окном. Не делай лишь одного — не будь с ней рассудочным.

Я оживился:

— А ты что скажешь, Отто?

Кестер рассмеялся:

— Пожалуй, все это так и есть.

Он встал и поднял капот «Карла». Я достал бутылку рома, еще один бокал и поставил их на стол. Отто включил зажигание, нажал на кнопку стартера, и двигатель зачавкал — утробно и сдержанно. Ленц, положив ноги на подоконник, глядел в окно. Я подсел к нему.

— Тебе когда-нибудь случалось быть пьяным в обществе женщины?

— Часто случалось, — не пошевельнувшись ответил он.

— Ну и как?

Он искоса посмотрел на меня.

— Ты хочешь знать, как быть, если ты сделал что-то не так? Отвечаю, детка: никогда не проси прощения. Ничего не говори. Посылай цветы. Без писем. Только цветы. Они покрывают все. Даже могилы.

Я посмотрел на него. Он оставался неподвижным. В его блестящих глазах отражался белый свет автомобилей. Двигатель все еще работал. Он тихонько погромыхивал, точно под ним содрогалась земля.

— Вот теперь я могу спокойно выпить чего-нибудь, — сказал я и откупорил бутылку.

Кестер заглушил двигатель. Затем обратился к Ленцу:

— Сегодня луна светит достаточно ярко, чтобы можно было найти стакан. Верно, Готтфрид? А ну-ка выключи свою иллюминацию. Особенно на «форде». Этот косой луч напоминает мне прожекторы времен войны. Когда ночью эти штуки начинали нашаривать мой самолет, мне было совсем не до шуток.

Ленц кивнул.

— А мне он напоминает… Впрочем, не все ли равно…

Он встал и выключил фары.

Луна поднялась высоко над фабричной крышей. Она все больше светлела и теперь казалась желтым лампионом, повисшим меж ветвей сливы. Ветви, колеблемые слабым ветерком, тихо качались.

— Все-таки странно, — сказал Ленц после паузы, — почему принято ставить памятники всевозможным людям?.. А почему бы не поставить памятник луне или дереву в цвету?..

* * *

Я рано вернулся домой. Открыв дверь в коридор, услышал музыку. Играл патефон Эрны Бениг — личной секретарши. По коридору плыл тихий и прозрачный женский голос. Потом пошла перекличка скрипок под сурдинку с пиччикато на банджо. И опять этот голос, проникновенный, нежный, будто переполненный счастьем. Я вслушался, пытаясь разобрать слова. Тихое пение женщины звучало удивительно трогательно в этом темном коридоре, где я стоял между швейной машиной фрау Бендер и чемоданами супругов Хассе. Я увидел кабанью голову над

входом в кухню, где служанка гремела посудой.

«И как же могла я жить без тебя?..» — пел голос в нескольких шагах от меня, там, за дверью.

Я пожал плечами и пошел к себе в комнату.

За стеной снова разгорелась свара. Через несколько минут ко мне постучался и вошел Хассе.

— Я не мешаю вам? — устало спросил он.

— Ничуть, — ответил я. — Хотите что-нибудь выпить?

— Лучше не надо. Только немного посижу у вас.

Он тупо уставился в пол.

— Вам хорошо, — сказал он. — Вы живете один…

— Ну что за ерунда! — возразил я. — Вечно торчать одному тоже не дело… Уж поверьте мне…

Чуть сгорбившись, он сидел в кресле. Его глаза казались стеклянными — в них отражался проникавший в полумрак комнаты свет уличного фонаря. Я смотрел на его узкие, покатые плечи.

— Я представлял себе жизнь совсем по-другому, — проговорил он после долгого молчания.

— Это со всеми так…

Через полчаса он решил пойти мириться с женой. Я дал ему несколько газет и полбутылки

ликера «кюрасо». Ему это приторно-сладкое пойло должно было подойти — в напитках он ничего не смыслил. Тихо, почти неслышно вышел он от меня. Тень от тени, будто и вправду уже угас. Из коридора пестрым шелковым тряпьем ворвались обрывки музыки… скрипки, приглушенные банджо… «И как же могла я жить без тебя…»

Я запер за ним дверь и уселся у окна. Кладбище было залито голубым сиянием луны. Пестрые контуры световой рекламы взметались до крон деревьев. На темной земле выделялись могильные плиты. Безмолвные, они не внушали страха. Вплотную к ним, сигналя, проезжали автомобили, и свет их фар скользил по выветрившимся надгробным надписям.

Я просидел довольно долго, размышляя о всякой всячине. В частности, о том, как в свое время мы вернулись с фронта, молодые, ни во что не верящие, словно шахтеры, выбравшиеся на поверхность из обвалившейся шахты. Нам хотелось ринуться в поход против лжи, эгоизма, алчности, душевной косности — против всего, что вынудило нас пройти через войну. Мы были суровы и могли верить только близкому товарищу или таким вещам, которые никогда нас не подводили, — небу, табаку, деревьям, хлебу и земле. Но

что же из всего этого получилось? Все распадалось, пропитывалось фальшью и забывалось. А если ты не умел забывать, то тебе оставались только бессилие, отчаяние, равнодушие и водка. Ушло в прошлое время великих человеческих и даже чисто мужских мечтаний. Торжествовали дельцы. Продажность. Нищета.

* * *

«Вам хорошо, вы одиноки», — сказал мне Хассе. Все это, конечно, так — одинокий человек не может быть покинут. Но иногда по вечерам эти искусственные построения разлетались в прах, а жизнь превращалась в какую-то всхлипывающую, мечущуюся мелодию, в водоворот дикого томления, желания, тоски и надежды все-таки вырваться из бессмысленного самоодурманивания, из бессмысленных в своей монотонности звуков этой вечной шарманки. Неважно куда, но лишь бы вырваться. О, эта жалкая потребность человека в крупице тепла. И разве этим теплом не могут быть пара рук и склоненное над тобой лицо? Или и это было бы самообманом, покорностью судьбе, бегством? Да и разве вообще существует что-то, кроме одиночества?

Я закрыл окно. Нет, ничего другого нет. Для все-

го остального у человека слишком мало почвы под ногами.

Однако утром я встал пораньше и, прежде чем пойти в мастерскую, постучал в дверь владельца небольшой цветочной лавки. Там я подобрал букет роз и попросил отправить их без промедлений. Я чувствовал себя довольно странно, когда медленно выводил на карточке адрес и имя: Патриция Хольман.

V

Кестер надел свой самый старый костюм и поехал в финансовое управление. Он хотел добиться снижения наших налогов. В мастерской остались Ленц и я.

— Готтфрид, — сказал я, — ну-ка давай приналяжем на толстый «кадиллак».

Накануне в вечерней газете появилось наше объявление, и, следовательно, уже сегодня мы могли рассчитывать на покупателей, буде таковые вообще окажутся. Так или иначе надо было подготовить машину.

Сначала мы обработали все лакированные поверхности водой. «Кадиллак» засверкал как никогда и прямо на глазах подорожал на добрую сотню марок. Затем мы залили в мотор самое густое из всех возможных масел. Поршни были уже далеко не первоклассными и слегка постукивали. Вязкое масло компенсировало этот дефект, и мотор работал удивительно спокойно и ровно. Коробку скоростей и задний мост мы тоже заправили густой смазкой, чтобы и они вели себя бесшумно.

Потом решили проверить все на ходу — побли-

зости была сильно разбитая дорога. Мы прошли по ней на скорости пятьдесят километров. Кузов кое-где побрякивал. Мы снизили давление в баллонах на четверть атмосферы и повторили проверку. Дело пошло лучше. Выпустили еще четверть атмосферы. Все посторонние звуки исчезли.

Мы вернулись в мастерскую, смазали скрипучий шарнир капота, вложили в него резиновую прокладку, залили в радиатор горячую воду, чтобы двигатель завелся с полуоборота, и обрызгали низ машины из керосинового распылителя, чтобы и здесь все блестело. После всего этого Ленц воздел руки к небу:

— Так явись же нам, о благословенный покупатель.

Приди, о милый обладатель туго набитого бумажника! Мы ждем не дождемся тебя, как жених невесту.

* * *

Однако невеста не спешила. Поэтому мы вкатили на яму бензиновую тарахтелку булочника и начали демонтировать переднюю ось... Часа полтора-два мы спокойно работали и почти не разговаривали. Вдруг Юпп, стоявший у бензоко-

лонки, стал насвистывать мелодию песенки «Чу! Кого сюда несет?..»

Я вылез из ямы и посмотрел в окно. Какой-то невысокий, коренастый мужчина ходил вокруг «кадиллака». С виду это был вполне солидный буржуа.

— Глянь-ка, Готтфрид, — шепотом сказал я. — Уж не невеста ли это?

— Безусловно! — заявил Ленц, едва взглянув на пришельца. — Но ты посмотри на его лицо. Еще никто с ним слова не сказал, а он уже полон недоверия. Пойди схлестнись с ним. Я остаюсь в резерве. Подключусь, если у тебя ничего не выйдет. И не забывай про хитрости, которым я тебя учил.

— Ладно. — Я вышел во двор.

Мужчина смотрел на меня умными черными глазами.

— Локамп, — представился я.

— Блюменталь.

Обязательно представиться — такова была первая хитрость Готтфрида. Он утверждал, что это сразу же создает более интимную атмосферу. Вторая хитрость сводилась к тому, чтобы начинать разговор предельно сдержанно, по возможности раскусить характер покупателя и в нужный мо-

мент нанести удар по его слабому месту.

— Вы пришли насчет «кадиллака», господин Блюменталь? — спросил я.

Блюменталь кивнул.

— А вот он стоит, — я указал рукой на машину.

— Это я и так вижу, — откликнулся Блюменталь.

Я окинул его быстрым взглядом. «Осторожно! — сказал я себе. — Он и сам хитер».

Мы пересекли двор. Я распахнул дверцу машины и запустил мотор. Я молчал, чтобы не мешать ему подробно осмотреть все. Он, несомненно, начнет что-нибудь критиковать, и тогда я перейду в контратаку.

Но Блюменталь ничего не осматривал. И ничего не критиковал. Он тоже молчал и стоял передо мной, как истукан. Мне оставалось только одно — заговорить первому.

Медленно и детально я начал описывать «кадиллак» — так, вероятно, мать говорит о любимом ребенке. При этом я пытался выяснить, смыслит ли этот человек хоть что-нибудь в автомобилях. Если он знаток, то нужно побольше расписывать двигатель и шасси, а если он в технике не разбирается, то следует упирать на удобства езды и всякие финтифлюшки.

Но и теперь он не выдавал себя ничем, предоставляя говорить мне одному. Мне начало казаться, будто я разбухаю, как воздушный шар.

— Зачем вам нужна машина? Для города или для путешествий? — спросил я наконец, надеясь все-таки сдвинуть разговор с мертвой точки.

— Смотря по обстоятельствам.

— Понимаю! Вы намерены водить сами или пользоваться услугами шофера?

— И то, и другое.

И то, и другое! Он отвечал мне, как попугай. Видимо, он принадлежал к ордену монахов, давших обет молчания.

Чтобы как-то оживить его, я решил заставить его самостоятельно проверить что-нибудь. В этом случае клиенты обычно делались более разговорчивыми. Иначе, подумал я, он вот-вот заснет.

— Прекрасно функционирует откидной скользящий верх. Обслуживать его исключительно легко, особенно если учесть крупные габариты этого кабриолета, — сказал я. — Попробуйте закрыть его. Достаточно усилия одной руки…

Но Блюменталь сказал, что делать это ни к чему. Мол, и так видно. Я с треском открыл и захлопнул дверки, подергал за ручки.

— Ничто не разболтано. Все прочно и надежно.

Проверьте сами.

Блюменталь снова отказался от проверки. Он полагал, что иначе и быть не может. Ну и орешек попался мне!

Я продемонстрировал ему работу стеклоподъемников.

— Ручки вы крутите прямо-таки играючи. Стекла фиксируются в любом положении.

Он не пошевельнулся.

— К тому же стекла небьющиеся, — уже впадая в отчаяние продолжал я. — Это неоценимое преимущество! Вон там, в мастерской, стоит «форд»... — Я приукрасил историю про гибель жены булочника, добавив еще одну жертву — ребенка, хотя тот не успел родиться.

Но прошибить Блюменталя было не легче, чем взломать сейф.

— Небьющееся стекло ставят на все машины, — прервал он меня. — Ничего особенного в этом нет.

— Небьющееся стекло не относится к серийному оборудованию, — возразил я мягко, но решительно. — Разве что лобовое стекло на некоторых моделях. Но никоим образом не боковые стекла.

Я нажал на кнопку в середине руля — оба

клаксона взревели. Затем перешел к описанию комфорта, говорил про багажники, сиденья, боковые карманы, панель с приборами. Я даже включил прикуриватель и, пользуясь случаем, предложил Блюменталю сигарету, рассчитывая с ее помощью хоть чуточку умилостивить его. Но он отказался.

— Спасибо, я не курю, — сказал он и посмотрел на меня с таким скучающим видом, что вдруг мне подумалось: может, он вообще не намеревался идти сюда, а зашел по ошибке — заблудился; может, ему нужно было купить что-то совсем другое — машину для обметывания петель или радиоприемник; может, в силу врожденной нерешительности он еще немного потопчется на месте, а потом двинет дальше.

— Давайте, господин Блюменталь, сделаем пробную поездку, — наконец предложил я, чувствуя, что уже порядком выдохся.

— Пробную поездку? — переспросил он, явно не понимая, о чем речь.

— Ну да, пробную поездку. Должны же вы сами убедиться в высоких ходовых качествах этой машины. На улице или на шоссе она устойчива, как доска. Идет как по рельсам. А как приемиста — будто это не тяжелый кабриолет, а пушинка…

— Ах, уж мне эти пробные поездки… — сказал он, пренебрежительно махнув рукой. — Пробные поездки ни о чем не говорят. Недостатки автомобиля всегда выявляются только впоследствии.

«Конечно, впоследствии, дьявол ты чугунный! — с досадой подумал я. — Не ожидаешь ли ты, что я тебя ткну носом во все дефекты?»

— Что ж, ладно. Нет так нет, — сказал я, утратив всякую надежду на успех. Мне стало ясно, что он не собирается покупать машину.

Но тут он внезапно повернулся, посмотрел на меня в упор и тихо, резко и очень быстро спросил:

— Сколько стоит эта машина?

— Семь тысяч марок, — ответил я, не моргнув глазом, словно выпалил из пулемета. Ни в коем случае он не должен был заметить, что я не уверен в цене. Это я хорошо понимал. Каждая секунда колебания могла бы встать нам в тысячу марок, которую он выторговал бы в свою пользу.

— Семь тысяч марок, нетто, — твердо повторил я, а сам подумал: «Предложи мне пять, и машина твоя».

Но Блюменталь ничего не предложил.

— Слишком дорого! — коротко выдохнул он.

— Конечно! — сказал я и решил, что оконча-

тельно проиграл.

— Почему вы сказали «конечно»? — спросил Блюменталь, впервые довольно человечным тоном.

— Господин Блюменталь, — ответил я, — встречали ли вы в наше время хоть кого-нибудь, кто реагирует иначе на цену?

Он внимательно посмотрел на меня. Затем на его лице мелькнуло подобие улыбки.

— Вы правы. Но машина действительно слишком дорога.

Я не верил ушам своим. Вот он наконец-то, настоящий тон! Тон заинтересованного человека! Или то был опять какой-нибудь коварный ход?

В это мгновение в воротах появился щегольски одетый господин. Он достал из кармана газету, проверил по ней номер нашего дома и подошел ко мне.

— Здесь продается «кадиллак»?

Я кивнул и, не в силах сказать что-либо, смотрел на желтую бамбуковую трость и замшевые перчатки этого франта.

— Можно посмотреть? — снова спросил он, и ни один мускул не дрогнул на его лице.

— Да вот же он, — с трудом выговорил я. — Но прошу вас подождать... Я еще не освободился...

Не угодно ли посидеть вот там?

Франт с минуту прислушивался к гудению мотора и состроил сперва критическую, а затем одобрительную гримасу. Потом я проводил его в мастерскую.

— Идиот! — прошипел я ему в лицо и быстро вернулся к Блюменталю.

— Если вы прокатитесь в этой машине, ваше отношение к цене наверняка изменится, — сказал я. — Вы вольны испытывать ее сколько пожелаете. Или, быть может, вам удобнее, чтобы я заехал за вами вечером? Пожалуйста. Тогда и покатаемся.

Но порыв уже угас. Блюменталь вновь стоял передо мной, как гранитный монумент какому-нибудь председателю певческого общества.

— Ну хватит, — сказал он. — Я должен идти. А захочу совершить пробную поездку, то еще успею позвонить вам.

Я понял, что пока сделать ничего нельзя. Этот человек уговорам не поддавался.

— Хорошо, — заявил я, — но не записать ли мне ваш телефон, чтобы известить вас, если появится другой претендент?

Блюменталь как-то странно посмотрел на меня:

— Претендент еще не покупатель.

Он достал кожаный кисет с сигарами и протянул его мне. Выяснилось, что он все-таки курит. Да еще такие дорогие сигары, как «Корона-Корона». Значит, денег у него навалом. Но мне все это уже было безразлично. Я взял сигару.

Он дружелюбно пожал мне руку и ушел. Я глядел ему вслед и тихо, но выразительно ругал его. Затем вернулся в мастерскую.

— Ну как? — приветствовал меня сидевший там франт — Готтфрид Ленц. — Здорово это я, правда? Вижу мучаешься — вот и решил немного помочь тебе. Счастье, что перед поездкой насчет налогов Отто переоделся здесь. Смотрю — на плечиках висит его выходной костюм. Я в момент переоделся, пулей вылетел в окно, а обратно вернулся как серьезный покупатель! Здорово, верно?

— Не здорово, а по-идиотски, — ответил я. — Этот тип хитрее нас с тобой вместе взятых! Посмотри на сигару! Полторы марки за штуку! Ты спугнул миллиардера.

Готтфрид взял у меня сигару, обнюхал ее и закурил.

— Я спугнул жулика. Миллиардеры таких сигар не курят. А курят они те, что продают в россыпь по десять пфеннигов.

— Чушь болтаешь, — ответил я. — Жулик не назвал бы себя Блюменталем. Жулик представился бы как граф фон Блюменау или что-нибудь в этом роде.

— Этот человек вернется, — со свойственным ему оптимизмом заметил Ленц и выпустил дым своей сигары мне же в лицо.

— Этот не вернется, — убежденно сказал я. — Но скажи, где ты раздобыл бамбуковую дубинку и эти перчатки?

— Одолжил. Напротив, в магазине «Бенн и компания». Я там знаком с продавщицей. Трость, может быть, даже оставлю себе насовсем. Она мне нравится.

Довольный собой, он стал быстро вертеть в воздухе эту толстую палку.

— Готтфрид, — сказал я. — В тебе явно пропадает талант. Пошел бы ты в варьете, на эстраду — вот где твое место!

* * *

— Вам звонили, — сказала мне Фрида, косоглазая служанка фрау Залевски, когда в полдень я ненадолго забежал домой.

Я обернулся.

— Когда звонили?

— С полчаса назад. Какая-то дама.

— А что она сказала?

— Что вечером позвонит снова. Но я ей сразу объяснила, что большого смысла в этом нет. Что по вечерам вы никогда не бываете дома.

Я уставился на нее.

— Что?! Вот прямо так и сказали? Господи, хоть бы кто-нибудь научил вас разговаривать по телефону.

— Я и так умею разговаривать по телефону, — флегматично проговорила Фрида. — А по вечерам вы действительно почти никогда не бываете дома.

— Но ведь вас это ничуть не касается, — раскипятился я. — В следующий раз вы еще, чего доброго, расскажете, какие у меня носки — дырявые или целые.

— И расскажу! — огрызнулась Фрида, злобно пялясь на меня красными воспаленными глазами. Мы с ней издавна враждовали.

Охотнее всего я сунул бы ее башкой в кастрюлю с супом, но совладал с собой, нашарил в кармане марку, ткнул ее Фриде в руку и уже примирительно спросил:

— А эта дама не назвала себя?

— Не назвала, — ответила Фрида.

— А какой у нее был голос? Чуть глуховатый и низкий, да? Вообще такой, как будто она простудилась и охрипла, да?

— Не припомню, — заявила Фрида с такой флегмой, словно и не получила от меня только что целую марку.

— Очень красивенькое у вас колечко на пальце, прямо очаровательное, — сказал я. — А теперь подумайте повнимательнее, может, все-таки припомните.

— Не припомню, — ответила Фрида, и лицо ее так и светилось злорадством.

— Тогда возьми и повесься, чертова кукла! — процедил я сквозь зубы и пошел не оглядываясь.

* * *

Ровно в шесть вечера я пришел домой. Открыв дверь, я увидел непривычную картину. В коридоре стояла фрау Бендер, медсестра по уходу за младенцами, в окружении всех дам нашего пансиона.

— Подойдите к нам, — сказала мне фрау Залевски.

Причиной сбора был сплошь украшенный бантами ребеночек в возрасте примерно полугода. Фрау Бендер привезла его в детской коляске.

Это было вполне нормальное дитя; но женщины склонились над ним с выражением такого безумного восторга, будто перед ними оказался первый младенец, народившийся на свет Божий. Они издавали звуки, напоминающие кудахтанье, прищелкивали пальцами перед глазами этого крохотного создания, вытягивали губы трубочкой. Даже Эрна Бениг в своем кимоно с драконами и та вовлеклась в эту оргию платонического материнства.

— Ну разве он не прелесть? — спросила меня фрау Залевски; ее лицо расплылось от умиления.

— Правильно ответить на ваш вопрос можно будет только лет через двадцать — тридцать, — сказал я и покосился на телефон. Только бы мне не позвонили теперь, когда все тут собрались.

— Нет, вы как следует вглядитесь в него, — требовательно обратилась ко мне фрау Хассе.

Я вгляделся. Младенец как младенец. Ничего особенного я в нем обнаружить не мог. Разве что страшно маленькие ручонки. Было странно подумать, что когда-то и я был таким крохотным.

— Бедненький, — сказал я. — Ведь совсем не представляет себе, что его ждет. Хотел бы я знать, к какой войне он поспеет.

— Как злобно! — воскликнула фрау Залев-

ски. — Неужели вы настолько бесчувственный человек?

— Напротив, — возразил я, — чувств у меня хоть отбавляй, иначе эта мысль просто не пришла бы мне в голову.

С этим я ретировался к себе в комнату.

Через десять минут раздался телефонный звонок. Услышав свое имя, я вышел в коридор. Конечно, все общество еще было там! Дамы и не подумали разойтись, когда я приложил трубку к уху и услышал голос Патриции Хольман, благодарившей меня за цветы. И вдруг младенец, сытый по горло этим сюсюканьем и кривляньем и, видимо, самый разумный из всех, огласил коридор душераздирающим ревом.

— Извините, — с отчаяньем проговорил я в телефон, — тут разбушевался один младенец, но он не мой.

Дамы шипели, словно клубок гигантских змей, — так они пытались утихомирить разоравшегося сосунка. Только сейчас я заметил, что младенец и в самом деле особенный: его легкие, вероятно, простирались до бедер — иначе нельзя было объяснить просто-таки оглушительную громкость его голоса. Я оказался в трудном положении; с бешенством глядел на моих соседок,

охваченных неодолимым комплексом материнства, и одновременно пытался произносить в трубку приветливые слова. От пробора до кончика носа я был сама гроза, а от носа до подбородка — мирным пейзажем под весенним солнышком. Я так и не понял, каким образом, несмотря ни на что, я ухитрился назначить ей свидание на следующий вечер.

— Вам бы следовало поставить здесь звуконепроницаемую телефонную будку, — сказал я фрау Залевски.

— А зачем? Разве у вас так много секретов? — не растерявшись отпарировала она.

Я промолчал и убрался восвояси. Не следует затевать ссоры с женщиной, в которой пробудились материнские чувства. На ее стороне вся мораль мира.

* * *

Мы договорились встретиться вечером у Готтфрида. Закусив в небольшом ресторане, я отправился к нему. По пути зашел в один из самых дорогих магазинов мужских мод и купил себе роскошный галстук. Мне казалось странным, что все прошло так гладко, и я дал себе слово быть на следующий день не менее серьезным, чем,

скажем, генеральный директор погребальной конторы.

Жилище Готтфрида мы считали своего рода достопримечательностью. Оно было сплошь увешано сувенирами, собранными им во время скитаний по Южной Америке. Пестрые циновки на стенах, несколько масок, засушенный человеческий череп, причудливые глиняные горшки, копья и — самое главное — великолепная коллекция фотографий, занимавшая целую стену. Со снимков на вас смотрели юные индианки и креолки — красивые, смуглые и гибкие девушки, непостижимо очаровательные и непринужденные.

Кроме Ленца и Кестера здесь были Браумюллер и Грау. Тео Браумюллер, человек с загорелой, медноцветной плешью, примостившись на спинке дивана, восторженно разглядывал фотографическую коллекцию Готтфрида. Гонщик одной автомобильной фирмы, он уже давно дружил с Кестером. Шестого числа ему предстояло участвовать в гонке, на которую Отто записал «Карла».

Грузный, расплывшийся и довольно сильно подвыпивший Фердинанд Грау сидел за столом. Он сгреб меня своей здоровенной лапой и прижал к себе.

— Робби, — пробасил он, — ты-то зачем здесь, среди нас — потерянных людей? Нечего тебе тут делать. Уходи отсюда! Спасайся! Ты еще не погиб!

Я посмотрел на Ленца. Он подмигнул мне.

— Фердинанд здорово наклюкался. Уже второй день он пропивает чью-то дорогую покойницу. Продал ее портрет и сразу получил гонорар.

Фердинанд Грау был художником. Он давно околел бы с голода, если бы не его особая специализация: по заказам благочестивых родственников он писал с фотографий умерших замечательные по сходству портреты. Этим он жил, и совсем неплохо. Но его отличные пейзажи не покупал никто. Может, поэтому в словах Фердинанда всегда слышался оттенок пессимизма.

— На сей раз, Робби, это был владелец трактира, — сказал он. — Трактирщик, который получил наследство от тетки, торговавшей оливковым маслом и уксусом. — Его передернуло. — Просто ужасно!

— Послушай, Фердинанд, — вмешался Ленц, — зачем такие сильные выражения? Разве тебя не кормит самое прекрасное из человеческих качеств — благочестие?

— Ерунда! — возразил Грау. — Кормлюсь я за

счет того, что у людей иногда пробуждается сознание собственной вины. А благочестие — это как раз и есть сознание своей вины. Человеку хочется оправдаться перед самим собой за то, что он причинил или пожелал тому или другому дорогому покойнику. — Он медленно провел ладонью по разгоряченному лицу. — Ты и не подозреваешь, сколько раз мой трактирщик желал своей тетушке сыграть в ящик. Зато теперь он заказывает ее портрет в самых изысканных тонах и вешает этот портрет над диваном. Так она ему больше нравится. Благочестие! Обычно человек вспоминает о своих добрых свойствах, когда уже слишком поздно. Но он все равно растроган — вот, мол, каким благородным мог бы я быть. Он умилен, кажется себе добродетельным. Добродетель, доброта, благородство, — он махнул своей огромной ручищей, — пусть все это будет у других. Тогда их легче обвести вокруг пальца.

Ленц усмехнулся.

— Ты расшатываешь устои человеческого общества, Фердинанд!

— Стяжательство, страх и продажность — вот устои человеческого общества, — ответил Грау. — Человек зол, но он любит добро… когда его творят другие… — Он протянул Ленцу свой стакан. —

Вот, а теперь налей мне и перестань болтать. Дай и другим вставить словечко.

Я перелез через диван к Кестеру. Меня внезапно осенило.

— Отто, сделай мне одолжение. Завтра вечером мне понадобится «кадиллак».

Браумюллер оторвался от фотографии почти совсем обнаженной креольской танцовщицы, которую уже давно и усердно сверлил взглядом.

— Ты что — научился поворачивать направо и налево? До сих пор мне казалось, что ты можешь ехать только прямо, да и то если кто-то ведет машину вместо тебя.

— Ты, Тео, помалкивай, — возразил я. — На гонках шестого числа мы сделаем из тебя котлету.

От хохота Браумюллер начал кудахтать.

— Так как же, Отто? — взволнованно спросил я.

— Машина не застрахована, Робби, — сказал Кестер.

— Я буду ползти, как улитка, и сигналить, как междугородный автобус. Проеду всего лишь несколько километров по городу.

Полуприкрыв глаза, Отто улыбнулся.

— Ладно, Робби, изволь.

— Скажи, а машина тебе понадобилась к ново-

му галстуку, не так ли? — спросил подошедший к нам Ленц.

— Заткнись, — сказал я и отодвинул его.

Он не отставал.

— Ну-ка, детка, покажи галстучек! — Он потрогал шелк галстука. — Великолепно. Наш ребеночек в роли жиголо — наемного танцора. Ты, видать, собрался на смотрины.

— Сегодня тебе меня не обидеть. Молчал бы! Тоже мне фокусник-трансформатор!

Фердинанд Грау поднял голову.

— Говоришь, собрался на смотрины? А почему бы и нет! — Он заметно оживился. — Так и сделай, Робби. Это тебе вполне подходит. Для любви нужна известная наивность. Она тебе свойственна. Сохрани ее и впредь. Это поистине дар Божий. А лишишься его — никогда не вернешь.

— Не принимай это слишком близко к сердцу, — ухмыльнулся Ленц. — Родиться дураком не позор. А вот умереть дураком — стыдно.

— Ни слова больше, Готтфрид. — Движением своей могучей руки Грау отмел его в сторону. — Не о тебе разговор, несчастный романтик с задворок. О тебе никто не пожалеет.

— Валяй, Фердинанд, выговорись, — сказал Ленц. — Выговориться — значит облегчить свою

душу.

— Ты вообще лодырь, — заявил Грау. — Да еще высокопарный.

— Все мы такие, — улыбнулся Ленц. — Все живем в долг и питаемся иллюзиями.

— Вот это точно, — сказал Грау и по очереди оглядел нас из-под своих кустистых бровей. — Питаемся иллюзиями из прошлого, а долги делаем в счет будущего. — Потом он снова обратился ко мне: — Наивность, сказал я, Робби. Только завистливые люди называют ее глупостью. Не огорчайся из-за этого. Наивность — не недостаток, а напротив, признак одаренности.

Ленц открыл было рот, но Фердинанд продолжал говорить:

— Ты, конечно, понимаешь, о чем речь. О простой душе, еще не изъеденной скепсисом и этакой сверхинтеллектуальностью. Парсифаль был глуп. Будь он поумнее — никогда не стал бы завоевывать чашу святого Грааля. В жизни побеждает только глупец. А умному везде чудятся одни лишь препятствия, и, не успев что-то начать, он уже потерял уверенность в себе. В трудные времена наивность — самое драгоценное из всего, волшебная мантия, скрывающая от тебя обиды, в которые суперумник, словно

загипнотизированный, то и дело попадает.

Он отпил глоток и посмотрел на меня своими огромными голубыми глазами, вправленными, точно два кусочка неба, в обрюзгшее, морщинистое лицо.

— Никогда, Робби, не стремись знать слишком много! Чем меньше знаешь, тем проще живется. Знание делает человека свободным, но и несчастным. Давай выпьем за наивность, за глупость и все, что к ним относится, — за любовь, за веру в будущее, за мечты о счастье — за божественную глупость, за потерянный рай…

Он сидел, грузный и неуклюжий, внезапно уйдя в себя и в свое опьянение, — одинокий холм неизбывной тоски. Жизнь его была разбита, и он знал: склеить обломки невозможно. Он жил в своей большой мастерской и сожительствовал со своей экономкой. Это была бесхитростная и грубоватая женщина. А Грау, несмотря на мощное телосложение, отличался ранимостью и переменчивыми настроениями. Он все никак не мог отделаться от своей любовницы, но для него это, вероятно, стало безразличным. Ему исполнилось сорок два. И хотя я хорошо знал, что он просто пьянствует, всякий раз, когда я видел его в таком состоянии, мне становилось страшно. У нас он бывал неча-

сто. Пил обычно у себя в мастерской. А от питья в одиночестве люди быстро опускаются.

На его лице мелькнула улыбка. Он сунул мне в руку рюмку.

— Пей, Робби! И спасайся! Помни о том, что я тебе говорил.

— Запомню, Фердинанд.

Ленц завел патефон. У него была куча пластинок с записями негритянских песен. Он прокрутил некоторые из них — про Миссисипи, про сборщиков хлопка и знойные ночи на берегах синих тропических рек.

VI

Патриция Хольман жила в большом желтом доме, отделенном от улицы узкой полосой газона. Подъезд был освещен фонарем. Я остановил «кадиллак». В колеблющемся свете фонаря машина поблескивала черным лаком и походила на могучего черного слона.

Я принарядился: кроме галстука купил новую шляпу и перчатки, на мне было длинное пальто Ленца — великолепное серое пальто из тонкой шотландской шерсти. Экипированный таким образом, я хотел во что бы то ни стало рассеять впечатление от первой встречи, когда был пьян.

Я дал сигнал. Сразу же, подобно ракете, на всех пяти этажах лестницы вспыхнул свет. Загудел лифт. Он снижался, как светлая бадья, спускающаяся с неба. Патриция Хольман открыла дверь и быстро сбежала по ступенькам. На ней были короткий коричневый меховой жакет и узкая коричневая юбка.

— Алло! — Она протянула мне руку. — Я так рада, что вышла. Весь день сидела дома.

Ее рукопожатие, более крепкое, чем можно было ожидать, понравилось мне. Я терпеть не

мог людей с руками вялыми, точно дохлая рыба.

— Почему вы не сказали этого раньше? — спросил я. — Я заехал бы за вами еще днем.

— Разве у вас столько свободного времени?

— Не так уж много, но я бы как-нибудь освободился.

Она глубоко вздохнула.

— Какой чудесный воздух! Пахнет весной.

— Если хотите, мы можем подышать свежим воздухом вволю, — сказал я. — Поедем за город, в лес, — у меня машина. — При этом я небрежно показал на «кадиллак», словно это был какой-нибудь старый «фордик».

— «Кадиллак»? — Она изумленно посмотрела на меня. — Ваш собственный?

— На сегодняшний вечер. А вообще он принадлежит нашей мастерской. Мы его хорошенько подновили и надеемся заработать на нем, как еще никогда в жизни.

Я распахнул дверцу.

— Не поехать ли нам сначала в «Лозу» и поужинать? Как вы думаете?

— Поедем ужинать, но почему именно в «Лозу»?

Я озадаченно посмотрел на нее. Это был единственный элегантный ресторан, который я знал.

— Откровенно говоря, — сказал я, — не знаю ничего лучшего. И потом мне кажется, что «кадиллак» кое к чему обязывает.

Она рассмеялась.

— В «Лозе» всегда скучная и чопорная публика. Поедем в другое место!

Я стоял в нерешительности. Моя мечта казаться солидным рассеивалась как дым.

— Тогда скажите сами, куда нам ехать, — сказал я. — В других ресторанах, где я иногда бываю, собирается грубоватый народ. Все это, по-моему, не для вас.

— Почему вы так думаете? — Она быстро взглянула на меня. — Давайте попробуем.

— Ладно. — Я решительно изменил всю программу. — Если вы не из пугливых, тогда вот что: едем к Альфонсу.

— Альфонс! Это звучит гораздо приятнее, — ответила она. — А сегодня вечером я вообще ничего не боюсь.

— Альфонс — владелец пивной, — сказал я. — Большой друг Ленца.

Она рассмеялась.

— По-моему, у Ленца всюду друзья.

Я кивнул.

— Он их легко находит. Вы могли это заметить

на примере с Биндингом.

— Ей-Богу, правда, — ответила она. — Они подружились молниеносно.

Мы поехали.

* * *

Альфонс был грузным, спокойным человеком. Выдающиеся скулы. Маленькие глаза. Закатанные рукава рубашки. Руки как у гориллы. Он сам выполнял функции вышибалы и выставлял из своего заведения всякого, кто был ему не по вкусу, даже членов спортивного союза «Верность родине». Для особенно трудных гостей он держал под стойкой молоток. Пивная была расположена удобно — совсем рядом с больницей, — и он экономил таким образом на транспортных расходах.

Волосатой лапой Альфонс провел по светлому еловому столу.

— Пива? — спросил он.

— Водки и чего-нибудь на закуску, — сказал я.

— А даме? — спросил Альфонс.

— И дама желает водки, — сказала Патриция Хольман.

— Крепко, крепко, — заметил Альфонс. — Могу предложить свиные отбивные с кислой капу-

стой.

— Сам заколол свинью? — спросил я.

— А как же!

— Но даме, вероятно, хочется что-нибудь полегче.

— Это вы несерьезно говорите, — возразил Альфонс. — Посмотрели бы сперва мои отбивные.

Он попросил кельнера показать нам порцию.

— Замечательная была свинья, — сказал он. — Медалистка. Два первых приза.

— Ну тогда, конечно, устоять невозможно! — воскликнула Патриция Хольман. Ее уверенный тон удивил меня: можно было подумать, что она годами посещала этот кабак.

Альфонс подмигнул.

— Значит, две порции?

Она кивнула.

— Хорошо! Пойду и выберу сам.

Он отправился на кухню.

— Вижу, я напрасно опасался, что вам здесь не понравится, — сказал я. — Вы мгновенно покорили Альфонса. Сам пошел выбирать отбивные! Обычно он это делает только для завсегдатаев.

Альфонс вернулся.

— Добавил вам еще свежей колбасы.

— Неплохая идея, — сказал я.

Альфонс доброжелательно посмотрел на нас. Принесли водку. Три рюмки. Одну для Альфонса.

— Что ж, давайте чокнемся, — сказал он. — Пусть наши дети заимеют богатых родителей.

Мы залпом опрокинули рюмки. Патриция тоже выпила водку единым духом.

— Крепко, крепко, — сказал Альфонс и зашаркал к своей стойке.

— Нравится вам водка? — спросил я.

Она поежилась.

— Немного крепка. Но не могла же я оскандалиться перед Альфонсом.

Отбивные были что надо. Я съел две большие порции, и Патриция тоже ела с аппетитом, которого я в ней не подозревал. Мне очень нравилась ее простая и непринужденная манера держаться. Без всякого жеманства она снова чокнулась с Альфонсом и выпила вторую рюмку.

Он незаметно подмигнул мне, — дескать, правильная девушка. А Альфонс был знаток. Не то чтобы он разбирался в красоте или культуре человека, но он умел верно определить его сущность.

— Если вам повезет, вы сейчас узнаете главную слабость Альфонса, — сказал я.

— Вот это было бы интересно, — ответила она. — Похоже, что у него нет слабостей.

— Есть! — Я указал на столик возле стойки. — Вот…

— Что? Патефон?

— Нет, не патефон. Его слабость — хоровое пение! Никаких танцев, никакой классической музыки — только хоры: мужские, смешанные. Видите, сколько пластинок? Все сплошные хоры. Смотрите, вот он опять идет к нам.

— Вкусно? — спросил Альфонс.

— Как дома у мамы, — ответил я.

— И даме понравилось?

— В жизни не ела таких отбивных, — смело заявила дама.

Альфонс удовлетворенно кивнул.

— Сыграю вам сейчас новую пластинку. Вот удивитесь!

Он подошел к патефону. Послышалось шипение иглы, я зал огласился звуками могучего мужского хора. Мощные голоса исполняли «Лесное молчание». Это было чертовски громкое молчание.

С первого же такта все умолкли. Альфонс мог стать опасным, если кто-нибудь не выказывал благоговения перед его хорами. Он стоял у стойки, упираясь в нее своими волосатыми руками. Музыка преображала его лицо. Он становился мечтательным — насколько может быть мечта-

тельной горилла. Хоровое пение производило на него неописуемое впечатление. Слушая, он становился кротким, как новорожденная лань. Если в разгар какой-нибудь потасовки вдруг раздавались звуки мужского хора, Альфонс, как по мановению волшебной палочки, переставал драться, вслушивался и сразу же готов был идти на мировую. Прежде, когда он был более вспыльчив, жена постоянно держала наготове его любимые пластинки. Если дело принимало опасный оборот и он выходил из-за стойки с молотком в руке, супруга быстро ставила мембрану с иглой на пластинку. Услышав пение, Альфонс успокаивался, и рука с молотком опускалась. Теперь в этом уже не было такой надобности: Альфонс постарел, и страсти его поостыли, а жена умерла. Ее портрет, подаренный Фердинандом Грау, который имел здесь за это даровой стол, висел над стойкой.

Пластинка кончилась. Альфонс подошел к нам.

— Чудесно, — сказал я.

— Особенно первый тенор, — добавила Патриция Хольман.

— Правильно, — заметил Альфонс, впервые оживившись, — вы в этом понимаете толк! Пер-

вый тенор — высокий класс!

Мы простились с ним.

— Привет Готтфриду, — сказал он. — Пусть как-нибудь покажется.

* * *

Мы стояли на улице. Фонари перед домом бросали беспокойный свет на старое ветвистое дерево, и тени бегали по его верхушке. На ветках уже зазеленел легкий пушок, и сквозь неясный, мерцающий свет дерево казалось необыкновенно высоким и могучим. Крона его терялась где-то в сумерках и, словно простертая гигантская рука, в непомерной тоске тянулась к небу.

Патриция слегка поеживалась.

— Вам холодно? — спросил я.

Подняв плечи, она спрятала руки в рукава мехового жакета.

— Сейчас пройдет. Там было довольно жарко.

— Вы слишком легко одеты, — сказал я. — По вечерам еще холодно.

Она покачала головой.

— Не люблю тяжелую одежду. Хочется, чтобы стало наконец тепло. Не выношу холода. Особенно в городе.

— В «кадиллаке» тепло, — сказал я. — У меня на

всякий случай припасен плед.

Я помог ей сесть в машину и укрыл ее колени пледом. Она подтянула его выше.

— Вот замечательно! Вот и чудесно. А холод нагоняет тоску.

— Не только холод. — Я сел за руль. — Покатаемся немного?

Она кивнула.

— Охотно.

— Куда поедем?

— Просто так, поедем медленно по улицам. Все равно куда.

— Хорошо.

Я запустил мотор, и мы медленно и бесцельно поехали по городу. Было время самого оживленного вечернего движения. Мотор работал совсем тихо, и мы почти бесшумно двигались в потоке машин. Казалось, что наш «кадиллак» — корабль, неслышно скользящий по пестрым каналам жизни. Проплывали улицы, ярко освещенные подъезды, огни домов, ряды фонарей, сладостная, мягкая взволнованность вечернего бытия, нежная лихорадка озаренной ночи, и над всем этим, между краями крыш, — свинцово-серое большое небо, на которое город отбрасывал свое зарево.

Девушка сидела молча рядом со мной; свет и

тени, проникавшие сквозь стекло, скользили по ее лицу. Иногда я посматривал на нее; я снова вспомнил тот вечер, когда впервые увидел ее. Лицо ее стало серьезнее, оно казалось мне более чужим, чем за ужином, но очень красивым; это лицо еще тогда поразило меня и не давало больше покоя. Было в нем что-то от таинственной тишины, которая свойственна природе — деревьям, облакам, животным, — а иногда и женщине.

* * *

Мы ехали по тихим загородным улицам. Ветер усилился, и казалось, что он гонит ночь перед собой. Вокруг большой площади стояли небольшие дома, уснувшие в маленьких садиках. Я остановил машину.

Патриция Хольман потянулась, словно просыпаясь.

— Как хорошо, — сказала она. — Будь у меня машина, я бы каждый вечер совершала на ней медленные прогулки. Все кажется совсем неправдоподобным, когда так бесшумно скользишь по улицам. Все наяву, и в то же время — как во сне. Тогда по вечерам никто, пожалуй, и не нужен…

Я достал пачку сигарет.

— А ведь вообще вечером хочется, чтобы кто-

нибудь был рядом, правда?

Она кивнула.

— Вечером, да… Когда наступает темнота… Странная это вещь.

Я распечатал пачку.

— Американские сигареты. Они вам нравятся?

— Да, больше других.

Я дал ей огня. Теплое и близкое пламя спички осветило на мгновение ее лицо и мои руки, и мне вдруг пришла в голову безумная мысль, будто мы давно уже принадлежим друг другу.

Я опустил стекло, чтоб вытянуло дым.

— Хотите немного поводить? — спросил я. — Это вам доставит удовольствие.

Она повернулась ко мне.

— Конечно, хочу; только я не умею.

— Совсем не умеете?

— Нет. Меня никогда не учили.

В этом я усмотрел какой-то шанс для себя.

— Биндинг мог бы давным-давно обучить вас, — сказал я.

Она рассмеялась.

— Биндинг слишком влюблен в свою машину. Никого к ней не подпускает.

— Это просто глупо, — заявил я, радуясь случаю уколоть толстяка. — Вы сразу же поедете сами.

Давайте попробуем.

Все предостережения Кестера развеялись в прах. Я распахнул дверцу и вылез, чтобы пустить ее за руль. Она всполошилась.

— Но ведь я действительно не умею водить.

— Неправда, — возразил я. — Умеете, но не догадываетесь об этом.

Я показал ей, как переключать скорости и выжимать сцепление.

— Вот, — сказал я, закончив объяснения. — А теперь трогайте!

— Минутку! — Она показала на одинокий автобус, медленно кативший по улице, — Не пропустить ли его?

— Ни в коем случае!

Я быстро включил скорость и отпустил педаль сцепления. Патриция судорожно вцепилась в рулевое колесо, напряженно вглядываясь вперед.

— Боже мой, мы едем слишком быстро!

Я посмотрел на спидометр.

— Прибор показывает ровно двадцать пять километров в час. На самом деле это только двадцать. Неплохой темп для стайера.

— А мне кажется, целых восемьдесят.

Через несколько минут первый страх был преодолен. Мы ехали вниз по широкой прямой

улице. «Кадиллак» слегка петлял из стороны в сторону, будто его заправили не бензином, а коньяком. Иногда колеса почти касались тротуара. Но постепенно дело наладилось, и все стало так, как я и ожидал: в машине были инструктор и ученица. Я решил воспользоваться своим преимуществом.

— Внимание, — сказал я. — Вот полицейский!

— Остановиться?

— Уже слишком поздно.

— А что, если я попадусь? Ведь у меня нет водительских прав.

— Тогда нас обоих посадят в тюрьму.

— Боже, какой ужас! — Испугавшись, она пыталась нащупать ногой тормоз.

— Дайте газ! — приказал я. — Газ! Жмите крепче! Надо гордо и быстро промчаться мимо него. — Наглость — лучшее средство в борьбе с законом.

Полицейский не обратил на нас внимания. Девушка облегченно вздохнула.

— До сих пор я не знала, что регулировщики выглядят как огнедышащие драконы, — сказала она, когда мы проехали несколько сот метров.

— Так они выглядят, если наехать на них машиной. — Я медленно подтянул ручной тор-

моз. — Вот великолепная пустынная улица. Свернем в нее. Здесь можно хорошенько потренироваться. Сначала поучимся трогать с места и останавливаться.

Беря с места на первой скорости. Патриция несколько раз заглушала мотор. Она расстегнула жакет.

— Что-то жарко мне стало! Но я должна научиться!

Внимательная и полная рвения, она следила за всем, что я ей показывал. Потом она сделала несколько поворотов, издавая при этом взволнованные, короткие восклицания. Фары встречных машин вызывали в ней дьявольский страх и такую же гордость, когда они оказывались позади. Вскоре в маленьком пространстве, полуосвещенном лампочками приборов на контрольном щитке, возникло чувство товарищества, какое быстро устанавливается в практических делах, и, когда через полчаса я снова сел за руль и повез ее домой, мы чувствовали такую близость, будто рассказали друг другу историю всей своей жизни.

* * *

Недалеко от Николаиштрассе я опять остановил машину. Над нами сверкали красные огни кинорекламы. Асфальт мостовой переливался матовыми отблесками, как выцветшая пурпурная ткань. Около тротуара блестело большое черное пятно — у кого-то пролилось масло.

— Так, — сказал я, — теперь мы имеем полное право опрокинуть по рюмочке. Где бы нам это сделать?

Патриция Хольман задумалась на минутку.

— Давайте поедем опять в этот милый бар с парусными корабликами, — предложила она.

Меня мгновенно охватило сильнейшее беспокойство. Я мог дать голову на отсечение, что там сейчас сидит последний романтик. Я заранее представлял себе его лицо.

— Ах, — сказал я поспешно, — что там особенного? Есть много более приятных мест…

— Не знаю… Мне там очень понравилось.

— Правда? — спросил я изумленно. — Вам понравилось там?

— Да, — ответила она смеясь. — И даже очень…

«Вот так раз! — подумал я. — А я-то ругал себя за это!» Я еще раз попытался отговорить ее:

— Но, по-моему, сейчас там битком набито.

— Можно подъехать и посмотреть.

— Да, это можно.

Я обдумывал, как мне быть.

Когда мы приехали, я торопливо вышел из машины.

— Побегу посмотрю. Сейчас же вернусь.

В баре не было ни одного знакомого, кроме Валентина.

— Скажи-ка, Готтфрид уже был здесь?

Валентин кивнул.

— Он ушел с Отто. Полчаса назад.

— Жаль, — сказал я с явным облегчением. — Мне очень хотелось их повидать.

Я пошел обратно к машине.

— Рискнем, — заявил я. — К счастью, тут сегодня не так уж страшно.

Все же из предосторожности я поставил «кадиллак» за углом, в самом темном месте.

Мы не посидели и десяти минут, как у стойки появилась соломенная шевелюра Ленца. «Проклятье, — подумал я, — дождался! Лучше бы это произошло через несколько недель».

Казалось, что Готтфрид намерен тут же уйти. Я уже считал себя спасенным, но вдруг заметил, что Валентин показывает ему на меня. Поделом

мне — в наказанье за вранье. Лицо Готтфрида, когда он увидел нас, могло бы послужить великолепным образцом мимики для наблюдательного киноактера. Глаза его выпучились, как желтки яичницы-глазуньи, и я боялся, что у него отвалится нижняя челюсть. Жаль, что в баре не было режиссера. Бьюсь об заклад, он немедленно предложил бы Ленцу ангажемент. Его можно было бы, например, использовать в фильме, где перед матросом, потерпевшим кораблекрушение, внезапно из пучины всплывает морской змей.

Готтфрид быстро овладел собой. Я бросил на него взгляд, умоляя исчезнуть. Он ответил мне подленькой ухмылкой, оправил пиджак и подошел к нам.

Я знал, что мне предстоит, и, не теряя времени, перешел в наступление.

— Ты уже проводил фрейлейн Бомблат домой? — спросил я, чтобы сразу нейтрализовать его.

— Да, — ответил он, не моргнув глазом и не выдав ничем, что до этой секунды ничего не знал о существовании фрейлейн Бомблат. — Она шлет тебе привет и просит, чтобы ты позвонил ей завтра утром пораньше.

Это был неплохой контрудар. Я кивнул.

— Ладно, позвоню. Надеюсь, она все-таки купит машину.

Ленц опять открыл было рот, но я ударил его по ноге и посмотрел так выразительно, что он, усмехнувшись, осекся.

Мы выпили несколько рюмок. Боясь захмелеть и сболтнуть что-нибудь лишнее, я пил только коктейли «Сайдкар» с большими кусками лимона.

Готтфрид был в отличном настроении.

— Только что заходил к тебе, — сказал он. — Думал, пройдемся вместе. Потом зашел в луна-парк. Там устроили великолепную новую карусель и американские горки. Давайте поедем туда! — Он посмотрел на Патрицию.

— Едем немедленно! — воскликнула она. — Люблю карусели больше всего на свете!

— Поедем, — сказал я. Мне хотелось уйти из бара. На свежем воздухе все должно было стать проще.

* * *

Шарманщики — передовые форпосты луна-парка. Меланхолические нежные звуки. На потертых бархатных накидках шарманок можно увидеть попугая или маленькую озябшую обезьянку в красной суконной курточке. Резкие выкрики

торговцев. Они продают состав для склеивания фарфора, алмазы для резания стекла, турецкий мед, воздушные шары и ткани для костюмов. Холодный синий свет и острый запах карбидных ламп. Гадалки, астрологи, ларьки с пряниками, качели-лодочки, павильоны с аттракционами. И, наконец, оглушительная музыка, пестрота и блеск — освещенные, как дворец, вертящиеся башни карусели.

— Вперед, ребята! — С растрепавшимися на ветру волосами Ленц ринулся к американским горкам, — здесь был самый большой оркестр. Из позолоченных ниш, по шесть из каждой, выходили фанфаристы. Размахивая фанфарами, прижатыми к губам, они оглашали воздух пронзительными звуками, поворачивались во все стороны и исчезали. Это было грандиозно.

Мы уселись в большую гондолу с головою лебедя и понеслись вверх и вниз. Мир искрился и скользил, он наклонялся и проваливался в черный туннель, сквозь который мы мчались под барабанный бой, чтобы тут же вынырнуть наверх, где нас встречали звуки фанфар и блеск огней.

— Дальше! — Готтфрид устремился к «летающей карусели» с дирижаблями и самолетами. Мы

забрались в цеппелин и сделали три круга.

Слегка задыхаясь, мы снова очутились на земле.

— А теперь на чертово колесо! — заявил Ленц.

Это был большой и гладкий круг, который вращался с нарастающей скоростью. Надо было удержаться на нем. На круг встало человек двадцать. Среди них был Готтфрид. Как сумасшедший, он выделывал немыслимые выкрутасы ногами, и зрители аплодировали ему. Всех остальных уже снесло, а он оставался на кругу вдвоем с какой-то кухаркой. У нее был зад, как у ломовой лошади. Когда круг завертелся совсем быстро, хитрая кухарка уселась поплотнее на самой середине, а Готтфрид продолжал носиться вокруг нее. В конце концов последний романтик выбился из сил; он повалился в объятия кухарки, и оба кубарем слетели с круга. Он вернулся к нам, ведя свою партнершу под руку и называя ее запросто Линой. Лина смущенно улыбалась. Ленц спросил, желает ли она выпить чего-нибудь? Лина заявила, что пиво хорошо утоляет жажду. Оба скрылись в палатке.

— А мы?.. Куда мы пойдем сейчас? — спросила Патриция Хольман. Ее глаза блестели.

— В лабиринт привидений, — сказал я, указы-

вая на большой тент.

Путь через лабиринт был полон неожиданностей. Едва мы сделали несколько шагов, как под вами зашатался пол, чьи-то руки ощупывали нас в темноте, из-за углов высовывались страшные рожи, завывали привидения; мы смеялись, но вдруг Патриция отпрянула назад, испугавшись черепа, освещенного зеленым светом. На мгновение я обнял ее, почувствовал ее дыхание, шелковистые волосы коснулись моих губ, — но через секунду она снова рассмеялась, и я отпустил ее.

Я отпустил ее, но что-то во мне не могло расстаться с ней. Мы давно уже вышли из лабиринта, но я все еще ощущал ее плечо, мягкие волосы, кожу, пахнущую персиком… Я старался не смотреть на нее. Она сразу стала для меня другой.

Ленц уже ждал нас. Он был один.

— Где Лина? — спросил я.

— Накачивается пивом, — ответил он и кивнул головой на палатку в сельском стиле. — С каким-то кузнецом.

— Прими мое соболезнование.

— Все это ерунда. Давай-ка лучше займемся серьезным мужским делом.

Мы направились к павильону, где набрасывали

гуттаперчевые кольца на крючки. Здесь были всевозможные выигрыши.

— Так, — сказал Ленц, обращаясь к Патриции, и сдвинул шляпу на затылок. — Сейчас мы вам добудем полное приданое.

Он начал первым и выиграл будильник. Я бросил кольцо вслед за ним и получил в награду плюшевого мишку. Владелец павильона шумливо и торжественно вручил нам оба выигрыша, чтобы привлечь новых клиентов.

— Ты у меня притихнешь, — усмехнулся Готтфрид и тут же заарканил сковородку. Я подцепил второго мишку.

— Ведь вот как везет! — сказал владелец павильона, передавая нам вещи.

Бедняга не знал, что его ждет. Ленц был первым в роте по метанию ручной гранаты, а зимой, когда дел было немного, мы месяцами напролет тренировались в набрасывании шляп на всевозможные крюки. В сравнении с этим гуттаперчевые кольца казались нам детской забавой. Без труда Готтфрид завладел следующим предметом — хрустальной вазой для цветов. Я — полудюжиной патефонных пластинок. Владелец павильона молча подал нам добычу и проверил свои крючки. Ленц прицелился, метнул кольцо и получил кофейный сервиз,

второй по стоимости выигрыш. Вокруг нас столпилась куча зрителей. Я поспешно набросил еще три кольца на один крючок. Результат: кающаяся святая Магдалина в золоченой раме.

Лицо владельца павильона вытянулось, словно он был на приеме у зубного врача. Он отказался выдать нам новые кольца. Мы уже решили было прекратить игру, но зрители подняли шум, требуя от хозяина, чтобы он не мешал нам развлекаться. Они хотели быть свидетелями его разорения. Больше всех шумела Лина, внезапно появившаяся со своим кузнецом.

— Бросать мимо разрешается, не правда ли? — закаркала она. — А попадать разве запрещено?

Кузнец одобрительно загудел.

— Ладно, — сказал Ленц, — каждый еще по разу.

Я бросил первым. Умывальный таз с кувшином и мыльницей. Затем изготовился Ленц. Он взял пять колец. Четыре он накинул с необычайной быстротой на один и тот же крюк. Прежде чем бросить пятое, он сделал нарочитую паузу и достал сигарету. Трое мужчин услужливо поднесли ему зажженные спички. Кузнец хлопнул его по плечу. Лина, охваченная крайним волнением, жевала свой носовой платок. Готтфрид прицелился

и легким броском накинул последнее кольцо на четыре остальных. Раздался оглушительный рев. Ленцу достался главный выигрыш — детская коляска с розовым одеялом и кружевной накидкой.

Осыпая нас проклятьями, хозяин выкатил коляску. Мы погрузили в нее все свои трофеи и двинулись к следующему павильону. Коляску толкала Лина. Кузнец отпускал по этому поводу такие остроты, что мне с Патрицией пришлось немного отстать. В следующем павильоне набрасывали кольца на бутылки с вином. Если кольцо садилось на горлышко, бутылка была выиграна. Мы взяли шесть бутылок. Ленц посмотрел на этикетки и подарил бутылки кузнецу.

Был еще один павильон такого рода. Но хозяин уже почуял недоброе и, когда мы подошли, объявил нам, что павильон закрыт. Кузнец, заметив бутылки с пивом, начал было скандалить, но мы отказались от своих намерений: у хозяина павильона была только одна рука.

Сопровождаемые целой свитой, мы подошли к «кадиллаку».

— Что же придумать? — спросил Ленц, почесывая голову. — Самое лучшее — привязать коляску сзади и взять на буксир.

— Конечно, — сказал я. — Только тебе придется

сесть в нее и править, а то еще опрокинется.

Патриция Хольман запротестовала. Она испугалась, подумав, что Ленц действительно сядет в коляску.

— Хорошо, — заявил Ленц, — тогда давайте рассортируем вещи. Обоих мишек вы должны обязательно взять себе. Патефонные пластинки тоже. Как насчет сковородки?

Девушка покачала головой.

— Тогда она переходит во владение мастерской, — оказал Готтфрид. — Возьми ее, Робби, ты ведь старый специалист по глазуньям. А кофейный сервиз?

Девушка кивнула в сторону Лины. Кухарка покраснела. Готтфрид передал ей сервиз по частям, словно награждая ее призом. Потом он вынул из коляски таз для умывания.

— Керамический! Подарим его господину кузнецу, не правда ли? Он ему пригодится. А заодно и будильник. У кузнецов тяжелый сон.

Я передал Готтфриду цветочную вазу. Он вручил ее Лине. Заикаясь от волнения, она пыталась отказаться. Ее глаза не отрывались от кающейся Магдалины. Она боялась, что если ей отдадут вазу, то картину получит кузнец.

— Очень уж я обожаю искусство, — пролепетала

она. Трогательная в своей жадности, она стояла перед нами и покусывала красные пальцы.

— Уважаемая фрейлейн, что вы скажете по этому поводу? — спросил Ленц, величественно оборачиваясь к Патриции Хольман.

Патриция взяла картину и отдала ее Лине.

— Это очень красивая картина, — сказала она.

— Повесь над кроватью и вдохновляйся, — добавил Ленц.

Кухарка схватила картину. Глаза ее увлажнились. От благодарности у нее началась сильная икота.

— А теперь твоя очередь, — задумчиво произнес Ленц, обращаясь к детской коляске.

Глаза Лины снова загорелись жадностью.

Кузнец заметил, что никогда, мол, нельзя знать, какая вещь может понадобиться человеку. При этом он так расхохотался, что уронил бутылку с вином. Но Ленц решил, что с них хватит.

— Погодите-ка, я тут кое-что заметил, — сказал он и исчез. Через несколько минут он пришел за коляской и укатил ее. — Все в порядке, — сказал он, вернувшись без коляски.

Мы сели в «кадиллак».

— Задарили, прямо как на Рождество! — сказала Лина, протягивая нам на прощанье красную

лапу. Она стояла среди своего имущества и сияла от счастья.

Кузнец отозвал нас в сторону.

— Послушайте! — сказал он. — Если вам понадобится кого-нибудь вздуть, — мой адрес: Лейбницштрассе, шестнадцать, задний двор, второй этаж, левая дверь. Ежели против вас будет несколько человек, я прихвачу с собой своих ребят.

— Договорились! — ответили мы и поехали.

Миновав луна-парк и свернув за угол, мы увидели нашу коляску и в ней настоящего младенца. Рядом стояла бледная, еще не оправившаяся от смущения женщина.

— Здорово, а? — сказал Готтфрид.

— Отнесите ей и медвежат! — воскликнула Патриция. — Они там будут кстати!

— Разве что одного, — сказал Ленц. — Другой должен остаться у вас.

— Нет, отнесите обоих.

— Хорошо. — Ленц выскочил из машины, сунул женщине плюшевых зверят в руки и, не дав ей опомниться, помчался обратно, словно его преследовали. — Вот, — сказал он, переводя дух, — а теперь мне стало дурно от собственного благородства. Высадите меня у «Интернационаля». Я

обязательно должен выпить коньяку.

Я высадил Ленца и отвез Патрицию домой. Все было иначе, чем в прошлый раз. Она стояла в дверях, и по ее лицу то и дело пробегал колеблющийся свет фонаря. Она была великолепна. Мне очень хотелось остаться с ней.

— Спокойной ночи, — сказал я, — спите хорошо.

— Спокойной ночи.

Я глядел ей вслед, пока не погас свет на лестнице. Потом сел в «кадиллак» и поехал. Странное чувство овладело мной. Все было так не похоже на другие вечера, когда вдруг начинаешь сходить с ума по какой-нибудь девушке. Было гораздо больше нежности, хотелось хоть раз почувствовать себя совсем свободным. Унестись… Все равно куда…

Я поехал к Ленцу в «Интернациональ». Там было почти пусто. В одном углу сидела Фрицци со своим другом кельнером Алоисом. Они о чем-то спорили. Готтфрид сидел с Мими и Валли на диванчике около стойки. Он вел себя весьма галантно с ними, даже с бедной старенькой Мими.

Вскоре девицы ушли. Им надо было работать — подоспело самое время. Мими кряхтела и вздыхала, жалуясь на склероз. Я подсел к Готтфриду.

— Говори сразу все, — сказал я.

— Зачем, детка? Ты делаешь все совершенно правильно, — ответил он, к моему изумлению.

Мне стало легче оттого, что он так просто отнесся ко всему.

— Мог бы раньше слово вымолвить, — сказал я.

Он махнул рукой.

— Ерунда!

Я заказал рому. Потом я сказал ему:

— Знаешь, я ведь понятия не имею, кто она, и все такое. Не знаю, что у нее с Биндингом. Кстати, тогда он сказал тебе что-нибудь?

Он посмотрел на меня.

— Тебя это разве беспокоит?

— Нет.

— Так я и думал. Между прочим, пальто тебе идет.

Я покраснел.

— Нечего краснеть. Ты абсолютно прав. Хотелось бы и мне уметь так…

Я помолчал немного.

— Готтфрид, но почему же? — спросил я наконец.

Он посмотрел на меня.

— Потому, что все остальное дерьмо, Робби.

Потому, что в наше время нет ничего стоящего. Вспомни, что тебе говорил вчера Фердинанд. Не так уж он неправ, этот старый толстяк, малюющий покойников. Вот, а теперь садись за пианино и сыграй несколько старых солдатских песен.

Я сыграл «Три лилии» и «Аргоннский лес». Я вспоминал, где мы распевали эти песни, и мне казалось, что здесь, в этом пустом кафе, они звучат как-то призрачно…

VII

Два дня спустя Кестер, запыхавшись, выскочил из мастерской.

— Робби, звонил твой Блюменталь. В одиннадцать ты должен подъехать к нему на «кадиллаке». Он хочет совершить пробную поездку. Если бы только это дело выгорело!

— А что я вам говорил? — раздался голос Ленца из смотровой ямы, над которой стоял «форд». — Я сказал, что он появится снова. Всегда слушайте Готтфрида!

— Да заткнись ты, ведь ситуация серьезная! — крикнул я ему, — Отто, сколько я могу ему уступить?

— Крайняя уступка — две тысячи. Самая крайняя — две тысячи двести. Если нельзя будет никак иначе — две тысячи пятьсот. Если ты увидишь, что перед тобой сумасшедший, — две шестьсот. Но тогда скажи, что мы будем проклинать его веки вечные.

— Ладно.

Мы надраили машину до немыслимого блеска. Я сел за руль. Кестер положил мне руку на плечо:

— Робби, помни: ты был солдатом и не раз бывал в переделках. Защищай честь нашей мастерской до последней капли крови. Умри, но не снимай руки с бумажника Блюменталя.

— Будет сделано, — улыбнулся я.

Ленц вытащил какую-то медаль из кармана.

— Потрогай мой амулет, Робби!

— Пожалуйста.

Я потрогал медаль.

Готтфрид произнес заклинание:

— Абракадабра, великий Шива, благослови этого трусишку, надели его силой и отвагой! Или лучше вот что — возьми-ка амулет с собой! А теперь сплюнь три раза.

— Все в порядке, — сказал я, плюнул ему под ноги и поехал. Юпп возбужденно отсалютовал мне бензиновым шлангом.

По дороге я купил несколько пучков гвоздики и искусно, как мне показалось, расставил их в хрустальные вазочки, укрепленные в машине. Это было рассчитано на фрау Блюменталь.

К сожалению, Блюменталь принял меня в конторе, а не на квартире. Мне пришлось подождать четверть часа. «Знаю я эти штучки, дорогой мой, — подумал я. — Этим ты меня не смягчишь». В приемной я разговорился с хорошенькой сте-

нографисткой и, подкупив ее гвоздикой из своей петлицы, стал выведывать подробности о фирме ее патрона. Трикотажное производство, хороший сбыт, в конторе девять человек, сильнейшая конкуренция со стороны фирмы «Майер и сын», сын Майера разъезжает в двухместном красном «эссексе» — вот что успел я узнать, пока Блюменталь распорядился позвать меня.

Он сразу же попробовал взять меня на пушку.

— Молодой человек, — сказал он. — У меня мало времени. Цена, которую вы мне недавно назвали, — ваша несбыточная мечта. Итак, положа руку на сердце, сколько стоит машина?

— Семь тысяч, — ответил я.

Он резко отвернулся.

— Тогда ничего не выйдет.

— Господин Блюменталь, — сказал я, — взгляните на машину еще раз…

— Незачем, — прервал он меня. — Ведь недавно я ее подробно осмотрел…

— Можно видеть и видеть, — заметил я. — Вам надо посмотреть детали. Первоклассная лакировка, выполнена фирмой «Фоль и Рурбек», себестоимость двести пятьдесят марок. Новый комплект резины, цена по каталогу шестьсот марок. Вот вам уже восемьсот пятьдесят. Обивка

сидений, тончайший корд…

Он сделал отрицательный жест. Я начал сызнова. Я предложил ему осмотреть роскошный набор инструментов, великолепный кожаный верх, хромированный радиатор, ультрасовременные бамперы — шестьдесят марок пара; как ребенка к матери, меня тянуло назад к «кадиллаку», и я пытался уговорить Блюменталя выйти со мной к машине. Я знал, что, стоя на земле, я, подобно Антею, почувствую прилив новых сил. Когда показываешь товар лицом, абстрактный ужас покупателя перед ценой заметно уменьшается.

Но и Блюменталь хорошо чувствовал свою силу за письменным столом. Он снял очки и только тогда взялся за меня по-настоящему. Мы боролись, как тигр с удавом. Удавом был Блюменталь. Я и оглянуться не успел, как он выторговал полторы тысячи марок в свою пользу.

У меня затряслись поджилки. Я сунул руку в карман и крепко сжал амулет Готтфрида.

— Господин Блюменталь, — сказал я, заметно выдохшись, — уже час дня, вам, конечно, пора обедать! — Любой ценой я хотел выбраться из этой комнаты, в которой цены таяли, как снег.

— Я обедаю только в два часа, — холодно ответил Блюменталь. — Но знаете что? Мы могли бы

совершить сейчас пробную поездку.

Я облегченно вздохнул.

— Потом продолжим разговор, — добавил он.

У меня снова сперло дыхание.

Мы поехали к нему домой. К моему изумлению, оказавшись в машине, он вдруг совершенно преобразился и добродушно рассказал мне старинный анекдот о кайзере Франце-Иосифе. Я ответил ему анекдотом о трамвайном кондукторе; тогда он рассказал мне о заблудившемся саксонце, а я ему про шотландскую любовную пару… Только у подъезда его дома мы снова стали серьезными. Он попросил меня подождать и отправился за женой.

— Мой дорогой толстый «кадиллак», — сказал я и похлопал машину по радиатору. — За всеми этими анекдотами, бесспорно, кроется какая-то новая дьявольская затея. Но не волнуйся, мы пристроим тебя под крышей его гаража. Он купит тебя: уж коли еврей возвращается обратно, то он покупает. Когда возвращается христианин, он еще долго не покупает. Он требует с полдюжины пробных поездок, чтобы экономить на такси, и после всего вдруг вспоминает, что вместо машины ему нужно приобрести оборудование для кухни. Нет, нет, евреи хороши, они знают, чего

хотят. Но клянусь тебе, мой дорогой толстяк: если я уступлю этому потомку строптивого Иуды Маккавея еще хоть одну сотню марок, то в жизни не притронусь больше к водке.

Появилась фрау Блюменталь. Я вспомнил все наставления Ленца и мгновенно превратился из воина в кавалера. Заметив это, Блюменталь гнусно усмехнулся. Это был железный человек, ему бы торговать не трикотажем, а паровозами.

Я позаботился о том, чтобы его жена села рядом со мной, а он — на заднее сиденье.

— Куда разрешите вас повезти, сударыня? — спросил я сладчайшим голосом.

— Куда хотите, — ответила она с материнской улыбкой.

Я начал болтать. Какое блаженство беседовать с таким простодушным человеком. Я говорил тихо, Блюменталь мог слышать только обрывки фраз. Так я чувствовал себя свободнее. Но все-таки он сидел за моей спиной, и это само по себе было достаточно неприятно.

Мы остановились. Я вышел из машины и посмотрел своему противнику в глаза.

— Господин Блюменталь, вы должны согласиться, что машина идет идеально.

— Пусть идеально, а толку что, молодой чело-

век? — возразил он мне с непонятной приветливостью. — Ведь налоги съедают все. Налог на эту машину слишком высок. Это я вам говорю.

— Господин Блюменталь, — сказал я, стремясь не сбиться с тона, — вы деловой человек, с вами я могу говорить откровенно. Это не налог, а издержки. Скажите сами, что нужно сегодня для ведения дела? Вы это знаете: не капитал, как прежде, но кредит. Вот что нужно! А как добиться кредита? Надо уметь показать себя. «Кадиллак» — солидная и быстроходная машина, уютная, но не старомодная. Выражение здравого буржуазного начала. Живая реклама для фирмы.

Развеселившись, Блюменталь обратился к жене:

— У него еврейская голова, а?.. Молодой человек, — сказал он затем, — в наши дни лучший признак солидности — потрепанный костюм и поездки в автобусе, вот это реклама! Если бы у нас с вами были деньги, которые еще не уплачены за все эти элегантные машины, мчащиеся мимо нас, мы могли бы с легким сердцем уйти на покой. Это я вам говорю. Доверительно.

Я недоверчиво посмотрел на него. Почему он вдруг стал таким любезным? Может быть, присутствие жены умеряет его боевой пыл? Я решил

выпустить главный заряд:

— Ведь такой «кадиллак» не чета какому-нибудь «эссексу», не так ли, сударыня? Младший совладелец фирмы «Майер и сын», например, разъезжает в «эссексе», а мне и даром не нужен этот ярко-красный драндулет, режущий глаза.

Блюменталь фыркнул, и я быстро добавил:

— Между прочим, сударыня, цвет обивки очень вам к лицу — приглушенный синий кобальт для блондинки…

Вдруг лицо Блюменталя расплылось в широкой улыбке. Смеялся целый лес обезьян.

— «Майер и сын» — здорово! Вот это здорово! — стонал он. — И вдобавок еще эта болтовня насчет кобальта и блондинки…

Я взглянул на него, не веря своим глазам: он смеялся от души! Не теряя ни секунды, я ударил по той же струне:

— Господин Блюменталь, позвольте мне кое-что уточнить. Для женщины это не болтовня. Это комплименты, которые в наше жалкое время, к сожалению, слышатся все реже. Женщина — это вам не металлическая мебель; она — цветок. Она не хочет деловитости. Ей нужны солнечные, милые слова. Лучше говорить ей каждый день что-нибудь приятное, чем всю жизнь с угрюмым

остервенением работать на нее. Это я вам говорю. Тоже доверительно. И, кстати, я не делал никаких комплиментов, а лишь напомнил один из элементарных законов физики: синий цвет идет блондинкам.

— Хорошо рычишь, лев, — сказал Блюменталь. — Послушайте, господин Локамп! Я знаю, что могу запросто выторговать еще тысячу марок…

Я сделал шаг назад. «Коварный сатана, — подумал я, — вот удар, которого я ждал». Я уже представлял себе, что буду продолжать жизнь трезвенником, и посмотрел на фрау Блюменталь глазами истерзанного ягненка.

— Но, отец… — сказала она.

— Оставь, мать, — ответил он. — Итак, я мог бы… Но я этого не сделаю. Мне, как деловому человеку, было просто забавно посмотреть, как вы работаете. Пожалуй, еще слишком много фантазии, но все же… Насчет «Майера и сына» получилось недурно. Ваша мать — еврейка?

— Нет.

— Вы имели отношение к готовой одежде?

— Да.

— Вот видите, отсюда и стиль. В какой отрасли работали?

— В душевной, — сказал я. — Я должен был стать школьным учителем.

— Господин Локамп, — сказал Блюменталь, — почет вам и уважение! Если окажетесь без работы, позвоните мне.

Он выписал чек и дал его мне. Я не верил глазам своим! Задаток! Чудо.

— Господин Блюменталь, — сказал я подавленно, — позвольте мне бесплатно приложить к машине две хрустальные пепельницы и первоклассный резиновый коврик.

— Ладно, — согласился он, — вот и старому Блюменталю достался подарок.

Затем он пригласил меня на следующий день к ужину. Фрау Блюменталь по-матерински улыбнулась мне.

— Будет фаршированная щука, — сказала она мягко.

— Это деликатес, — заявил я. — Тогда я завтра же пригоню вам машину. С утра мы ее зарегистрируем.

Словно ласточка полетел я назад в мастерскую. Но Ленц и Кестер ушли обедать. Пришлось сдержать свое торжество. Один Юнн был на месте.

— Продали? — спросил он.

— А тебе все надо знать, пострел? — сказал

я. — Вот тебе три марки. Построй себе на них самолет.

— Значит, продали, — улыбнулся Юпп.

— Я поеду сейчас обедать, — сказал я. — Но горе тебе, если ты скажешь им хоть слово до моего возвращения.

— Господин Локамп, — заверил он меня, подкидывая монету в воздух, — я нем, как могила.

— Так я тебе и поверил, — сказал я и дал газ.

Когда я вернулся во двор мастерской, Юпп сделал мне знак.

— Что случилось? — спросил я. — Ты проболтался?

— Что вы, господин Локамп! Могила! — Он улыбнулся. — Только… Пришел этот тип… Насчет «форда».

Я оставил «кадиллак» во дворе и пошел в мастерскую. Там я увидел булочника, который склонился над альбомом с образцами красок. На нем было клетчатое пальто с поясом и траурным крепом на рукаве. Рядом стояла хорошенькая особа с черными бойкими глазками, в распахнутом пальтишке, отороченном поредевшим кроличьим мехом, и в лаковых туфельках, которые ей были явно малы. Черноглазая дамочка облюбовала яркий сурик, но булочник еще носил

траур и красный цвет вызывал у него сомнение. Он предложил блеклую желтовато-серую краску.

— Тоже выдумал! — зашипела она. — «Форд» должен быть отлакирован броско, иначе он ни на что не будет похож.

Когда булочник углублялся в альбом, она посылала нам заговорщические взгляды, поводила плечами, кривила рот и подмигивала. В общем, она вела себя довольно резво. Наконец они сошлись на зеленоватом оттенке, напоминающем цветы резеды. К такому кузову дамочке нужен был светлый откидной верх. Но тут булочник показал характер: его траур должен был как-то прорваться, и он твердо настоял на черном кожаном верхе. При этом он оказался в выигрыше: верх мы ставили ему бесплатно, а кожа стоила дороже брезента.

Они вышли из мастерской, но задержались во дворе: едва заметив «кадиллак», черноглазая пулей устремилась к нему.

— Погляди-ка, пупсик, вот так машина! Просто прелесть! Очень мне нравится!

В следующее мгновение она открыла дверцу и шмыгнула на сиденье, щурясь от восторга.

— Вот это сиденье! Колоссально! Настоящее кресло. Не то что твой «форд»!

— Ладно, пойдем, — недовольно пробормотал пупсик.

Ленц толкнул меня, — дескать, вперед на врага, и попытайся навязать булочнику машину. Я смерил Готтфрида презрительным взглядом и промолчал. Он толкнул меня сильнее. Я отвернулся.

Булочник с трудом извлек свою черную жемчужину из машины и ушел с ней, чуть сгорбившись и явно расстроенный.

Мы смотрели им вслед.

— Человек быстрых решений! — сказал я. — Машину отремонтировал, завел новую женщину... Молодец!

— Да, — заметил Кестер. — Она его еще порадует.

Только они скрылись за углом, как Готтфрид напустился на меня:

— Ты что же, Робби, совсем рехнулся? Упустить такой случай! Ведь это была задача для школьника первого класса.

— Унтер-офицер Ленц! — ответил я. — Стоять смирно, когда разговариваете со старшим! По-вашему, я сторонник двоеженства и дважды выдам машину замуж?

Стоило видеть Готтфрида в эту великую ми-

нуту. От удивления его глаза стали большими, как тарелки.

— Не шути святыми вещами, — сказал он, заикаясь.

Я даже не посмотрел на него и обратился к Кестеру:

— Отто, простись с «кадиллаком», с вашим детищем! Он больше не принадлежит нам. Отныне он будет сверкать во славу фабриканта кальсон! Надеюсь, у него там будет неплохая жизнь! Правда, не такая героическая, как у нас, но зато более надежная.

Я вытащил чек. Ленц чуть не раскололся надвое.

— Но ведь он не... оплачен. Денег-то пока нет?.. — хрипло прошептал он.

— А вы лучше угадайте, желторотые птенцы, — сказал я, размахивая чеком, — сколько мы получим?

— Четыре! — крикнул Ленц с закрытыми глазами.

— Четыре пятьсот! — сказал Кестер.

— Пять, — донесся возглас Юппа, стоявшего у бензоколонки.

— Пять пятьсот! — прогремел я.

Ленц выхватил у меня чек.

— Это невозможно! Чек наверняка останется неоплаченным!

— Господин Ленц, — сказал я с достоинством, — этот чек столь же надежен, сколь ненадежны вы! Мой друг Блюменталь в состоянии уплатить в двадцать раз больше. Мой друг, понимаете ли, у которого я завтра вечером буду есть фаршированную щуку. Пусть это послужит вам примером! Завязать дружбу, получить задаток и быть приглашенным на ужин: вот что значит уметь продать! Так, а теперь вольно!

Готтфрид с трудом овладел собой. Он сделал последнюю попытку:

— А мое объявление в газете! А мой амулет!

Я сунул ему медаль.

— На, возьми свой собачий жетончик. Совсем забыл о нем.

— Робби, ты продал машину безупречно, — сказал Кестер. — Слава Богу, что мы избавились от этой колымаги. Выручка нам очень пригодится.

— Дашь мне пятьдесят марок авансом? — спросил я.

— Сто! Заслужил!

— Может быть, заодно ты возьмешь в счет аванса и мое серое пальто? — спросил Готтфрид, прищурив глаза.

— Может быть, ты хочешь угодить в больницу, жалкий бестактный ублюдок? — спросил я его в свою очередь.

— Ребята, шабаш! На сегодня хватит! — предложил Кестер. — Достаточно заработали за один день! Нельзя испытывать Бога. Возьмем «Карла» и поедем тренироваться. Гонки на носу.

Юпп давно позабыл о своей бензопомпе. Он был взволнован и потирал руки.

— Господин Кестер, значит, пока я тут остаюсь за хозяина?

— Нет, Юпп, — сказал Отто, смеясь, — поедешь с нами!

Сперва мы поехали в банк и сдали чек. Ленц не мог успокоиться, пока не убедился, что чек настоящий. А потом мы понеслись, да так, что из выхлопа посыпались искры.

VIII

Я стоял перед своей хозяйкой.

— Пожар, что ли, случился? — спросила фрау Залевски.

— Никакого пожара, — ответил я. — Просто хочу уплатить за квартиру.

До срока оставалось еще три дня, и фрау Залевски чуть не упала от удивления.

— Здесь что-то не так, — заметила она подозрительно.

— Все абсолютно так, — сказал я. — Можно мне сегодня вечером взять оба парчовых кресла из вашей гостиной?

Готовая к бою, она уперла руки в толстые бедра.

— Вот так раз! Вам больше не нравится ваша комната?

— Нравится. Но ваши парчовые кресла еще больше.

Я сообщил ей, что меня, возможно, навестит кузина и что поэтому мне хотелось бы обставить свою комнату поуютнее. Она так расхохоталась, что грудь ее заходила ходуном.

— Кузина, — повторила она презрительно. — И

когда придет эта кузина?

— Еще неизвестно, придет ли она, — сказал я, — но если она придет, то, разумеется, рано… Рано вечером, к ужину. Между прочим, фрау Залевски, почему, собственно, не должно быть на свете кузин?

— Бывают, конечно, — ответила она, — но для них не одалживают кресла.

— А я вот одалживаю, — сказал я твердо, — во мне очень сильно развиты родственные чувства.

— Как бы не так! Все вы ветрогоны. Все, как один. Можете взять парчовые кресла. В гостиную поставите пока красные плюшевые.

— Благодарю. Завтра принесу все обратно. И ковер тоже.

— Ковер? — Она повернулась. — Кто здесь сказал хоть слово о ковре?

— Я. И вы тоже. Вот только сейчас.

Она возмущенно смотрела на меня.

— Без него нельзя, — сказал я. — Ведь кресла стоят на нем.

— Господин Локамп! — величественно произнесла фрау Залевски. — Не заходите слишком далеко! Умеренность во всем, как говаривал покойный Залевски. Следовало бы и вам усвоить это.

Я знал, что покойный Залевски, несмотря на этот девиз, однажды напился так, что умер. Его жена часто сама рассказывала мне о его смерти. Но дело было не в этом. Она пользовалась своим мужем, как иные люди Библией, — для цитирования. И чем дольше он лежал в гробу, тем чаще она вспоминала его изречения. Теперь он годился уже на все случаи, — как и Библия.

* * *

Я прибирал свою комнату и украшал ее. Днем я созвонился с Патрицией Хольман. Она болела, и я не видел ее почти неделю. Мы условились встретиться в восемь часов; я предложил ей поужинать у меня, а потом пойти в кино.

Парчовые кресла и ковер казались мне роскошными, но освещение портило все. Рядом со мной жили супруги Хассе. Я постучал к ним, чтобы попросить настольную лампу. Усталая фрау Хассе сидела у окна. Мужа еще не было. Опасаясь увольнения, он каждый день добровольно пересиживал час-другой на работе. Его жена чем-то напоминала больную птицу. Сквозь ее расплывшиеся стареющие черты все еще проступало нежное лицо ребенка, разочарованного и печального.

Я изложил свою просьбу. Она оживилась и подала мне лампу.

— Да, — сказала она, вздыхая, — как подумаешь, что если бы в свое время…

Я знал эту историю. Речь шла о том, как сложилась бы ее судьба, не выйди она за Хассе. Ту же историю я знал и в изложении самого Хассе. Речь шла опять-таки о том, как бы сложилась его судьба, останься он холостяком. Вероятно, это была самая распространенная история в мире. И самая безнадежная.

Я послушал ее с минуту, произнес несколько ничего не значащих фраз и направился к Эрне Бениг, чтобы взять у нее патефон.

Фрау Хассе говорила об Эрне лишь как об «особе, живущей рядом». Она презирала ее, потому что завидовала. Я же относился к ней довольно хорошо. Эрна не строила себе никаких иллюзий и знала, что надо держаться покрепче за жизнь, чтобы урвать хоть немного от так называемого счастья. Она знала также, что за него приходится платить двойной и тройной ценой. Счастье — самая неопределенная и дорогостоящая вещь на свете.

Эрна опустилась на колени перед чемоданом и достала несколько пластинок.

— Хотите фокстроты? — спросила она.

— Нет, — ответил я. — Я не танцую.

Она подняла на меня удивленные глаза.

— Вы не танцуете? Позвольте, но что же вы делаете, когда идете куда-нибудь с дамой?

— Устраиваю танец напитков в глотке. Получается неплохо.

Она покачала головой.

— Мужчине, который не умеет танцевать, я бы сразу дала отставку.

— У вас слишком строгие принципы, — возразил я. — Но ведь есть и другие пластинки. Недавно я слышал очень приятную — женский голос… что-то вроде гавайской музыки…

— О, это замечательная пластинка! «И как же могла я жить без тебя!» Вы про эту?

— Правильно!.. Что только не приходит в голову авторам этих песенок! Мне кажется, кроме них, нет больше романтиков на земле.

Она засмеялась.

— Может быть, и так. Прежде писали стихи в альбомы, а нынче дарят друг другу пластинки. Патефон тоже вроде альбома. Если я хочу вспомнить что-нибудь, мне надо только поставить нужную пластинку, и все оживает передо мной.

Я посмотрел на груды пластинок на полу.

— Если судить по этому, Эрна, у вас целый ворох воспоминаний.

Она поднялась и откинула со лба рыжеватые волосы.

— Да, — сказала она и отодвинула ногой стопку пластинок, — но мне было бы приятнее одно, настоящее и единственное…

Я развернул покупки к ужину и приготовил все как умел. Ждать помощи из кухни не приходилось: с Фридой у меня сложились неважные отношения. Она бы разбила что-нибудь. Но я обошелся без ее помощи. Вскоре моя комната преобразилась до неузнаваемости — она вся сияла.

Я смотрел на кресла, на лампу, на накрытый стол, и во мне поднималось чувство беспокойного ожидания.

Я вышел из дому, хотя в запасе у меня оставалось больше часа времени. Ветер дул затяжными порывами, огибая углы домов. Уже зажглись фонари. Между домами повисли сумерки, синие, как море. «Интернациональ» плавал в них, как военный корабль с убранными парусами. Я решил войти туда на минутку.

— Гоп-ля, Роберт, — обрадовалась мне Роза.

— А ты почему здесь? — спросил я. — Разве тебе не пора начинать обход?

— Рановато еще.

К нам неслышно подошел Алоис.

— Ром? — спросил он.

— Тройную порцию, — ответил я.

— Здорово берешься за дело, — заметила Роза.

— Хочу немного подзарядиться, — сказал я и выпил ром.

— Сыграешь? — спросила Роза.

Я покачал головой.

— Не хочется мне сегодня, Роза. Очень уж ветрено на улице. Как твоя малышка?

Она улыбнулась, обнажив все свои золотые зубы.

— Хорошо. Пусть бы и дальше так. Завтра опять схожу туда. На этой неделе неплохо подзаработала: старые козлы разыгрались — весна им в голову ударила. Вот и отнесу завтра дочке новое пальтишко. Из красной шерсти.

— Красная шерсть — последний крик моды.

— Какой ты галантный кавалер, Робби.

— Смотри, не ошибись. Давай выпьем по одной. Анисовую хочешь?

Она кивнула. Мы чокнулись.

— Скажи, Роза, что ты, собственно, думаешь о любви? — спросил я. — Ведь в этих делах ты понимаешь толк.

Она разразилась звонким смехом.

— Перестань говорить об этом, — сказала она, успокоившись. — Любовь! О мой Артур! Когда я вспоминаю этого подлеца, я и теперь еще чувствую слабость в коленях. А если по-серьезному, так вот что я тебе скажу, Робби: человеческая жизнь тянется слишком долго для одной любви. Просто слишком долго. Артур сказал мне это, когда сбежал от меня. И это верно. Любовь чудесна. Но кому-то из двух всегда становится скучно. А другой остается ни с чем. Застынет и чего-то ждет… Ждет, как безумный…

— Ясно, — сказал я. — Но ведь без любви человек — не более чем покойник в отпуске.

— А ты сделай, как я, — ответила Роза. — Заведи себе ребенка. Будет тебе кого любить, и на душе спокойно будет.

— Неплохо придумано, — сказал я. — Только этого мне не хватало!

Роза мечтательно покачала головой.

— Ах, как меня лупцевал мой Артур, — и все-таки, войди он сейчас сюда в своем котелке, сдвинутом на затылок… Боже мой! Только подумаю об этом — и уже вся трясусь!

— Ну давай выпьем за здоровье Артура.

Роза рассмеялась.

— Пусть живет, потаскун этакий!

Мы выпили.

— До свидания, Роза. Желаю удачного вечера!

— Спасибо! До свидания, Робби!

* * *

Хлопнула парадная дверь.

— Алло, — сказала Патриция Хольман, — какой задумчивый вид!

— Нет, совсем нет! А вы как поживаете? Выздоровели? Что с вами было?

— Ничего особенного. Простудилась, потемпературила немного.

Она вовсе не выглядела больной или изможденной. Напротив, ее глаза никогда еще не казались мне такими большими и сияющими, лицо порозовело, а движения были мягкими, как у гибкого, красивого животного.

— Вы великолепно выглядите, — сказал я. — Совершенно здоровый вид! Мы можем придумать массу интересного.

— Хорошо бы, — ответила она. — Но сегодня не выйдет. Сегодня я не могу.

Я посмотрел на нее непонимающим взглядом.

— Вы не можете?

Она покачала головой.

— К сожалению, нет.

Я все еще не понимал. Я решил, что она просто раздумала идти ко мне и хочет поужинать со мной в другом месте.

— Я звонила вам, — сказала она, — хотела предупредить, чтобы вы не приходили зря. Но вас уже не было.

Наконец я понял.

— Вы действительно не можете? Вы заняты весь вечер? — спросил я.

— Сегодня да. Мне нужно быть в одном месте. К сожалению, я сама узнала об этом только полчаса назад.

— А вы не можете договориться на другой день?

— Нет, не получится. — Она улыбнулась. — Нечто вроде делового свидания.

Меня словно обухом по голове ударили. Я учел все, только не это. Я не верил ни одному ее слову. Деловое свидание, — но у нее был отнюдь не деловой вид! Вероятно, просто отговорка. Даже наверно. Да и какие деловые встречи бывают по вечерам? Их устраивают днем. И узнают о них не за полчаса. Просто она не хотела, вот и все.

Я расстроился, как ребенок. Только теперь я почувствовал, как мне был дорог этот вечер. Я

злился на себя за свое огорчение и старался не подавать виду.

— Что ж, ладно, — сказал я. — Тогда ничего не поделаешь. До свидания.

Она испытующе посмотрела на меня.

— Еще есть время. Я условилась на девять часов. Мы можем еще немного погулять. Я целую неделю не выходила из дому.

— Хорошо, — нехотя согласился я. Внезапно я почувствовал усталость и пустоту.

Мы пошли по улице. Вечернее небо прояснилось, и звезды застыли между крышами. Мы шли вдоль газона, в тени виднелось несколько кустов. Патриция Хольман остановилась.

— Сирень, — сказала она. — Пахнет сиренью! Не может быть! Для сирени еще слишком рано.

— Я и не слышу никакого запаха, — ответил я.

— Нет, пахнет сиренью. — Она перегнулась через решетку.

— Это «дафна индика», сударыня, — донесся из темноты грубый голос.

Невдалеке, прислонившись к дереву, стоял садовник в фуражке с латунной бляхой. Он подошел к нам, слегка пошатываясь. Из его кармана торчало горлышко бутылки.

— Мы ее сегодня высадили, — заявил он и звуч-

но икнул. — Вот она.

— Благодарю вас, — сказала Патриция Хольман и повернулась ко мне. — Вы все еще не слышите запаха?

— Нет, теперь что-то слышу, — ответил я неохотно. — Запах доброй пшеничной водки.

— Правильно угадали. — Человек в тени громко рыгнул.

Я отчетливо слышал густой, сладковатый аромат цветов, плывший сквозь мягкую мглу, но ни за что на свете не признался бы в этом.

Девушка засмеялась и расправила плечи.

— Как это чудесно, особенно после долгого заточения в комнате! Очень жаль, что мне надо уйти! Этот Биндинг! Вечно у него спешка, все делается в последнюю минуту. Он вполне мог бы перенести встречу на завтра!

— Биндинг? — спросил я. — Вы условились с Биндингом?

Она кивнула.

— С Биндингом и еще с одним человеком. От него-то все и зависит. Серьезно, чисто деловая встреча. Представляете себе?

— Нет, — ответил я. — Этого я себе не представляю.

Она снова засмеялась и продолжала говорить.

Но я больше не слушал. Биндинг! Меня словно молния ударила. Я не подумал, что она знает его гораздо дольше, чем меня. Я видел только его непомерно огромный сверкающий «бьюик», его дорогой костюм и бумажник. Моя бедная, старательно убранная комнатенка! И что это мне взбрело в голову? Лампа Хассе, кресла фрау Залевски! Эта девушка вообще была не для меня! Да и кто я? Пешеход, взявший напрокат «кадиллак», жалкий пьяница, больше ничего! Таких можно встретить на каждом углу. Я уже видел, как швейцар в «Лозе» козыряет Биндингу, видел светлые, теплые, изящно отделанные комнаты, облака табачного дыма и элегантно одетых людей, я слышал музыку и смех, издевательский смех над собой. «Назад, — подумал я, — скорее назад. Что же… во мне возникло какое-то предчувствие, какая-то надежда… Но ведь ничего, собственно, не произошло! Было бессмысленно затевать все это. Нет, только назад!»

— Мы. можем встретиться завтра вечером, если хотите, — сказала Патриция.

— Завтра вечером я занят, — ответил я.

— Или послезавтра, или в любой день на этой неделе. У меня все дни свободны.

— Это будет трудно, — сказал я. — Сегодня мы

получили срочный заказ, и нам, наверно, придется работать всю неделю допоздна.

Это было вранье, но я не мог иначе. Вдруг я почувствовал, что задыхаюсь от бешенства и стыда.

Мы пересекли площадь и пошли по улице, вдоль кладбища. Я заметил Розу. Она шла от «Интернационаля». Ее высокие сапожки были начищены до блеска. Я мог бы свернуть, и, вероятно, так бы и сделал при других обстоятельствах, — но теперь я продолжал идти ей навстречу. Роза смотрела мимо, словно мы и не были знакомы. Таков непреложный закон: ни одна из этих девушек не узнавала вас на улице, если вы были не один.

— Здравствуй, Роза, — сказал я.

Она озадаченно посмотрела сначала на меня, потом на Патрицию, кивнула и, смутившись, поспешно пошла дальше. Через несколько шагов мы встретили ярко накрашенную Фрицци. Покачивая бедрами, она размахивала сумочкой. Она равнодушно посмотрела на меня, как сквозь оконное стекло.

— Привет, Фрицци, — сказал я.

Она наклонила голову, как королева, ничем не выдав своего изумления; но я услышал, как она ускорила шаг, — ей хотелось нагнать Розу и

обсудить с ней это происшествие. Я все еще мог бы свернуть в боковую улицу, зная, что должны встретиться и остальные, — было время большого патрульного обхода. Но, повинуясь какому-то упрямству, я продолжал идти прямо вперед, — да и почему я должен был избегать встреч с ними, ведь я знал их гораздо лучше, чем шедшую рядом девушку с ее Биндингом и его «бьюиком». Ничего, пусть посмотрит, пусть как следует наглядится.

Они прошли все вдоль длинного ряда фонарей — красавица Валли, бледная, стройная и элегантная; Лина с деревянной ногой; коренастая Эрна; Марион, которую все звали Цыпленочком; краснощекая Марго; женоподобный Кики в беличьей шубке и, наконец, склеротическая бабушка Мими, похожая на общипанную сову. Я здоровался со всеми, а когда мы прошли мимо «матушки», сидевшей около своего котелка с колбасками, я сердечно пожал ей руку.

— У вас здесь много знакомых, — сказала Патриция Хольман после некоторого молчания.

— Таких — да, — туповато ответил я.

Я заметил, что она смотрит на меня.

— Думаю, что мы можем теперь пойти обратно, — сказала она.

— Да, — ответил я, — и я так думаю.

Мы подошли к ее парадному.

— Будьте здоровы, — сказал я, — желаю приятно развлекаться.

Она не ответила. Не без труда оторвал я взгляд от кнопки звонка и посмотрел на Патрицию. Я не поверил своим глазам. Я полагал, что она сильно оскорблена, но уголки ее рта подергивались, глаза искрились огоньком, и вдруг она расхохоталась, сердечно и беззаботно. Она просто смеялась надо мной.

— Ребенок, — сказала она. — О Господи, какой же вы еще ребенок!

Я вытаращил на нее глаза.

— Ну да… — сказал я наконец, — все же… — И вдруг я понял комизм положения. — Вы, вероятно, считаете меня идиотом?

Она смеялась. Я порывисто и крепко обнял ее. Пусть думает что хочет. Ее волосы коснулись моей щеки, лицо было совсем близко, я услышал слабый персиковый запах ее кожи. Потом глаза ее приблизились, и вдруг она поцеловала меня в губы…

Она исчезла прежде, чем я успел сообразить, что случилось.

* * *

На обратном пути я подошел к котелку с колбасками, у которого сидела «матушка».

— Дай-ка мне порцию побольше.

— С горчицей? — спросила она. На ней был чистый белый передник.

— Да, побольше горчицы, матушка!

Стоя около котелка, я с наслаждением ел сардельки. Алоис вынес мне из «Интернационаля» кружку пива.

— Странное существо человек, матушка, как ты думаешь? — сказал я.

— Вот уж правда, — ответила она с горячностью. — Например, вчера: подходит какой-то господин, съедает две венские сосиски с горчицей и не может заплатить за них. Понимаешь? Уже поздно, кругом ни души, что мне с ним делать? Я его, конечно, отпустила, — знаю, как бывает. И представь себе, сегодня он приходит опять, платит за сосиски и дает мне еще на чай.

— Ну, это — довоенная натура, матушка. А как вообще идут твои дела?

— Плохо! Вчера семь порций венских сосисок и девять порций сарделек. Скажу тебе: если бы не девочки, я давно бы уже кончилась.

«Девочками» она называла проституток. Они помогали «матушке» чем могли. Если им удавалось подцепить «жениха», они обязательно старались пройти мимо нее, чтобы съесть по колбаске и дать старушке заработать.

— Скоро потеплеет, — продолжала «матушка», — но зимой, когда сыро и холодно… Уж тут одевайся как хочешь, все равно не убережешься.

— Дай мне еще сардельку, — сказал я, — у меня такое чудесное настроение сегодня. А как у тебя дома?

Она посмотрела на меня маленькими, светлыми, как вода, глазками.

— Все одно и то же. Недавно он продал кровать.

«Матушка» была замужем. Десять лет назад ее муж попал под поезд метро, пытаясь вскочить на ходу. Ему пришлось ампутировать обе ноги. Несчастье подействовало на него довольно странным образом. Оказавшись калекой, он перестал спать с женой — ему было стыдно. Кроме того, в больнице он пристрастился к морфию. Он быстро опустился, попал в компанию гомосексуалистов, и вскоре этот человек, пятьдесят лет бывший вполне нормальным мужчиной, стал якшаться только с мальчиками. Перед ними он не сты-

дился, потому что они были мужчинами. Для женщин он был калекой, и ему казалось, что он внушает им отвращение и жалость. Этого он не мог вынести. В обществе мужчин он чувствовал себя человеком, попавшим в беду. Чтобы добывать деньги на мальчиков и морфий, он воровал у «матушки» все, что мог найти, и продавал. Но «матушка» была привязана к нему, хотя он ее частенько бил. Вместе со своим сыном она простаивала каждую ночь до четырех утра у котелка с колбасками. Днем стирала белье и мыла лестницы. Она была неизменно приветлива, считала, что в общем ей живется не так уж плохо, хотя страдала язвой кишечника и весила девяносто фунтов. Иногда ее мужу становилось совсем невмоготу. Тогда он приходил к ней и плакал. Для нее это были самые прекрасные часы.

— Ты все еще на своей хорошей работе? — спросила она.

Я кивнул.

— Да, матушка. Теперь я зарабатываю хорошо.

— Смотри не потеряй место.

— Постараюсь, матушка.

Я пришел домой. У парадного стояла горничная Фрида. Сам Бог послал мне ее.

— Вы очаровательная девочка, — сказал я (мне

очень хотелось быть хорошим).

Она скорчила гримасу, словно выпила уксусу.

— Серьезно, — продолжал я. — Какой смысл вечно ссориться, Фрида, жизнь коротка. Она полна всяких случайностей и превратностей. В наши дни надо держаться друг за дружку. Давайте помиримся!

Она даже не взглянула на мою протянутую руку, пробормотала что-то о «проклятых пьянчугах» и исчезла, грохнув дверью.

Я постучал к Георгу Блоку. Под его дверью виднелась полоска света. Он зубрил.

— Пойдем, Джорджи, жрать, — сказал я.

Он взглянул на меня. Его бледное лицо порозовело.

— Я не голоден.

Он решил, что я зову его из сострадания, и поэтому отказался.

— Ты сперва посмотри на еду, — сказал я. — Пойдем, а то все испортится. Сделай одолжение.

Когда мы шли по коридору, я заметил, что дверь Эрны Бенинг слегка приоткрыта. За дверью слышалось тихое дыхание. «Ага», — подумал я и тут же услышал, как у Хассе осторожно повернули ключ и тоже приотворили дверь на сантиметр. Казалось, весь пансион подстерегает

мою кузину.

Ярко освещенные люстрой, стояли парчовые кресла фрау Залевски. Рядом красовалась лампа Хассе. На столе светился ананас. Тут же были расставлены ливерная колбаса высшего сорта, нежно-розовая ветчина, бутылка шерри-бренди… Когда мы с Джорджи, потерявшим дар речи, уписывали всю эту роскошную снедь, в дверь постучали. Я знал, что сейчас будет.

— Джорджи, внимание! — прошептал я и громко сказал: — Войдите!

Дверь отворилась, и вошла фрау Залевски. Она сгорала от любопытства. Впервые она лично принесла мне почту — какой-то проспект, настоятельно призывавший меня питаться сырой пищей. Она была разодета, как фея, — настоящая дама старого, доброго времени: кружевное платье, шаль с бахромой и брошь с портретом покойного Залевски. Приторная улыбка мгновенно застыла на ее лице: изумленно глядела она на растерявшегося Джорджи. Я разразился громким бессердечным смехом. Она тотчас овладела собой.

— Ага, получил отставку, — заметила она ядовито.

— Так точно, — согласился я, все еще созерцая

ее пышный наряд. Какое счастье, что визит Патриции не состоялся!

Фрау Залевски неодобрительно смотрела на меня.

— Вы еще смеетесь? Ведь я всегда говорила: где у других людей сердце, у вас бутылка со шнапсом.

— Хорошо сказано, — ответил я. — Не окажете ли вы нам честь, сударыня?

Она колебалась. Но любопытство победило: а вдруг удастся узнать еще что-нибудь. Я открыл бутылку шерри-бренди.

* * *

Позже, когда все утихло, я взял пальто и одеяло и прокрался по коридору к телефону. Я встал на колени перед столиком, на котором стоял аппарат, накрыл голову пальто и одеялом и снял трубку, придерживая левой рукой край пальто. Это гарантировало от подслушивания. В пансионе фрау Залевски было много длинных любопытных ушей. Мне повезло. Патриция Хольман была дома.

— Давно уже вернулись с вашего таинственного свидания? — спросил я.

— Уже около часа.

— Жаль. Если бы я знал…

Она рассмеялась.

— Это ничего бы не изменило. Я уже в постели, и у меня снова немного поднялась температура. Очень хорошо, что я рано вернулась.

— Температура? Что с вами?

— Ничего особенного. А вы что еще делали сегодня вечером?

— Беседовал со своей хозяйкой о международном положении. А вы как? У вас все в порядке?

— Надеюсь, все будет в порядке.

В моем укрытии стало жарко, как в клетке с обезьянами. Поэтому всякий раз, когда говорила девушка, я приподнимал «занавес» и торопливо вдыхал прохладный воздух; отвечая, я снова плотно прикрывал отдушину.

— Среди ваших знакомых нет никого по имени Роберт? — спросил я.

Она рассмеялась.

— Кажется, нет…

— Жаль. А то я с удовольствием послушал бы, как вы произносите это имя. Может быть, попробуете все-таки?

Она снова рассмеялась.

— Ну просто шутки ради, — сказал я. — Например: «Роберт осел».

— Роберт детеныш…

— У вас изумительное произношение, — сказал я. — А теперь давайте попробуем сказать «Робби». Итак; «Робби»…

— Робби пьяница… — медленно произнес далекий тихий голос. — А теперь мне надо спать. Я приняла снотворное, и голова гудит…

— Да… спокойной ночи… спите спокойно…

Я повесил трубку и сбросил с себя одеяло и пальто. Затем я встал на ноги и тут же замер. Прямо передо мной стоял, точно призрак, казначей в отставке, снимавший комнатку рядом с кухней. Разозлившись, я пробормотал что-то.

— Тсс! — прошипел он и оскалил зубы.

— Тсс! — ответил я ему, мысленно посылая его ко всем чертям.

Он поднял палец.

— Я вас не выдам. Политическое дело, верно?

— Что? — спросил я изумленно.

Он подмигнул мне.

— Не беспокойтесь. Я сам стою на крайних правых позициях. Тайный политический разговор, а?

Я понял его.

— Высокополитический! — сказал я и тоже оскалил зубы.

Он кивнул и прошептал:

— Да здравствует его величество!

— Трижды виват! — ответил я. — А теперь вот что: вы случайно не знаете, кто изобрел телефон?

Он удивился вопросу и отрицательно покачал своим голым черепом.

— И я не знаю, — сказал я, — но, вероятно, это был замечательный парень…

IX

Воскресенье. День гонок. Всю последнюю неделю Кестер тренировался ежедневно. Вечерами мы принимались за «Карла» и до глубокой ночи копались в нем, проверяя каждый винтик, тщательно смазывая и приводя в порядок все. Мы сидели около склада запасных частей и ожидали Кестера, отправившегося к месту старта.

Все были в сборе: Грау, Валентин, Ленц, Патриция Хольман, а главное — Юпп — в комбинезоне и в гоночном шлеме с очками. Он весил меньше всех и поэтому должен был сопровождать Кестера. Правда, у Ленца возникли сомнения. Он утверждал, что огромные, торчащие в стороны уши Юппа чрезмерно повысят сопротивление воздуха, и тогда машина либо потеряет двадцать километров скорости, либо превратится в самолет.

— Откуда у вас, собственно, английское имя? — спросил Готтфрид Патрицию Хольман, сидевшую рядом с ним.

— Моя мать была англичанка. Ее тоже звали Пат.

— Ну, Пат — это другое дело. Это гораздо легче

произносится. — Он достал стакан и бутылку. — За крепкую дружбу, Пат. Меня зовут Готтфрид.

Я с удивлением смотрел на него. Я все еще не мог придумать, как мне ее называть, а он прямо средь бела дня так свободно шутит с ней. И Пат смеется и называет его Готтфридом.

Но все это не шло ни в какое сравнение с поведением Фердинанда Грау. Тот словно сошел с ума и не спускал глаз с Пат. Он декламировал звучные стихи и заявил, что должен писать ее портрет. И действительно — он устроился на ящике и начал работать карандашом.

— Послушай, Фердинанд, старый сыч, — сказал я, отнимая у него альбом для зарисовок. — Не трогай ты живых людей. Хватит с тебя трупов. И говори, пожалуйста, побольше на общие темы. К этой девушке я отношусь всерьез.

— А вы пропьете потом со мной остаток выручки, доставшейся мне от наследства моего трактирщика?

— Насчет всего остатка не знаю. Но частицу — наверняка, — сказал я.

— Ладно. Тогда я пожалею тебя, мой мальчик.

* * *

Треск моторов проносился над гоночной трассой, как пулеметный огонь. Пахло сгоревшим маслом, бензином и касторкой. Чудесный, возбуждающий запах, чудесный и возбуждающий вихрь моторов.

По соседству, в хорошо оборудованных боксах, шумно возились механики. Мы были оснащены довольно скудно. Несколько инструментов, свечи зажигания, два запасных колеса, подаренные нам какой-то фабрикой, немного мелких запасных частей — вот и все. Кестер представлял самого себя, а не какой-нибудь автомобильный завод, и нам приходилось нести самим все расходы. Поэтому у нас и было только самое необходимое.

Пришел Отто в сопровождении Браумюллера, уже одетого для гонки.

— Ну, Отто, — сказал он, — если мои свечи выдержат сегодня, то тебе крышка. Но они не выдержат.

— Посмотрим, — ответил Кестер.

Браумюллер погрозил «Карлу».

— Берегись моего «Щелкунчика»!

Так называлась его новая, очень тяжелая машина. Ее считали фаворитом.

— «Карл» задаст тебе перцу, Тео! — крикнул ему Ленц. Браумюллеру захотелось ответить ему на старом, честном солдатском языке, но, увидев около нас Патрицию Хольман, он осекся. Выпучив глаза, он глупо ухмыльнулся в пространство и отошел.

— Полный успех, — удовлетворенно сказал Ленц.

На дороге раздался лай мотоциклов. Кестер начал готовиться. «Карл» был заявлен по классу спортивных машин.

— Большой помощи мы тебе оказать не сможем. Отто, — сказал я, оглядев набор наших инструментов.

Он махнул рукой.

— И не надо. Если «Карл» сломается, тут уж не поможет и целая авторемонтная мастерская.

— Выставлять тебе щиты, чтобы ты знал, на каком ты месте?

Кестер покачал головой.

— Будет дан общий старт. Сам увижу. Кроме того, Юпп будет следить за этим.

Юпп ревностно кивнул головой. Он дрожал от возбуждения и непрерывно пожирал шоколад. Но таким он был только сейчас, перед гонками. Мы знали, что после стартового выстрела он

станет спокоен, как черепаха.

— Ну, пошли! Ни пуха ни пера!

Мы выкатили «Карла» вперед.

— Ты только не застрянь на старте, падаль моя любимая, — сказал Ленц, поглаживая радиатор. — Не разочаруй своего старого папашу, «Карл»!

«Карл» помчался. Мы смотрели ему вслед.

— Глянь-ка на эту дурацкую развалину, — неожиданно послышалось рядом с нами. — Особенно задний мост… Настоящий страус!

Ленц залился краской и выпрямился.

— Вы имеете в виду белую машину? — спросил он, с трудом сдерживаясь.

— Именно ее, — предупредительно ответил ему огромного роста механик из соседнего бокса. Он бросил свою реплику небрежно, едва повернув голову, и передал своему соседу бутылку с пивом. Ленц начал задыхаться от ярости и уже хотел было перескочить через низкую дощатую перегородку. К счастью, он еще не успел произнести ни одного оскорбления, и я оттащил его назад.

— Брось эту ерунду, — зашипел я. — Ты нам нужен здесь. Зачем раньше времени попадать в больницу!

С ослиным упрямством Ленц пытался вырвать-

ся. Он не выносил никаких выпадов против «Карла».

— Вот видите, — сказал я Патриции Хольман, — и этого шального козла еще называют «последним романтиком»! Можете вы поверить, что он когда-то писал стихи?

Это подействовало мгновенно. Я ударил по больному месту.

— Задолго до войны, — извинился Готтфрид. — А кроме того, деточка, сходить с ума во время гонок — не позор. Не так ли, Пат?

— Быть сумасшедшим вообще не позорно.

Готтфрид взял под козырек.

— Великие слова!

Грохот моторов заглушил все. Воздух содрогался. Содрогались земля и небо. Стая машин пронеслась мимо.

— Предпоследний! — пробурчал Ленц. — Наш зверь все-таки запнулся на старте.

— Ничего не значит, — сказал я. — Старт — слабое место «Карла». Он снимается медленно с места, но зато потом его не удержишь.

В замирающий грохот моторов начали просачиваться звуки громкоговорителей. Мы не верили своим ушам: Бургер, один из самых опасных конкурентов, застрял на старте.

Опять послышался гул машин. Они трепетали вдали, как саранча над полем. Быстро увеличиваясь, они пронеслись вдоль трибун и легли в большой поворот. Оставалось шесть машин, и «Карл» все еще шел предпоследним. Мы были наготове. То слабее, то сильнее слышались из-за поворота рев двигателей и раскатистое эхо. Потом вся стая вырвалась на прямую. Вплотную за первой машиной шли вторая и третья. За ними следовал Кестер: на повороте он продвинулся вперед и шел теперь четвертым.

Солнце выглянуло из-за облаков. Широкие полосы света и тени легли на дорогу, расцветив ее, как тигровую шкуру. Тени от облаков проплывали над толпой. Ураганный рев моторов бил по нашим напряженным нервам, словно дикая бравурная музыка. Ленц переминался с ноги на ногу, я жевал сигарету, превратив ее в кашицу, а Патриция тревожно, как жеребенок на заре, втягивала в себя воздух. Только Валентин и Грау сидели спокойно и нежились на солнце.

И снова грохочущее сердцебиение машин, мчащихся вдоль трибун. Мы не спускали глаз с Кестера. Отто мотнул головой, — он не хотел менять баллонов. Когда после поворота машины опять пронеслись мимо нас, Кестер шел уже

впритирку за третьей. В таком порядке они бежали по бесконечной прямой.

— Черт возьми! — Ленц глотнул из бутылки.

— Это он освоил, — сказал я Патриции. — Нагонять на поворотах — его специальность.

— Пат, хотите глоточек? — спросил Ленц, протягивая ей бутылку.

Я с досадой посмотрел на него. Он выдержал мой взгляд, не моргнув глазом.

— Лучше из стакана, — сказала она. — Я еще не научилась пить из бутылки.

— Нехорошо! — Готтфрид достал стакан. — Сразу видны недостатки современного воспитания.

На последующих кругах машины растянулись. Вел Браумюллер. Первая четверка вырвалась постепенно на триста метров вперед. Кестер исчез за трибунами, идя нос в нос с третьим гонщиком. Потом машины показались опять. Мы вскочили. Куда девалась третья? Отто несся один за двумя первыми. Наконец подъехала третья машина. Задние баллоны были в клочьях. Ленц злорадно усмехнулся: машина остановилась у соседнего бокса. Огромный механик ругался. Через минуту машина снова была в порядке.

Еще несколько кругов, но положение не изменилось. Ленц отложил секундомер в сторону и

начал вычислять.

— У «Карла» еще есть резервы, — объявил он.

— Боюсь, что у других тоже, — сказал я.

— Маловер! — Он посмотрел на меня уничтожающим взглядом.

На предпоследнем круге Кестер опять качнул головой. Он шел на риск и хотел закончить гонку, не меняя баллонов. Еще не было настоящей жары, и баллоны могли бы, пожалуй, выдержать.

Напряженное ожидание прозрачной стеклянной химерой повисло над просторной площадью и трибунами, — начался финальный этап гонок.

— Всем держаться за дерево, — сказал я, сжимая ручку молотка. Ленц положил руку на мою голову. Я оттолкнул его. Он улыбнулся и ухватился за барьер.

Грохот нарастал до рева, рев до рычания, рычание до грома, до высокого, свистящего пения моторов, работавших на максимальных оборотах. Браумюллер влетел в поворот. За ним неслась вторая машина. Ее задние колеса скрежетали и шипели. Она шла ниже первой. Гонщик, видимо, хотел попытаться пройти по нижнему кругу.

— Врешь! — крикнул Ленц. В эту секунду появился Кестер. Его машина на полной скорости взлетела до верхнего края. Мы замерли. Казалось,

что «Карл» вылетит за поворот, но мотор взревел, и автомобиль продолжал мчаться по кривой.

— Он вошел в поворот на полном газу! — воскликнул я.

Ленц кивнул.

— Сумасшедший!

Мы свесились над барьером, дрожа от лихорадочного напряжения. Удастся ли ему? Я поднял Патрицию и поставил ее на ящик с инструментами.

— Так вам будет лучше видно! Обопритесь на мои плечи. Смотрите внимательно, он и этого обставит на повороте.

— Уже обставил! — закричала она. — Он уже впереди!

— Он приближается к Браумюллеру! Господи, Отец небесный, святой Моисей! — орал Ленц. — Он действительно обошел второго, а теперь подходит к Браумюллеру.

Над треком нависла грозовая туча. Все три машины стремительно вырвались из-за поворота, направляясь к нам. Мы кричали как оголтелые, к нам присоединились Валентин и Грау с его чудовищным басом. Безумная попытка Кестера удалась, он обогнал вторую машину сверху на повороте, — его соперник допустил просчет и вы-

нужден был сбавить скорость на выбранной им крутой дуге. Теперь Отто коршуном ринулся на Браумюллера, вдруг оказавшегося только метров на двадцать впереди. Видимо, у Браумюллера забарахлило зажигание.

— Дай ему, Отто! Дай ему! Сожри «Щелкунчика»! — ревели мы, размахивая руками.

Машины в последний раз скрылись за поворотом. Ленц громко молился всем богам Азии и Южной Америки, прося у них помощи, и потрясал своим амулетом. Я тоже вытащил свой. Опершись на мои плечи, Патриция подалась вперед и напряженно вглядывалась вдаль; она напоминала изваяние на носу галеры.

Показались машины. Мотор Браумюллера все еще чихал, то и дело слышались перебои. Я закрыл глаза; Ленц повернулся спиной к трассе — мы хотели умилостивить судьбу. Чей-то крик заставил нас очнуться. Мы только успели заметить, как Кестер первым пересек линию финиша, оторвавшись на два метра от своего соперника.

Ленц обезумел. Он швырнул инструмент на землю и сделал стойку на запасном колесе.

— Что это вы раньше сказали? — заорал он, снова встав на ноги и обращаясь к механику-геркулесу. — Развалина?

— Отвяжись от меня, дурак, — недовольно ответил ему механик. И в первый раз, с тех пор как я его знал, последний романтик, услышав оскорбление, не впал в бешенство. Он затрясся от хохота, словно у него была пляска святого Витта.

* * *

Мы ожидали Отто. Ему надо было переговорить с членами судейской коллегии.

— Готтфрид, — послышался за нами хриплый голос. Мы обернулись и увидели человекоподобную гору в слишком узких полосатых брюках, не в меру узком пиджаке цвета маренго и в черном котелке.

— Альфонс! — воскликнула Патриция Хольман.

— Собственной персоной, — согласился он.

— Мы выиграли, Альфонс! — крикнула она.

— Крепко, крепко. Выходит, я немножко опоздал?

— Ты никогда не опаздываешь, Альфонс, — сказал Ленц.

— Я, собственно, принес вам кое-какую еду. Жареную свинину, немного солонины. Все уже нарезано.

Он развернул пакет.

— Боже мой, — сказала Патриция Хольман, — тут на целый полк!

— Об этом можно судить только потом, — заметил Альфонс. — Между прочим, имеется кюммель, прямо со льда.

Он достал две бутылки.

— Уже откупорены.

— Крепко, крепко, — сказала Патриция Хольман. Он дружелюбно подмигнул ей.

Тарахтя, подъехал к нам «Карл». Кестер и Юпп выпрыгнули из машины. Юпп выглядел точно юный Наполеон. Его уши сверкали, как церковные витражи. В руках он держал невероятно безвкусный и огромный серебряный кубок.

— Шестой, — сказал Кестер, смеясь. — Эти ребята никак не придумают что-нибудь другое.

— Только эту молочную крынку? — деловито осведомился Альфонс. — А наличные?

— Да, — успокоил его Отто. — И наличные тоже.

— Тогда мы просто купаемся в деньгах, — сказал Грау.

— Наверно, получится приятный вечерок.

— У меня? — спросил Альфонс.

— Мы считаем это честью для себя, — ответил Ленц.

— Гороховый суп со свиными потрохами, ножками и ушами, — сказал Альфонс, и даже Патриция Хольман изобразила на своем лице чувство высокого уважения.

— Разумеется, бесплатно, — добавил он.

Подошел Браумюллер, держа в руке несколько свечей зажигания, забрызганных маслом. Он проклинал свою неудачу.

— Успокойся, Тео! — крикнул ему Ленц. — Тебе обеспечен первый приз в ближайшей гонке на детских колясках.

— Дадите отыграться хоть на коньяке? — спросил Браумюллер.

— Можешь пить его даже из пивной кружки, — сказал Грау.

— Тут ваши шансы слабы, господин Браумюллер, — произнес Альфонс тоном эксперта. — Я еще ни разу не видел, чтобы Кестер был под мухой.

— А я до сегодняшнего дня ни разу не видел «Карла» впереди себя, — ответил Браумюллер.

— Неси свое горе с достоинством, — сказал Грау. — Вот бокал, возьми. Выпьем за то, чтобы машины погубили культуру.

Собираясь отправиться в город, мы решили прихватить остатки провианта, принесенного Альфонсом. Там еще оставалось вдоволь на

несколько человек. Но мы обнаружили только бумагу.

— Ах, вот оно что! — усмехнулся Ленц и показал на растерянно улыбавшегося Юппа. В обеих руках он держал по большому куску свинины. Живот его выпятился, как барабан. — Тоже своего рода рекорд!

* * *

За ужином у Альфонса Патриция Хольман пользовалась, как мне казалось, слишком большим успехом. Грау снова предложил написать ее портрет. Смеясь, она заявила, что у нее не хватит терпения; фотографироваться удобнее.

— Может быть, он напишет ваш портрет с фотографии, — заметил я, желая кольнуть Фердинанда. — Это скорее по его части.

— Спокойно, Робби, — невозмутимо ответил Фердинанд, продолжая смотреть на Пат своими голубыми детскими глазами. — От водки ты делаешься злобным, а я — человечным. Вот в чем разница между нашими поколениями.

— Он всего на десять лет старше меня, — небрежно сказал я.

— В наши дни это и составляет разницу в поколение, — продолжал Фердинанд. — Разницу в

целую жизнь, в тысячелетие. Что знаете вы, ребята, о бытии! Ведь вы боитесь собственных чувств. Вы не пишете писем — вы звоните по телефону; вы больше не мечтаете — вы выезжаете за город с субботы на воскресенье; вы разумны в любви и неразумны в политике — жалкое племя!

Я слушал его только одним ухом, а другим прислушивался к тому, что говорил Браумюллер. Чуть покачиваясь, он заявил Патриции Хольман, что именно он должен обучать ее водить машину. Уж он-то научит ее всем трюкам.

При первой же возможности я отвел его в сторонку.

— Тео, спортсмену очень вредно слишком много заниматься женщинами.

— Ко мне это не относится, — заметил Браумюллер, — у меня великолепное здоровье.

— Ладно. Тогда запомни: тебе не поздоровится, если я стукну тебя по башке этой бутылкой.

Он улыбнулся.

— Спрячь шпагу, малыш. Как узнают настоящего джентльмена, знаешь? Он ведет себя прилично, когда налижется. А ты знаешь, кто я?

— Хвастун!

Я не опасался, что кто-нибудь из них действительно попытается отбить ее: такое между нами

не водилось. Но я не так уж был уверен в ней самой. Мы слишком мало знали друг друга. Ведь могло легко статься, что ей вдруг понравится один из них. Впрочем, можно ли вообще быть уверенным в таких случаях?

— Хотите незаметно исчезнуть? — спросил я.

Она кивнула.

* * *

Мы шли по улицам. Было облачно. Серебристо-зеленый туман медленно опускался на город. Я взял руку Патриции и сунул ее в карман моего пальто. Мы шли так довольно долго.

— Устали? — спросил я.

Она покачала головой и улыбнулась.

Показывая на кафе, мимо которых мы проходили, я ее спрашивал:

— Не зайти ли нам куда-нибудь?

— Нет… Потом.

Наконец мы подошли к кладбищу. Оно было как тихий островок среди каменного потока домов. Шумели деревья. Их кроны терялись во мгле. Мы нашли пустую скамейку и сели.

Вокруг фонарей, стоявших перед нами, на краю тротуара, сияли дрожащие оранжевые нимбы. В сгущавшемся тумане начиналась сказочная игра

света. Майские жуки, охмелевшие от ароматов, грузно вылетали из липовой листвы, кружились около фонарей и тяжело ударялись об их влажные стекла. Туман преобразил все предметы, оторвав их от земли и подняв над нею. Гостиница напротив плыла по черному зеркалу асфальта, точно океанский пароход с ярко освещенными каютами; серая тень церкви, стоящей за гостиницей, превратилась в призрачный парусник с высокими мачтами, терявшимися в серовато-красном мареве света. А потом сдвинулись с места и поплыли караваны домов…

Мы сидели рядом и молчали. В тумане все было нереальным — и мы тоже. Я посмотрел на Патрицию, — свет фонаря отражался в ее широко открытых глазах.

— Сядь поближе, — сказал я, — а то туман унесет тебя…

Она повернула ко мне лицо и улыбнулась. Ее рот был полуоткрыт, зубы мерцали, большие глаза смотрели в упор на меня… Но мне казалось, будто она вовсе меня не замечает, будто ее улыбка и взгляд скользят мимо, туда, где серое, серебристое течение; будто она слилась с призрачным шевелением листвы, с каплями, стекающими по влажным стволам, будто она ловит темный

неслышный зов за деревьями, за целым миром, будто вот сейчас она встанет и пойдет сквозь туман, бесцельно и уверенно, туда, где ей слышится темный таинственный призыв земли и жизни.

Никогда я не забуду это лицо, никогда не забуду, как оно склонилось ко мне, красивое и выразительное, как оно просияло лаской и нежностью, как оно расцвело в этой сверкающей тишине, — никогда не забуду, как ее губы потянулись ко мне, глаза приблизились к моим, как близко они разглядывали меня, вопрошающе и серьезно, и как потом эти большие мерцающие глаза медленно закрылись, словно сдавшись…

А туман все клубился вокруг. Из его рваных клочьев торчали бледные могильные кресты. Я снял пальто, и мы укрылись им. Город потонул. Время умерло…

* * *

Мы долго просидели так. Постепенно ветер усилился, и в сером воздухе перед нами замелькали длинные тени. Я услышал шаги и невнятное бормотанье. Затем донесся приглушенный звон гитар. Я поднял голову. Тени приближались, превращаясь в темные силуэты, и сдвинулись в круг. Тишина. И вдруг громкое пение: «Иисус

зовет тебя…»

Я вздрогнул и стал прислушиваться. В чем дело? Уж не попали ли мы на луну? Ведь это был настоящий хор, — двухголосный женский хор…

— «Грешник, грешник, подымайся…» — раздалось над кладбищем в ритме военного марша.

В недоумении я посмотрел на Пат.

— Ничего не понимаю, — сказал я.

— «Приходи в исповедальню…» — продолжалось пение в бодром темпе.

Вдруг я понял.

— Бог мой! Да ведь это Армия спасения!

— «Грех в себе ты подавляй…» — снова призывали тени. Кантилена нарастала.

В карих глазах Пат замелькали искорки. Ее губы и плечи вздрагивали от смеха.

Над кладбищем неудержимо гремело фортиссимо:

Страшный огонь и пламя ада —
Вот за грех тебе награда;
Но Иисус зовет: «Молись!
О заблудший сын, спасись!»

— Тихо! Разрази вас гром! — послышался внезапно из тумана чей-то злобный голос.

Минута растерянного молчания. Но Армия

спасения привыкла к невзгодам. Хор зазвучал с удвоенной силой.

— «Одному что в мире делать?» — запели женщины в унисон.

— Целоваться, черт возьми, — заорал тот же голос. — Неужели и здесь нет покоя?

— «Тебя дьявол соблазняет…» — оглушительно ответили ему.

— Вы, старые дуры, уже давно никого не соблазняете! — мгновенно донеслась реплика из тумана.

Я фыркнул. Пат тоже не могла больше сдерживаться. Мы тряслись от хохота. Этот поединок был форменной потехой. Армии спасения было известно, что кладбищенские скамьи служат прибежищем для любовных пар. Только здесь они могли уединиться и скрыться от городского шума. Поэтому богобоязненные «армейцы», задумав нанести по кладбищу решающий удар, устроили воскресную облаву для спасения душ. Необученные голоса набожно, старательно и громко гнусавили слова песни. Резко бренчали в такт гитары.

Кладбище ожило. В тумане начали раздаваться смешки и возгласы. Оказалось, что все скамейки были заняты. Одинокий мятежник, выступив-

ший в защиту любви, получил невидимое, но могучее подкрепление со стороны единомышленников. В знак протеста быстро организовался контрхор. В нем, видимо, участвовало немало бывших военных. Маршевая музыка Армии спасения раззадорила их. Вскоре мощно зазвучала старинная песня «В Гамбурге я побывал — мир цветущий увидал…».

Армия спасения страшно всполошилась. Бурно заколыхались поля шляпок. Они вновь попытались перейти в контратаку.

— «О, не упорствуй, умоляем…» — резко заголосил хор аскетических дам.

Но зло победило. Трубные голоса противников дружно грянули в ответ:

Свое имя назвать мне нельзя:

Ведь любовь продаю я за деньги…

— Уйдем сейчас же, — сказал я Пат. — Я знаю эту песню. В ней несколько куплетов, и текст чем дальше, тем красочней. Прочь отсюда!

* * *

Мы снова были в городе, с автомобильными гудками и шорохом шин. Но он оставался заколдованным. Туман превратил автобусы в

больших сказочных животных, автомобили — в крадущихся кошек с горящими глазами, а витрины магазинов — в пестрые пещеры, полные соблазнов.

Мы прошли по улице вдоль кладбища и пересекли площадь луна-парка. В мглистом воздухе карусели вырисовывались, как башни, пенящиеся блеском и музыкой, чертово колесо кипело в пурпуровом зареве, в золоте и хохоте, а лабиринт переливался синими огнями.

— Благословенный лабиринт! — сказал я.

— Почему? — спросила Пат.

— Мы были там вдвоем.

Она кивнула.

— Мне кажется, что это было бесконечно давно.

— Войдем туда еще разок?

— Нет, — сказал я. — Уже поздно. Хочешь что-нибудь выпить?

Она покачала головой.

Как она была прекрасна! Туман, словно легкий аромат, делал ее еще более очаровательной.

— А ты не устала? — спросил я.

— Нет, еще не устала.

Мы подошли к павильону с кольцами и крючками. Перед ним висели фонари, излучавшие

резкий карбидный свет. Пат посмотрела на меня.

— Нет, — сказал я. — Сегодня не буду бросать колец. Ни одного не брошу. Даже если бы мог выиграть винный погреб самого Александра Македонского.

Мы пошли дальше через площадь и парк.

— Где-то здесь должна быть сирень, — сказала Пат.

— Да, запах слышен. Совсем отчетливо.

— Видно, уже распустилась, — ответила она. — Ее запах разлился по всему городу.

Мне захотелось найти пустую скамейку, и я осторожно посмотрел по сторонам. Но то ли из-за сирени, или потому что был воскресный день, или нам просто не везло, — я ничего не нашел. На всех скамейках сидели пары. Я посмотрел на часы. Уже было больше двенадцати.

— Пойдем ко мне, — сказал я, — там мы будем одни.

Она не ответила, но мы пошли обратно. На кладбище мы увидели неожиданное зрелище. Армия спасения подтянула резервы. Теперь хор стоял в четыре шеренги, и в нем были не только сестры, но еще и братья в форменных мундирах. Вместо резкого двухголосья пение шло уже на

четыре голоса, и хор звучал как орган. В темпе вальса над могильными плитами неслось: «О мой небесный Иерусалим…»

От оппозиции ничего не осталось. Она была сметена.

Директор моей гимназии частенько говаривал: «Упорство и прилежание лучше, чем беспутство и гений…»

* * *

Я открыл дверь. Помедлив немного, включил свет. Отвратительный желтый зев коридора кишкой протянулся перед нами.

— Закрой глаза, — тихо сказал я, — это зрелище для закаленных.

Я подхватил ее на руки и медленно, обычным шагом, словно я был один, пошел по коридору мимо чемоданов и газовых плиток к своей двери.

— Жутко, правда? — растерянно спросил я, глядя на плюшевый гарнитур, расставленный в комнате. Да, теперь мне явно не хватало парчовых кресел фрау Залевски, копра, лампы Хассе…

— Совсем не так жутко, — сказала Пат.

— Все-таки жутко! — ответил я и подошел к окну. — Зато вид отсюда красивый. Может, придвинем кресла к окну?

Пат ходила по комнате.

— Совсем недурно. Главное, здесь удивительно тепло.

— Ты мерзнешь?

— Я люблю, когда тепло, — поеживаясь, сказала она. — Не люблю холод и дождь. К тому же, это мне вредно.

— Боже праведный… а мы просидели столько времени на улице в тумане…

— Тем приятнее сейчас здесь…

Она потянулась и снова заходила по комнате крупными шагами. Движения ее были очень красивы. Я почувствовал какую-то неловкость и быстро осмотрелся. К счастью, беспорядок был невелик. Ногой я задвинул свои потрепанные комнатные туфли под кровать.

Пат подошла к шкафу и посмотрела наверх. Там стоял старый чемодан — подарок Ленца. На нем была масса пестрых наклеек — свидетельства экзотических путешествий моего друга.

— «Рио-де-Жанейро! — прочитала она. — Манаос… Сант-Яго… Буэнос-Айрес… Лас-Пальмас…»

Она отодвинула чемодан назад и подошла ко мне.

— И ты уже успел побывать во всех этих местах?

Я что-то пробормотал. Она взяла меня под руку.

— Расскажи мне об этом, расскажи обо всех этих городах. Как должно быть чудесно путешествовать так далеко…

Я смотрел на нее. Она стояла передо мной, красивая, молодая, полная ожидания, мотылек, по счастливой случайности залетевший ко мне в мою старую, убогую комнату, в мою пустую, бессмысленную жизнь… ко мне и все-таки не ко мне: достаточно слабого дуновения — и он расправит крылышки и улетит… Пусть меня ругают, пусть стыдят, но я не мог, не мог сказать «нет», сказать, что никогда не бывал там… тогда я этого не мог…

Мы стояли у окна, туман льнул к стеклам, густел около них, и я почувствовал: там, за туманом, притаилось мое прошлое, молчаливое и невидимое… Дни ужаса и холодной испарины, пустота, грязь, клочья зачумленного бытия, беспомощность, расточительная трата сил, бесцельно уходящая жизнь, — но здесь, в тени передо мной, ошеломляюще близко, ее тихое дыхание, ее непостижимое присутствие и тепло, ее ясная жизнь, — я должен был это удержать, завоевать…

— Рио… — сказал я. — Рио-де-Жанейро — порт

как сказка. Семью дугами вписывается море в бухту, и белый сверкающий город поднимается над нею…

Я начал рассказывать о знойных городах и бесконечных равнинах, о мутных, илистых водах рек, о мерцающих островах и о крокодилах, о лесах, пожирающих дороги, о ночном рыке ягуаров, когда речной пароход скользит в темноте сквозь удушливую теплынь, сквозь ароматы ванильных лиан и орхидей, сквозь запахи разложения, — все это я слышал от Ленца, но теперь я почти не сомневался, что и вправду был там, — так причудливо смешались воспоминания с томлением по всему этому, с желанием привнести в невесомую и мрачную путаницу моей жизни хоть немного блеска, чтобы не потерять это необъяснимо красивое лицо, эту внезапно вспыхнувшую надежду, это осчастливившее меня цветение… Что стоил я сам по себе рядом с этим?.. Потом, когда-нибудь, все объясню, потом, когда стану лучше, когда все будет прочнее… потом… только не теперь… «Манаос… — говорил я, — Буэнос-Айрес…» — И каждое слово звучало как мольба, как заклинание.

* * *

Ночь. На улице начался дождь. Капли падали мягко и нежно, не так, как месяц назад, когда они шумно ударялись о голые ветви лип; теперь они тихо шуршали, стекая вниз по молодой податливой листве, мистическое празднество, таинственный ток капель к корням, от которых они поднимутся снова вверх и превратятся в листья, томящиеся весенними ночами по дождю.

Стало тихо. Уличный шум смолк. Над тротуаром метался свет одинокого фонаря. Нежные листья деревьев, освещенные снизу, казались почти белыми, почти прозрачными, а кроны были как мерцающие светлые паруса.

— Слышишь, Пат? Дождь…

— Да…

Она лежала рядом со мной. Бледное лицо и темные волосы на белой подушке. Одно плечо приподнялось. Оно поблескивало, как матовая бронза. На руку падала узкая полоска света.

— Посмотри… — сказала она, поднося ладони к лучу.

— Это от фонаря на улице, — сказал я.

Она привстала. Теперь осветилось и ее лицо. Свет сбегал по плечам и груди, желтый, как пла-

мя восковой свечи; он менялся, тона сливались, становились оранжевыми; а потом замелькали синие круги, и вдруг над ее головой ореолом всплыло теплое красное сияние. Оно скользнуло вверх и медленно поползло по потолку.

— Это реклама на улице.

— Видишь, как прекрасна твоя комната.

— Прекрасна, потому что ты здесь. Она никогда уже не будет такой, как. прежде… потому что ты была здесь.

Овеянная бледно-синим светом, она стояла на коленях в постели.

— Но… — сказала она, — я ведь еще часто буду приходить сюда… Часто…

Я лежал не шевелясь и смотрел на нее. Расслабленный, умиротворенный и очень счастливый, я видел все как сквозь мягкий, ясный сон.

— Как ты хороша, Пат! Куда лучше, чем в любом из твоих платьев.

Она улыбнулась и наклонилась надо мной.

— Ты должен меня очень любить, Робби. Не знаю, что я буду делать без любви!

Ее глаза были устремлены на меня. Лицо было совсем близко, взволнованное, открытое, полное страстной силы.

— Держи меня крепко, — прошептала она. —

Мне нужно, чтобы кто-то держал меня крепко, иначе я упаду. Я боюсь.

— Не похоже, что ты боишься.

— Это я только притворяюсь, а на самом деле я часто боюсь.

— Уж я-то буду держать тебя крепко, — сказал я, все еще не очнувшись от этого странного сна наяву, яркого и зыбкого. — Я буду держать тебя по-настоящему крепко. Ты даже удивишься.

Она коснулась ладонями моего лица.

— Правда?

Я кивнул. Ее плечи осветились зеленоватым светом, словно погрузились в глубокую воду. Я взял ее за руки и притянул к себе, — меня захлестнула большая теплая волна, светлая и нежная… Все погасло…

* * *

Она спала, положив голову на мою руку. Я часто просыпался и смотрел на нее. Мне хотелось, чтобы эта ночь длилась бесконечно. Нас несло где-то по ту сторону времени. Все пришло так быстро, и я еще ничего не мог понять. Я еще не понимал, что меня любят. Правда, я знал, что умею по-настоящему дружить с мужчинами, но я не представлял себе, за что, собственно, меня

могла бы полюбить женщина. Я думал: видимо, все сведется только к одной этой ночи, а потом мы проснемся, и все кончится.

Забрезжил рассвет. Я лежал неподвижно. Моя рука под ее головой затекла и онемела. Но я не шевелился, и только когда она повернулась во сне и прижалась к подушке, я осторожно высвободил руку. Я тихонько встал, побрился и бесшумно почистил зубы. Потом налил на ладонь немного одеколона и освежил волосы в шею. Было очень странно — стоять в этой безмолвной серой комнате наедине со своими мыслями и глядеть на темные контуры деревьев за окном. Повернувшись, я увидел, что Пат открыла глаза и смотрит на меня. У меня перехватило дыхание.

— Иди сюда, — сказала она.

Я подошел к ней и сел на кровать.

— Все еще правда? — спросил я.

— Почему ты спрашиваешь?

— Не знаю. Может быть, потому, что уже утро. Стало светлее.

— А теперь дай мне одеться, — сказала она.

Я поднял с пола ее белье из тонкого шелка. Оно было совсем невесомым. Я держал его в руке и думал, что даже оно совсем особенное. И та, кто носит его, тоже должна быть совсем особенной.

Никогда мне не понять ее, никогда.

Я подал ей платье. Она притянула мою голову и поцеловала меня.

Потом я проводил ее домой. Мы шли рядом в серебристом свете утра и почти не разговаривали. По мостовой прогромыхал молочный фургон. Появились разносчики газет. На тротуаре сидел старик и спал, прислонившись к стене дома. Его подбородок дергался, — казалось, вот-вот отвалится. Рассыльные развозили на велосипедах корзины с булочками. На улице запахло свежим теплым хлебом. Высоко в синем небе гудел самолет.

— Сегодня? — спросил я Пат, когда мы дошли до ее парадного.

Она улыбнулась.

— В семь? — спросил я.

Она совсем не выглядела усталой, а была свежа, как после долгого сна. Она поцеловала меня на прощанье. Я стоял перед домом, пока в ее комнате не зажегся свет.

Потом я пошел обратно. По пути я вспомнил все, что надо было ей сказать, — много прекрасных слов. Я брел по улицам и думал, как много я мог бы сказать и сделать, будь я другим. Потом я направился на рынок. Сюда уже съехались

фургоны с овощами, мясом и цветами. Я знал, что здесь можно купить цветы втрое дешевле, чем в магазине. На все деньги, оставшиеся у меня, я накупил тюльпанов. В их чашечках блестели капли росы. Цветы были свежи и великолепны. Продавщица набрала целую охапку и обещала отослать все Пат к одиннадцати часам. Договариваясь со мной, она рассмеялась и добавила к букету пучок фиалок.

— Ваша дама будет наслаждаться ими по крайней мере две недели, — сказала она. — Только пусть кладет время от времени таблетку пирамидона в воду.

Я кивнул и расплатился. Потом я медленно пошел домой.

X

В мастерской стоял отремонтированный «форд». Новых заказов не было. Следовало что-то предпринять. Кестер и я отправились на аукцион. Мы хотели купить такси, которое продавалось с молотка. Такси можно всегда неплохо перепродать.

Мы проехали в северную часть города. Под аукцион был отведен флигель во дворе. Кроме такси здесь продавалась целая куча других вещей: кровати, шаткие столы, позолоченная клетка с попугаем, выкрикивавшим: «Привет, миленький!», большие старинные часы, книги, шкафы, поношенный фрак, кухонные табуретки, посуда — все убожество искромсанного и гибнущего бытия.

Мы пришли слишком рано, распорядителя аукциона еще не было.

Побродив между выставленными вещами, я начал листать зачитанные дешевые издания греческих и римских классиков с множеством карандашных пометок на полях. Замусоленные, потрепанные страницы. Это уже не были стихи Горация или песни Анакреона, а беспомощный

крик нужды и отчаяния чьей-то разбитой жизни. Эти книги, вероятно, были единственным утешением для их владельца, он хранил их до последней возможности, и уж если их пришлось принести сюда, на аукцион, — значит, все было кончено.

Кестер посмотрел на меня через плечо.

— Грустно все это, правда?

Я кивнул и показал на другие вещи.

— Да, Отто. Не от хорошей жизни люди принесли сюда табуретки и шкафы.

Мы подошли к такси, стоявшему в углу двора. Несмотря на облупившуюся лакировку, машина была чистой. Коренастый мужчина с длинными большими руками стоял неподалеку и тупо разглядывал нас.

— А ты испробовал машину? — спросил я Кестера.

— Вчера, — сказал он. — Довольно изношена, но была в прекрасных руках.

Я кивнул.

— Да, выглядит отлично. Ее мыли еще сегодня утром. Сделал это, конечно, не аукционист.

Кестер кивнул и посмотрел на коренастого мужчину.

— Видимо, это и есть хозяин. Вчера он тоже

стоял здесь и чистил машину.

— Ну его к чертям! — сказал я. — Он похож на раздавленную собаку.

Какой-то молодой человек в пальто с поясом пересек двор и подошел к машине. У него был неприятный ухарский вид.

— Вот он, драндулет, — сказал он, обращаясь то ли к нам, то ли к владельцу машины, и постучал тростью по капоту. Я заметил, что хозяин вздрогнул при этом.

— Ничего, ничего, — великодушно успокоил его парень в пальто с поясом, — лакировка все равно уже не стоит ни гроша. Весьма почтенное старье. В музей бы его, а? — Он пришел в восторг от своей остроты, громко расхохотался и посмотрел на нас, ожидая одобрения. Мы не рассмеялись. — Сколько вы хотите за этого дедушку? — обратился он к владельцу.

Хозяин молча проглотил обиду.

— Хотите отдать его по цене металлического лома, не так ли? — продолжал тараторить юнец, которого не покидало отличное настроение. — Вы, господа, тоже интересуетесь? — И вполголоса добавил: — Можем обделать дельце. Пустим машину в обмен на яблоки и яйца, а прибыль поделим. Чего ради отдавать ему лишние деньги!

Впрочем, позвольте представиться: Гвидо Тисс из акционерного общества «Аугека».

Вертя бамбуковой тростью, он подмигнул нам доверительно, но с видом превосходства. «Этот дошлый двадцатипятилетний червяк знает все на свете», — подумал я с досадой. Мне стало жаль владельца машины, молча стоявшего рядом.

— Вам бы подошла другая фамилия. Тисс не звучит, — сказал я.

— Да что вы! — воскликнул он польщенно. Его, видимо, часто хвалили за хватку в делах.

— Конечно, не звучит, — продолжал я. — Сопляк, вот бы вам как называться, Гвидо Сопляк.

Он отскочил назад.

— Ну конечно, — сказал он, придя в себя. — Двое против одного…

— Если дело в этом, — сказал я, — то я и один могу пойти с вами куда угодно.

— Благодарю, благодарю! — холодно ответил Гвидо и ретировался.

Коренастый человек с расстроенным лицом стоял молча, словно все это его не касалось; он не сводил глаз с машины.

— Отто, мы не должны ее покупать, — сказал я.

— Тогда ее купит этот ублюдок Гвидо, — возразил Кестер, — и мы ничем не поможем ее

хозяину.

— Верно, — сказал я. — Но все-таки мне это не нравится.

— А что может понравиться в наше время, Робби? Поверь мне: для него даже лучше, что мы здесь. Так он, может быть, получит за свое такси чуть побольше. Но обещаю тебе: если эта сволочь не предложит свою цену, то я буду молчать.

Пришел аукционист. Он торопился. Вероятно, у него было много дел: в городе ежедневно проходили десятки аукционов. Он приступил к распродаже жалкого скарба, сопровождая слова плавными, округлыми жестами. В нем была деловитость и тяжеловесный юмор человека, ежедневно соприкасающегося с нищетой, но не задетого ею.

Вещи уплывали за гроши. Несколько торговцев скупили почти все. В ответ на взгляд аукциониста они небрежно поднимали палец или отрицательно качали головой. Но порой за этим взглядом следили другие глаза. Женщины с горестными лицами со страхом и надеждой смотрели на пальцы торговцев, как на священные письмена заповеди. Такси заинтересовало трех покупателей. Первую цену назвал Гвидо — триста марок. Это было позорно мало. Коренастый человек

подошел ближе. Он беззвучно шевелил губами. Казалось, что и он хочет что-то предложить. Но его рука опустилась. Он отошел назад.

Затем была названа цена в четыреста марок. Гвидо повысил ее до четырехсот пятидесяти. Наступила пауза. Аукционист обратился к собравшимся:

— Кто больше?.. Четыреста пятьдесят — раз, четыреста пятьдесят — два…

Хозяин такси стоял с широко открытыми глазами и опущенной головой, как будто ожидая удара в затылок.

— Тысяча, — сказал Кестер. Я посмотрел на него. — Она стоит трех, — шепнул он мне. — Не могу смотреть, как его здесь режут.

Гвидо делал нам отчаянные знаки. Ему хотелось обтяпать дельце, и он позабыл про «Сопляка».

— Тысяча сто, — проблеял он и, глядя на нас, усиленно заморгал своими глазами. Будь у него глаз на заду, он моргал бы и им.

— Тысяча пятьсот, — сказал Кестер.

Аукционист вошел в раж. Он пританцовывал с молотком в руке, как капельмейстер. Это уже были суммы, а не какие-нибудь две, две с половиной марки, за которые шли прочие предметы.

— Тысяча пятьсот десять! — воскликнул Гвидо,

покрываясь потом.

— Тысяча восемьсот, — сказал Кестер.

Гвидо взглянул на него, постучал пальцем по лбу и сдался. Аукционист подпрыгнул. Вдруг я подумал о Пат.

— Тысяча восемьсот пятьдесят, — сказал я, сам того не желая. Кестер удивленно повернул голову.

— Полсотни я добавлю сам, — поспешно сказал я, — так надо… из осторожности.

Он кивнул.

Аукционист ударил молотком — машина стала нашей. Кестер тут же уплатил деньги.

Не желая признать себя побежденным, Гвидо подошел к нам как ни в чем не бывало.

— Подумать только! — сказал он. — Мы могли бы заполучить этот ящик за тысячу марок. От третьего претендента мы бы легко отделались.

— Привет, миленький! — раздался за ним скрипучий голос.

Это был попугай в позолоченной клетке, — настала его очередь.

— Сопляк, — добавил я.

Пожав плечами, Гвидо исчез.

Я подошел к бывшему владельцу машины. Теперь рядом с ним стояла бледная женщина.

— Вот… — сказал я.

— Понимаю… — ответил он.

— Нам бы лучше не вмешиваться, но тогда вы получили бы меньше, — сказал я.

Он кивнул, нервно теребя руки.

— Машина хороша, — начал он внезапно скороговоркой, — машина хороша, она стоит этих денег… наверняка… вы не переплатили… И вообще дело не в машине, совсем нет… а все потому… потому что…

— Знаю, знаю, — сказал я.

— Этих денег мы и не увидим, — сказала женщина. — Все тут же уйдет на долги.

— Ничего, мать, все опять будет хорошо, — сказал мужчина. — Все будет хорошо.

Женщина ничего не ответила.

— При переключении на вторую скорость повизгивают шестеренки, — сказал мужчина, — но это не дефект, так было всегда, даже когда она была новой. — Он словно говорил о ребенке. — Она у нас уже три года, и ни одной поломки. Дело в том, что… сначала я болел, а потом мне подложили свинью… Друг…

— Подлец, — жестко сказала женщина.

— Ладно, мать, — сказал мужчина и посмотрел на нее, — я еще встану на ноги. Верно, мать?

Женщина не отвечала. Лицо мужчины покрылось капельками пота.

— Дайте мне ваш адрес, — сказал Кестер, — иной раз нам может понадобиться шофер.

Тяжелой, честной рукой человек старательно вывел адрес. Я посмотрел на Кестера; мы оба знали, что беднягу может спасти только чудо. Но время чудес прошло, а если они и случались, то разве что в худшую сторону.

Человек говорил без умолку, как в бреду. Аукцион кончился. Мы стояли во дворе одни. Он объяснил нам, как пользоваться зимой стартером. Снова и снова он трогал машину, потом приутих.

— А теперь пойдем, Альберт, — сказала жена.

Мы пожали ему руку. Они пошли. Только когда они скрылись из виду, мы запустили мотор.

Выезжая со двора, мы увидели маленькую старушку. Она несла клетку с попугаем и отбивалась от обступивших ее ребятишек. Кестер остановился.

— Вам куда надо? — спросил он ее.

— Что ты, милый! Откуда у меня деньги, чтобы разъезжать на такси? — ответила она.

— Не надо денег, — сказал Отто. — Сегодня день моего рождения, я вожу бесплатно.

Она недоверчиво посмотрела на нас и крепче прижала клетку.

— А потом скажете, что все-таки надо платить.

Мы успокоили ее, и она села в машину.

— Зачем вы купили себе попугая, мамаша? — спросил я, когда мы привезли ее.

— Для вечеров, — ответила она. — А как вы думаете, корм дорогой?

— Нет, — сказал я, — но почему для вечеров?

— Ведь он умеет разговаривать, — ответила она и посмотрела на меня светлыми старческими глазами. — Вот и у меня будет кто-то… будет разговаривать…

— Ах, вот как… — сказал я.

* * *

После обеда пришел булочник, чтобы забрать свой «форд». У него был унылый, грустный вид. Я стоял один во дворе.

— Нравится вам цвет? — спросил я.

— Да, пожалуй, — сказал он, нерешительно оглядывая машину.

— Верх получился очень красивым.

— Разумеется…

Он топтался на месте, словно не решаясь уходить. Я ждал, что он попытается выторговать еще

что-нибудь, например, домкрат или пепельницу.

Но произошло другое. Он посопел с минутку, потом посмотрел на меня выцветшими глазами в красных прожилках и сказал:

— Подумать только: еще несколько недель назад она сидела в этой машине, здоровая и бодрая!..

Я слегка удивился, увидев его вдруг таким размякшим, и предположил, что шустрая чернявая бабенка, которая приходила с ним в последний раз, уже начала действовать ему на нервы. Ведь люди становятся сентиментальными скорее от огорчения, нежели от любви.

— Хорошая она была женщина, — продолжал он, — душевная женщина. Никогда ничего не требовала. Десять лет проносила одно и то же пальто. Блузки и все такое шила себе сама. И хозяйство вела одна, без прислуги…

«Ага, — подумал я, — его новая мадам, видимо, не делает всего этого».

Булочнику хотелось излить душу. Он рассказал мне о бережливости своей жены, и было странно видеть, как воспоминания о сэкономленных деньгах растравляли этого заядлого любителя пива и игры в кегли. Даже сфотографироваться по-настоящему и то не хотела, говорила, что

слишком дорого. Поэтому у него осталась только одна свадебная фотография и несколько маленьких моментальных снимков.

Мне пришла в голову идея.

— Вам следовало бы заказать красивый портрет вашей жены, — сказал я. — Будет память навсегда. Фотографии выцветают со временем. Есть тут один художник, который делает такие вещи.

Я рассказал ему о деятельности Фердинанда Грау. Он сразу же насторожился и заметил, что это, вероятно, очень дорого. Я успокоил его, — если я пойду с ним, то с него возьмут дешевле. Он попробовал уклониться от моего предложения, но я не отставал и заявил, что память о жене дороже всего. Наконец он был готов. Я позвонил Фердинанду и предупредил его. Потом я поехал с булочником за фотографиями.

Шустрая брюнетка выскочила нам навстречу из булочной. Она забегала вокруг «форда».

— Красный цвет был бы лучше, пупсик! Но ты, конечно, всегда должен поставить на своем!

— Да отстань ты! — раздраженно бросил пупсик. Мы поднялись в гостиную. Дамочка последовала за нами. Ее быстрые глазки видели все. Булочник начал нервничать. Он не хотел искать фотографии при ней.

— Оставь-ка нас одних, — сказал он наконец грубо.

Вызывающе выставив полную грудь, туго обтянутую джемпером, она повернулась и вышла. Булочник достал из зеленого плюшевого альбома несколько фотографий и показал мне. Вот его жена, тогда еще невеста, а рядом он с лихо закрученными усами; тогда она еще смеялась. С другой фотографии смотрела худая, изнуренная женщина с боязливым взглядом. Она сидела на краю стула. Только две небольшие фотографии, но в них отразилась целая жизнь.

— Годится, — сказал я. — По этим снимкам он может сделать все.

* * *

Фердинанд Грау встретил нас в сюртуке. У него был вполне почтенный и даже торжественный вид. Этого требовала профессия. Он знал, что многим людям, носящим траур, уважение к их горю важнее, чем само горе.

На стенах мастерской висело несколько внушительных портретов маслом в золотых рамах; под ними были маленькие фотографии — образцы. Любой заказчик мог сразу же убедиться, что можно сделать даже из расплывчатого момен-

тального снимка.

Фердинанд обошел с булочником всю экспозицию и спросил, какая манера исполнения ему больше по душе. Булочник в свою очередь спросил, зависят ли цены от размера портрета. Фердинанд объяснил, что дело тут не в квадратных метрах, а в стиле живописи. Тогда выяснилось, что булочник предпочитает самый большой портрет.

— У вас хороший вкус, — похвалил его Фердинанд, — это портрет принцессы Боргезе. Он стоит восемьсот марок. В раме.

Булочник вздрогнул.

— А без рамы?

— Семьсот двадцать.

Булочник предложил четыреста марок. Фердинанд тряхнул своей львиной гривой:

— За четыреста марок вы можете иметь максимум головку в профиль. Но никак не портрет анфас. Он требует вдвое больше труда.

Булочник заметил, что головка в профиль устроила бы его. Фердинанд обратил его внимание на то, что обе фотографии сняты анфас. Тут даже сам Тициан и тот не смог бы сделать портрет в профиль. Булочник вспотел; чувствовалось, что он в отчаянии от того, что в свое время не был

достаточно предусмотрителен. Ему пришлось согласиться с Фердинандом. Он понял, что для портрета анфас придется малевать на пол-лица больше, чем в профиль. Более высокая цена была оправдана. Булочник мучительно колебался. Фердинанд, сдержанный до этой минуты, теперь перешел к уговорам. Его могучий бас приглушенно перекатывался по мастерской. Как эксперт, я счел долгом заметить, что мой друг выполняет работу безукоризненно. Булочник вскоре созрел для сделки, особенно после того, как Фердинанд расписал ему, какой эффект произведет столь пышный портрет на злокозненных соседей.

— Ладно, — сказал он, — но при оплате наличными десять процентов скидки.

— Договорились, — согласился Фердинанд. — Скидка десять процентов и задаток триста марок на издержки — на краски и холст.

Еще несколько минут они договаривались о деталях, а затем перешли к обсуждению характера самого портрета. Булочник хотел, чтобы были дорисованы нитка жемчуга и золотая брошь с бриллиантом. На фотографии они отсутствовали.

— Само собой разумеется, — заявил Фердинанд, — драгоценности вашей супруги будут

пририсованы. Хорошо, если вы их как-нибудь занесете на часок, чтобы они получились возможно натуральнее.

Булочник покраснел.

— У меня их больше нет. Они… Они у родственников.

— Ах, так. Ну что же, можно и без них. А скажите, брошь вашей жены похожа на ту, что на портрете напротив?

Булочник кивнул.

— Она была чуть поменьше.

— Хорошо, так мы ее и сделаем. А ожерелье нам ни к чему. Все жемчужины похожи одна на другую.

Булочник облегченно вздохнул.

— А когда будет готов портрет?

— Через шесть недель.

— Хорошо.

Булочник простился и ушел. Я еще немного посидел с Фердинандом в мастерской.

— Ты будешь работать над портретом шесть недель?

— Какое там! Четыре-пять дней. Но ему я этого не могу сказать, а то еще начнет высчитывать, сколько я зарабатываю в час, и решит, что его обманули. А шесть недель его вполне устраивают,

так же, как и принцесса Боргезе! Такова человеческая природа, дорогой Робби. Скажи я ему, что это модистка, и портрет жены потерял бы для него половину своей прелести. Между прочим, вот уже шестой раз выясняется, что умершие женщины носили такие драгоценности, как на том портрете. Вот какие бывают совпадения. Этот портрет никому не ведомой доброй Луизы Вольф — великолепная возбуждающая реклама.

Я обвел взглядом комнату. С неподвижных лиц на стенах смотрели глаза, давно истлевшие в могиле. Эти портреты остались невостребованными или неоплаченными родственниками. И все это были люди, которые когда-то дышали и на что-то надеялись.

— Скажи, Фердинанд, ты не станешь постепенно меланхоликом в таком окружении?

Он пожал плечами.

— Нет, разве что циником. Меланхоликом становишься, когда размышляешь о жизни, а циником — когда видишь, что делает из нее большинство людей.

— Да, но ведь некоторые страдают по-настоящему…

— Конечно, но они не заказывают портретов.

Он встал.

— И хорошо, Робби, что у людей еще остается много важных мелочей, которые приковывают их к жизни, защищают от нее. А вот одиночество — настоящее одиночество, без всяких иллюзий — наступает перед безумием или самоубийством.

Большая голая комната плыла в сумерках. За стеной кто-то тихо ходил взад и вперед. Это была экономка, никогда не показывавшаяся при ком-нибудь из нас. Она считала, что мы восстанавливаем против нее Фердинанда, и ненавидела нас.

Я вышел и окунулся в шумное движение улицы, как в теплую ванну.

XI

Впервые я шел в гости к Пат. До сих пор обычно она навещала меня или я приходил к ее дому, и мы отправлялись куда-нибудь. Но всегда было так, будто она приходила ко мне только с визитом, ненадолго. Мне хотелось знать о ней больше, знать, как она живет.

Я подумал, что мог бы принести ей цветы. Это было нетрудно: городской сад за луна-парком был весь в цвету. Перескочив через решетку, я стал обрывать кусты белой сирени.

— Что вы здесь делаете? — раздался вдруг громкий голос. Я поднял глаза. Передо мной стоял человек с лицом бургундца и закрученными седыми усами. Он смотрел на меня с возмущением. Не полицейский и не сторож, но, судя по всему, старый офицер в отставке.

— Это нетрудно установить, — вежливо ответил я, — я обламываю здесь ветки сирени.

На мгновение у отставного военного отнялся язык.

— Известно ли вам, что это городской парк? — гневно спросил он.

Я рассмеялся.

— Конечно, известно; или, по-вашему, я принял это место за Канарские острова?

Он посинел. Я испугался, что его хватит удар.

— Сейчас же вон отсюда! — заорал он первоклассным казарменным басом. — Вы расхищаете городскую собственность! Я прикажу вас задержать!

Тем временем я успел набрать достаточно сирени.

— Но сначала меня надо поймать. Ну-ка, догони, дедушка! — предложил я старику, перемахнул через решетку и исчез.

Перед домом Пат я еще раз придирчиво осмотрел свой костюм. Потом я поднялся по лестнице. Это был современный новый дом — прямая противоположность моему обветшалому бараку. Лестницу устилала красная дорожка. У фрау Залевски этого не было, не говоря уже о лифте.

Пат жила на четвертой этаже. На двери красовалась солидная латунная табличка: «Подполковник Эгберт фон Гаке». Я долго разглядывал ее. Прежде чем позвонить, я невольно поправил галстук.

Мне открыла девушка в белоснежной наколке и кокетливом передничке; было просто невозможно сравнить ее с пашей неуклюжей косоглазой

Фридой. Мне вдруг стало не по себе.

— Господин Локамп? — спросила она. Я кивнул.

Она повела меня через маленькую переднюю и открыла дверь в комнату. Я бы, пожалуй, не очень удивился, если бы там оказался подполковник Эгберт фон Гаке в полной парадной форме и подверг меня допросу, — настолько я был подавлен множеством генеральских портретов в передней. Генералы, увешанные орденами, мрачно глядели на мою сугубо штатскую особу. Но тут появилась Пат. Она вошла, стройная и легкая, и комната внезапно преобразилась в какой-то островок тепла и радости. Я закрыл дверь и осторожно обнял ее. Затем я вручил ей наворованную сирень.

— Вот, — сказал я. — С приветом от городского управления.

Она поставила цветы в большую светлую вазу, стоявшую на полу у окна. Тем временем я осмотрел ее комнату. Мягкие приглушенные тона, старинная красивая мебель, бледно-голубой ковер, шторы, точно расписанные пастелью, маленькие удобные кресла, обитые поблекшим бархатом.

— Господи, и как ты только ухитрилась найти такую комнату, Пат, — сказал я. — Ведь когда

люди сдают комнаты, они обычно ставят в них самую что ни на есть рухлядь и никому не нужные подарки, полученные ко дню рождения.

Она бережно передвинула вазу с цветами к стене. Я видел тонкую изогнутую линию затылка, прямые плечи, худенькие руки. Стоя на коленях, она казалась ребенком, нуждающимся в защите. Но в ней было что-то от молодого гибкого животного, и когда она выпрямилась и прижалась ко мне, это уже не был ребенок, в ее глазах и губах я опять увидел вопрошающее ожидание и тайну, смущавшие меня. А ведь мне казалось, что в этом грязном мире такое уже не встретить.

Я положил руку ей на плечо. Было так хорошо чувствовать ее рядом.

— Все это мои собственные вещи, Робби. Раньше квартира принадлежала моей матери. Когда она умерла, я ее отдала, а себе оставила две комнаты.

— Значит, это твоя квартира? — спросил я с облегчением. — А подполковник Эгберт фон Гаке живет у тебя только на правах съемщика?

Она покачала головой.

— Больше уже не моя. Я не могла ее сохранить. От квартиры пришлось отказаться, а лишнюю мебель я продала. Теперь я здесь квартирантка. Но что это тебе дался старый Эгберт?

— Да ничего. У меня просто страх перед полицейскими и старшими офицерами. Это еще со времен моей военной службы.

Она засмеялась.

— Мой отец тоже был майором.

— Майор это еще куда ни шло.

— А ты знаешь старика Гаке? — спросила она.

Меня вдруг охватило недоброе предчувствие.

— Маленький, подтянутый, с красным лицом, седыми, подкрученными усами и громовым голосом? Он часто гуляет в городском парке?

Она, смеясь, перевела взгляд с букета сирени на меня.

— Нет, он большого роста, бледный, в роговых очках!

— Тогда я его не знаю.

— Хочешь с ним познакомиться? Он очень мил.

— Боже упаси! Пока что мое место в авторемонтной мастерской и в пансионе фрау Залевски.

В дверь постучали. Горничная вкатила низкий столик на колесиках. Тонкий белый фарфор, серебряное блюдо с пирожными, еще одно блюдо с неправдоподобно маленькими сандвичами, салфетки, сигареты и Бог знает еще что, я смотрел на все, совершенно ошеломленный.

— Сжалься, Пат! — сказал я наконец. — Ведь это как в кино. Уже на лестнице я заметил, что мы стоим на различных общественных ступенях. Подумай, я привык сидеть у подоконника фрау Залевски, около своей верной спиртовки, и есть на засаленной бумаге. Не осуждай обитателя жалкого пансиона, если в своем смятении он, может быть, опрокинет чашку!

Она рассмеялась.

— Нет, опрокидывать чашки нельзя. Честь автомобилиста не позволит тебе это сделать. Ты должен быть ловким. — Она взяла чайник. — Ты хочешь чаю или кофе?

— Чаю иди кофе? Разве есть и то и другое?

— Да. Вот посмотри.

— Роскошно! Как в лучших ресторанах! Не хватает только музыки.

Она нагнулась и включила портативный приемник, — я не заметил его раньше.

— Итак, что же ты хочешь, чай или кофе?

— Кофе, просто кофе, Пат. Ведь я крестьянин. А ты что будешь пить?

— Я выпью с тобой кофе.

— А вообще ты пьешь чай?

— Да.

— Так зачем же кофе?

— Я уже начинаю к нему привыкать. Ты будешь есть пирожные или сандвичи?

— И то и другое. Таким случаем надо воспользоваться. Потом я еще буду пить чай. Я хочу попробовать все, что у тебя есть.

Смеясь, она наложила мне полную тарелку. Я остановил ее.

— Хватит, хватит! Не забывай, что тут рядом подполковник! Начальство ценит умеренность в нижних чинах!

— Только при выпивке, Робби. Старик Эгберт сам обожает пирожные со сбитыми сливками.

— Начальство требует от нижних чинов умеренности и в комфорте, — заметил я. — В свое время нас основательно отучали от него. — Я перекатывал столик на резиновых колесиках взад и вперед. Он словно сам напрашивался на такую забаву и бесшумно двигался по ковру. Я осмотрелся. Все в этой комнате было подобрано со вкусом. — Да, Пат, — сказал я, — вот, значит, как жили наши предки!

Пат опять рассмеялась.

— Ну что ты выдумываешь?

— Ничего не выдумываю. Говорю о том, что было.

— Ведь эти несколько вещей сохранились у

меня случайно.

— Не случайно. И дело не в вещах. Дело в том, что стоит за ними. Уверенность и благополучие. Этого тебе не понять. Это понимает только тот, кто уже лишился всего.

Она посмотрела на меня.

— И ты мог бы это иметь, если бы действительно хотел.

Я взял ее за руку.

— Но я не хочу, Пат, вот в чем дело. Я считал бы себя тогда авантюристом. Нашему брату лучше всего жить на полный износ. К этому привыкаешь. Время такое.

— Да оно и весьма удобно.

Я рассмеялся.

— Может быть. А теперь дай мне чаю. Хочу попробовать.

— Нет, — сказала она, — продолжаем пить кофе. Только съешь что-нибудь. Для пущего износа.

— Хорошая идея. Но не надеется ли Эгберт, этот страстный любитель пирожных, что и ему кое-что перепадет?

— Возможно. Пусть только не забывает о мстительности нижних чинов. Ведь это в духе нашего времени. Можешь спокойно съесть все.

Ее глаза сияли, она была великолепна.

— А знаешь, когда я перестаю жить на износ, — и не потому, что меня кто-то пожалел? — спросил я.

Она не ответила, но внимательно посмотрела на меня.

— Когда я с тобой! — сказал я. — А теперь в ружье, в беспощадную атаку на Эгберта!

В обед я выпил только чашку бульона в шоферской закусочной. Поэтому я без особого труда съел все. Ободряемый Пат, я выпил заодно и весь кофе.

* * *

Мы сидели у окна и курили. Над крышами рдел багряный закат.

— Хорошо у тебя, Пат, — сказал я. — По-моему, здесь можно сидеть, не выходя целыми неделями, и забыть обо всем, что творится на свете.

Она улыбнулась.

— Было время, когда я не надеялась выбраться отсюда.

— Когда же это?

— Когда болела.

— Ну, это другое дело. А что с тобой было?

— Ничего страшного. Просто пришлось полежать. Видно, слишком быстро росла, а еды не

хватало. Во время войны, да и после нее, было голодновато.

Я кивнул.

— Сколько же ты пролежала?

Подумав, она ответила:

— Около года.

— Так долго! — Я внимательно посмотрел на нее.

— Все это давным-давно прошло. Но тогда это мне казалось целой вечностью. В баре ты мне как-то рассказывал о своем друге Валентине. После войны он все время думал: какое это счастье — жить. И в сравнении с этим счастьем все казалось ему незначительным.

— Ты все правильно запомнила, — сказал я.

— Потому что я это очень хорошо понимаю. С тех пор я тоже легко радуюсь всему. По-моему, я очень поверхностный человек.

— Поверхностны только те, которые считают себя глубокомысленными.

— А вот я определенно поверхностна. Я не особенно разбираюсь в больших вопросах жизни. Мне нравится только прекрасное. Вот ты принес сирень — и я уже счастлива.

— Это не поверхностность — это высшая философия.

— Может быть, но не для меня. Я просто поверхностна и легкомысленна.

— Я тоже.

— Не так, как я. Раньше ты говорил что-то про авантюризм. Я настоящая авантюристка.

— Я так и думал. — сказал я.

— Да. Мне бы давно надо переменить квартиру, иметь профессию, зарабатывать деньги. Но я все откладывала это. Хотелось пожить какое-то время так, как нравится. Разумно это, нет ли — все равно. Так я и поступила.

Мне стало смешно.

— Почему у тебя сейчас такое упрямое выражение лица?

— А как же? Все говорили мне, что все это бесконечно легкомысленно, что надо экономить жалкие гроши, оставшиеся у меня, подыскать себе место и работать. А мне хотелось жить легко и радостно, ничем не связывать себя и делать, что захочу. Такое желание пришло после смерти матери и моей долгой болезни.

— Есть у тебя братья или сестры?

Она отрицательно покачала головой.

— Я так и думал.

— И ты тоже считаешь, что я вела себя легкомысленно?

— Нет, мужественно.

— При чем тут мужество? Не очень-то я мужественна. Знаешь, как мне иногда бывало страшно? Как человеку, который сидит в театре на чужом месте и все-таки не уходит с него.

— Значит, ты была мужественна, — сказал я. — Мужество не бывает без страха. Кроме того, ты вела себя разумно. Ты могла бы без толку растратить свои деньги. А так ты хоть что-то получила взамен. Но чем ты занималась?

— Да, собственно, ничем. Просто так — жила для себя.

— За это хвалю! Нет ничего прекраснее.

Она усмехнулась.

— Все это скоро кончится, я начну работать.

— Где? Это не связано с твоим тогдашним деловым свиданием с Биндингом?

— Да. С Биндингом и доктором Максом Матушайтом, директором магазинов патефонной компании «Электрола», Продавщица с музыкальным образованием.

— И ничто другое этому Биндингу в голову не пришло?

— Пришло, но я не захотела.

— Я ему и не советовал бы… Когда же ты начнешь работать?

— Первого августа.

— Ну, тогда еще остается немало времени. Может быть, подыщем что-нибудь другое. Но так или иначе, мы безусловно будем твоими покупателями.

— Разве у тебя есть патефон?

— Нет, но я, разумеется, немедленно приобрету его. А вся эта история мне определенно не нравится.

— А мне нравится, — сказала она. — Ничего путного я делать не умею. Но с тех пор как ты со мной, все стало для меня гораздо проще. Впрочем, не стоило рассказывать тебе об этом.

— Нет, стоило. Ты должна мне всегда говорить обо всем.

Поглядев на меня, она сказала:

— Хорошо, Робби. — Потом она поднялась и подошла к шкафчику: — Знаешь, что у меня есть? Ром. Для тебя. И, как мне кажется, хороший ром.

Она поставила рюмку на столик и выжидательно посмотрела на меня.

— Ром хорош, это чувствуется издалека, — сказал я. — Но почему бы тебе не быть более бережливой, Пат? Хотя бы ради того, чтобы оттянуть все это дело с патефонами?

— Не хочу.

— Тоже правильно.

По цвету рома я сразу определил, что он смешан. Виноторговец, конечно, обманул Пат. Я выпил рюмку.

— Высший класс, — сказал я, — налей мне еще одну. Где ты его достала?

— В магазине на углу.

«Какой-нибудь паршивый магазинчик деликатесов», — подумал я, решив зайти туда при случае и высказать хозяину, что я о нем думаю.

— А теперь мне, пожалуй, надо идти, Пат? — спросил я.

— Нет еще…

Мы стояли у окна. Внизу зажглись фонари.

— Покажи мне свою спальню, — сказал я.

Она открыла дверь и включила свет. Я оглядел комнату, не переступая порога. Сколько мыслей пронеслось в моей голове!

— Значит, это твоя кровать, Пат?.. — спросил я наконец.

Она улыбнулась.

— А чья же, Робби?

— Правда! А вот и телефон. Буду знать теперь и это… Я пойду… Прощай, Пат.

Она прикоснулась руками к моим вискам. Было бы чудесно остаться здесь в этот вечер,

быть возле нее, под мягким голубым одеялом… Но что-то удерживало меня. Не скованность, не страх и не осторожность, — просто очень большая нежность, нежность, в которой растворялось желание.

— Прощай, Пат, — сказал я. — Мне было очень хорошо у тебя. Гораздо лучше, чем ты можешь себе представить. И ром… и то, что ты подумала обо всем…

— Но ведь все это так просто…

— Для меня нет. Я к этому не привык.

* * *

Я вернулся в пансион фрау Залевски и посидел немного в своей комнате. Мне было неприятно, что Пат чем-то будет обязана Биндингу. Я вышел в коридор и направился к Эрне Бениг.

— Я по серьезному делу, Эрна. Какой нынче спрос на женский труд?

— Почему это вдруг? — удивилась она. — Не ждала такого вопроса. Впрочем, скажу вам, что положение весьма неважное.

— И ничего нельзя сделать?

— А какая специальность?

— Секретарша, ассистентка…

Она махнула рукой.

— Сотни тысяч безработных… У этой дамы какая-нибудь особенная специальность?

— Она великолепно выглядит, — сказал я.

— Сколько слогов? — спросила Эрна.

— Что?

— Сколько слогов она записывает в минуту? На скольких языках?

— Понятия не имею, — сказал я, — но, знаете… для представительства…

— Дорогой мой, знаю все заранее: дама из хорошей семьи, когда-то жила припеваючи, а теперь вынуждена… и так далее и так далее. Безнадежно, поверьте. Разве что кто-нибудь примет в ней особое участие и пристроит ее. Вы понимаете, чем ей придется платить? А этого вы, вероятно, не хотите?

— Странный вопрос.

— Менее странный, чем вам кажется, — с горечью ответила Эрна. — На этот счет мне кое-что известно.

Я вспомнил о связи Эрны с ее шефом.

— Но я вам дам хороший совет, — продолжала она. — Постарайтесь зарабатывать так, чтобы хватало на двоих. Это самое простое решение вопроса. Женитесь.

Я рассмеялся.

— Вот так здорово! Не знаю, смогу ли я взять столько на себя.

Эрна странно посмотрела на меня. При всей своей живости она показалась мне вдруг слегка увядшей и даже постаревшей.

— Вот что я вам скажу, — произнесла она. — Я живу хорошо, и у меня немало вещей, которые мне вовсе не нужны. Но поверьте, если бы кто-нибудь пришел ко мне и предложил жить вместе, по-настоящему, честно, я бросила бы все это барахло и поселилась бы с ним хоть в чердачной каморке. — Ее лицо снова обрело прежнее выражение. — Ну, Бог с ним со всем — в каждом человеке скрыто немного сентиментальности. — Она подмигнула мне сквозь дым своей сигаретки. — Даже в вас, вероятно.

— Откуда?..

— Да, да… — сказала Эрна. — И прорывается она совсем неожиданно…

— У меня не прорвется, — ответил я.

Я был дома до восьми часов, потом мне надоело одиночество, и я пошел в бар, надеясь встретить там кого-нибудь.

За столиком сидел Валентин.

— Присядь, — сказал он. — Что будешь пить?

— Ром, — ответил я. — С сегодняшнего дня у

меня особое отношение к этому напитку.

— Ром — молоко солдата, — сказал Валентин. — Между прочим, ты хорошо выглядишь, Робби.

— Разве?

— Да, ты помолодел.

— Тоже неплохо, — сказал я. — Будь здоров, Валентин.

— Будь здоров, Робби.

Мы поставили рюмки на столик и, посмотрев друг на друга, рассмеялись.

— Дорогой ты мой старик, — сказал Валентин.

— Дружище, черт бы тебя побрал! — воскликнул я. — А теперь что выпьем?

— Снова то же самое.

— Идет.

Фред налил нам.

— Так будем здоровы, Валентин.

— Будем здоровы, Робби.

— Какие замечательные слова «будем здоровы», верно?

— Лучшие из всех слов!

Мы повторили тост еще несколько раз. Потом Валентин ушел.

* * *

Я остался. Кроме Фреда, в баре никого не было. Я разглядывал старые освещенные карты на стенах, корабли с пожелтевшими парусами и думал о Пат. Я охотно позвонил бы ей, но заставлял себя не делать этого. Мне не хотелось думать о ней так много. Мне хотелось, чтобы она была для меня неожиданным подарком, счастьем, которое пришло и снова уйдет, — только так. Я не хотел допускать и мысли, что это может стать чем-то большим. Я слишком хорошо знал — всякая любовь хочет быть вечной, в этом и состоит ее вечная мука. Но ведь нет ничего прочного, ничего.

— Дай мне еще одну рюмку, Фред, — попросил я.

В бар вошли мужчина и женщина. Они выпили по стаканчику коблера у стойки. Женщина выглядела утомленной, мужчина смотрел на нее с вожделением. Вскоре они ушли.

Я выпил свою рюмку. Может быть, не стоило идти сегодня к Пат. Перед моими глазами все еще была комната, исчезающая в сумерках, мягкие синие вечерние тени и красивая девушка, глуховатым, низким голосом говорившая о своей

жизни, о своем желании жить. Черт возьми, я становился сентиментальным. Но разве не растворилось уже в дымке нежности то, что было до сих пор ошеломляющим приключением, захлестнувшим меня, разве все это уже не захватило меня глубже, чем я думал и хотел, разве сегодня, именно сегодня, я не почувствовал, как сильно я переменился? Почему я ушел, почему не остался у нее? Ведь я желал этого. Проклятье, я не хотел больше думать обо всем этом. Будь что будет, пусть я сойду с ума от горя, когда потеряю ее, но, пока она была со мной, все остальное казалось безразличным. Стоило ли пытаться упрочить свою маленькую жизнь! Все равно неизбежно настанет день, когда великий потоп смоет все.

— Выпьешь со мной, Фред? — спросил я.

— Как всегда, — сказал он.

Мы выпили по две рюмки абсента. Потом бросили жребий, кому заказать следующие. Я выиграл, но меня это не устраивало. Мы продолжали бросать жребий, и я проиграл только на пятый раз, но уж зато трижды кряду.

— Что я, пьян, или действительно гром гремит? — спросил я.

Фред прислушался.

— Правда, гром. Первая гроза в этом году.

Мы пошли к выходу и посмотрели на небо. Его заволокло тучами. Было тепло, и время от времени раздавались раскаты грома.

— Раз так, значит, можно выпить еще по одной, — предложил я.

Фред не возражал.

— Противная лакричная водичка, — сказал я и поставил пустую рюмку на стойку. Фред тоже считал, что надо выпить чего-нибудь покрепче, — вишневку, например. Мне хотелось рому. Чтобы не спорить, мы выпили и то и другое. Мы стали пить из больших бокалов: их Фреду не надо было так часто наполнять. Теперь мы были в блестящем настроении. Несколько раз мы выходили на улицу смотреть, как сверкают молнии. Очень хотелось видеть это, но нам не везло. Вспышки озаряли небо, когда мы сидели в баре. Фред сказал, что у него есть невеста, дочь владельца ресторана-автомата. Но он хотел повременить с женитьбой до смерти старика, чтобы знать совершенно точно, что ресторан достанется ей. На мой взгляд, Фред был не в меру осторожен, но он доказал мне, что старик — гнусный тип, о котором наперед ничего нельзя знать; от него всего жди, — еще завещает ресторан в последнюю минуту местной общине методистской церкви.

Тут мне пришлось с ним согласиться. Впрочем, Фред не унывал. Старик простудился, и Фред решил, что у него, может быть, грипп, а ведь это очень опасно. Я сказал ему, что для алкоголиков грипп, к сожалению, сущие пустяки; больше того, настоящие пропойцы иной раз начинают буквально расцветать и даже жиреть от гриппа. Фред заметил, что это, в общем, все равно, авось старик попадет под какую-нибудь машину. Я признал возможность такого варианта, особенно на мокром асфальте. Фред тут же выбежал на улицу посмотреть, не пошел ли дождь. Но было еще сухо. Только гром гремел сильнее. Я дал ему стакан лимонного сока и пошел к телефону. В последнюю минуту я вспомнил, что не собирался звонить. Я помахал рукой аппарату и хотел снять перед ним шляпу. Но тут я заметил, что шляпы на мне нет.

Когда я вернулся, у столика стояли Кестер и Ленц.

— Ну-ка, дохни, — сказал Готтфрид.

Я повиновался.

— Ром, вишневая настойка и абсент, — сказал он. — Пил абсент, свинья!

— Если ты думаешь, что я пьян, то ошибаешься, — сказал я. — Откуда вы?

— С политического собрания. Но Отто решил, что это слишком глупо. А что пьет Фред?

— Лимонный сок.

— Выпил бы и ты стакан.

— Завтра, — ответил я. — А теперь я чего-нибудь поем.

Кестер не сводил с меня озабоченного взгляда.

— Не смотри на меня так, Отто, — сказал я, — я слегка наклюкался, но от радости, а не с горя.

— Тогда все в порядке, — сказал он. — Все равно, пойдем поешь с нами.

* * *

В одиннадцать часов я был снова трезв как стеклышко. Кестер предложил пойти посмотреть, что с Фредом. Мы вернулись в бар и нашли его мертвецки пьяным за стойкой.

— Перетащите его в соседнюю комнату, — сказал Ленц, — а я пока буду здесь за бармена.

Мы с Кестером привели Фреда в чувство, напоив его горячим молоком. Оно подействовало мгновенно. Затем мы усадили его на стул и приказали отдохнуть с полчаса, пока Ленц работал за него.

Готтфрид делал все как следует. Он знал все цены, все наиболее ходкие рецепты коктейлей

и так лихо тряс миксер, словно никогда ничем иным не занимался.

Через час появился Фред. Желудок его был основательно проспиртован, и Фред быстро приходил в себя.

— Очень сожалею, Фред, — сказал я, — надо было нам сперва что-нибудь поесть.

— Я опять в полном порядке, — ответил Фред. — Время от времени это неплохо.

— Безусловно.

Я пошел к телефону и вызвал Пат. Мне было совершенно безразлично все, что я передумал раньше. Она ответила мне.

— Через пятнадцать минут буду у парадного, — сказал я и торопливо повесил трубку. Я боялся, что она устала и не захочет ни о чем говорить. А мне надо было ее увидеть.

Пат спустилась вниз. Когда она открывала дверь парадного, я поцеловал стекло там, где была ее голова. Она хотела что-то сказать, но я не дал ей и слова вымолвить. Я поцеловал ее, мы побежали вдвоем вдоль улицы, пока не нашли такси. Сверкнула молния, и раздался гром.

— Скорее, начнется дождь, — сказал я.

Мы сели в машину. Первые капли ударили по крыше. Такси тряслось по неровной брусчатке.

Все было чудесно — при каждом толчке я ощущал Пат. Все было чудесно — дождь, город, хмель. Все было так огромно и прекрасно! Я был в том бодром, светлом настроении, какое испытываешь, когда выпил и уже преодолел хмель. Вся моя скованность исчезла, ночь была полна глубокой силы и блеска, и уже ничто не могло случиться, ничто не было фальшивым. Дождь начался по-настоящему, когда мы вышли. Пока я расплачивался с шофером, темная мостовая еще была усеяна капельками-пятнышками, как пантера. Но не успели мы дойти до парадного, как на черных блестящих камнях уже вовсю подпрыгивали серебряные фонтанчики — с неба низвергался потоп. Я не зажег свет. Молнии освещали комнату. Гроза бушевала над городом. Раскаты грома следовали один за другим.

— Вот когда мы сможем здесь покричать, — воскликнул я, — не боясь, что нас услышат! — Ярко вспыхивало окно. На бело-голубом фоне неба взметнулись черные силуэты кладбищенских деревьев и сразу исчезли, сокрушенные треском и грохотом ночи; перед окном, между тьмою и тьмой, словно фосфоресцируя, на мгновенье возникала гибкая фигура Пат. Я обнял ее за плечи, она тесно прижалась ко мне. Я ощутил ее губы, ее

дыхание и позабыл обо всем.

XII

Наша мастерская все еще пустовала, как амбар перед жатвой. Поэтому мы решили не продавать машину, купленную на аукционе, а использовать ее как такси. Ездить на ней должны были по очереди Ленц и я. Кестер с помощью Юппа вполне мог управиться в мастерской до получения настоящих заказов.

Мы с Ленцем бросили кости, кому ехать первому. Я выиграл. Набив карман мелочью и взяв документы, я медленно поехал на нашем такси по городу, чтобы подыскать для начала хорошую стоянку. Первый выезд показался мне несколько странным: любой идиот мог меня остановить, и я обязан был его везти. Чувство не из самых приятных.

Я выбрал место, где стояло только пять машин. Стоянка была против гостиницы «Вальдекер гоф», в деловом районе. Казалось, что тут долго не простоишь. Я выключил зажигание и вышел. От одной из передних машин отделился молодой парень в кожаном пальто и направился ко мне.

— Убирайся отсюда, — сказал он угрюмо.

Я спокойно смотрел на него, прикидывая, что

если придется драться, то лучше всего сбить его ударом в челюсть снизу. Стесненный одеждой, он не смог бы достаточно быстро закрыться руками.

— Не понял? — спросило кожаное пальто и сплюнуло мне под ноги окурок сигареты. — Убирайся, говорю тебе! Хватит нас тут! Больше нам никого не надо!

Его разозлило появление лишней машины, — это было ясно; но ведь и я имел право стоять здесь.

— Ставлю вам водку, — сказал я.

Этим вопрос был бы исчерпан. Таков был обычай, когда кто-нибудь появлялся впервые.

К нам подошел молодой шофер.

— Ладно, коллега. Оставь его, Густав…

Но Густаву что-то во мне не понравилось, и я знал, что. Он почувствовал во мне новичка.

— Считаю до трех…

Он был на голову выше меня и, видимо, хотел этим воспользоваться.

Я понял, что слова не помогут. Надо было либо уезжать, либо драться.

— Раз, — сказал Густав и расстегнул пальто.

— Брось глупить, — сказал я, снова пытаясь утихомирить его. — Лучше пропустим по рюмочке.

— Два… — прорычал Густав.

Он собирался измордовать меня по всем правилам.

— Плюс один… равняется…

Он заломил фуражку.

— Заткнись, идиот! — внезапно заорал я. От неожиданности Густав открыл рот, сделал шаг вперед и оказался на самом удобном для меня месте. Развернувшись всем корпусом, я сразу ударил его. Кулак сработал, как молот. Этому удару меня научил Кестер. Приемами бокса я владел слабо, да и не считал нужным тренироваться. Обычно все зависело от первого удара. Мой аперкот оказался правильным. Густав повалился на тротуар, как мешок.

— Так ему и надо, — сказал молодой шофер. — Старый хулиган. — Мы подтащили Густава к его машине и положили на сиденье. — Ничего, придет в себя.

Я немного разволновался. В спешке я неправильно поставил большой палец и при ударе вывихнул его. Если бы Густав быстро пришел в себя, он смог бы сделать со мной что угодно. Я сказал об этом молодому шоферу и спросил, не лучше ли мне сматываться.

— Ерунда, — сказал он. — Дело с концом. Пойдем в кабак — поставишь нам по рюмочке. Ты не

профессиональный шофер, верно?

— Да.

— Я тоже. Я актер.

— И как?

— Да вот живу, — рассмеялся он. — И тут театра достаточно.

В пивную мы зашли впятером — двое пожилых и трое молодых. Скоро явился и Густав. Тупо глядя на нас, он подошел к столику. Левой рукой я нащупал в кармане связку ключей и решил, что в любом случае буду защищаться до последнего.

Но до этого не дошло. Густав пододвинул себе ногой стул и с хмурым видом опустился на него. Хозяин поставил перед ним рюмку. Густав и остальные выпили по первой. Потом нам подали по второй. Густав покосился на меня и поднял рюмку.

— Будь здоров, — обратился он ко мне с омерзительным выражением лица.

— Будь здоров, — ответил я и выпил.

Густав достал пачку сигарет. Не глядя на меня, он протянул ее мне. Я взял сигарету и дал ему огня. Затем заказал по двойному кюммелю. Выпили. Густав посмотрел на меня сбоку.

— Балда, — сказал он, но уже добродушно.

— Мурло, — ответил я в том же тоне.

Он повернулся ко мне.

— Твой удар был хорош…

— Случайно… — Я показал ему вывихнутый палец.

— Не повезло… — сказал он, улыбаясь. — Между прочим, меня зовут Густав.

— Меня — Роберт.

— Ладно. Значит, все в порядке, Роберт, да? А я решил, что ты за мамину юбку держишься.

— Все в порядке, Густав.

С этой минуты мы стали друзьями.

* * *

Машины медленно подвигались вперед. Актер, которого все звали Томми, получил отличный заказ — поездку на вокзал. Густав повез кого-то в ближайший ресторан за тридцать пфеннигов. Он чуть не лопнул от злости: заработать десять пфеннигов и снова пристраиваться в хвост! Мне попался редкостный пассажир — старая англичанка, пожелавшая осмотреть город. Я разъезжал с ней около часу. На обратном пути у меня было еще несколько мелких ездок. В полдень, когда мы снова собрались в пивной и уплетали бутерброды, мне уже казалось, что я бывалый шофер такси. В отношениях между водителями было

что-то от братства старых солдат. Здесь собрались люди самых различных специальностей. Только около половины из них были профессиональными шоферами, остальные оказались за рулем случайно.

Я был довольно сильно измотан, когда перед вечером въехал во двор мастерской. Ленц и Кестер уже ожидали меня.

— Ну, братики, сколько вы заработали? — спросил я.

— Продано семьдесят литров бензина, — доложил Юпп.

— Больше ничего?

Ленц злобно посмотрел на небо.

— Дождь нам хороший нужен! А потом маленькое столкновение на мокром асфальте прямо перед воротами! Ни одного пострадавшего! Но зато основательный ремонт.

— Посмотрите сюда! — Я показал им тридцать пять марок, лежавших у меня на ладони.

— Великолепно, — сказал Кестер. — Из них двадцать марок — чистый заработок. Придется размочить их сегодня. Ведь должны же мы отпраздновать первый рейс!

— Давайте пить крюшон, — заявил Ленц.

— Крюшон? — спросил я. — Зачем крюшон?

— Потому что с нами будет Пат.

— Пат?

— Не раскрывай так широко рот, — сказал последний романтик, — мы давно уже обо всем договорились. В семь мы заедем за ней. Она предупреждена. Уж раз ты не подумал о ней, пришлось нам самим позаботиться. И в конце концов ты ведь познакомился с ней благодаря нам.

— Отто, — сказал я, — видел ты когда-нибудь такого нахала, как этот рекрут?

Кестер рассмеялся.

— Что у тебя с рукой, Робби? Ты ее держишь как-то набок.

— Кажется, вывихнул. — Я рассказал историю с Густавом.

Ленц осмотрел мой палец.

— Конечно, вывихнул! Как христианин и студент-медик в отставке, я, несмотря на твои грубости, помассирую тебе палец. Пойдем, чемпион по боксу.

Мы пошли в мастерскую, где Готтфрид занялся моей рукой, вылив на нее немного масла.

— Ты сказал Пат, что мы празднуем однодневный юбилей нашей таксомоторной деятельности? — спросил я его.

Он свистнул сквозь зубы.

— А разве ты стыдишься этого, паренек?

— Ладно, заткнись, — буркнул я, зная, что он прав. — Так ты сказал?

— Любовь, — невозмутимо заметил Готтфрид, — чудесная вещь. Но она портит характер.

— Зато одиночество делает людей бестактными, слышишь, мрачный солист?

— Такт — это неписаное соглашение не замечать чужих ошибок и не заниматься их исправлением. То есть жалкий компромисс. Немецкий ветеран на такое не пойдет, детка.

— Что бы сделал ты на моем месте, — спросил я, — если бы кто-нибудь вызвал твое такси по телефону, а потом выяснилось бы, что это Пат?

Он ухмыльнулся.

— Я ни за что не взял бы с нее плату за проезд, мой сын.

Я толкнул его так, что он слетел с табурета на трех ножках.

— Ах ты негодяй! Знаешь, что я сделаю? Я просто заеду за ней вечером на нашем такси.

— Вот это правильно! — Готтфрид поднял благословляющую руку. — Только не теряй свободы! Она дороже любви. Но это обычно понимают слишком поздно. А такси мы тебе все-таки не дадим. Оно нужно нам для Фердинанда Грау

и Валентина. Сегодня у нас будет серьезный и великий вечер.

* * *

Мы сидели в садике небольшого пригородного трактира. Низко над лесом, как красный факел, повисла влажная луна. Мерцали бледные канделябры цветов на каштанах, одуряюще пахла сирень, на столе перед нами стояла большая стеклянная чаша с ароматным крюшоном. В неверном свете раннего вечера чаша казалась светлым опалом, в котором переливались последние синевато-перламутровые отблески догоравшей зари. Уже четыре раза в этот вечер чаша наполнялась крюшоном.

Председательствовал Фердинанд Грау. Рядом с ним сидела Пат. Она приколола к платью бледно-розовую орхидею, которую он преподнес ей.

Фердинанд выудил из своего бокала мотылька и осторожно положил его на стол.

— Взгляните на него, — сказал он. — Какое крылышко. Рядом с ним лучшая парча — грубая тряпка! А такая тварь живет только один день, и все. — Он оглядел всех по очереди. — Знаете ли вы, братья, что страшнее всего на свете?

— Пустой стакан, — ответил Ленц.

Фердинанд сделал презрительный жест в его сторону.

— Готтфрид, нет ничего более позорного для мужчины, чем шутовство. — Потом он снова обратился к нам: — Самое страшное, братья, — это время. Время. Мгновение, которое мы переживаем и которым все-таки никогда не владеем.

Он достал из кармана часы и поднес их к глазам Ленца.

— Вот она, мой бумажный романтик! Адская машина! Тикает, неудержимо тикает, стремясь навстречу небытию! Ты можешь остановить лавину, горный обвал, но вот эту штуку не остановишь.

— И не собираюсь останавливать, — заявил Ленц. — Хочу мирно состариться. Кроме того, мне нравится разнообразие.

— Для человека это невыносимо, — сказал Грау, не обращая внимания на Готтфрида. — Человек просто не может вынести этого. И вот почему он придумал себе мечту. Древнюю, трогательную, безнадежную мечту о вечности.

Готтфрид рассмеялся:

— Фердинанд, самая тяжелая болезнь мира — мышление! Она неизлечима.

— Будь она единственной, ты был бы бессмер-

тен, — ответил ему Грау, — ты — недолговременное соединение углеводов, извести, фосфора и железа, именуемое на этой земле Готтфридом Ленцем.

Готтфрид блаженно улыбался. Фердинанд тряхнул своей львиной гривой.

— Братья, жизнь — это болезнь, и смерть начинается с самого рождения. В каждом дыхании, в каждом ударе сердца уже заключено немного умирания — все это толчки, приближающие нас к концу.

— Каждый глоток тоже приближает нас к концу, — заметил Ленц. — Твое здоровье, Фердинанд! Иногда умирать чертовски легко.

Грау поднял бокал. По его крупному лицу как беззвучная гроза пробежала улыбка.

— Будь здоров, Готтфрид! Ты — блоха, резво скачущая по шуршащей гальке времени. И о чем только думала призрачная сила, движущая нами, когда создавала тебя?

— Это ее частное дело. Впрочем, Фердинанд, тебе не следовало бы говорить так пренебрежительно об этом. Если бы люди были вечны, ты остался бы без работы, старый прихлебатель смерти.

Плечи Фердинанда затряслись. Он хохотал.

Затем он обратился к Пат:

— Что вы скажете о нас, болтунах, маленький цветок на пляшущей воде?

* * *

Потом я гулял с Пат по саду. Луна поднялась выше, и луга плыли в сером серебре. Длинные черные тени деревьев легли на траву темными стрелами, указывающими путь в неизвестность. Мы спустились к озеру и повернули обратно. По дороге мы увидели Ленца; он притащил в сад раскладной стул, поставил его в кусты сирени и уселся. Его светлая шевелюра и огонек сигареты резко выделялись в полумраке. Рядом на земле стояли чаша с недопитым майским крюшоном и бокал.

— Вот так местечко! — воскликнула Пат. — В сирень забрался!

— Здесь недурно. — Готтфрид встал. — Присядьте и вы.

Пат села на стул. Ее лицо белело среди цветов.

— Я помешан на сирени, — сказал последний романтик. — Для меня сирень — воплощение тоски по родине. Весной тысяча девятьсот двадцать четвертого года я, как шальной, снялся с места и приехал из Рио-де-Жанейро домой — вспомнил,

что в Германии скоро должна зацвести сирень. Но я, конечно, опоздал. — Он рассмеялся. — Так получается всегда.

— Рио-де-Жанейро… — Пат притянула к себе ветку сирени. — Вы были там вдвоем с Робби?

Готтфрид опешил. У меня мурашки побежали по телу.

— Смотрите, какая луна! — торопливо сказал я и многозначительно наступил Ленцу на ногу.

При вспышке его сигареты я заметил, что он улыбнулся и подмигнул мне. Я был спасен.

— Нет, мы там не были вдвоем, — заявил Ленц. — Тогда я был один. Но что если мы выпьем еще по глоточку крюшона?

— Больше не надо, — сказала Пат. — Я не могу пить столько вина.

Фердинанд окликнул нас, и мы пошли к дому.

Его массивная фигура вырисовывалась в дверях.

— Войдите, детки, — сказал он. — Ночью людям, подобным нам, незачем общаться с природой. Ночью она желает быть одна. Крестьянин или рыбак — другое дело, но мы, горожане, чьи инстинкты притупились… — Он положил руку на плечо Готтфрида. — Ночь — это протест природы против язв цивилизации, Готтфрид! Порядочный

человек не может долго выдержать это. Он замечает, что изгнан из молчаливого круга деревьев, животных, звезд и бессознательной жизни. — Он улыбнулся своей странной улыбкой, о которой никогда нельзя было сказать, печальна она или радостна. — Заходите, детки! Согреемся воспоминаниями. Ах, вспомним же чудесное время, когда мы были еще хвощами и ящерицами, — этак пятьдесят или шестьдесят тысяч лет тому назад. Господи, до чего же мы опустились с тех пор.

Он взял Пат за руку.

— Если бы у нас не сохранилась хотя бы крупица понимания красоты, все было бы потеряно. — Осторожным движением своей огромной лапы он продел под свой локоть ее ладонь. — Серебристая звездная чешуйка, повисшая над грохочущей бездной, хотите выпить стакан вина с древним-древним старцем?

— Да, — сказала она. — Все, что вам угодно.

Они вошли в дом. Рядом с Фердинандом она казалась его дочерью. Стройной, смелой и юной дочерью усталого великана доисторических времен.

* * *

В одиннадцать мы двинулись в обратный путь. Валентин сел за руль такси и уехал с Фердинандом. Остальные сели в «Карла». Ночь была теплая, Кестер сделал крюк, и мы проехали через несколько деревень, дремавших у шоссе. Лишь изредка в окне мелькал огонек и доносился одинокий лай собак. Ленц сидел впереди, рядом с Отто, и пел. Пат и я устроились сзади.

Кестер великолепно вел машину. Он брал повороты, как птица, будто забавлялся. Он не ездил резко, как большинство гонщиков. Когда он взбирался по спирали, можно было спокойно спать, настолько плавно шла машина. Скорость не ощущалась.

По шуршанию шин мы узнавали, какая под нами дорога. На гудроне они посвистывали, на брусчатке глухо громыхали. Снопы света от фар, вытянувшись далеко вперед, мчались перед нами, как пара серых гончих, вырывая из темноты дрожащую березовую аллею, вереницу тополей, опрокидывающиеся телеграфные столбы, приземистые домики и безмолвный строй лесных просек. В россыпях тысяч звезд, на немыслимой высоте, вился над нами светлый дым Млечного

Пути.

Кестер гнал все быстрее. Я укрыл Пат пальто. Она улыбнулась мне.

— Ты любишь меня? — спросил я.

Она отрицательно покачала головой.

— А ты меня?

— Нет. Вот счастье, правда?

— Большое счастье.

— Тогда с нами ничего не может случиться, не так ли?

— Решительно ничего, — ответила она и взяла мою руку.

Шоссе спускалось широким поворотом к железной дороге. Поблескивали рельсы. Далеко впереди показался красный огонек. «Карл» взревел и рванулся вперед. Это был скорый поезд — спальные вагоны и ярко освещенный вагон-ресторан. Вскоре мы поравнялись с ним. Пассажиры махали нам из окон. Мы не отвечали. «Карл» обогнал поезд. Я оглянулся. Паровоз извергал дым и искры. С тяжким, черным грохотом мчался он сквозь синюю ночь. Мы обогнали поезд — но мы возвращались в город, где такси, ремонтные мастерские и меблированные комнаты. А паровоз грохотал вдоль рек, лесов и полей в какие-то дали, в мир приключений.

Покачиваясь, неслись навстречу нам улицы и дома. «Карл» притих, но все еще рычал, как дикий зверь.

Кестер остановился недалеко от кладбища. Он не поехал ни к Пат, ни ко мне, а просто остановился где-то поблизости. Вероятно, решил, что мы хотим остаться наедине. Мы вышли. Кестер и Ленц, не оглянувшись, сразу же помчались дальше. Я посмотрел им вслед. На минуту мне это показалось странным. Они уехали, — мои товарищи уехали, а я остался…

Я встряхнулся.

— Пойдем, — сказал я Пат. Она смотрела на меня, словно о чем-то догадываясь.

— Поезжай с ними, — сказала она.

— Нет, — ответил я.

— Ведь тебе хочется поехать с ними…

— Вот еще… — сказал я, зная, что она права. — Пойдем…

Мы пошли вдоль кладбища, еще пошатываясь от быстрой езды и ветра.

— Робби, — сказала Пат, — мне лучше пойти домой.

— Почему?

— Не хочу, чтобы ты из-за меня от чего-нибудь отказывался.

— О чем ты говоришь? От чего я отказываюсь?

— От своих товарищей…

— Вовсе я от них не отказываюсь, — ведь завтра утром я их снова увижу.

— Ты знаешь, о чем я говорю, — сказала она. — Раньше ты проводил с ними гораздо больше времени.

— Потому что не было тебя, — ответил я и открыл дверь.

Она покачала головой.

— Это совсем другое.

— Конечно, другое. И слава Богу!

Я поднял ее на руки и пронес по коридору в свою комнату.

— Тебе нужны товарищи, — сказала она. Ее губы почти касались моего лица.

— Ты мне тоже нужна.

— Но не так…

— Это мы еще посмотрим…

Я открыл дверь, и она соскользнула на пол, не отпуская меня.

— А я очень неважный товарищ, Робби.

— Надеюсь. Мне и не нужна женщина в роли товарища. Мне нужна возлюбленная.

— Я и не возлюбленная, — пробормотала она.

— Так кто же ты?

— Не половинка и не целое. Так… фрагмент…

— А это самое лучшее. Возбуждает фантазию. Таких женщин любят вечно. Законченные женщины быстро надоедают. Совершенные тоже, а «фрагменты» — никогда.

* * *

Было четыре часа утра. Я проводил Пат и возвращался к себе. Небо уже чуть посветлело. Пахло утром.

Я шел вдоль кладбища, мимо кафе «Интернациональ». Неожиданно открылась дверь шоферской закусочной около дома профессиональных союзов, и передо мной возникла девушка. Маленький берет, потертое красное пальто, высокие лакированные ботинки. Я уже прошел было мимо, но вдруг узнал ее.

— Лиза…

— И тебя, оказывается, можно встретить.

— Откуда ты? — спросил я.

Она показала на закусочную.

— Я там ждала, думала, пройдешь мимо. Ведь ты в это время обычно идешь домой.

— Да, правильно…

— Пойдешь со мной?

Я замялся.

— Это невозможно…

— Не надо денег, — быстро сказала она.

— Не в этом дело, — ответил я необдуманно, — деньги у меня есть.

— Ах, вот оно что… — с горечью сказала она и хотела уйти.

Я схватил ее за руку.

— Нет, Лиза…

Бледная и худая, она стояла на пустой, серой улице. Такой я встретил ее много лет назад, когда жил один, тупо, бездумно и безнадежно. Сначала она была недоверчива, как и все эти девушки, но потом, после того как мы поговорили несколько раз, привязалась ко мне. Это была странная связь. Случалось, я не видел ее неделями, а потом она стояла где-то на тротуаре и ждала меня. Тогда мы оба не имели никого, и даже те немногие крупицы тепла, которые мы давали друг другу, были для каждого значительны. Я давно уже не видел ее. С тех пор, как познакомился с Пат.

— Где ты столько пропадала, Лиза?

Она пожала плечами.

— Не все ли равно? Просто захотелось опять увидеть тебя… Ладно, могу уйти…

— А как ты живешь?

— Оставь ты это… — сказала она. — Не утруж-

дай себя…

Ее губы дрожали. По ее виду я решил, что она голодает.

— Я пройду с тобой немного, — сказал я.

Ее равнодушное лицо проститутки оживилось и стало детским. По пути я купил в одной из шоферских закусочных, открытых всю ночь, какую-то еду, чтобы покормить ее. Лиза сперва не соглашалась, и лишь когда я ей сказал, что тоже хочу есть, уступила. Она следила, как бы меня не обманули, подсунув плохие куски. Она не хотела, чтобы я брал полфунта ветчины, и заметила, что четвертушки довольно, если взять еще немного франкфуртских сосисок. Но я купил полфунта ветчины и две банки сосисок.

Она жила под самой крышей, в каморке, обставленной кое-как. На столе стояла керосиновая лампа, а около кровати — бутылка с вставленной в нее свечой. К стенам были приколоты кнопками картинки из журналов. На комоде лежало несколько детективных романов и конверт с порнографическими открытками. Некоторые гости, особенно женатые, любили разглядывать их. Лиза убрала открытки в ящик и достала старенькую, но чистую скатерть.

Я принялся развертывать покупки. Лиза пере-

одевалась. Сперва она сняла платье, а не ботинки, хотя у нее всегда сильно болели ноги, я это знал. Ведь ей приходилось так много бегать. Она стояла посреди комнатки в своих высоких, до колен, лакированных ботинках и в черном белье.

— Как тебе нравятся мои ноги? — спросила она.

— Классные, как всегда…

Мой ответ обрадовал ее, и она с облегчением присела на кровать, чтобы расшнуровать ботинки.

— Сто двадцать марок стоят, — сказала она, протягивая мне их. — Пока заработаешь столько, износятся в пух и прах.

Она вынула из шкафа кимоно и пару парчовых туфелек, оставшихся от лучших дней; при этом она виновато улыбнулась. Ей хотелось нравиться мне. Вдруг я почувствовал ком в горле, мне стало грустно в этой крохотной каморке, словно умер кто-то близкий.

Мы ели, и я осторожно разговаривал с ней. Но она заметила какую-то перемену во мне. В ее глазах появился испуг. Между нами никогда не было больше того, что приносил случай. Но, может быть, как раз это и привязывает и обязывает людей сильней, чем многое другое. Я встал.

— Ты уходишь? — спросила она, как будто уже давно опасалась этого.

— У меня еще одна встреча…

Она удивленно посмотрела на меня.

— Так поздно?

— Важное дело, Лиза. Надо попытаться разыскать одного человека. В это время он обычно сидит в «Астории».

Нет женщин, которые понимают эти вещи так хорошо, как девушки вроде Лизы. И обмануть их труднее, чем любую женщину. Ее лицо стало каким-то пустым.

— У тебя другая…

— Видишь, Лиза… мы с тобой так мало виделись… скоро уже год… ты сама понимаешь, что…

— Нет, нет, я не об этом. У тебя женщина, которую ты любишь! Ты изменился. Я это чувствую.

— Ах, Лиза…

— Нет, нет. Скажи!

— Сам не знаю. Может быть…

Она постояла с минуту. Потом кивнула головой.

— Да… да, конечно… Я глупа… ведь между нами ничего и нет… — Она провела рукой по лбу. — Не знаю даже, с какой стати я…

Я смотрел на ее худенькую надломленную

фигурку. Парчовые туфельки… кимоно… долгие пустые вечера, воспоминания…

— До свидания, Лиза…

— Ты идешь… Не посидишь еще немного? Ты идешь… уже?

Я понимал, о чем она говорит. Но этого я не мог. Было странно, но я не мог, никак не мог. Я чувствовал это всем своим существом. Раньше такого со мной не бывало. У меня не было преувеличенных представлений о верности. Но теперь это было просто невозможно. Я вдруг почувствовал, как далек от всего этого.

Она стояла в дверях.

— Ты идешь… — сказала она и тут же подбежала к комоду. — Возьми, я знаю, что ты положил мне деньги под газету… я их не хочу… вот они… вот… иди себе…

— Я должен, Лиза.

— Ты больше не придешь…

— Приду, Лиза…

— Нет, нет, ты больше не придешь, я знаю! И не приходи больше! Иди, иди же наконец… — Она плакала. Я спустился по лестнице, не оглянувшись.

* * *

Я еще долго бродил по улицам. Это была странная ночь.

Я переутомился и знал, что не усну. Прошел мимо «Интернационаля», думая о Лизе, о прошедших годах, о многом другом, давно уже позабытом. Все отошло в далекое прошлое и как будто больше не касалось меня. Потом я прошел по улице, на которой жила Пат. Ветер усилился, все окна в ее доме были темны, утро кралось на серых лапах вдоль дверей. Наконец я пришел домой. «Боже мой, — подумал я, — кажется, я счастлив».

XIII

— Даму, которою вы всегда прячете от нас, — сказала фрау Залевски, — можете не прятать. Пусть приходит к нам совершенно открыто. Она мне нравится.

— Но вы ведь ее не видели, — возразил я.

— Не беспокойтесь, я ее видела, — многозначительно заявила фрау Залевски. — Я видела ее, и она мне нравится. Даже очень. Но эта женщина не для вас!

— Вот как?

— Нет. Я уже удивлялась, как это вы откопали ее в своих кабаках. Хотя, конечно, такие гуляки, как вы…

— Мы уклоняемся от темы, — прервал я ее.

Она подбоченилась и сказала:

— Эта женщина для человека с хорошим, прочным положением. Одним словом, для богатого человека!

«Так, — подумал я, — вот и получил! Этого еще только не хватало».

— Вы можете это сказать о любой женщине, — заметил я раздраженно.

Она тряхнула седыми кудряшками.

— Дайте срок! Будущее покажет, что я права.

— Ах, будущее! — С досадой я швырнул на стол запонки. — Кто сегодня говорит о будущем! Зачем ломать себе голову над этим!

Фрау Залевски озабоченно покачала своей величественной головой.

— До чего же теперешние молодые люди все странные. Прошлое вы ненавидите, настоящее презираете, а будущее вам безразлично. Вряд ли это приведет к хорошему концу.

— А что вы, собственно, называете хорошим концом? — спросил я. — Хороший конец бывает только тогда, когда до него все было плохо. Уж куда лучше плохой конец.

— Все это еврейские штучки, — возразила фрау Залевски с достоинством и решительно направилась к двери. Но, уже взявшись за ручку, она замерла как вкопанная. — Смокинг? — прошептала она изумленно. — У вас?

Она вытаращила глаза на костюм Отто Кестера, висевший на дверке шкафа. Я одолжил его, чтобы вечером пойти с Пат в театр.

— Да, у меня! — ядовито сказал я. — Ваше умение делать правильные выводы вне всякого сравнения, сударыня!

Она посмотрела на меня. Буря мыслей, от-

разившаяся на ее толстом лице, разрядилась всепонимающей усмешкой.

— Ага! — сказала она. И затем еще раз: — Ага! — И уже из коридора, совершенно преображенная той вечной радостью, которую испытывает женщина при подобных открытиях, с каким-то вызывающим наслаждением она бросила мне через плечо: — Значит, так обстоят дела!

— Да, так обстоят дела, чертова сплетница! — злобно пробормотал я ей вслед, зная, что она меня уже не слышит. В бешенстве я швырнул коробку с новыми лакированными туфлями на пол. Богатый человек ей нужен! Как будто я сам этого не знал!

* * *

Я зашел за Пат. Она стояла в своей комнате, уже одетая для выхода, и ожидала меня. У меня едва не перехватило дыхание, когда я увидел ее. Впервые со времени нашего знакомства на ней был вечерний туалет.

Платье из серебряной парчи мягко и изящно ниспадало с прямых плеч. Оно казалось узким и все же не стесняло ее свободный широкий шаг. Спереди оно было закрыто, сзади имело глубокий треугольный вырез. В матовом синеватом свете

сумерек Пат казалась мне серебряным факелом, неожиданно и ошеломляюще изменившейся, праздничной и очень далекой. Призрак фрау Залевски с предостерегающе поднятым пальцем вырос за ее спиной, как тень.

— Хорошо, что ты не была в этом платье, когда я встретил тебя впервые, — сказал я. — Ни за что не подступился бы к тебе.

— Так я тебе и поверила, Робби. — Она улыбнулась. — Оно тебе нравится?

— Мне просто страшно! В нем ты совершенно новая женщина.

— Разве это страшно? На то и существуют платья.

— Может быть. Меня оно слегка пришибло. К такому платью тебе нужен другой мужчина. Мужчина с большими деньгами.

Она рассмеялась.

— Мужчины с большими деньгами в большинстве случаев отвратительны, Робби.

— Но деньги ведь не отвратительны?

— Нет. Деньги нет.

— Так я и думал.

— А разве ты этого не находишь?

— Нет, почему же? Деньги, правда, не приносят счастья, но действуют чрезвычайно успокаи-

вающе.

— Они дают независимость, мой милый, а это еще больше. Но, если хочешь, я могу надеть другое платье.

— Ни за что. Оно роскошно. С сегодняшнего дня я ставлю портных выше философов! Портные вносят в жизнь красоту. Это во сто крат ценнее всех мыслей, даже если они глубоки, как пропасти! Берегись, как бы я в тебя не влюбился!

Пат рассмеялась. Я незаметно оглядел себя. Кестер был чуть выше меня, пришлось закрепить брюки английскими булавками, чтобы они хоть кое-как сидели на мне. К счастью, это удалось.

* * *

Мы взяли такси и поехали в театр. По дороге я был молчалив, сам не понимая почему. Расплачиваясь с шофером, я внимательно посмотрел на него. Он был небрит и выглядел очень утомленным. Красноватые круги окаймляли глаза. Он равнодушно взял деньги.

— Хорошая выручка сегодня? — тихо спросил я.

Он взглянул на меня. Решив, что перед ним праздный и любопытный пассажир, он буркнул:

— Ничего…

Видно было, что он не желает вступать в разговор.

На мгновение я почувствовал, что должен сесть вместо него за руль и поехать. Потом обернулся и увидел Пат, стройную и гибкую. Поверх серебряного платья она надела короткий серебристый жакет с широкими рукавами. Она была прекрасна и полна нетерпения.

— Скорее, Робби, сейчас начнется!

У входа толпилась публика. Была большая премьера. Прожектора освещали фасад театра, одна за другой подкатывали к подъезду машины; из них выходили женщины в вечерних платьях, украшенные сверкающими драгоценностями, мужчины во фраках, с упитанными розовыми лицами, смеющиеся, радостные, самоуверенные, беззаботные; со стоном и скрипом отъехало старое такси с усталым шофером от этого праздничного столпотворения.

— Пойдем же, Робби! — крикнула Пат, глядя на меня сияющим и возбужденным взглядом. — Ты что-нибудь забыл?

Я враждебно посмотрел на людей вокруг себя.

— Нет, — сказал я, — я ничего не забыл.

Затем я подошел к кассе и обменял билеты. Я взял два кресла в ложу, хотя они стоили целое со-

стояние. Я не хотел, чтобы Пат сидела среди этих благополучных людей, для которых все решено и понятно. Я не хотел, чтобы она принадлежала к их кругу. Я хотел, чтобы она была только со мной.

* * *

Давно уже я не был в театре. Я бы и не пошел туда, если бы не Пат. Театры, концерты, книги, — я почти утратил вкус ко всем этим буржуазным привычкам. Они не были в духе времени. Политика была сама по себе в достаточной мере театром, ежевечерняя стрельба заменяла концерты, а огромная книга людской нужды убеждала больше целых библиотек.

Партер и ярусы были полны. Свет погас, как только мы сели на свои места. Огни рампы слегка освещали зал. Зазвучала широкая мелодия оркестра, и все словно тронулось с места и понеслось.

Я отодвинул свое кресло в угол ложи. В этом положении я не видел ни сцены, ни бледных лиц зрителей. Я только слушал музыку и смотрел на Пат.

Музыка к «Сказкам Гофмана» околдовала зал. Она была как южный ветер, как теплая ночь,

как вздувшийся парус под звездами, совсем не похожая на жизнь. Открывались широкие яркие дали. Казалось, что шумит глухой поток нездешней жизни; исчезала тяжесть, терялись границы, были только блеск, и мелодия, и любовь; и просто нельзя было понять, что где-то есть нужда, и страдание, и отчаянье, если звучит такая музыка.

Свет сцены таинственно озарял лицо Пат. Она полностью отдалась звукам, и я любил ее, потому что она не прислонилась ко мне и не взяла мою руку, она не только не смотрела на меня, но, казалось, даже и не думала обо мне, просто забыла. Мне всегда было противно, когда смешивали разные вещи, я ненавидел это телячье тяготение друг к другу, когда вокруг властно утверждалась красота и мощь великого произведения искусства, я ненавидел маслянистые расплывчатые взгляды влюбленных, эти туповато-блаженные прижимания, это непристойное баранье счастье, которое никогда не может выйти за собственные пределы, я ненавидел эту болтовню о слиянии воедино влюбленных душ, ибо считал, что в любви нельзя до конца слиться друг с другом и надо возможно чаще разлучаться, чтобы ценить новые встречи. Только тот, кто не раз оставался один, знает счастье встреч с любимой. Все остальное

только ослабляет напряжение и тайну любви. Что может решительней прорвать магическую сферу одиночества, если не взрыв чувств, их сокрушительная сила, если не стихия, буря, ночь, музыка?.. И любовь...

* * *

Зажегся свет. Я закрыл на мгновение глаза. О чем это я думал только что? Пат обернулась. Я видел, как зрители устремились к дверям. Был большой антракт.

— Ты не хочешь выйти? — спросил я.

Пат покачала головой.

— Слава Богу! Ненавижу, когда ходят по фойе и глазеют друг на друга.

Я вышел, чтобы принести ей апельсиновый сок. Публика осаждала буфет. Музыка удивительным образом пробуждает у многих аппетит. Горячие сосиски расхватывались так, словно вспыхнула эпидемия голодного тифа.

Когда я пришел со стаканом в ложу, какой-то мужчина стоял за креслом Пат. Повернув голову, она оживленно разговаривала с ним.

— Роберт, это господин Бройер, — сказала она.

«Господин осел», — подумал я и с досадой посмотрел на него. Она сказала Роберт, а не Робби.

Я поставил стакан на барьер ложи и стал ждать ухода ее собеседника. На нем был великолепно сшитый смокинг. Он болтал о режиссуре и исполнителях и не уходил. Пат обратилась ко мне:

— Господин Бройер спрашивает, не пойти ли нам после спектакля в «Каскад», там можно будет потанцевать.

— Если тебе хочется… — ответил я.

Он вел себя очень вежливо и в общем нравился мне. Но в нем были неприятное изящество и легкость, которыми я не обладал, и мне казалось, что это должно производить впечатление на Пат. Вдруг я услышал, что он обращается к Пат на «ты». Я не поверил своим ушам. Охотнее всего я тут же сбросил бы его в оркестр, — впрочем, для этого было уже не менее сотни других причин.

Раздался звонок. Оркестранты настраивали инструменты. Скрипки наигрывали быстрые пассажи флажолет.

— Значит, договорились? Встретимся у входа, — сказал Бройер и наконец ушел.

— Что это за бродяга? — спросил я.

— Это не бродяга, а милый человек. Старый знакомый.

— У меня зуб на твоих старых знакомых, — сказал я.

— Дорогой мой, ты бы лучше слушал музыку, — ответила Пат.

«„Каскад”,— подумал я и мысленно подсчитал, сколько у меня денег. — Гнусная обираловка!»

Движимый мрачным любопытством, я решил пойти туда. После карканья фрау Залевски только этого Бройера мне и недоставало. Он ждал нас внизу, у входа.

Я позвал такси.

— Не надо, — сказал Бройер, — в моей машине достаточно места.

— Хорошо, — сказал я. Было бы, конечно, глупо отказываться от его предложения, но я все-таки злился.

Пат узнала машину Бройера. Это был большой «паккард». Он стоял напротив, среди других машин. Пат пошла прямо к нему.

— Ты его, оказывается, перекрасил, — сказала она и остановилась перед лимузином.

— Да, в серый цвет, — ответил Бройер. — Так тебе больше нравится?

— Гораздо больше.

— А вам? Нравится вам этот цвет? — спросил меня Бройер.

— Не знаю, какой был раньше.

— Черный.

— Черная машина выглядит очень красиво.

— Конечно. Но ведь иногда хочется перемен! Ничего, к осени будет новая машина.

Мы поехали в «Каскад». Это был весьма элегантный дансинг с отличным оркестром.

— Кажется, все занято, — обрадованно сказал я, когда мы подошли к входу.

— Жаль, — сказала Пат.

— Сейчас все устроим, — заявил Бройер и пошел переговорить с директором. Судя по всему, его здесь хорошо знали. Для нас внесли столик, стулья, и через несколько минут мы сидели у барьера на отличном месте, откуда была видна вся танцевальная площадка. Оркестр играл танго. Пат склонилась над барьером.

— Я так давно не танцевала.

Бройер встал.

— Потанцуем?

Пат посмотрела на меня сияющим взглядом.

— Я закажу пока что-нибудь, — сказал я.

— Хорошо.

Танго длилось долго. Танцуя, Пат иногда поглядывала на меня и улыбалась. Я кивал ей в ответ, но чувствовал себя неважно. Она прелестно выглядела и великолепно танцевала. К сожалению, Бройер тоже танцевал хорошо, и оба прекрасно

подходили друг к другу, и казалось, что они уже не раз танцевали вдвоем. Я заказал большую рюмку рома. Они вернулись к столику. Бройер пошел поздороваться с какими-то знакомыми, и на минутку я остался с Пат вдвоем.

— Давно ты знаешь этого мальчика? — спросил я.

— Давно. А почему ты спрашиваешь?

— Просто так. Ты с ним часто здесь бывала?

Она посмотрела на меня.

— Я уже не помню, Робби.

— Такие вещи помнят, — сказал я упрямо, хотя понимал, что она хотела сказать.

Она покачала головой и улыбнулась. Я очень любил ее в эту минуту. Ей хотелось показать мне, что прошлое забыто. Но что-то мучило меня. Я сам находил это ощущение смешным, но не мог избавиться от него. Я поставил рюмку на стол.

— Можешь мне все сказать. Ничего тут такого нет.

Она снова посмотрела на меня.

— Неужели ты думаешь, что мы поехали бы все сюда, если бы что-то было? — спросила она.

— Нет, — сказал я пристыженно.

Опять заиграл оркестр. Подошел Бройер.

— Блюз, — сказал он мне. — Чудесно. Хотите

потанцевать?

— Нет! — ответил я.

— Жаль.

— А ты попробуй, Робби, — сказала Пат.

— Лучше не надо.

— Но почему же нет? — спросил Бройер.

— Мне это не доставляет удовольствия, — ответил я неприветливо, — да и не учился никогда. Времени не было. Но вы, пожалуйста, танцуйте, я не буду скучать.

Пат колебалась.

— Послушай, Пат… — сказал я. — Ведь для тебя это такое удовольствие.

— Правда… Но тебе не будет скучно?

— Ни капельки! — Я показал на свою рюмку. — Это тоже своего рода танец.

Они ушли. Я подозвал кельнера и допил рюмку. Потом я праздно сидел за столиком и пересчитывал соленый миндаль. Рядом витала тень фрау Залевски.

Бройер привел нескольких знакомых к нашему столику: двух хорошеньких женщин и моложавого мужчину с совершенно лысой маленькой головой. Потом к нам подсел еще один мужчина. Все они были легки, как пробки, изящны и самоуверенны. Пат знала всех четверых.

Я чувствовал себя неуклюжим, как чурбан. До сих пор я всегда был с Пат только вдвоем. Теперь я впервые увидел людей, издавна знакомых ей. Я не знал, как себя держать. Они же двигались легко и непринужденно, они пришли из другой жизни, где все было гладко, где можно было не видеть того, что не хотелось видеть, они пришли из другого мира. Будь я здесь один, или с Ленцем, или с Кестером, я не обратил бы на них внимания, и все это было бы мне безразлично. Но здесь была Пат, она знала их, и все сразу осложнялось, парализовало меня, заставляло сравнивать.

Бройер предложил пойти в другой ресторан.

— Робби, — сказала Пат у выхода, — не пойти ли нам домой?

— Нет, — сказал я. — Зачем?

— Ведь тебе скучно.

— Ничуть. Почему мне должно быть скучно? Напротив! А для тебя это удовольствие.

Она посмотрела на меня, но ничего не сказала.

Я принялся пить. Не так, как раньше, а по-настоящему. Мужчина с лысым черепом обратил на это внимание. Он спросил меня, что я пью.

— Ром, — сказал я.

— Грог? — спросил он.

— Нет, ром, — сказал я.

Он пригубил ром и поперхнулся.

— Черт возьми, — сказал он, — к этому надо привыкнуть.

Обе женщины тоже заинтересовались мной. Пат и Бройер танцевали. Пат часто поглядывала на меня. Я больше не смотрел в ее сторону. Я знал, что это нехорошо, но ничего не мог с собой поделать, — что-то нашло на меня. Еще меня злило, что все смотрят, как я пью. Я не хотел импонировать им своим умением пить, словно какой-нибудь хвастливый гимназист. Я встал и подошел к стойке. Пат казалась мне совсем чужой. Пускай убирается к чертям со своими друзьями! Она принадлежит к их кругу. Нет, она не принадлежит к нему. И все-таки!

Лысоголовый увязался за мной. Мы выпили с барменом по рюмке водки. Бармены всегда знают, как утешить. Во всех странах с ними можно объясняться без слов. И этот бармен был хорош. Но лысоголовый не умел пить. Ему хотелось излить душу. Некая Фифи владела его сердцем. Вскоре он, однако, исчерпал эту тему и сказал мне, что Бройер уже много лет влюблен в Пат.

— Вот как! — заметил я.

Он захихикал. Предложив ему коктейль «прэри ойстер», я заставил его замолчать. Но его слова

запомнились. Я злился, что влип в эту историю. Злился, что она задевает меня. И еще я злился оттого, что не могу грохнуть кулаком но столу; во мне закипала какая-то холодная страсть к разрушению. Но она не была обращена против других, я был недоволен собой.

Лысоголовый залепетал что-то совсем бессвязное и исчез. Вдруг я ощутил прикосновение упругой груди к моему плечу. Это была одна из женщин, которых привел Бройер. Она уселась рядом со мной. Взгляд раскосых серо-зеленых глаз медленно скользил по мне. После такого взгляда говорить уже, собственно, нечего, — надо действовать.

— Замечательно уметь так пить, — сказала она немного погодя.

Я молчал. Она протянула руку к моему бокалу. Сухая и жилистая рука с поблескивающими украшениями напоминала ящерицу. Она двигалась очень медленно, словно ползла. Я понимал, в чем дело. «С тобой я справлюсь быстро, — подумал я. — Ты недооцениваешь меня, потому что видишь, как я злюсь. Но ты ошибаешься. С женщинами я справляюсь, а вот с любовью — не могу. Безнадежность — вот что нагоняет на меня тоску».

Женщина заговорила. У нее был надломленный, как бы стеклянный, голос. Я заметил, что Пат смотрит в нашу сторону. Мне это было безразлично, но мне была безразлична и женщина, сидевшая рядом. Я словно провалился в бездонный колодец. Это не имело никакого отношения к Бройеру и ко всем этим людям, не имело отношения даже к Пат. То была мрачная тайна жизни, которая будит в нас желания, но не может их удовлетворить. Любовь зарождается в человеке, но никогда не кончается в нем. И даже если есть все: и человек, и любовь, и счастье, и жизнь, — то по какому-то страшному закону этого всегда мало, и чем большим все это кажется, тем меньше оно на самом деле. Я украдкой глядел на Пат. Она шла в своем серебряном платье, юная и красивая, пламенная, как сама жизнь, я любил ее, и когда я говорил ей: «Приди», — она приходила, ничто не разделяло нас, мы могли быть так близки друг другу, как это вообще возможно между людьми, — и вместе о тем порою все загадочно затенялось и становилось мучительным, я не мог вырвать ее из круга вещей, из круга бытия, который был вне нас и внутри нас и навязывал нам свои законы, свое дыхание и свою бренность, сомнительный блеск настоящего, непрерывно

проваливающегося в небытие, зыбкую иллюзию чувства… Обладание само по себе уже утрата. Никогда ничего нельзя удержать, никогда! Никогда нельзя разомкнуть лязгающую цепь времени, никогда беспокойство не превращалось в покой, поиски — в тишину, никогда не прекращалось падение. Я не мог отделить ее даже от случайных вещей, от того, что было до нашего знакомства, от тысячи мыслей, воспоминаний, от всего, что формировало ее до моего появления, и даже от этих людей…

Рядом со мной сидела женщина с надломленным голосом и что-то говорила. Ей нужен был партнер на одну ночь, какой-то кусочек чужой жизни. Это подстегнуло бы ее, помогло бы забыться, забыть мучительно ясную правду о том, что никогда ничто не остается, ни «я», ни «ты», и уж меньше всего «мы». Не искала ли она в сущности того же, что и я? Спутника, чтобы забыть одиночество жизни, товарища, чтобы как-то преодолеть бессмысленность бытия?

— Пойдемте к столу, — сказал я. — То, что вы хотите… и то, чего хочу я… безнадежно.

Она взглянула на меня и вдруг, запрокинув голову, расхохоталась.

* * *

Мы были еще в нескольких ресторанах. Бройер был возбужден, говорлив и полон надежд. Пат притихла. Она ни о чем не спрашивала меня, не делала мне упреков, не пыталась ничего выяснять, она просто присутствовала. Иногда она танцевала, и тогда казалось, что она скользит сквозь рой марионеток и карикатурных фигур, как тихий, красивый, стройный кораблик; иногда она мне улыбалась.

В сонливом чаду ночных заведений стены и лица делались серо-желтыми, словно по ним прошлась грязная ладонь. Казалось, что музыка доносится из-под стеклянного катафалка. Лысоголовый пил кофе. Женщина с руками, похожими на ящериц, неподвижно смотрела в одну точку. Бройер купил розы у какой-то измученной от усталости цветочницы и отдал их Пат и двум другим женщинам. В полураскрытых бутонах искрились маленькие, прозрачные капли воды.

— Пойдем потанцуем, — сказала мне Пат.

— Нет, — сказал я, думая о руках, которые сегодня прикасались к ней, — нет. — Я чувствовал себя глупым и жалким.

— И все-таки мы потанцуем, — сказала она, и

глаза ее потемнели.

— Нет, — ответил я, — нет, Пат.

Наконец мы вышли.

— Я отвезу вас домой, — сказал мне Бройер.

— Хорошо.

В машине был плед, которым он укрыл колени Пат. Вдруг она показалась мне очень бледной и усталой. Женщина, сидевшая со мной за стойкой, при прощании сунула мне записку. Я сделал вид, что не заметил этого, и сел в машину. По дороге я смотрел в окно. Пат сидела в углу и не шевелилась. Я не слышал даже ее дыхания. Бройер подъехал сначала к ней. Он знал ее адрес. Она вышла. Бройер поцеловал ей руку.

— Спокойной ночи, — сказал я и не посмотрел на нее.

— Где мне вас высадить? — спросил меня Бройер.

— На следующем углу, — сказал я.

— Я с удовольствием отвезу вас домой, — ответил он несколько поспешно и слишком вежливо.

Он не хотел, чтобы я вернулся к ней. Я подумал, не дать ли ему по морде. Но он был мне совершенно безразличен.

— Ладно, тогда подвезите меня к бару «Фредди», — сказал я.

— А вас впустят туда в такое позднее время? — спросил он.

— Очень мило, что это вас так тревожит, — сказал я, — но будьте уверены, меня еще впустят куда угодно.

Сказав это, я пожалел его. На протяжении всего вечера он, видимо, казался себе неотразимым и лихим кутилой. Не следовало разрушать эту иллюзию.

Я простился с ним приветливее, чем с Пат.

* * *

В баре было еще довольно людно. Ленц и Фердинанд Грау играли в покер с владельцем конфекционного магазина Больвисом и еще с какими-то партнерами.

— Присаживайся, — сказал Готтфрид, — сегодня покерная погода.

— Нет, — ответил я.

— Посмотри-ка, — сказал он и показал на целую кучу денег. — Без блефа. Масть идет сама.

— Ладно, — сказал я, — сдавай.

Я объявил игру при двух королях и взял четыре валета.

— Вот это да! — сказал я. — Видно, сегодня и в самом деле погода для блефа.

— Такая погода бывает всегда, — заметил Фердинанд и дал мне сигарету.

Я не думал, что задержусь здесь. Но теперь почувствовал почву под ногами. Хоть мне было явно не по себе, но тут было мое старое пристанище.

— Дай-ка мне полбутылки рому! — крикнул я Фреду.

— Смешай его с портвейном, — сказал Ленц.

— Нет, — возразил я. — Нет у меня времени для экспериментов. Хочу напиться, и все тут.

— Тогда закажи ликер. Поссорился?

— Глупости!

— Не ври, детка. Не морочь голову своему старому папе Ленцу, который чувствует себя в сердечных тайнах как дома. Скажи «да» и напивайся.

— С женщиной невозможно ссориться. В худшем случае можно злиться на нее.

— Слишком тонкие нюансы в три часа ночи. Я, между прочим, ссорился с каждой. Когда нет ссор, значит, все скоро кончится.

— Ладно, — сказал я. — Кто сдает?

— Ты, — сказал Фердинанд Грау. — По-моему, у тебя мировая скорбь, Робби. Но ты не поддавайся. Жизнь пестра, но несовершенна. Между прочим, ты великолепно блефуешь в игре, несмотря на

всю свою мировую скорбь. Два короля — это уже наглость.

— Я однажды играл партию, когда против двух королей стояли семь тысяч франков, — сказал Фред из-за стойки.

— Швейцарских или французских? — спросил Ленц.

— Швейцарских.

— Твое счастье, — заметил Готтфрид. — При французских франках ты не имел бы права прервать игру.

Мы играли еще час. Я выиграл довольно много. Больвис непрерывно проигрывал. Я пил, но у меня только разболелась голова. Опьянение не приходило. Чувства обострились. В желудке бушевал пожар.

— Так, а теперь довольно, поешь чего-нибудь, — сказал Ленц. — Фред, дай ему сандвич и несколько сардин. Спрячь свои деньги, Робби.

— Давай еще одну игру.

— Ладно. Но последнюю. С удвоенной ставкой.

— Пусть с удвоенной! — подхватили остальные.

Я довольно безрассудно прикупил к трефовой десятке и королю три карты: валета, даму и туза. С ними я выиграл у Больвиса, имевшего на

руках четыре восьмерки и взвинтившего ставку до самых звезд. Чертыхаясь, он выплатил мне кучу денег.

— Видишь? — сказал Ленц. — Вот это картежная погода!

Мы пересели к стойке. Больвис спросил о «Карле». Он не мог забыть, что Кестер обставил на гонках его спортивную машину. Он все еще хотел купить «Карла».

— Спроси Отто, — сказал Ленц. — Но мне кажется, что он охотнее продаст правую руку.

— Не выдумывай, — сказал Больвис.

— Этого тебе не понять, коммерческий отпрыск двадцатого века, — заявил Ленц.

Фердинанд Грау рассмеялся. Фред тоже. Потом хохотали все. Если не смеяться над двадцатым веком, то надо застрелиться. Но долго смеяться над ним нельзя. Скорее взвоешь от горя.

— Готтфрид, ты танцуешь? — спросил я.

— Конечно. Ведь я был когда-то учителем танцев. Разве ты забыл?

— Забыл… пусть забывает, — сказал Фердинанд Грау. — Забвение — вот тайна вечной молодости. Мы стареем только из-за памяти. Мы слишком мало забываем.

— Нет, — сказал Ленц. — Мы забываем всегда

только нехорошее.

— Ты можешь научить меня этому? — спросил я.

— Чему — танцам? В один вечер, детка. И в этом все твое горе?

— Нет у меня никакого горя, — сказал я. — Голова болит.

— Это болезнь нашего века, Робби, — сказал Фердинанд. — Лучше всего было бы родиться без головы.

Я зашел еще в кафе «Интернациональ». Алоис уже собирался опускать шторы.

— Есть там кто-нибудь? — спросил я.

— Роза.

— Пойдем выпьем еще по одной.

— Договорились.

Роза сидела у стойки и вязала маленькие, шерстяные носочки для своей девочки. Она показала мне журнал с образцами и сообщила, что уже закончила вязку кофточки.

— Какие сегодня дела? — спросил я.

— Плохие. Ни у кого нет денег.

— Одолжить тебе немного? Вот — выиграл в покер.

— Шальные деньги приносят счастье, — сказала Роза, плюнула на кредитки и сунула их в

карман.

Алоис принес три рюмки, а потом, когда пришла Фрицци, еще одну.

— Шабаш, — сказал он затем. — Устал до смерти.

Он выключил свет. Мы вышли. Роза простилась с нами у дверей. Фрицци взяла Алоиса под руку. Свежая и легкая, она пошла рядом с ним. У Алоиса было плоскостопие, и он шаркал ногами по асфальту. Я остановился и посмотрел им вслед. Я увидел, как Фрицци склонилась к неопрятному, прихрамывающему кельнеру и поцеловала его. Он равнодушно отстранил ее. И вдруг — не знаю, откуда это взялось, — когда я повернулся и посмотрел на длинную пустую улицу и дома с темными окнами, на холодное ночное небо, мною овладела такая безумная тоска по Пат, что я с трудом устоял на ногах, будто кто-то осыпал меня ударами. Я ничего больше не понимал — ни себя, ни свое поведение, ни весь этот вечер, — ничего.

Я прислонился к стене и уставился глазами в мостовую. Я не понимал, зачем я сделал все это, запутался в чем-то, что разрывало меня на части, делало меня неразумным и несправедливым, швыряло из стороны в сторону и разбивало вдребезги все, что я с таким трудом привел в порядок.

Я стоял у стены, чувствовал себя довольно беспомощно и не знал, что делать. Домой не хотелось — там мне было бы совсем плохо. Наконец я вспомнил, что у Альфонса еще открыто. Я направился к нему. Там я думал остаться до утра.

Когда я вошел, Альфонс не сказал ничего. Он мельком взглянул на меня и продолжал читать газету. Я присел к столику и погрузился в полудрему. В кафе больше никого не было. Я думал о Пат. Все время только о Пат. Я думал о своем поведении, припоминал подробности. Все оборачивалось против меня. Я был виноват во всем. Просто сошел с ума. Я тупо глядел на столик. В висках стучала кровь. Меня охватила полная растерянность. Я чувствовал бешенство и ожесточение против себя самого. Я, я один разбил все.

Вдруг раздался звон стекла. Я изо всей силы ударил по рюмке и разбил ее.

— Тоже развлечение, — сказал Альфонс и встал.

Он извлек осколок из моей руки.

— Прости меня, — сказал я. — Я не соображал, что делаю.

Он принес вату и пластырь.

— Пойди выспись, — сказал он. — Так лучше будет.

— Ладно, — ответил я. — Уже прошло. Просто был припадок бешенства.

— Бешенство надо разгонять весельем, а не злобой, — заявил Альфонс.

— Верно, — сказал я, — но это надо уметь.

— Вопрос тренировки. Вы все хотите стенку башкой прошибить. Но ничего, с годами это проходит.

Он завел патефон и поставил «Мизерере» из «Трубадура». Наступило утро.

* * *

Я пошел домой. Перед уходом Альфонс налил мне большой бокал «фернет-бранка». Я ощущал мягкие удары каких-то топориков по лбу. Улица утратила ровность. Плечи были как свинцовые. В общем, с меня было достаточно.

Я медленно поднялся по лестнице, нащупывая в кармане ключ. Вдруг в полумраке я услышал чье-то дыхание. На верхней ступеньке вырисовывалась какая-то фигура, смутная и расплывчатая. Я сделал еще два шага.

— Пат… — сказал я, ничего не понимая. — Пат… что ты здесь делаешь?

Она пошевелилась.

— Кажется, я немного вздремнула…

— Да, но как ты попала сюда?

— Ведь у меня ключ от твоего парадного…

— Я не об этом. Я… — Опьянение исчезло, я смотрел на стертые ступеньки лестницы, облупившуюся стену, на серебряное платье и узкие, сверкающие туфельки… — Я хочу сказать, как это ты вообще здесь очутилась…

— Я сама все время спрашиваю себя об этом…

Она встала и потянулась так, словно ничего не было естественнее, чем просидеть здесь на лестнице всю ночь. Потом она потянула носом:

— Ленц сказал бы: «Коньяк, ром, вишневая настойка, абсент…»

— Даже «фернет-бранка», — признался я и только теперь понял все до конца. — Черт возьми, ты потрясающая девушка, Пат, а я гнусный идиот!

Я отпер дверь, подхватил ее на руки и пронес через коридор. Она прижалась к моей груди, серебряная, усталая птица; я дышал в сторону, чтобы она не слышала винный перегар, и чувствовал, что она дрожит, хотя она улыбалась.

Я усадил ее в кресло, включил свет и достал одеяло:

— Если бы я только мог подумать, Пат… вместо того чтобы шляться по кабакам, я бы… какой я жалкий болван… я звонил тебе от Альфонса

и свистел под твоими окнами… и решил, что ты не хочешь говорить со мной… никто мне не ответил…

— Почему ты не вернулся, когда проводил меня домой?

— Вот это я бы и сам хотел понять.

— Будет лучше, если ты дашь мне еще ключ от квартиры, — сказала она. — Тогда мне не придется ждать на лестнице.

Она улыбнулась, но ее губы дрожали; и вдруг я понял, чем все это было для нее — это возвращение, это ожидание и этот мужественный, бодрый тон, которым она разговаривала со мной теперь…

Я был в полном смятении.

— Пат, — сказал я быстро, — Пат, ты, конечно, замерзла, тебе надо что-нибудь выпить. Я видел в окне Орлова свет. Сейчас сбегаю к нему, у этих русских всегда есть чай… я сейчас же вернусь обратно… — Я чувствовал, как меня захлестывает горячая волна. — Я в жизни не забуду этого, — добавил я уже в дверях и быстро пошел по коридору.

Орлов еще не спал. Он сидел перед изображением богородицы в углу комнаты. Икону освещала лампадка. Его глаза были красны. На столе кипел

небольшой самовар.

— Простите, пожалуйста, — сказал я. — Непредвиденный случай — вы не могли бы дать мне немного горячего чаю?

Русские привыкли к неожиданностям. Он дал мне два стакана чаю, сахар и полную тарелку маленьких пирожков.

— С большим удовольствием выручу вас, — сказал он. — Можно мне также предложить вам… я сам нередко бывал в подобном положении… несколько кофейных зерен… пожевать…

— Благодарю вас, — сказал я, — право, я вам очень благодарен. Охотно возьму их…

— Если вам еще что-нибудь понадобится… — сказал он, и в эту минуту я почувствовал в нем подлинное благородство, — я не сразу лягу… мне будет очень приятно…

В коридоре я разгрыз кофейные зерна. Они устранили винный перегар. Пат сидела у лампы и пудрилась. Я остановился на минуту в дверях. Я был очень растроган тем, как она сидела, как внимательно гляделась в маленькое зеркальце и водила пушком по вискам.

— Выпей немного чаю, — сказал я, — он совсем горячий.

Она взяла стакан. Я смотрел, как она пила.

— Черт его знает, Пат, что это сегодня стряслось со мной.

— Я знаю что, — ответила она.

— Да? А я не знаю.

— Да и не к чему, Робби. Ты и без того знаешь слишком много, чтобы быть по-настоящему счастливым.

— Может быть, — сказал я. — Но нельзя же так — с тех пор как мы знакомы, я становлюсь все более ребячливым.

— Нет, можно! Это лучше, чем если бы ты делался все более разумным.

— Тоже довод, — сказал я. — У тебя замечательная манера помогать мне выпутываться из затруднительных положений. Но тут наметалось много всякой всячины.

Она поставила стакан на стол. Я стоял, прислонившись к кровати. У меня было такое чувство, будто я приехал домой после долгого трудного путешествия.

* * *

Защебетали птицы. Хлопнула входная дверь. Это была фрау Бендер, служившая сестрой в детском приюте. Через полчаса на кухне появится Фрида, и мы не сможем выйти из квартиры неза-

меченными. Пат еще спала. Она дышала ровно и глубоко. Мне было просто стыдно будить ее. Но иначе было нельзя.

— Пат…

Она пробормотала что-то, не просыпаясь.

— Пат… — Я проклинал все меблированные комнаты мира. — Пат, пора вставать. Я помогу тебе одеться.

Она открыла глаза и по-детски улыбнулась, еще совсем теплая от сна. Меня всегда удивляла ее радость при пробуждении, и я очень любил это в ней. Я никогда не бывал весел, когда просыпался.

— Пат… фрау Залевски уже чистит свою вставную челюсть.

— Я сегодня остаюсь у тебя.

— Здесь?

— Да.

Я распрямился.

— Блестящая идея… но твои вещи… вечернее платье, туфли…

— Я и останусь до вечера.

— А как же дома?

— Позвоним и скажем, что я где-то заночевала.

— Ладно. Ты хочешь есть?

— Нет еще.

— На всякий случай я быстренько стащу пару свежих булочек. Разносчик повесил уже корзинку на входной двери. Еще не поздно.

Когда я вернулся, Пат стояла у окна. На ней были только серебряные туфельки. Мягкий утренний свет падал, точно флер, на ее плечи.

— Вчерашнее забыто, Пат, хорошо? — сказал я.

Не оборачиваясь, она кивнула головой.

— Мы просто не будем больше встречаться с другими людьми. Тогда не будет ни ссор, ни припадков ревности. Настоящая любовь не терпит посторонних. Бройер пускай идет к чертям со всем своим обществом.

— Да, — сказала она, — и эта Маркович тоже.

— Маркович? Кто это?

— Та, с которой ты сидел за стойкой в «Каскаде».

— Ага, — сказал я, внезапно обрадовавшись, — ага, пусть и она.

Я выложил содержимое своих карманов.

— Посмотри-ка. Хоть какая-то польза от этой истории. Я выиграл кучу денег в покер. Сегодня вечером мы на них покутим еще разок, хорошо? Только как следует, без чужих людей. Они забыты, правда?

Она кивнула.

Солнце всходило над крышей дома профессиональных союзов. Засверкали стекла в окнах. Волосы Пат наполнились светом, плечи стали как золотые.

— Что ты мне сказала вчера об этом Бройере? То есть о его профессии?

— Он архитектор.

— Архитектор, — повторил я несколько огорченно.

Мне было бы приятнее услышать, что он вообще ничто.

— Ну и пусть себе архитектор, ничего тут нет особенного, верно, Пат?

— Да, дорогой.

— Ничего особенного, правда?

— Совсем ничего, — убежденно сказала Пат, повернулась ко мне и рассмеялась. — Совсем ничего, абсолютно ничего. Мусор это — вот что!

— И эта комнатка не так уж жалка, правда, Пат? Конечно, у других людей есть комнаты получше…

— Она чудесна, твоя комната, — перебила меня Пат, — совершенно великолепная комната, дорогой мой, я действительно не знаю более прекрасной!

— А я, Пат… у меня, конечно, есть недостатки, и

я всего лишь шофер такси, но…

— Ты мой самый любимый, ты воруешь булочки и хлещешь ром. Ты прелесть!

Она бросилась мне на шею.

— Ах, глупый ты мой, как хорошо жить!

— Только вместе с тобой, Пат. Правда… только с тобой!

Утро поднималось, сияющее и чудесное. Внизу, над могильными плитами, вился тонкий туман. Кроны деревьев были уже залиты лучами солнца. Из труб домов, завихряясь, вырывался дым. Газетчики выкрикивали названия первых газет. Мы легли и погрузились в утренний сон, сон наяву, сон на грани видений, мы обнялись, наше дыхание смешалось, и мы парили где-то далеко… Потом, в девять часов, я позвонил, сперва в качестве тайного советника Буркхарда лично подполковнику Эгберту фон Гаке, а затем Ленцу, которого попросил выехать вместо меня в утренний рейс.

Он сразу же перебил меня:

— Вот видишь, дитятко, твой Готтфрид недаром считается знатоком прихотей человеческого сердца. Я рассчитывал на твою просьбу. Желаю счастья, мой золотой мальчик.

— Заткнись, — радостно сказал я и объявил на

кухне, что заболел и буду до обеда лежать в постели. Трижды мне пришлось отбивать заботливые атаки фрау Залевски, предлагавшей мне ромашковый настой, аспирин и компрессы. Затем мне удалось провести Пат контрабандой в ванную комнату. Больше нас никто не беспокоил.

XIV

Неделю спустя в нашу мастерскую неожиданно приехал на своем «форде» булочник.

— Ну-ка, выйди к нему, Робби, — сказал Ленц, злобно посмотрев в окно. — Этот доморощенный Казанова наверняка хочет предъявить рекламацию.

У булочника был довольно расстроенный вид.

— Что-нибудь с машиной? — спросил я.

Он покачал головой.

— Напротив. Работает отлично. Она теперь все равно что новая.

— Конечно, — подтвердил я и посмотрел на него с несколько большим интересом.

— Дело в том… — сказал он, — дело в том, что… в общем, я хочу другую машину, побольше… — Он оглянулся. — У вас тогда, кажется, был «кадиллак»?

Я сразу понял все. Смуглая особа, с которой он жил, доняла его.

— Да, «кадиллак», — сказал я мечтательно. — Вот тогда-то вам и надо было хватать его. Роскошная была машина! Мы отдали ее за семь тысяч марок. Наполовину подарили!

— Ну уж и подарили…

— Подарили! — решительно повторил я и стал прикидывать, как действовать. — Я мог бы навести справки, — сказал я, — может быть, человек, купивший ее тогда, нуждается теперь в деньгах. Нынче такие вещи бывают на каждом шагу. Одну минутку.

Я пошел в мастерскую и быстро рассказал о случившемся. Готтфрид подскочил:

— Ребята, где бы нам экстренно раздобыть старый «кадиллак»?

— Об этом позабочусь я, а ты последи, чтобы булочник не сбежал, — сказал я.

— Идет! — Готтфрид исчез.

Я позвонил Блюменталю. Особых надежд на успех я не питал, но попробовать не мешало. Он был в конторе.

— Хотите продать свой «кадиллак»? — сразу спросил я.

Блюменталь рассмеялся.

— У меня есть покупатель, — продолжал я, — Заплатит наличными.

— Заплатит наличными… — повторил Блюменталь после недолгого раздумья. — В наше время эти слова звучат как чистейшая поэзия.

— И я так думаю, — сказал я и вдруг почувство-

вал прилив бодрости. — Так как же, поговорим?

— Поговорить всегда можно, — ответил Блюменталь.

— Хорошо. Когда я могу вас повидать?

— У меня найдется время сегодня днем. Скажем, в два часа, в моей конторе.

— Хорошо.

Я повесил трубку.

— Отто, — обратился я в довольно сильном возбуждении к Кестеру, — я этого никак не ожидал, но мне кажется, что наш «кадиллак» вернется!

Кестер отложил бумаги.

— Правда? Он хочет продать машину?

Я кивнул и посмотрел в окно. Ленц оживленно беседовал с булочником.

— Он ведет себя неправильно, — забеспокоился я. — Говорит слишком много. Булочник — это целая гора недоверия; его надо убеждать молчанием. Пойду и сменю Готтфрида.

Кестер рассмеялся.

— Ни пуха, ни пера, Робби.

Я подмигнул ему и вышел. Но я не поверил своим ушам, — Готтфрид и не думал петь преждевременные дифирамбы «кадиллаку», он с энтузиазмом рассказывал булочнику, как южноамериканские индейцы выпекают хлеб из

кукурузной муки. Я бросил ему взгляд, полный признательности, и обратился к булочнику:

— К сожалению, этот человек не хочет продавать…

— Так я и знал, — мгновенно выпалил Ленц, словно мы сговорились.

Я пожал плечами.

— Жаль… Но я могу его понять…

Булочник стоял в нерешительности. Я посмотрел на Ленца.

— А ты не мог бы попытаться еще раз? — тут же спросил он.

— Да, конечно, — ответил я. — Мне все-таки удалось договориться с ним о встрече сегодня после обеда. Как мне найти вас потом? — спросил я булочника.

— В четыре часа я опять буду здесь поблизости. Вот и наведаюсь…

— Хорошо, тогда я уже буду знать все. Надеюсь, дело все-таки выгорит.

Булочник кивнул. Затем он сел в свой «форд» и отчалил.

— Ты что, совсем обалдел? — вскипел Ленц, когда машина завернула за угол. — Я должен был задерживать этого типа чуть ли не насильно, а ты отпускаешь его ни с того ни с сего!

— Логика и психология, мой добрый Готтфрид! — возразил я и похлопал его по плечу. — Этого ты еще не понимаешь как следует…

Он стряхнул мою руку.

— Психология… — заявил он пренебрежительно. — Удачный случай — вот лучшая психология! И такой случай ты упустил! Булочник никогда больше не вернется…

— В четыре часа он будет здесь.

Готтфрид с сожалением посмотрел на меня.

— Пари? — спросил он.

— Давай, — сказал я, — но ты влипнешь. Я его знаю лучше, чем ты! Он любит залетать на огонек несколько раз. Кроме того, не могу же я ему продать вещь, которую мы сами еще не имеем.

— Господи, Боже мой! И это все, что ты можешь сказать, детка! — воскликнул Готтфрид, сокрушенно качая головой. — Ничего из тебя в этой жизни не выйдет. Ведь у нас только начинаются настоящие дела! Пойдем, я бесплатно прочту тебе лекцию о современной экономической жизни…

* * *

Днем я пошел к Блюменталю. По пути я сравнивал себя с молодым козленком, которому надо навестить старого волка. Солнце жгло асфальт, и

с каждым шагом мне все меньше хотелось, чтобы Блюменталь зажарил меня на вертеле. Так или иначе, лучше всего было действовать быстро.

— Господин Блюменталь, — торопливо проговорил я, едва переступив порог кабинета и не дав ему опомниться, — я пришел к вам с приличным предложением. Вы заплатили за «кадиллак» пять тысяч пятьсот марок. Предлагаю вам шесть, но при условии, что действительно продам его. Это должно решиться сегодня вечером.

Блюменталь восседал за письменным столом и ел яблоко. Теперь он перестал жевать и внимательно посмотрел на меня.

— Ладно, — просопел он через несколько секунд, снова принимаясь за яблоко.

Я подождал, пока он бросил огрызок в бумажную корзину.

Когда он это сделал, я спросил:

— Так, значит, вы согласны?

— Минуточку! — Он достал из ящика письменного стола другое яблоко и с треском надкусил его. — Дать вам тоже?

— Благодарю, сейчас не надо.

— Ешьте побольше яблок, господин Локамп! Яблоки продлевают жизнь! Несколько яблок в день — и вам никогда не нужен врач!

— Даже если я сломаю руку?

Он ухмыльнулся, выбросил второй огрызок и встал.

— А вы не ломайте руки!

— Практический совет, — сказал я и подумал, что же будет дальше. Этот яблочный разговор показался мне слишком подозрительным.

Блюменталь достал ящик с сигарами и предложил мне закурить. Это были уже знакомые мне «Корона-Корона».

— Они тоже продлевают жизнь? — спросил я.

— Нет, они укорачивают ее. Потом это уравновешивается яблоками. — Он выпустил клуб дыма и посмотрел на меня снизу, откинув голову, словно задумчивая птица. — Надо все уравновешивать, — вот в чем весь секрет жизни…

— Это надо уметь.

Он подмигнул мне.

— Именно уметь, в этом весь секрет. Мы слишком много знаем и слишком мало умеем… потому что знаем слишком много.

Он рассмеялся.

— Простите меня. После обеда я всегда слегка настроен на философский лад.

— Самое время для философии, — сказал я. — Значит, с «кадиллаком» мы тоже добьемся

равновесия, не так ли?

Он поднял руку.

— Секунду…

Я покорно склонил голову. Блюменталь заметил мой жест и рассмеялся.

— Нет, вы меня не поняли. Я вам только хотел сделать комплимент. Вы ошеломили меня, явившись с открытыми картами в руках! Вы точно рассчитали, как это подействует на старого Блюменталя. А знаете, чего я ждал?

— Что я предложу вам для начала четыре тысячи пятьсот.

— Верно! Но тут бы вам несдобровать. Ведь вы хотите продать за семь, не так ли?

Из предосторожности я пожал плечами.

— Почему именно за семь?

— Потому что в свое время это было вашей первой ценой.

— У вас блестящая память, — сказал я.

— На цифры. Только на цифры. К сожалению. Итак, чтобы покончить: берите машину за шесть тысяч.

Мы ударили по рукам.

— Слава Богу, — сказал я, переводя дух. — Первая сделка после долгого перерыва. «Кадиллак», видимо, приносит нам счастье.

— Мне тоже, — сказал Блюменталь. — Ведь и я заработал на нем пятьсот марок.

— Правильно. Но почему, собственно, вы его так скоро продаете? Он не нравился вам?

— Просто суеверие, — объяснил Блюменталь. — Я совершаю любую сделку, при которой что-то зарабатываю.

— Чудесное суеверие… — ответил я.

Он покачал своим блестящим лысым черепом.

— Вот вы не верите, но это так. Чтобы не было неудачи в других делах. Упустить в наши дни выгодную сделку — значит бросить вызов судьбе. А этого никто себе больше позволить не может.

* * *

В половине пятого Ленц, весьма выразительно посмотрев на меня, поставил на стол передо мной пустую бутылку из-под джина.

— Я желаю, чтобы ты мне ее наполнил, детка! Ты помнишь о нашем пари?

— Помню, — сказал я, — но ты пришел слишком рано.

Готтфрид безмолвно поднес часы к моему носу.

— Половина пятого, — сказал я, — думаю, что это астрономически точное время. Опоздать может всякий. Впрочем, я меняю условия пари

— ставлю два против одного.

— Принято, — торжественно заявил Готтфрид. — Значит, я получу бесплатно четыре бутылки джина. Ты проявляешь героизм на потерянной позиции. Весьма почетно, деточка, но глупо.

— Подождем…

Я притворялся уверенным, но меня одолевали сомнения. Я считал, что булочник скорее всего уж не придет. Надо было задержать его в первый раз. Он был слишком ненадежным человеком.

В пять часов на соседней фабрике перин завыла сирена. Готтфрид молча поставил передо мной еще три пустые бутылки. Затем он прислонился к окну и уставился на меня.

— Меня одолевает жажда, — многозначительно произнес он.

В этот момент с улицы донесся характерный шум фордовского мотора, и тут же машина булочника въехала в ворота.

— Если тебя одолевает жажда, дорогой Готтфрид, — ответил я с большим достоинством, — сбегай поскорее в магазин и купи две бутылки рома, которые я выиграл. Я позволю тебе отпить глоток бесплатно. Видишь булочника во дворе? Психология, мой мальчик! А теперь убери отсюда

пустые бутылки! Потом можешь взять такси и поехать на промысел. А для более тонких дел ты еще молод. Привет, мой сын!

Я вышел к булочнику и сказал ему, что машину, вероятно, можно будет купить. Правда, наш бывший клиент требует семь тысяч пятьсот марок, но если он увидит наличные деньги, то уж как-нибудь уступит за семь.

Булочник слушал меня так рассеянно, что я немного растерялся.

— В шесть часов я позвоню этому человеку еще раз, — сказал я наконец.

— В шесть? — очнулся булочник. — В шесть мне нужно… — Вдруг он повернулся ко мне: — Поедете со мной?

— Куда? — удивился я.

— К вашему другу, художнику. Портрет готов.

— Ах так, к Фердинанду Грау…

Он кивнул.

— Поедемте со мной. О машине мы сможем поговорить и потом.

По-видимому, он почему-то не хотел идти к Фердинанду без меня. Со своей стороны, я также был весьма заинтересован в том, чтобы не оставлять его одного. Поэтому я сказал:

— Хорошо, но это довольно далеко. Давайте

поедем сразу.

* * *

Фердинанд выглядел очень плохо. Его лицо имело серовато-зеленый оттенок и было помятым и обрюзгшим. Он встретил нас у входа в мастерскую. Булочник едва взглянул на него. Он был явно возбужден.

— Где портрет? — сразу спросил он.

Фердинанд показал рукой в сторону окна. Там стоял мольберт с портретом. Булочник быстро вошел в мастерскую и застыл перед ним. Немного погодя он снял шляпу. Он так торопился, что сначала и не подумал об этом.

Фердинанд остался со мной в дверях.

— Как поживаешь, Фердинанд? — спросил я.

Он сделал неопределенный жест рукой.

— Что-нибудь случилось?

— Что могло случиться?

— Ты плохо выглядишь.

— И только-то?

— Да, — сказал я, — больше ничего…

Он положил мне на плечо свою большую ладонь и улыбнулся, напоминая чем-то старого сенбернара.

Подождав еще немного, мы подошли к бу-

лочнику. Портрет его жены удивил меня: лицо получилось отлично. По свадебной фотографии и другому снимку, на котором покойница выглядела весьма удрученной, Фердинанд написал портрет еще довольно молодой женщины. Она смотрела на нас серьезными, несколько беспомощными глазами.

— Да, — сказал булочник, не оборачиваясь, — это она. — Он сказал это скорее для себя, и я подумал, что он даже не слышал своих слов.

— Вам достаточно светло? — спросил Фердинанд.

Булочник не ответил.

Фердинанд подошел к мольберту и слегка повернул его. Потом он отошел назад и кивком головы пригласил меня в маленькую комнату рядом с мастерской.

— Вот уж чего никак не ожидал, — сказал он удивленно. — Скидка подействовала на него. Он рыдает…

— Всякого может задеть за живое, — ответил я. — Но с ним это случилось слишком поздно…

— Слишком поздно, — сказал Фердинанд, — всегда все слишком поздно. Так уж повелось в жизни, Робби.

Он медленно расхаживал по комнате.

— Пусть булочник побудет немного один, а мы с тобой можем пока сыграть в шахматы.

— У тебя золотой характер, — сказал я.

Он остановился.

— При чем тут характер? Ведь ему все равно ничем не помочь. А если вечно думать только о грустных вещах, то никто на свете не будет иметь права смеяться…

— Ты опять прав, — сказал я. — Ну, давай — быстро сыграем партию.

Мы расставили фигуры и начали. Фердинанд довольно легко выиграл. Не трогая королевы, действуя ладьей и слоном, он скоро объявил мне мат.

— Здорово! — сказал я. — Вид у тебя такой, будто ты не спал три дня, а играешь, как морской разбойник.

— Я всегда играю хорошо, когда меланхоличен, — ответил Фердинанд.

— А почему ты меланхоличен?

— Просто так. Потому что темнеет. Порядочный человек всегда становится меланхоличным, когда наступает вечер. Других особых причин не требуется. Просто так… вообще…

— Но только если он одинок, — сказал я.

— Конечно… Час теней… Час одиночества…

Час, когда коньяк кажется особенно вкусным.

Он достал бутылку и рюмки.

— Не пойти ли нам к булочнику? — спросил я.

— Сейчас. — Он налил коньяк. — За твое здоровье, Робби, за то, что мы все когда-нибудь подохнем!

— Твое здоровье, Фердинанд! За то, что мы пока еще землю топчем!

— Сколько раз наша жизнь висела на волоске, а мы все-таки уцелели. Надо выпить и за это!

— Ладно.

Мы пошли обратно в мастерскую. Стало темнеть. Вобрав голову в плечи, булочник все еще стоял перед портретом. Он выглядел горестным и потерянным в этом большом голом помещении, и мне показалось, будто он стал меньше.

— Упаковать вам портрет? — спросил Фердинанд.

Булочник вздрогнул.

— Нет…

— Тогда я пришлю вам его завтра.

— Он не мог бы еще побыть здесь? — неуверенно спросил булочник.

— Зачем же? — удивился Фердинанд и подошел ближе, — Он вам не нравится?

— Нравится… но я хотел бы ненадолго оставить

его здесь…

— Не понимаю.

Булочник умоляюще посмотрел на меня. Я понял: он боялся повесить портрет дома, где жила эта чернявая дрянь.

Быть может, то был страх перед покойницей.

— Послушай, Фердинанд, — сказал я, — если портрет будет оплачен, то его можно спокойно оставить здесь.

— Да, разумеется…

Булочник с облегчением извлек из кармана чековую книжку. Оба подошли к столу.

— Я вам должен еще четыреста марок? — спросил булочник.

— Четыреста двадцать, — сказал Фердинанд, — с учетом скидки. Хотите расписку?

— Да, — сказал булочник, — для порядка.

Фердинанд молча написал расписку и тут же получил чек. Я стоял у окна и разглядывал комнату. В сумеречном полусвете мерцали лица на невостребованных и неоплаченных портретах в золоченых рамах. Какое-то сборище потусторонних призраков, и казалось, что все эти неподвижные глаза устремлены на портрет у окна, который сейчас присоединится к ним. Вечер тускло озарял его последним отблеском жизни.

Все было необычным — две человеческие фигуры, согнувшиеся над столом, тени и множество безмолвных портретов.

Булочник вернулся к окну. Его глаза в красных прожилках казались стеклянными шарами, рот был полуоткрыт, и нижняя губа отвисла, обнажая желтые зубы. Было смешно и грустно смотреть на него. Этажом выше кто-то сел за пианино и принялся играть упражнения. Звуки повторялись непрерывно, высокие, назойливые. Фердинанд остался у стола. Он закурил сигару. Пламя спички осветило его лицо. Мастерская, тонувшая в синем полумраке, показалась вдруг огромной от красноватого огонька.

— Можно еще изменить кое-что в портрете? — спросил булочник.

— Что именно?

Фердинанд подошел поближе. Булочник указал на драгоценности:

— Можно это снова убрать?

Он говорил о крупной золотой броши, которую просил подрисовать, сдавая заказ.

— Конечно, — сказал Фердинанд, — она мешает восприятию лица. Портрет только выиграет, если ее убрать.

— И я так думаю. — Булочник замялся на мину-

ту. — Сколько это будет стоить?

Мы с Фердинандом переглянулись.

— Это ничего не стоит, — добродушно сказал Фердинанд. — Напротив, мне следовало бы вернуть вам часть денег: ведь на портрете будет меньше нарисовано.

Булочник удивленно поднял голову. На мгновение мне показалось, что он готов согласиться с этим. Но затем он решительно заявил:

— Нет, оставьте… ведь вы должны были ее нарисовать.

— И это опять-таки правда…

Мы пошли. На лестнице я смотрел на сгорбленную спину булочника, и мне стало его жалко; я был слегка растроган тем, что в нем заговорила совесть, когда Фердинанд разыграл его с брошью на портрете. Я понимал его настроение, и мне не очень хотелось наседать на него с «кадиллаком». Но потом я решил: его искренняя скорбь по умершей супруге объясняется только тем, что дома у него живет чернявая дрянь. Эта мысль придала мне бодрости.

* * *

— Мы можем переговорить о нашем деле у меня, — сказал булочник, когда мы вышли на

улицу.

Я кивнул. Меня это вполне устраивало. Булочнику, правда, казалось, что в своих четырех стенах он намного сильнее, я же рассчитывал на поддержку его любовницы.

Она поджидала нас у двери.

— Примите сердечные поздравления, — сказал я, не дав булочнику раскрыть рта.

— С чем? — спросила она быстро, окинув меня озорным взглядом.

— С вашим «кадиллаком», — невозмутимо ответил я.

— Сокровище ты мое! — Она подпрыгнула и повисла на шее у булочника.

— Но ведь мы еще... — Он пытался высвободиться из ее объятий и объяснить ей положение дел. Но она не отпускала его. Дрыгая ногами, она кружилась с ним, не давая ему говорить. Передо мной мелькала то ее хитрая, подмигивающая рожица, то его голова мучного червя. Он тщетно пытался протестовать.

Наконец ему удалось высвободиться.

— Ведь мы еще не договорились, — сказал он, отдуваясь.

— Договорились, — сказал я с большой сердечностью. — Договорились! Беру на себя вы-

торговать у него последние пятьсот марок. Вы заплатите за «кадиллак» семь тысяч марок и ни пфеннига больше! Согласны?

— Конечно! — поспешно сказала брюнетка. — Ведь это действительно дешево, пупсик…

— Помолчи! — Булочник поднял руку.

— Ну что еще случилось? — набросилась она на него. — Сначала ты говорил, что возьмешь машину, а теперь вдруг не хочешь!

— Он хочет, — вмешался я, — мы обо всем переговорили…

— Вот видишь, пупсик? Зачем отрицать?.. — Она обняла его. Он опять попытался высвободиться, но она решительно прижалась пышной грудью к его плечу. Он сделал недовольное лицо, но его сопротивление явно слабело.

— «Форд»… — начал он.

— Будет, разумеется, принят в счет оплаты…

— Четыре тысячи марок…

— Стоил он когда-то, не так ли? — спросил я дружелюбно.

— Он должен быть принят в оплату с оценкой в четыре тысячи марок, — твердо заявил булочник. Овладев собой, он теперь нашел позицию для контратаки. — Ведь машина почти новая…

— Новая… — сказал я. — После такого колос-

сального ремонта?

— Сегодня утром вы это сами признали.

— Сегодня утром я имел в виду нечто иное. Новое новому рознь, и слово «новая» звучит поразному, в зависимости от того, покупаете ли вы или продаете. При цене в четыре тысячи марок ваш «форд» должен был бы иметь бамперы из чистого золота.

— Четыре тысячи марок — или ничего не выйдет, — упрямо сказал он. Теперь это был прежний непоколебимый булочник; казалось, он хотел взять реванш за порыв сентиментальности, охвативший его у Фердинанда.

— Тогда до свидания! — ответил я и обратился к его подруге: — Весьма сожалею, сударыня, но совершать убыточные сделки я не могу. Мы ничего не зарабатываем на «кадиллаке» и не можем поэтому принять в счет оплаты старый «форд» с такой высокой ценой. Прощайте…

Она удержала меня. Ее глаза сверкали, и теперь она так яростно обрушилась на булочника, что у него потемнело в глазах.

— Сам ведь говорил сотни раз, что «форд» больше ничего не стоит, — прошипела она в заключение со слезами на глазах.

— Две тысячи марок, — сказал я. — Две тысячи

марок, хотя и это для нас самоубийство.

Булочник молчал.

— Да скажи что-нибудь наконец! Что же ты молчишь, словно воды в рот набрал? — кипятилась брюнетка.

— Господа, — сказал я, — пойду и пригоню вам «кадиллак». А вы между тем обсудите этот вопрос между собой.

Я почувствовал, что мне лучше всего исчезнуть. Брюнетке предстояло продолжить мое дело.

* * *

Через час я вернулся на «кадиллаке». Я сразу заметил, что спор разрешился простейшим образом. У булочника был весьма растерзанный вид, к его костюму пристал пух от перины. Брюнетка, напротив, сияла, ее грудь колыхалась, а на лице играла сытая предательская улыбка. Она переоделась в тонкое шелковое платье, плотно облегавшее ее фигуру. Улучив момент, она выразительно подмигнула мне и кивнула головой. Я понял, что все улажено. Мы совершили пробную поездку. Удобно развалясь на широком заднем сиденье, брюнетка непрерывно болтала. Я бы с удовольствием вышвырнул ее в окно, но она мне еще была нужна. Булочник с меланхоличным

видом сидел рядом со мной. Он заранее скорбел о своих деньгах, — а эта скорбь самая подлинная из всех.

Мы приехали обратно и снова поднялись в квартиру. Булочник вышел из комнаты, чтобы принести деньги. Теперь он казался старым, и я заметил, что у него крашеные волосы. Брюнетка кокетливо оправила платье.

— Это мы здорово обделали, правда?

— Да, — нехотя ответил я.

— Сто марок в мою пользу…

— Ах, вот как… — сказал я.

— Старый скряга, — доверительно прошептала она и подошла ближе. — Денег у него уйма! Но попробуйте заставить его раскошелиться! Даже завещания написать не хочет! Потом все получат, конечно, дети, а я останусь на бобах! Думаете, много мне радости с этим старым брюзгой?..

Она подошла ближе. Ее грудь колыхалась.

— Так, значит, завтра я зайду насчет ста марок. Когда вас можно застать? Или, может быть, вы бы сами заглянули сюда? — Она захихикала. — Завтра после обеда я буду здесь одна…

— Я вам пришлю их сюда, — сказал я.

Она продолжала хихикать.

— Лучше занесите сами. Или вы боитесь?

Видимо, я казался ей робким, и она сделала поощряющий жест.

— Не боюсь, — сказал я. — Просто времени нет. Как раз завтра надо идти к врачу. Застарелый сифилис, знаете ли! Это страшно отравляет жизнь!..

Она так поспешно отступила назад, что чуть не упала в плюшевое кресло. В эту минуту вошел булочник. Он недоверчиво покосился на свою подругу. Затем отсчитал деньги и положил их на стол. Считал он медленно и неуверенно. Его тень маячила на розовых обоях и как бы считала вместе с ним. Вручая ему расписку, я подумал; «Сегодня это уже вторая, первую ему вручил Фердинанд Грау». И хотя в этом совпадении ничего особенного не было, оно почему-то показалось мне странным.

Оказавшись на улице, я вздохнул свободно. Воздух был по-летнему мягок. У тротуара поблескивал «кадиллак».

— Ну, старик, спасибо, — сказал я и похлопал его по капоту. — Вернись поскорее — для новых подвигов!

XV

Над лугами стояло яркое сверкающее утро. Пат и я сидели на лесной прогалине и завтракали. Я взял двухнедельный отпуск и отправился с Пат к морю. Мы были в пути.

Перед нами на шоссе стоял маленький старый «ситроен». Мы получили эту машину в счет оплаты за старый «форд» булочника, и Кестер дал мне ее на время отпуска. Нагруженный чемоданами, наш «ситроен» походил на терпеливого навьюченного ослика.

— Надеюсь, он не развалится по дороге, — сказал я.

— Не развалится, — ответила Пат.

— Откуда ты знаешь?

— Разве непонятно? Потому что сейчас наш отпуск, Робби.

— Может быть, — сказал я. — Но, между прочим, я знаю его заднюю ось. У нее довольно грустный вид. А тут еще такая нагрузка.

— Он брат «Карла» и должен вынести все.

— Очень рахитичный братец.

— Не богохульствуй, Робби. В данный момент это самый прекрасный автомобиль из всех, какие

я знаю.

Мы лежали рядом на полянке. Из леса дул мягкий, теплый ветерок. Пахло смолой и травами.

— Скажи, Робби, — спросила Пат немного погодя, — что это за цветы, там, у ручья?

— Анемоны, — ответил я, не посмотрев.

— Ну что ты говоришь, дорогой! Совсем это не анемоны. Анемоны гораздо меньше; кроме того, они цветут только весной.

— Правильно, — сказал я. — Это кардамины.

Она покачала головой.

— Я знаю кардамины. У них совсем другой вид.

— Тогда это цикута.

— Что ты, Робби! Цикута белая, а не красная.

— Тогда не знаю. До сих пор я обходился этими тремя названиями, когда меня спрашивали. Одному из них всегда верили.

Она засмеялась.

— Жаль. Если бы я это знала, я удовлетворилась бы анемонами.

— Цикута! — сказал я. — С цикутой я добился большинства побед.

Она привстала.

— Вот это весело! И часто тебя расспрашивали?

— Не слишком часто. И при совершенно других обстоятельствах.

Она уперлась ладонями в землю.

— А ведь, собственно говоря, стыдно ходить по земле и почти ничего не знать о ней. Даже нескольких названий цветов.

— Не расстраивайся, — сказал я, — гораздо более позорно, что мы вообще не знаем, зачем околачиваемся на земле. И тут несколько лишних названий ничего не изменят.

— Это только слова! Мне кажется, ты просто ленив.

Я повернулся.

— Конечно. Но насчет лени еще далеко не все ясно. Она — начало всякого счастья и конец всяческой философии. Полежим еще немного рядом. Человек слишком мало лежит. Он вечно стоит или сидит. Это вредно для нормального биологического самочувствия. Только когда лежишь, полностью примиряешься с самим собой.

Послышался звук мотора, и вскоре мимо нас промчалась машина.

— Маленький «мерседес», — заметил я, не оборачиваясь. — Четырехцилиндровый.

— Вот еще один, — сказала Пат.

— Да, слышу. «Рено». У него радиатор как свиное рыло?

— Да.

— Значит, «рено». А теперь слушай: вот идет настоящая машина! «Лянчия»! Она наверняка догонит и «мерседес» и «рено», как волк пару ягнят. Ты только послушай, как работает мотор! Как орган!

Машина пронеслась мимо.

— Тут ты, видно, знаешь больше трех названий! — сказала Пат.

— Конечно. Тут уж я не ошибусь.

Она рассмеялась.

— Так это как же — грустно или нет?

— Совсем не грустно. Вполне естественно. Хорошая машина иной раз приятней, чем двадцать цветущих лугов.

— Черствое дитя двадцатого века! Ты, вероятно, совсем не сентиментален…

— Отчего же? Как видишь, насчет машин я сентиментален.

Она посмотрела на меня.

— И я тоже, — сказала она.

* * *

В ельнике закуковала кукушка. Пат начала считать.

— Зачем ты это делаешь? — спросил я.

— А разве ты не знаешь? Сколько раз она про-

кукует — столько лет еще проживешь.

— Ах да, помню. Но тут есть еще одна примета. Когда слышишь кукушку, надо встряхнуть свои деньги. Тогда их станет больше.

Я достал из кармана мелочь и подкинул ее на ладони.

— Вот это да! — сказала Пат и засмеялась. — Я хочу жить, а ты хочешь денег.

— Чтобы жить! — возразил я. — Настоящий идеалист стремится к деньгам. Деньги — это свобода. А свобода — жизнь.

— Четырнадцать, — считала Пат. — Было время, когда ты говорил об этом иначе.

— В мрачный период. Нельзя говорить о деньгах с презрением. Многие женщины даже влюбляются из-за денег. А любовь делает многих мужчин корыстолюбивыми. Таким образом, деньги стимулируют идеалы, — любовь же, напротив, материализм.

— Сегодня тебе везет, — сказала Пат. — Тридцать пять.

— Мужчина, — продолжал я, — становится корыстолюбивым только из-за капризов женщин. Не будь женщин, не было бы и денег, и мужчины были бы племенем героев. В окопах мы жили без женщин, и не было так уж важно, у кого и где име-

лась какая-то собственность. Важно было одно: какой ты солдат. Я не ратую за прелести окопной жизни, — просто хочу осветить проблему любви с правильных позиций. Она пробуждает в мужчине самые худшие инстинкты — страсть к обладанию, к общественному положению, к заработкам, к покою. Недаром диктаторы любят, чтобы их соратники были женаты, — так они менее опасны. И недаром католические священники не имеют жен, — иначе они не были бы такими отважными миссионерами.

— Сегодня тебе просто очень везет, — сказала Пат. — Пятьдесят два!

Я опустил мелочь в карман и закурил сигарету.

— Скоро ли ты кончишь считать? — спросил я. — Ведь уже перевалило за семьдесят.

— Сто, Робби! Сто — хорошее число. Вот сколько лет я хотела бы прожить.

— Свидетельствую тебе свое уважение, ты храбрая женщина! Но как же можно столько жить?

Она скользнула по мне быстрым взглядом.

— А это видно будет. Ведь я отношусь к жизни иначе, чем ты.

— Это так. Впрочем, говорят, что труднее всего прожить первые семьдесят лет. А там дело пой-

дет на лад.

— Сто! — провозгласила Пат, и мы тронулись в путь.

* * *

Море надвигалось на нас, как огромный серебряный парус. Еще издали мы услышали его соленое дыхание. Горизонт ширился и светлел, и вот оно простерлось перед нами, беспокойное, могучее и бескрайнее.

Шоссе, сворачивая, подходило к самой воде. Потом появился лесок, а за ним деревня. Мы справились, как проехать к дому, где собирались поселиться. Оставался еще порядочный кусок пути. Адрес нам дал Кестер. После войны он прожил здесь целый год.

Маленькая вилла стояла на отлете. Я лихо подкатил свой «ситроен» к калитке и дал сигнал. В окне на мгновение показалось широкое бледное лицо и тут же исчезло.

— Надеюсь, это не фрейлейн Мюллер, — сказал я.

— Не все ли равно, как она выглядит, — ответила Пат.

Открылась дверь. К счастью, это была не фрейлейн Мюллер, а служанка. Через минуту к нам

вышла фрейлейн Мюллер, владелица виллы, — миловидная седая дама, похожая на старую деву. На ней было закрытое черное платье с брошью в виде золотого крестика.

— Пат, на всякий случай подними чулки, — шепнул я, поглядев на крестик, и вышел из машины.

— Кажется, господин Кестер уже предупредил вас о вашем приезде, — сказал я.

— Да, я получила телеграмму. — Она внимательно разглядывала меня. — Как поживает господин Кестер?

— Довольно хорошо… если можно так выразиться в наше время.

Она кивнула, продолжая разглядывать меня.

— Вы с ним давно знакомы?

«Начинается форменный экзамен», — подумал я и доложил, как давно я знаком с Отто. Мой ответ как будто удовлетворил ее. Подошла Пат. Она успела поднять чулки. Взгляд фрейлейн Мюллер смягчился. К Пат она отнеслась, видимо, более милостиво, чем ко мне.

— У вас найдутся комнаты для нас? — спросил я.

— Уж если господин Кестер известил меня, то комната для вас всегда найдется, — заявила

фрейлейн Мюллер, покосившись на меня. — Вам я предоставлю самую лучшую, — обратилась она к Пат.

Пат улыбнулась. Фрейлейн Мюллер ответила ей улыбкой.

— Я покажу вам ее, — сказала она.

Обе пошли рядом по узкой дорожке маленького сада. Я брел сзади, чувствуя себя лишним, — фрейлейн Мюллер обращалась только к Пат.

Комната, которую она нам показала, находилась в нижнем этаже. Она была довольно просторной, светлой и уютной и имела отдельный выход в сад, что мне очень понравилось. На одной стороне было подобие ниши. Здесь стояли две кровати.

— Ну как? — спросила фрейлейн Мюллер.

— Очень красиво, — сказала Пат.

— Даже роскошно, — добавил я, стараясь польстить хозяйке. — А где другая?

Фрейлейн Мюллер медленно повернулась ко мне.

— Другая? Какая другая? Разве вам нужна другая? Эта вам не нравится?

— Она просто великолепна, — сказал я, — но…

— Но? — чуть насмешливо заметила фрейлейн Мюллер. — К сожалению, у меня нет лучшей.

Я хотел объяснить ей, что нам нужны две отдельные комнаты, но она тут же добавила:

— И ведь вашей жене она очень нравится.

«Вашей жене»... Мне почудилось, будто я отступил на шаг назад, хотя не сдвинулся с места. Я незаметно взглянул на Пат. Прислонившись к окну, она смотрела на меня, давясь от смеха.

— Моя жена, разумеется... — сказал я, глазея на золотой крестик, фрейлейн Мюллер. Делать было нечего, и я решил не открывать ей правды. Она бы еще, чего доброго, вскрикнула и упала в обморок. — Просто мы привыкли спать в двух комнатах, — сказал я. — Я хочу сказать — каждый в своей.

Фрейлейн Мюллер неодобрительно покачала головой.

— Две спальни, когда люди женаты?.. Какая-то новая мода...

— Не в этом дело, — заметил я, стараясь предупредить возможное недоверие. — У моей жены очень легкий сон. Я же, к сожалению, довольно громко храплю.

— Ах, вот что, вы храпите! — сказала фрейлейн Мюллер таким тоном, словно уже давно догадывалась об этом.

Я испугался, решив, что теперь она предложит

мне комнату наверху, на втором этаже. Но брак был для нее, очевидно, священным делом. Она отворила дверь в маленькую смежную комнатку, где, кроме кровати, не было почти ничего.

— Великолепно, — сказал я, — этого вполне достаточно. Но не помешаю ли я кому-нибудь? — Я хотел узнать, будем ли мы одни на нижнем этаже.

— Вы никому не помешаете, — успокоила меня фрейлейн Мюллер, с которой внезапно слетела вся важность. — Кроме вас, здесь никто не живет. Все остальные комнаты пустуют. — Она с минуту постояла с отсутствующим видом, но затем собралась с мыслями. — Вы желаете питаться здесь или в столовой?

— Здесь, — сказал я.

Она кивнула и вышла.

— Итак, фрау Локамп, — обратился я к Пат, — вот мы и влипли. Но я не решился сказать правду — в этой старой чертовке есть что-то церковное. Я ей как будто тоже не очень понравился. Странно, обычно я пользуюсь успехом у старых дам.

— Это не старая дама, Робби, а очень милая старая фрейлейн.

— Милая? — Я пожал плечами. — Во всяком случае не без осанки. Ни души в доме, и вдруг

такие величественные манеры!

— Не так уж она величественна…

— С тобой нет.

Пат рассмеялась.

— Мне она понравилась. Но давай притащим чемоданы и достанем купальные принадлежности.

* * *

Я плавал целый час и теперь загорал на пляже. Пат была еще в воде. Ее белая купальная шапочка то появлялась, то исчезала в синем перекате волн. Над морем кружились и кричали чайки. На горизонте медленно плыл пароход, волоча за собой длинный султан дыма.

Сильно припекало солнце. В его лучах таяло всякое желание сопротивляться сонливой бездумной лени. Я закрыл глаза и вытянулся во весь рост. Подо мной шуршал горячий песок. В ушах отдавался шум слабого прибоя. Я начал что-то вспоминать, какой-то день, когда лежал точно так же…

Это было летом 1917 года. Наша рота находилась тогда во Фландрии, и нас неожиданно отвели на несколько дней в Остенде на отдых. Майер, Хольтхофф, Брейер, Лютгенс, я и еще кое-

кто. Большинство из нас никогда еще не были у моря, и эти немногие дни, этот почти непостижимый перерыв между смертью и смертью превратились в какое-то дикое, яростное наслаждение солнцем, песком и морем. Целыми днями мы валялись на пляже, подставляя голые тела солнцу. Быть голыми, без выкладки, без оружия, без формы, — это само по себе уже равносильно миру. Мы буйно резвились на пляже, снова и снова штурмом врывались в море, мы ощущали свои тела, свое дыхание, свои движения со всей силой, которая связывала нас с жизнью. В эти часы мы забывались, мы хотели забыть обо всем. Но вечером, в сумерках, когда серые тени набегали из-за горизонта на бледнеющее море, к рокоту прибоя медленно примешивался другой звук; он усиливался и наконец, словно глухая угроза, перекрывал морской шум. То был грохот фронтовой канонады. И тогда внезапно обрывались разговоры, наступало напряженное молчание, люди поднимали головы и вслушивались, и на радостных лицах мальчишек, наигравшихся до полного изнеможения, неожиданно и резко проступал суровый облик солдата; и еще на какое-то мгновение по лицам солдат пробегало глубокое и тягостное изумление, тоска, в которой было все,

что так и осталось невысказанным: мужество, и горечь, и жажда жизни, воля выполнить свой долг, отчаяние, надежда и загадочная скорбь тех, кто смолоду обречен на смерть. Через несколько дней началось большое наступление, и уже третьего июля в роте осталось только тридцать два человека. Майер, Хольтхофф и Лютгенс были убиты.

— Робби! — крикнула Пат.

Я открыл глаза. С минуту я соображал, где нахожусь. Всякий раз, когда меня одолевали воспоминания о войне, я куда-то уносился. При других воспоминаниях этого не бывало.

Я привстал. Пат выходила из воды. За ней убегала вдаль красновато-золотистая солнечная дорожка. С ее плеч стекал мокрый блеск, она была так сильно залита солнцем, что выделялась на фоне озаренного неба темным силуэтом. Она шла ко мне и с каждым шагом все выше врастала в слепящее сияние, пока позднее предвечернее солнце не встало нимбом вокруг ее головы.

Я вскочил на ноги, таким неправдоподобным, будто из другого мира, казалось мне это видение, — просторное синее небо, белые ряды пенистых гребней моря, и на этом фоне — красивая, стройная фигура. И мне почудилось, что

я один на всей земле, а из воды выходит первая женщина. На минуту я был покорен огромным, спокойным могуществом красоты и чувствовал, что она сильнее всякого кровавого прошлого, что она должна быть сильнее его, ибо иначе весь мир рухнет и задохнется в страшном смятении. И еще сильнее я чувствовал, что я есть, что я просто существую на земле, и есть Пат, что я живу, что я спасся от ужаса войны, что у меня глаза, и руки, и мысли, и горячее биение крови, и что все это — непостижимое чудо.

— Робби! — снова позвала Пат и помахала мне рукой.

Я поднял ее купальный халат в быстро пошел ей навстречу.

— Ты слишком долго пробыла в воде, — сказал я.

— А мне совсем тепло, — ответила она, задыхаясь.

Я поцеловал ее влажное плечо.

— На первых порах тебе надо быть более благоразумной.

Она покачала головой в посмотрела на меня лучистыми глазами.

— Я достаточно долго была благоразумной.

— Разве?

— Конечно! Более чем достаточно! Хочу наконец быть неблагоразумной! — Она засмеялась и прижалась щекой к моему лицу. — Будем неблагоразумны, Робби! Ни о чем не будем думать, совсем ни о чем, только о нас, и о солнце, и об отпуске, и о море!

— Хорошо, — сказал я и взял махровое полотенце. — Дай-ка я тебя сперва вытру досуха. Когда ты успела так загореть?

Она надела купальный халат.

— Это результат моего «благоразумного» года. Каждый день я должна была проводить целый час на балконе и принимать солнечную ванну. В восемь часов вечера я ложилась. А сегодня в восемь часов вечера пойду опять купаться.

— Это мы еще посмотрим, — сказал я. — Человек всегда велик в намерениях. Но не в их выполнении. В этом и состоит его очарование.

* * *

Вечером никто из нас не купался. Мы прошлись в деревню, а когда наступили сумерки, покатались на «ситроене». Вдруг Пат почувствовала сильную усталость и попросила меня вернуться. Уже не раз я замечал, как буйная жизнерадостность мгновенно и резко сменялась в

ней глубокой усталостью. У нее не было никакого запаса сил, хотя с виду она не казалась слабой. Она всегда расточительно расходовала свои силы и казалась неисчерпаемой в своей свежей юности. Но внезапно наставал момент, когда лицо ее бледнело, а глаза глубоко западали. Тогда все кончалось. Она утомлялась не постепенно, а сразу, в одну секунду.

— Поедем домой, Робби, — попросила она, и ее низкий голос прозвучал глуше обычного.

— Домой? К фрейлейн Мюллер с золотым крестиком на груди? Интересно, что еще могло прийти в голову старой чертовке в наше отсутствие…

— Домой, Робби, — сказала Пат и в изнеможении прислонилась к моему плечу. — Там теперь наш дом.

Я отнял одну руку от руля и обнял ее за плечи. Мы медленно ехали сквозь синие, мглистые сумерки, и, когда наконец увидели освещенные окна маленькой виллы, примостившейся, как темное животное, в пологой ложбинке, мы и впрямь почувствовали, что возвращаемся в родной дом.

Фрейлейн Мюллер ожидала нас. Она переоделась, и вместо черного шерстяного на ней было

черное шелковое платье такого же пуританского покроя, а вместо крестика к нему была приколота другая эмблема — сердце, якорь и крест, — церковный символ веры, надежды и любви.

Она была гораздо приветливее, чем перед нашим уходом, и спросила, устроит ли нас приготовленный ею ужин: яйца, холодное мясо и копченая рыба.

— Ну конечно, — сказал я.

— Вам не нравится? Совсем свежая копченая камбала. — Она робко посмотрела на меня.

— Разумеется, — сказал я холодно.

— Свежекопченая камбала — это должно быть очень вкусно, — заявила Пат и с упреком взглянула на меня. — Фрейлейн Мюллер, первый день у моря и такой ужин! Чего еще желать? Если бы еще вдобавок крепкого горячего чаю.

— Ну как же! Очень горячий чай! С удовольствием! Сейчас вам все подадут.

Фрейлейн Мюллер облегченно вздохнула и торопливо удалилась, шурша своим шелковым платьем.

— Тебе в самом деле не хочется рыбы? — спросила Пат.

— Еще как хочется! Камбала! Все эти дни только и мечтал о ней.

— А зачем же ты пыжишься? Вот уж действительно…

— Я должен был расквитаться за прием, оказанный мне сегодня.

— Боже мой! — рассмеялась Пат. — Ты ничего не прощаешь! Я уже давно забыла об этом.

— А я нет, — сказал я. — Я не забываю так легко.

— А надо бы…

Вошла служанка с подносом. У камбалы была кожица цвета золотого топаза, и она чудесно пахла морем и дымом. Нам принесли еще свежих креветок.

— Начинаю забывать, — сказал я мечтательно. — Кроме того, я замечаю, что страшно проголодался.

— И я тоже. Но дай мне поскорее горячего чаю. Странно, но меня почему-то знобит. А ведь на дворе совсем тепло.

Я посмотрел на нее. Она была бледна, но все же улыбалась.

— Теперь ты и не заикайся насчет долгих купаний, — сказал я и спросил горничную: — У вас найдется немного рому?

— Чего?

— Рому. Такой напиток в бутылках.

— Ром?

— Да.

— Нет.

Лицо у нее было круглое, как луна. Она смотрела на меня ничего не выражающим взглядом.

— Нет, — сказала она еще раз.

— Хорошо, — ответил я. — Это неважно. Спокойной ночи. Да хранит вас Бог.

Она ушла.

— Какое счастье, Пат, что у нас есть дальновидные друзья, — сказал я. — Сегодня утром перед отъездом Ленц погрузил в нашу машину довольно тяжелый пакет. Посмотрим, что в нем.

Я принес из машины пакет. В небольшом ящике лежали две бутылки рома, бутылка коньяка и бутылка портвейна. Я поднес ром к лампе и посмотрел на этикетку.

— Ром «Сент Джеймс», подумать только! На наших ребят можно положиться.

Откупорив бутылку, я налил Пат добрую толику рома в чай. При этом я заметил, что ее рука слегка дрожит.

— Тебя сильно знобит? — спросил я.

— Чуть-чуть. Теперь уже лучше. Ром хорош… Но я скоро лягу.

— Ложись сейчас же, Пат, — сказал я. — При-

двинем стол к постели и будем есть.

Она кивнула. Я принес ей еще одно одеяло с моей кровати и пододвинул столик.

— Может быть, дать тебе настоящего грогу, Пат? Это еще лучше. Могу быстро приготовить его.

Пат отказалась.

— Нет, мне уже опять хорошо.

Я взглянул на нее. Она действительно выглядела лучше. Глаза снова заблестели, губы стали пунцовыми, матовая кожа дышала свежестью.

— Быстро ты пришла в себя, просто замечательно, — сказал я. — Все это, конечно, ром.

Она улыбнулась.

— И постель тоже, Робби. Я отдыхаю лучше всего в постели. Она мое прибежище.

— Странно. А я бы сошел с ума, если бы мне пришлось лечь так рано. Я хочу сказать: лечь одному.

Она рассмеялась.

— Для женщины это другое дело.

— Не говори так. Ты не женщина.

— А кто же?

— Не знаю. Только не женщина. Если бы ты была настоящей нормальной женщиной, я не мог бы тебя любить.

Она посмотрела на меня.

— А ты вообще можешь любить?

— Ну, знаешь ли! — сказал я. — Слишком много спрашиваешь за ужином. Больше вопросов нет?

— Может быть, и есть. Но ты ответь мне на этот.

Я налил себе рому.

— За твое здоровье, Пат. Возможно, что ты и права. Может быть, никто из нас не умеет любить. То есть так, как любили прежде. Но от этого нам не хуже. У нас с тобой все по-другому, как-то проще.

Раздался стук в дверь. Вошла фрейлейн Мюллер. В руке она держала крохотную стеклянную кружечку, на дне которой болталась какая-то жидкость.

— Вот, я принесла вам ром.

— Благодарю вас, — сказал я, растроганно глядя на стеклянный наперсток. — Это очень мило с вашей стороны, но мы уже вышли из положения.

— О Господи! — Она в ужасе осмотрела четыре бутылки на столе. — Вы так много пьете?

— Только в лечебных целях, — мягко ответил я, избегая смотреть на Пат. — Прописано врачом. У меня слишком сухая печень, фрейлейн Мюллер. Но не окажете ли вы нам честь?..

Я открыл портвейн.

— За ваше благополучие! Пусть ваш дом поскорее заполнится гостями.

— Очень благодарна! — Она вздохнула, поклонилась и отпила, как птичка. — За ваш отдых! — Потом она лукаво улыбнулась мне. — До чего же крепкий. И вкусный.

Я так изумился этой перемене, что чуть не выронил стакан. Щечки фрейлейн порозовели, глаза заблестели, и она принялась болтать о различных, совершенно не интересных для нас вещах. Пат слушала ее с ангельским терпением. Наконец хозяйка обратилась ко мне:

— Значит, господину Кестеру живется неплохо?

Я кивнул.

— В то время он был так молчалив, — сказала она. — Бывало, за весь день словечка не вымолвит. Он и теперь такой?

— Нет, теперь он уже иногда разговаривает.

— Он прожил здесь почти год. Всегда один…

— Да, — сказал я. — В этом случае люди всегда говорят меньше.

Она серьезно кивнула головой и посмотрела на Пат.

— Вы, конечно, очень устали.

— Немного, — сказала Пат.

— Очень, — добавил я.

— Тогда я пойду, — испуганно сказала она. — Спокойной ночи! Спите хорошо!

Помешкав еще немного, она вышла.

— Мне кажется, она бы еще с удовольствием осталась здесь, — сказал я. — Странно… ни с того ни с сего…

— Несчастное существо, — ответила Пат. — Сидит себе, наверное, вечером в своей комнате и печалится.

— Да, конечно… Но мне думается, что я, в общем, вел себя с ней довольно мило.

— Да, Робби. — Она погладила мою руку. — Открой немного дверь.

Я подошел к двери и отворил ее. Небо прояснилось, полоса лунного света, падавшая на шоссе, протянулась в нашу комнату. Казалось, сад только того и ждал, чтобы распахнулась дверь, — с такой силой ворвался в комнату и мгновенно разлился по ней ночной аромат цветов, сладкий запах левкоя, резеды и роз.

— Ты только посмотри, — сказал я.

Луна светила все ярче, и мы видели садовую дорожку во всю ее длину. Цветы с наклоненными стеблями стояли по ее краям, листья отливали темным серебром, а бутоны, так пестро расцве-

ченные днем, теперь мерцали пастельными тонами, призрачно и нежно. Лунный свет и ночь отняли у красок всю их силу, но зато аромат был острее и слаще, чем днем.

Я посмотрел на Пат. Ее маленькая темноволосая головка лежала на белоснежной подушке. Пат казалась совсем обессиленной, но в ней была тайна хрупкости, таинство цветов, распускающихся в полумраке, в парящем свете луны.

Она слегка привстала.

— Робби, я действительно очень утомлена. Это плохо?

Я подошел к ее постели.

— Ничего страшного. Ты будешь отлично спать.

— А ты? Ты, вероятно, не ляжешь так рано?

— Пойду еще прогуляюсь по пляжу.

Она кивнула и откинулась на подушку. Я посидел еще немного с ней.

— Оставь дверь открытой на ночь, — сказала она, засыпая. — Тогда кажется, что спишь в саду…

Она стала дышать глубже. Я встал, тихо вышел в сад, остановился у деревянного забора и закурил сигарету. Отсюда я мог видеть комнату. На стуле висел ее купальный халат, сверху было

наброшено платье и белье; на полу у стула стояли туфли. Одна из них опрокинулась. Я смотрел на эти вещи, и меня охватило странное ощущение чего-то родного, и я думал, что вот теперь она есть и будет у меня и что стоит мне сделать несколько шагов, как я увижу ее и буду рядом с ней сегодня, завтра, а может быть, долго-долго…

Может быть, думал я, может быть, — вечно эти два слова, без которых уже никак нельзя было обойтись! Уверенности — вот чего мне недоставало. Именно уверенности, — ее недоставало всем.

Я спустился к пляжу, к морю и ветру, к глухому рокоту, нараставшему, как отдаленная артиллерийская канонада.

XVI

Я сидел на пляже и смотрел на заходящее солнце. Пат не пошла со мной. Весь день она себя плохо чувствовала. Когда стемнело, я встал и хотел пойти домой. Вдруг я увидел, что из-за рощи выбежала горничная. Она махала мне рукой и что-то кричала. Я ничего не понимал, — ветер и море заглушали слова. Я сделал ей знак, чтобы она остановилась. Но она продолжала бежать и подняла рупором руки к губам.

— Фрау Пат… — послышалось мне. — Скорее…

— Что случилось? — крикнул я.

Она не могла перевести дух.

— Скорее. Фрау Пат… несчастье.

Я побежал по песчаной лесной дорожке к дому. Деревянная калитка не поддавалась. Я перемахнул через нее и ворвался в комнату. Пат лежала в постели с окровавленной грудью и судорожно сжатыми пальцами. Изо рта у нее еще шла кровь. Возле стояла фрейлейн Мюллер с полотенцем и тазом с водой.

— Что случилось? — крикнул я и оттолкнул ее в сторону.

Она что-то сказала.

— Принесите бинт и вату! — попросил я. — Где рана?

Она посмотрела на меня, ее губы дрожали.

— Это не рана…

Я резко повернулся к ней.

— Кровотечение, — сказала она.

Меня точно обухом по голове ударили.

— Кровотечение?

Я взял у нее из рук таз.

— Принесите лед, достаньте поскорее немного льда.

Я смочил кончик полотенца и положил его Пат на грудь.

— У нас в доме нет льда, — сказала фрейлейн Мюллер.

Я повернулся. Она отошла на шаг.

— Ради Бога, достаньте лед, пошлите в ближайший трактир и немедленно позвоните врачу.

— Но ведь у нас нет телефона…

— Проклятье! Где ближайший телефон?

— У Массмана.

— Бегите туда. Быстро. Сейчас же позвоните ближайшему врачу. Как его зовут? Где он живет?

Не успела она назвать фамилию, как я вытолкнул ее за дверь.

— Скорее, скорее бегите! Это далеко?

— В трех минутах отсюда, — ответила фрейлейн Мюллер и торопливо засеменила.

— Принесите с собой лед! — крикнул я ей вдогонку.

Я принес свежей воды, снова смочил полотенце, но не решался прикоснуться к Пат. Я не знал, правильно ли она лежит, и был в отчаянии оттого, что не знал главного, не знал единственного, что должен был знать: подложить ли ей подушку под голову или оставить ее лежать плашмя.

Ее дыхание стало хриплым, потом она резко привстала, и кровь хлынула струей. Она дышала часто, в глазах было нечеловеческое страдание, она задыхалась и кашляла, истекая кровью; я поддерживал ее за плечи, то прижимая к себе, то отпуская, и ощущал содрогания всего ее измученного тела. Казалось, конца этому не будет. Потом, совершенно обессиленная, она откинулась на подушку.

Вошла фрейлейн Мюллер. Она посмотрела на меня, как на привидение.

— Что же нам делать? — спросил я.

— Врач сейчас будет, — прошептала она. — Лед… на грудь, и, если сможет… пусть пососет кусочек…

— Как ее положить?.. Низко или высоко?.. Да

говорите же, черт возьми!

— Пусть лежит так… Он сейчас придет.

Я стал класть ей на грудь лед, почувствовав облегчение от возможности что-то делать; я дробил лед для компрессов, менял их и непрерывно смотрел на прелестные, любимые, искривленные губы, эти единственные, эти окровавленные губы…

Зашуршали шины велосипеда. Я вскочил. Врач.

— Могу ли я помочь вам? — спросил я. Он отрицательно покачал головой и открыл свою сумку. Я стоял рядом с ним, судорожно вцепившись в спинку кровати. Он посмотрел на меня. Я отошел немного назад, не спуская с него глаз. Он рассматривал ребра Пат. Она застонала.

— Разве это так опасно? — спросил я.

— Кто лечил вашу жену?

— Как то есть лечил?.. — пробормотал я.

— Какой врач? — нетерпеливо переспросил он.

— Не знаю… — ответил я. — Нет, я не знаю… я не думаю…

Он посмотрел на меня.

— Но ведь вы должны знать…

— Но я не знаю. Она мне никогда об этом не говорила.

Он склонился к Пат и спросил ее о чем-то. Она хотела ответить. Но опять начался кровавый кашель. Врач приподнял ее. Она хватала губами воздух и дышала с присвистом.

Жаффе́,— произнесла она наконец, с трудом вытолкнув это слово из горла.

— Феликс Жаффе? Профессор Феликс Жаффе? — спросил врач. Чуть сомкнув веки, она подтвердила это. Доктор повернулся ко мне; — Вы можете ему позвонить? Лучше спросить у него.

— Да, да, — ответил я, — я это сделаю сейчас же. А потом приду за вами! Жаффе?

— Феликс Жаффе, — сказал врач, — Узнайте номер телефона.

— Она выживет? — спросил я.

— Кровотечение должно прекратиться, — сказал врач.

Я позвал горничную, и мы побежали по дороге. Она показала мне дом, где был телефон. Я позвонил у парадного. В доме сидело небольшое общество за кофе и пивом. Я обвел всех невидящим взглядом, не понимая, как могут люди пить пиво, когда Пат истекает кровью. Заказав срочный разговор, я ждал у аппарата. Вслушиваясь в гудящий мрак, я видел сквозь портьеры часть смежной комнаты, где сидели люди. Все казалось

мне туманным и вместе с тем предельно четким. Я видел покачивающуюся лысину, в которой отражался желтый свет лампы, видел брошь на черной тафте платья со шнуровкой, и двойной подбородок, и пенсне, и высокую вздыбленную прическу; костлявую старую руку с вздувшимися венами, барабанившую по столу… Я не хотел ничего видеть, но был словно обезоружен — все само проникало в глаза, как слепящий свет.

Наконец мне ответили. Я попросил профессора.

— К сожалению, профессор Жаффе уже ушел, — сообщила мне сестра.

Мое сердце замерло и тут же бешено заколотилось.

— Где же он? Мне нужно переговорить с ним немедленно.

— Не знаю. Может быть, он вернулся в клинику.

— Пожалуйста, позвоните в клинику. Я подожду. У вас, наверно, есть второй аппарат.

— Минутку. — Опять гудение, бездонный мрак, над которым повис тонкий металлический провод. Я вздрогнул. Рядом со мной в клетке, закрытой занавеской, щебетала канарейка. Снова послышался голос сестры — Профессор Жаффе

уже ушел из клиники.

— Куда?

— Я этого точно не знаю, сударь.

Это был конец. Я прислонился к стене.

— Алло! — сказала сестра. — Вы не повесили трубку?

— Нет еще. Послушайте, сестра, вы не знаете, когда он вернется?

— Это очень неопределенно.

— Разве он ничего не сказал? Ведь он обязан. А если что-нибудь случится, где же его тогда искать?

— В клинике есть дежурный врач.

— А вы могли бы спросить его?

— Нет, это не имеет смысла, он ведь тоже ничего не знает.

— Хорошо, сестра, — сказал я, чувствуя смертельную усталость, — если профессор Жаффе придет, попросите его немедленно позвонить сюда. — Я сообщил ей номер. — Но немедленно! Прошу вас, сестра.

— Можете положиться на меня, сударь. — Она повторила номер и повесила трубку.

Я остался на месте. Качающиеся головы, лысина, брошь, соседняя комната — все куда-то ушло, откатилось, как блестящий резиновый мяч. Я

осмотрелся. Здесь я больше ничего не мог сделать. Надо было только попросить хозяев позвать меня, если будет звонок. Но я не решался отойти от телефона, он был для меня как спасательный круг. И вдруг я сообразил, как поступить. Я снял трубку и назвал номер Кестера. Его-то я уж застану на месте. Иначе быть не может.

И вот из хаоса ночи выплыл спокойный голос Кестера. Я сразу же успокоился и рассказал ему все. Я чувствовал, что он слушает и записывает.

— Хорошо, — сказал он, — сейчас же еду искать его. Позвоню. Не беспокойся. Найду.

Вот все и кончилось. Весь мир успокоился. Кошмар прошел. Я побежал обратно.

— Ну как? — спросил врач, — Дозвонились?

— Нет, — сказал я, — но я разговаривал с Кестером.

— Кестер? Не слыхал. Что он сказал? Как он ее лечил?

— Лечил? Не лечил он ее. Кестер ищет его.

— Кого?

— Жаффе.

— Господи Боже мой! Кто же этот Кестер?

— Ах да… простите, пожалуйста. Кестер — мой друг. Он ищет профессора Жаффе. Мне не удалось созвониться с ним.

— Жаль, — сказал врач и снова наклонился к Пат.

— Он разыщет его, — сказал я. — Если профессор не умер, он его разыщет.

Врач посмотрел на меня, как на сумасшедшего, и пожал плечами.

В комнате горела тусклая лампочка. Я спросил, могу ли я чем-нибудь помочь. Врач не нуждался в моей помощи. Я уставился в окно. Пат прерывисто дышала. Закрыв окно, я подошел к двери и стал смотреть на дорогу.

Вдруг кто-то крикнул:

— Телефон!

Я повернулся.

— Телефон? Мне пойти?

Врач вскочил на ноги.

— Нет, я пойду. Я расспрошу его лучше. Останьтесь здесь. Ничего не делайте. Я сейчас же вернусь.

Я присел к кровати Пат.

— Пат, — сказал я тихо. — Мы все на своих местах. Все следим за тобой. Ничего с тобой не случится. Ничто не должно с тобой случиться. Профессор уже дает указания по телефону. Он скажет нам все. Завтра он наверняка приедет. Он поможет тебе. Ты выздоровеешь. Почему ты

никогда не говорила мне, что еще больна? Потеря крови невелика, это не страшно, Пат, мы восстановим твою кровь. Кестер нашел профессора. Теперь все хорошо, Пат.

Врач пришел обратно.

— Это был не профессор…

Я встал.

— Звонил ваш друг Ленц.

— Кестер не нашел его?

— Нашел. Профессор сказал ему, что надо делать. Ваш друг Ленц передал мне эти указания по телефону. Все очень толково и правильно. Ваш приятель Ленц — врач?

— Нет. Хотел быть врачом… Но где же Кестер? — спросил я.

Врач посмотрел на меня.

— Ленц сказал, что Кестер выехал несколько минут тому назад. С профессором.

Я прислонился к стене.

— Отто! — проговорил я.

— Да, — продолжал врач, — и, по мнению вашего друга Ленца, они будут здесь через два часа — это единственное, что он сказал неправильно. Я знаю дорогу. При самой быстрой езде им потребуется свыше трех часов, не меньше.

— Доктор, — ответил я. — Можете не сомне-

ваться. Если он сказал — два часа, значит ровно через два часа они будут здесь.

— Невозможно. Очень много поворотов, а сейчас ночь.

— Увидите… — сказал я.

— Так или иначе… конечно, лучше, чтобы он приехал.

Я не мог больше оставаться в доме и вышел. Стало туманно. Вдали шумело море. С деревьев падали капли. Я осмотрелся. Я уже не был один. Теперь где-то там на юге, за горизонтом, ревел мотор. За туманом по бледно-серым дорогам летела помощь, фары разбрызгивали яркий свет, свистели покрышки, и две руки сжимали рулевое колесо, два глаза холодным, уверенным взглядом сверлили темноту: глаза моего друга…

* * *

Потом Жаффе рассказал мне, как все произошло.

Сразу после разговора со мной Кестер позвонил Ленцу и попросил его быть наготове. Затем он вывел «Карла» из гаража и помчался с Ленцем в клинику Жаффе. Дежурная сестра сказала, что профессор, возможно, поехал ужинать, и назвала Кестеру несколько ресторанов, где он мог быть.

Кестер отправился на поиски. Он ехал на красный свет, не обращая внимания на полицейских. Он посылал «Карла» вперед, как норовистого коня, протискиваясь сквозь поток машин. Профессор оказался в четвертом по счету ресторане Оставив ужин, он вышел с Кестером. Они поехали на квартиру Жаффе, чтобы взять все необходимое. Это был единственный участок пути, на котором Кестер ехал хотя и быстро, но все же не в темпе автомобильной гонки. Он не хотел пугать профессора преждевременно. По дороге Жаффе спросил, где находится Пат. Кестер назвал какой-то пункт в сорока километрах от города. Только бы не выпустить профессора из машины. Остальное должно было получиться само собой. Собирая свой чемоданчик, Жаффе объяснил Ленцу, что надо сказать по телефону. Затем он сел с Кестером в машину.

— Это опасно? — спросил Кестер.

— Да, — сказал Жаффе.

В ту же секунду «Карл» превратился в белое привидение. Он рванулся с места и понесся. Он обгонял всех, наезжал колесами на тротуары, мчался в запрещенном направлении по улицам с односторонним движением. Машина рвалась из города, пробивая себе кратчайший путь.

— Вы сошли с ума! — воскликнул профессор (Кестер пулей метнулся наперерез огромному автобусу, едва не задев высокий передний бампер, затем сбавил на мгновение газ в снова дал двигателю полные обороты).

— Не гоните так машину, — кричал врач, — ведь все будет впустую, если мы попадем в аварию!

— Мы не попадем в аварию.

— Если не кончится эта бешеная гонка — катастрофа неминуема!

Кестер рванул машину и, вопреки правилам, обогнал слева трамвай.

— Мы не попадем в аварию.

Впереди была прямая длинная улица. Он посмотрел на врача.

— Я знаю, что должен доставить вас целым и невредимым. Положитесь на меня!

— Какая польза в этой сумасшедшей гонке? Выиграете несколько минут.

— Нет, — сказал Кестер, уклоняясь от столкновения с машиной, груженной камнем, — нам еще предстоит покрыть двести сорок километров.

— Что?

— Да… — «Карл» прошмыгнул между почтовой машиной и автобусом, — Я не хотел говорить вам

этого раньше.

— Это все равно! — недовольно заметил Жаффе. — Я помогаю людям независимо от километража. Поезжайте на вокзал. Поездом мы доберемся скорее.

— Нет. — Кестер мчался уже по предместью. Ветер срывал слова с его губ. — Я справлялся… Поезд уходит слишком поздно…

Он снова посмотрел на Жаффе, и доктор, очевидно, увидел в его лице что-то новое.

— Помоги вам Бог! — пробормотал он. — Ваша приятельница?

Кестер отрицательно покачал головой. Больше он не отвечал.

Огороды с беседками остались позади. Кестер выехал на шоссе. Теперь мотор работал на полную мощность. Врач съежился за узким ветровым стеклом. Кестер сунул ему свой кожаный шлем. Непрерывно работал сигнал. Леса отбрасывали назад его рев. Только в деревнях, когда это было абсолютно необходимо, Кестер сбавлял скорость. На машине не было глушителя. Громовым эхом отдавался гул мотора в смыкавшихся за ними стенах домов, которые хлопали, как полотнища на ветру; «Карл» проносился между ними, обдавая их на мгновение ярким мертвенным светом

фар, и продолжал вгрызаться в ночь, сверля ее лучами.

Покрышки скрипели, шипели, завывали, свистели, — мотор отдавал теперь всю свою мощь. Кестер пригнулся к рулю, его тело превратилось в огромное ухо, в фильтр, просеивающий гром и свист мотора и шасси, чутко улавливающий малейший звук, любой подозрительный скрип и скрежет, в которых могли таиться авария и смерть.

Глинистое полотно дороги стало влажным. Машина начала юлить и шататься в стороны. Кестеру пришлось сбавить скорость. Зато он с еще большим напором брал повороты. Он уже не подчинялся разуму, им управлял только инстинкт. Фары высвечивали повороты наполовину. Когда машина брала поворот, он не просматривался. Прожектор-искатель почти не помогал, — он давал слишком узкий сноп света. Врач молчал. Внезапно воздух перед фарами взвихрился и окрасился в бледно-серебристый цвет. Замелькали прозрачные клочья, похожие на облака. Это был единственный раз, когда, по словам Жаффе, Кестер выругался. Через минуту они неслись в густом тумане.

Кестер переключил фары на ближний свет. Ма-

шина плыла в вате, проносились тени, деревья, смутные призраки в молочном море, не было больше шоссе, остались случайность и приблизительность, тени, разраставшиеся и исчезавшие в реве мотора.

Когда через десять минут они вынырнули из тумана, лицо Кестера было землистым. Он взглянул на Жаффе и что-то пробормотал. Потом дал полный газ и продолжал путь, прижавшись к рулю, холодный и снова овладевший собой…

* * *

Липкая теплынь разлилась по комнате, как свинец.

— Еще не прекратилось? — спросил я.

— Нет, — сказал врач.

Пат посмотрела на меня. Вместо улыбки у меня получилась гримаса.

— Еще полчаса, — сказал я.

Врач поднял глаза.

— Еще полтора часа, если не все два. Идет дождь.

С тихим напевным шумом падали капли на листья и кусты в саду. Невидящими глазами я вглядывался в тьму. Давно ли мы вставали по ночам, забирались в резеду и левкои и Пат распе-

вала смешные детские песенки? Давно ли садовая дорожка сверкала белизной в лунном свете и Пат бегала среди кустов, как гибкое животное?..

В сотый раз я вышел на крыльцо. Я знал, что это бесцельно, но все-таки ожидание как-то сокращалось. В воздухе висел туман. Я проклинал его; я понимал, каково было Кестеру. Сквозь теплую пелену донесся крик птицы.

— Заткнись! — проворчал я. Мне пришли на память рассказы о вещих птицах. — Ерунда! — громко сказал я.

Меня знобило. Где-то гудел жук, но он не приближался… он не приближался. Он гудел ровно и тихо; потом гудение исчезло; вот оно послышалось снова… вот опять… Я вдруг задрожал… это был не жук, а машина; где-то далеко она брала повороты на огромной скорости. Я словно окостенел и затаил дыхание, чтобы лучше слышать: снова… снова тихий, высокий звук, словно жужжание разгневанной осы. А теперь громче… я отчетливо различал высокий тон компрессора! И тогда натянутый до предела горизонт рухнул и провалился в мягкую бесконечность, погребая под собой ночь, боязнь, ужас, — я подскочил к двери и, держась за косяк, сказал:

— Они едут! Доктор, Пат, они едут. Я их уже

слышу!

В течение всего вечера врач считал меня сумасшедшим.

Он встал и тоже прислушался.

— Это, вероятно, другая машина, — сказал он наконец.

— Нет, я узнаю мотор.

Он раздраженно посмотрел на меня. Видно, он считал себя специалистом по автомобилям. С Пат он обращался терпеливо и бережно, как мать; но стоило мне заговорить об автомобилях, как он начинал метать сквозь очки гневные искры и ни в чем не соглашался со мной.

— Невозможно, — коротко отрезал он и вернулся в комнату.

Я остался на месте, дрожа от волнения.

— «Карл», «Карл»! — повторял я. Теперь чередовались приглушенные удары и взрывы. Машина, очевидно, уже была в деревне и мчалась с бешеной скоростью вдоль домов. Вот рев мотора стал тише; он слышался за лесом, а теперь он снова нарастал, неистовый и ликующий. Яркая полоса прорезала туман… Фары… Гром… Ошеломленный врач стоял около меня. Слепящий свет стремительно надвигался на нас. Заскрежетали тормоза, и машина остановилась у калитки. Я побежал к

ней. Профессор сошел с подножки. Он не обратил на меня внимания и направился прямо к врачу. За ним шел Кестер.

— Как Пат? — спросил он.

— Кровь еще идет.

— Так бывает, — сказал он. — Пока не надо беспокоиться.

Я молчал и смотрел на него.

— У тебя есть сигарета? — спросил он.

Я дал ему закурить.

— Хорошо, что ты приехал, Отто.

Он глубоко затянулся.

— Решил, так будет лучше.

— Ты очень быстро ехал.

— Да, довольно быстро. Туман немного помешал.

Мы сидели рядом и ждали.

— Думаешь, она выживет? — спросил я.

— Конечно. Такое кровотечение не опасно.

— Она никогда ничего не говорила мне об этом.

Кестер кивнул.

— Она должна выжить, Отто! — сказал я.

Он не смотрел на меня.

— Дай мне еще сигарету, — сказал он. — Забыл свои дома.

— Она должна выжить, — сказал я, — иначе все полетит к чертям.

Вышел профессор. Я встал.

— Будь я проклят, если когда-нибудь еще поеду с вами, — сказал он Кестеру.

— Простите меня, — сказал Кестер, — это жена моего друга.

— Вот как! — сказал Жаффе.

— Она выживет? — спросил я.

Он внимательно посмотрел на меня. Я отвел глаза в сторону.

— Думаете, я бы стоял тут с вами так долго, если бы она была безнадежна? — сказал он.

Я стиснул зубы и сжал кулаки. Я плакал.

— Извините, пожалуйста, — сказал я, — но все это произошло слишком быстро.

— Такие вещи только так и происходят, — сказал Жаффе и улыбнулся.

— Не сердись на меня, Отто, что я захныкал, — сказал я.

Он повернул меня за плечи и подтолкнул в сторону двери.

— Войди в комнату. Если профессор позволит.

— Я больше не плачу, — сказал я. — Можно мне войти туда?

— Да, но не разговаривайте, — ответил Жаф-

фе, — и только на минутку. Ей нельзя волноваться.

От слез я не видел ничего, кроме зыбкого светового пятна, мои веки дрожали, но я не решался вытереть глаза. Увидев этот жест, Пат подумала бы, что дело обстоит совсем плохо. Не переступая порога, я попробовал улыбнуться. Затем быстро повернулся к Жаффе и Кестеру.

— Хорошо, что вы приехали сюда? — спросил Кестер.

— Да, — сказал Жаффе, — так лучше.

— Завтра утром могу вас увезти обратно.

— Лучше не надо, — сказал Жаффе.

— Я поеду осторожно.

— Нет, останусь еще на денек, понаблюдаю за ней. Ваша постель свободна? — обратился Жаффе ко мне.

Я кивнул.

— Хорошо, тогда я сплю здесь. Вы сможете устроиться в деревне?

— Да. Приготовить вам зубную щетку и пижаму?

— Не надо. Имею все при себе. Всегда готов к таким делам, хотя и не к подобным гонкам.

— Извините меня, — сказал Кестер, — охотно верю, что вы злитесь на меня.

— Нет, не злюсь, — сказал Жаффе.

— Тогда мне жаль, что я сразу не сказал вам правду.

Жаффе рассмеялся.

— Вы плохо думаете о врачах. А теперь можете идти и не беспокоиться. Я остаюсь здесь.

Я быстро собрал постельные принадлежности. Мы с Кестером отправились в деревню.

— Ты устал? — спросил я.

— Нет, — сказал он, — давай посидим еще где-нибудь.

Через час я опять забеспокоился.

— Если он остается, значит это опасно, Отто, — сказал я. — Иначе он бы этого не сделал…

— Думаю, он остался из предосторожности, — ответил Кестер. — Он очень любит Пат. Когда мы ехали сюда, он говорил мне об этом. Он лечил еще ее мать…

— Разве и она болела этим?..

— Не знаю, — поспешно ответил Кестер, — может быть, чем-то другим. Пойдем спать?

— Пойди, Отто. Я еще взгляну на нее разок… так… издалека.

— Ладно. Пойдем вместе.

— Знаешь, Отто, в такую теплую погоду я очень люблю спать на воздухе. Ты не беспокойся. В

последнее время я это делал часто.

— Ведь сыро.

— Неважно. Я подниму верх и посижу немного в машине.

— Хорошо. И я с удовольствием посплю на воздухе. Я понял, что мне от него не избавиться. Мы взяли несколько одеял и подушек и пошли обратно к «Карлу». Отстегнув привязные ремни, мы откинули спинки передних сидений. Так можно было довольно прилично устроиться.

— Лучше, чем иной раз на фронте, — сказал Кестер. Яркое пятно окна светило сквозь мглистый воздух.

Несколько раз за стеклом мелькнул силуэт Жаффе. Мы выкурили целую пачку сигарет. Потом увидели, что большой свет в комнате выключили и зажгли маленькую ночную лампочку.

— Слава Богу, — сказал я.

На брезентовый верх падали капли. Дул слабый ветерок. Стало свежо.

— Возьми у меня еще одно одеяло, — сказал я.

— Нет, не надо, мне тепло.

— Замечательный парень этот Жаффе, правда?

— Замечательный и, кажется, очень дельный.

— Безусловно.

* * *

Я очнулся от беспокойного полусна. Брезжил серый холодный рассвет. Кестер уже проснулся.

— Ты не спал, Отто?

— Спал.

Я выбрался из машины и прошел по дорожке к окну. Маленький ночник все еще горел. Пат лежала в постели с закрытыми глазами. Кровотечение прекратилось, но она была очень бледна. На мгновение я испугался: мне показалось, что она умерла. Но потом я заметил слабое движение ее правой руки. В ту же минуту Жаффе, лежавший на второй кровати, открыл глаза. Успокоенный, я быстро отошел от окна, — он следил за Пат.

— Нам лучше исчезнуть, — сказал я Кестеру, — а то он подумает, что мы его проверяем.

— Там все в порядке? — спросил Отто.

— Да, насколько я могу судить. У профессора сон правильный: такой человек может дрыхнуть при ураганном огне, но стоит мышонку зашуршать у его вещевого мешка — и он сразу просыпается.

— Можно пойти выкупаться, — сказал Кестер. — Какой тут чудесный воздух! — Он потянулся.

— Пойди.

— Пойдем со мной.

Серое небо прояснялось. В разрывы облаков хлынули оранжево-красные полосы. Облачная завеса у горизонта приподнялась, и за ней показалась светлая бирюза воды.

Мы прыгнули в воду и поплыли. Вода светилась серыми и красными переливами.

Потом мы пошли обратно. Фрейлейн Мюллер уже была на ногах. Она срезала на огороде петрушку. Услышав мой голос, она вздрогнула. Я смущенно извинился за вчерашнюю грубость. Она разрыдалась:

— Бедная дама. Она так хороша и еще так молода.

— Пат доживет до ста лет, — сказал я, досадуя на то, что хозяйка плачет, словно Пат умирает. Нет, она не может умереть. Прохладное утро, ветер, и столько светлой, вспененной морем жизни во мне, — нет, Пат не может умереть… Разве только если я потеряю мужество. Рядом был Кестер, мой товарищ; был я — верный товарищ Пат. Сначала должны умереть мы. А пока мы живы, мы ее вытянем. Так было всегда. Пока жив Кестер, я не умру. А пока живы мы оба, не умрет Пат.

— Надо покоряться судьбе, — сказала старая фрейлейн, обратив ко мне свое коричневое лицо,

сморщенное, как печеное яблоко. В ее словах звучал упрек. Вероятно, ей вспомнились мои проклятья.

— Покоряться? — спросил я. — Зачем же покоряться? Пользы от этого нет. В жизни мы платим за все двойной и тройной ценой. Зачем же еще покорность?

— Нет, нет… так лучше.

«Покорность, — подумал я. — Что она изменяет? Бороться, бороться — вот единственное, что оставалось в этой свалке, в которой в конечном счете так или иначе будешь побежден. Бороться за то немногое, что тебе дорого. А покориться можно и в семьдесят лет».

Кестер сказал ей несколько слов. Она улыбнулась и спросила, чего бы ему хотелось на обед.

— Вот видишь, — сказал Отто, — что значит возраст: то слезы, то смех, — как все это быстро сменяется. Без заминок. Вероятно, и с нами так будет, — задумчиво произнес он.

Мы бродили вокруг дома.

— Я радуюсь каждой лишней минуте ее сна, — сказал я.

Мы снова пошли в сад. Фрейлейн Мюллер приготовила нам завтрак. Мы выпили горячего черного кофе. Взошло солнце. Сразу стало тепло.

Листья на деревьях искрились от света и влаги. С моря доносились крики чаек. Фрейлейн Мюллер поставила на стол букет роз.

— Мы дадим их ей потом, — сказала она.

Аромат роз напоминал детство, садовую ограду…

— Знаешь, Отто, — сказал я, — у меня такое чувство, будто я сам болел. Все-таки мы уже не те, что прежде. Надо было вести себя спокойнее, разумнее. Чем спокойнее держишься, тем лучше можешь помогать другим.

— Это не всегда получается, Робби. Бывало такое и со мной. Чем дольше живешь, тем больше портятся нервы. Как у банкира, который терпит все новые убытки.

В эту минуту открылась дверь. Вышел Жаффе в пижаме.

— Все хорошо! — сказал он, увидев, что я чуть не опрокинул стол. — Хорошо, насколько это возможно.

— Можно мне войти?

— Нет еще. Теперь там горничная. Уборка и все такое.

Я налил ему кофе. Он прищурился на солнце и обратился к Кестеру:

— Собственно, это я должен благодарить вас.

По крайней мере выбрался на денек к морю.

— Вы могли бы это делать чаще, — сказал Кестер. — Выезжать с вечера и возвращаться к следующему вечеру.

— Мог бы, мог бы… — ответил Жаффе. — Вы не успели заметить, что мы живем в эпоху полного саморастерзания? Многое, что можно было бы сделать, мы не делаем, сами не зная почему. Работа стала делом чудовищной важности: так много людей в наши дни лишены ее, что мысли о ней заслоняют все остальное. Как здесь хорошо! Я не видел этого уже несколько лет. У меня две машины, квартира в десять комнат и достаточно денег. А толку что? Разве все это сравнится с таким летним утром! Работа — мрачная одержимость. Мы предаемся труду с вечной иллюзией, будто со временем все станет иным. Никогда ничто не изменится. И что только люди делают из своей жизни, — просто смешно!

— По-моему, врач — один из тех немногих людей, которые знают, зачем они живут, — сказал я. — Что же тогда говорить какому-нибудь бухгалтеру?

— Дорогой друг, — возразил мне Жаффе, — ошибочно предполагать, будто все люди обладают одинаковой способностью чувствовать.

— Верно, — сказал Кестер, — но ведь люди обрели свои профессии независимо от способности чувствовать.

— Правильно, — ответил Жаффе. — Это сложный вопрос. — Он кивнул мне. — Теперь можно. Только тихонько, не трогайте ее, не заставляйте разговаривать...

* * *

Она лежала на подушках, обессиленная, словно ее ударом сбили с ног. Ее лицо изменилось: глубокие синие тени залегли под глазами, губы побелели. Но глаза были по-прежнему большие и блестящие. Слишком большие и слишком блестящие.

Я взял ее руку, прохладную и бледную.

— Пат, дружище, — растерянно сказал я и хотел подсесть к ней. Но тут я заметил у окна горничную. Она с любопытством смотрела на меня. — Выйдите отсюда, — с досадой сказал я.

— Я еще должна затянуть гардины, — ответила она.

— Ладно, кончайте и уходите.

Она затянула окно желтыми гардинами, но не вышла, а принялась медленно скреплять их булавками.

— Послушайте, — сказал я, — здесь вам не театр. Немедленно исчезните!

Она неуклюже повернулась.

— То прикалывай их, то не надо.

— Ты просила ее об этом? — спросил я Пат.

Она кивнула.

— Больно смотреть на свет?

Она покачала головой.

— Сегодня не стоит смотреть на меня при ярком свете…

— Пат, — сказал я испуганно, — тебе пока нельзя разговаривать! Но если дело в этом…

Я открыл дверь, и горничная наконец вышла. Я вернулся к постели. Моя растерянность прошла. Я даже был благодарен горничной. Она помогла мне преодолеть первую минуту. Было все-таки ужасно видеть Пат в таком состоянии.

Я сел на стул.

— Пат, — сказал я, — скоро ты снова будешь здорова…

Ее губы дрогнули.

— Уже завтра…

— Завтра нет, но через несколько дней. Тогда ты сможешь встать, и мы поедем домой. Не следовало ехать сюда, здешний климат слишком суров для тебя.

— Ничего, — прошептала она. — Ведь я не больна. Просто несчастный случай…

Я посмотрел на нее. Неужели она и вправду не знала, что больна? Или не хотела знать? Ее глаза беспокойно бегали.

— Ты не должен бояться… — сказала она шепотом.

Я не сразу понял, что она имеет в виду и почему так важно, чтобы именно я не боялся. Я видел только, что она взволнована. В ее глазах были мука и какая-то странная настойчивость. Вдруг меня осенило. Я понял, о чем она думала. Ей казалось, что я боюсь заразиться.

— Боже мой, Пат, — сказал я, — уж не поэтому ли ты никогда не говорила мне ничего?

Она не ответила, но я видел, что это так.

— Черт возьми, — сказал я, — кем же ты меня, собственно, считаешь?

Я наклонился над ней.

— Полежи-ка минутку совсем спокойно… не шевелись… — Я поцеловал ее в губы. Они были сухи и горячи. Выпрямившись, я увидел, что она плачет. Она плакала беззвучно. Лицо ее было неподвижно, из широко раскрытых глаз непрерывно лились слезы.

— Ради Бога, Пат…

— Я так счастлива, — сказала она.

Я стоял и смотрел на нее. Она сказала только три слова. Но никогда еще я не слыхал, чтобы их так произносили. Я знал женщин, но встречи с ними всегда были мимолетными, — какие-то приключения, иногда яркие часы, одинокий вечер, бегство от самого себя, от отчаяния, от пустоты. Да я и не искал ничего другого; ведь я знал, что нельзя полагаться ни на что, только на самого себя и в лучшем случае на товарища. И вдруг я увидел, что значу что-то для другого человека и что он счастлив только оттого, что я рядом с ним. Такие слова сами по себе звучат очень просто, но когда вдумаешься в них, начинаешь понимать, как все это бесконечно важно. Это может поднять бурю в душе человека и совершенно преобразить его. Это любовь и все-таки нечто другое. Что-то такое, ради чего стоит жить. Мужчина не может жить для любви. Но жить для другого человека может.

Мне хотелось сказать ей что-нибудь, но я не мог. Трудно найти слова, когда действительно есть что сказать. И даже если нужные слова приходят, то стыдишься их произвести. Все эти слова принадлежат прошлым столетиям. Наше время не нашло еще слов для выражения своих чувств.

Оно умеет быть только развязным, все остальное — искусственно.

— Пат, — сказал я, — дружище мой отважный…

В эту минуту вошел Жаффе. Он сразу оценил ситуацию.

— Добился своего! Великолепно! — заворчал он. — Этого я и ожидал.

Я хотел ему что-то ответить, но он решительно выставил меня.

XVII

Прошло две недели. Пат поправилась настолько, что мы могли пуститься в обратный путь. Мы упаковали чемоданы и ждали прибытия Ленца. Ему предстояло перегнать машину. Пат и я собирались поехать поездом.

Был теплый пасмурный день. В небе недвижно повисли ватные облака, горячий воздух дрожал над дюнами, свинцовое море распласталось в светлой мерцающей дымке.

Готтфрид явился после обеда. Еще издалека я увидел его соломенную шевелюру, выделявшуюся над изгородями. И только когда он свернул к вилле фрейлейн Мюллер, я заметил, что он был не один, — рядом с ним двигалось какое-то подобие автогонщика в миниатюре: огромная клетчатая кепка, надетая козырьком назад, крупные защитные очки, белый комбинезон и громадные уши, красные и сверкающие, как рубины.

— Бог мой, да ведь это Юпп! — удивился я.

— Собственной персоной, господин Локамп, — ответил Юпп.

— Как ты вырядился! Что это с тобой случилось?

— Сам видишь, — весело сказал Ленц, пожимая мне руку. — Он намерен стать гонщиком. Уже восемь дней я обучаю его вождению. Вот он и увязался за мной. Подходящий случай для первой междугородной поездки.

— Справлюсь как следует, господин Локамп! — с горячностью заверил меня Юпп.

— Еще как справится! — усмехнулся Готтфрид. — Я никогда еще не видел такой мании преследования! В первый же день он попытался обогнать на нашем добром старом такси «мерседес» с компрессором. Настоящий маленький сатана.

Юпп вспотел от счастья и с обожанием взирал на Ленца.

— Думаю, что сумел бы обставить этого задаваку, господин Ленц! Я хотел прижать его на повороте. Как господин Кестер.

Я расхохотался.

— Неплохо ты начинаешь, Юпп.

Готтфрид смотрел на своего питомца с отеческой гордостью.

— Сначала возьми-ка чемоданы и доставь их на вокзал.

— Один? — Юпп чуть не взорвался от волнения. — Господин Ленц, вы разрешаете мне

поехать одному на вокзал?

Готтфрид кивнул, и Юпп опрометью побежал к дому.

* * *

Мы сдали багаж. Затем мы вернулись за Пат и снова поехали на вокзал. До отправления оставалось четверть часа. На пустой платформе стояло несколько бидонов с молоком.

— Вы поезжайте, — сказал я, — а то доберетесь очень поздно.

Юпп, сидевший за рулем, обиженно посмотрел на меня.

— Такие замечания тебе не нравятся, не так ли? — спросил его Ленц.

Юпп выпрямился.

— Господин Локамп, — сказал он с упреком, — я произвел тщательный расчет маршрута. Мы преспокойно доедем до мастерской к восьми часам.

— Совершенно верно! — Ленц похлопал его по плечу. — Заключи с ним пари, Юпп. На бутылку сельтерской воды.

— Только не сельтерской воды, — возразил Юпп. — Я не задумываясь готов рискнуть пачкой сигарет.

Он вызывающе посмотрел на меня.

— А ты знаешь, что дорога довольно неважная? — спросил я.

— Все учтено, господин Локамп!

— А о поворотах ты тоже подумал?

— Повороты для меня ничто. У меня нет нервов.

— Ладно, Юпп, — сказал я серьезно. — Тогда заключим пари. Но господин Ленц не должен садиться за руль на протяжении всего пути.

Юпп прижал руку к сердцу.

— Даю честное слово!

— Ладно, ладно. Но скажи, что это ты так судорожно сжимаешь в руке?

— Секундомер. Буду в дороге засекать время. Хочу посмотреть, на что способен ваш драндулет.

Ленц улыбнулся.

— Да, да, ребятки. Юпп оснащен первоклассно. Думаю, наш старый бравый «ситроен» дрожит перед ним от страха, все поршни в нем трясутся.

Юпп пропустил иронию мимо ушей. Он взволнованно теребил кепку.

— Что же, двинемся, господин Ленц? Пари есть пари!

— Ну конечно, мой маленький компрессор! До свидания, Пат! Пока, Робби! — Готтфрид сел в машину. — Вот как, Юпп! А теперь покажи-ка

этой даме, как стартует кавалер и будущий чемпион мира!

Юпп надвинул очки на глаза, подмигнул нам и, как заправский гонщик, включив первую скорость, лихо взял с места и поехал по булыжнику.

* * *

Мы посидели еще немного на скамье перед вокзалом. Жаркое белое солнце пригревало деревянную ограду платформы. Пахло смолой и солью. Пат запрокинула голову и закрыла глаза. Она сидела не шевелясь, подставив лицо солнцу.

— Ты устала? — спросил я.

Она покачала головой.

— Нет, Робби.

— Вот идет поезд, — сказал я.

Маленький черный паровоз, затерявшийся в бескрайнем дрожащем мареве, пыхтя, подошел к вокзалу. Мы сели в вагон. Было почти пусто. Вскоре поезд тронулся. Густой дым от паровоза неподвижно повис в воздухе. Медленно проплывал знакомый ландшафт, деревня с коричневыми соломенными крышами, луга с коровами и лошадьми, лес и потом домик фрейлейн Мюллер в лощине за дюнами, уютный, мирный и словно заспанный.

Пат стояла рядом со мной у окна и смотрела в сторону домика. На повороте мы приблизились к нему. Мы отчетливо увидели окна нашей комнаты. Они были открыты, и с подоконников свисало постельное белье, ярко освещенное солнцем.

— Вот и фрейлейн Мюллер, — сказала Пат.

— Правда!

Она стояла у входа и махала рукой. Пат достала носовой платок, и он затрепетал на ветру.

— Она не видит, — сказал я, — платочек слишком мал и тонок. Вот, возьми мой.

Она взяла мой платок и замахала им. Фрейлейн Мюллер энергично ответила.

Постепенно поезд втянулся в открытое поле. Домик скрылся, и дюны остались позади. Некоторое время за черной полосой леса мелькало сверкающее море. Оно мигало, как усталый, бодрствующий глаз. Потом пошли нежные золотисто-зеленые поля, мягкое колыхание колосьев, тянувшихся до горизонта.

Пат отдала мне платок и села в угол купе. Я поднял окно. «Кончилось! — подумал я. — Слава Богу, кончилось! Все это было только сном! Проклятым злым сном!»

* * *

К шести мы прибыли в город. Я взял такси и погрузил в него чемоданы. Мы поехали к Пат.

— Ты поднимешься со мной? — спросила она.

— Конечно.

Я проводил ее в квартиру, потом спустился вниз, чтобы вместе с шофером принести чемоданы. Когда я вернулся, Пат все еще стояла в передней. Она разговаривала с подполковником фон Гаке и его женой.

Мы вошли в ее комнату. Был светлый ранний вечер. На столе стояла ваза с красными розами. Пат подошла к окну и выглянула на улицу. Потом она обернулась ко мне.

— Сколько мы были в отъезде, Робби?

— Ровно восемнадцать дней.

— Восемнадцать дней? А мне кажется, гораздо дольше.

— И мне. Но так бывает всегда, когда выберешься куда-нибудь из города.

Она покачала головой.

— Нет, я не об этом…

Она отворила дверь на балкон и вышла. Там стоял белый шезлонг. Притянув его к себе, она молча посмотрела на него.

В комнату она вернулась с изменившимся лицом и потемневшими глазами.

— Посмотри, какие розы, — сказал я. — Их прислал Кестер. Вот его визитная карточка.

Пат взяла карточку и положила на стол. Она смотрела на розы, и я понял, что она их почти не замечает и все еще думает о шезлонге. Ей казалось, что она уже избавилась от него, а теперь он, возможно, должен был снова стать частью се жизни.

Я не стал ей мешать и больше ничего не сказал. Не стоило отвлекать ее. Она сама должна была справиться со своим настроением, и мне казалось, что ей это легче именно теперь, когда я рядом. Слова были бесполезны. В лучшем случае она бы успокоилась ненадолго, но потом все эти мысли прорвались бы снова и, быть может, гораздо мучительнее.

Она постояла около стола, опираясь на него и опустив голову. Потом посмотрела на меня. Я молчал. Она медленно обошла вокруг стола и положила мне руки на плечи.

— Дружище мой, — сказал я.

Она прислонилась ко мне. Я обнял ее.

— А теперь возьмемся за дело.

Она кивнула и откинула волосы назад.

— Просто что-то нашло на меня… на минутку…

— Конечно.

Постучали в дверь. Горничная вкатила чайный столик.

— Вот это хорошо, — сказала Пат.

— Хочешь чаю? — спросил я.

— Нет, кофе, хорошего, крепкого кофе.

Я побыл с ней еще полчаса. Потом ее охватила усталость. Это было видно по глазам.

— Тебе надо немного поспать, — предложил я.

— А ты?

— Я пойду домой и тоже вздремну. Через два часа зайду за тобой, пойдем ужинать.

— Ты устал? — спросила она с сомнением.

— Немного. В поезде было жарко. Мне еще надо будет заглянуть в мастерскую.

Больше она ни о чем не спрашивала. Она изнемогала от усталости. Я уложил ее в постель и укрыл. Она мгновенно уснула. Я поставил около нее розы и визитную карточку Кестера, чтобы ей было о чем думать, когда проснется. Потом я ушел.

* * *

По пути я остановился у телефона-автомата. Я решил сразу же переговорить с Жаффе. Звонить

из дому было трудно: в пансионе любили подслушивать.

Я снял трубку и назвал номер клиники. К аппарату подошел Жаффе.

— Говорит Локамп, — сказал я, откашливаясь. — Мы сегодня вернулись. Вот уже час, как мы в городе.

— Вы приехали на машине? — спросил Жаффе.

— Нет, поездом.

— Так… Ну как дела?

— Хороши, — сказал я.

Он помолчал немного.

— Завтра я зайду к фрейлейн Хольман. В одиннадцать часов утра. Вы сможете ей передать?

— Нет, — сказал я. — Я не хотел бы, чтобы она знала о моем разговоре с вами. Она, вероятно, сама позвонит завтра. Может быть, вы ей тогда и скажете.

— Хорошо. Сделаем так. Я скажу ей.

Я механически отодвинул в сторону толстую захватанную телефонную книгу. Она лежала на небольшой деревянной полочке. Стенка над ней была испещрена телефонными номерами, записанными карандашом.

— Можно мне зайти к вам завтра днем? — спросил я.

Жаффе не ответил.

— Я хотел бы узнать, как она.

— Завтра я вам еще ничего не смогу ответить, — сказал Жаффе. — Надо понаблюдать за ней по крайней мере в течение недели. Я сам извещу вас.

— Спасибо. — Я никак не мог оторвать глаз от полочки. Кто-то нарисовал на ней толстую девочку в большой соломенной шляпе. Тут же было написано: «Элла дура!»

— Нужны ли ей теперь какие-нибудь специальные процедуры? — спросил я.

— Это я увижу завтра. Но мне кажется, что дома ей обеспечен неплохой уход.

— Не знаю. Я слышал, что ее соседи собираются на той неделе уехать. Тогда она останется вдвоем с горничной.

— Вот как? Ладно, завтра поговорю с ней и об этом.

Я снова закрыл рисунок на полочке телефонной книгой.

— Вы думаете, что она… что может повториться такой припадок?

Жаффе чуть помедлил с ответом.

— Конечно, это возможно, — сказал он, — но маловероятно. Скажу вам точнее, когда подробно

осмотрю ее. Я вам позвоню.

— Да, спасибо.

Я повесил трубку. Выйдя из будки, я постоял еще немного на улице. Было пыльно и душно. Потом я пошел домой.

* * *

В дверях я столкнулся с фрау Залевски. Она вылетела из комнаты фрау Бендер, как пушечное ядро. Увидев меня, она остановилась.

— Что, уже приехали?

— Как видите. Ничего нового?

— Ничего. Почты никакой… А фрау Бендер выехала.

— Вот как? Почему же?

Фрау Залевски уперлась руками и бедра.

— Потому что везде есть негодяи. Она отправилась в христианский дом призрения, прихватив с собой кошку и капитал в целых двадцать шесть марок.

Она рассказала, что приют, в котором фрау Бейдер ухаживала за младенцами, обанкротился. Священник, возглавлявший его, занялся биржевыми спекуляциями и погорел на них. Фрау Бендер уволили, не выплатив ей жалованья за два месяца.

— Она нашла себе другую работу? — спросил я, не подумав.

Фрау Залевски только посмотрела на меня.

— Ну да, конечно, не нашла, — сказал я.

— Я ей говорю: оставайтесь здесь, с платой за квартиру успеется. Но она не захотела.

— Бедные люди в большинстве случаев честны, — сказал я. — Кто поселится в ее комнате?

— Хассе. Она им обойдется дешевле.

— А с их прежней комнатой что будет?

Она пожала плечами.

— Посмотрим. Больших надежд на новых квартирантов у меня нет.

— Когда она освободится?

— Завтра. Хассе уже переезжают.

Мне вдруг пришла в голову мысль.

— А сколько стоит эта комната? — спросил я.

— Семьдесят марок.

— Слишком дорого.

— По утрам кофе, две булочки и большая порция масла.

Тогда это тем более дорого. От кофе, который готовит Фрида, я отказываюсь. Вычтите стоимость завтраков. Пятьдесят марок, и ни пфеннига больше.

— А вы разве хотите ее снять? — спросила фрау

Залевски.

— Может быть.

Я пошел в свою комнату и внимательно осмотрел дверь, соединявшую ее с комнатой Хассе. Пат в пансионе фрау Залевски! Нет, это плохо придумано. И все же я постучался к Хассе.

В полупустой комнате перед зеркалом сидела фрау Хассе и пудрилась. На ней была шляпа.

Я поздоровался с ней, разглядывая комнату. Оказалось, что она больше, чем я думал. Теперь, когда часть мебели вынесли, это было особенно заметно. Одноцветные светлые обои почти новые, двери и окна свежевыкрашены; к тому же, очень большой и приятный балкон.

— Вероятно, вы уже знаете о его новой выдумке, — сказала фрау Хассе. — Я должна переселиться в комнату напротив, где жила эта знаменитая особа! Какой позор.

— Позор? — спросил я.

— Да, позор, — продолжала она взволнованно. — Вы ведь знаете, что мы не переваривали друг друга, а теперь Хассе заставляет меня жить в ее комнате без балкона в с одним окном. И все только потому, что это дешевле. Представляете себе, как она торжествует в своем доме призрения!

— Не думаю, чтобы она торжествовала!

— Нет, торжествует, эта так называемая нянечка, ухаживающая за младенцами, смиренная голубица, прошедшая сквозь все огни и воды! А тут еще рядом эта кокотка, эта Эрна Бениг! И кошачий запах!

Я изумленно взглянул на нее. Голубица, прошедшая сквозь огни и воды! Как это странно; люди находят подлинно свежие и образные выражения только когда ругаются. Вечными и неизменными остаются слова любви, но как пестра и разнообразна шкала ругательств!

— А ведь кошки очень чистоплотные и красивые животные, — сказал я. — Кстати, я только что заходил в эту комнату. Там не пахнет кошками.

— Да? — враждебно воскликнула фрау Хассе и поправила шляпку. — Это, вероятно, зависит от обоняния. Но я и не подумаю заниматься этим переездом, пальцем не шевельну! Пускай себе сам перетаскивает мебель! Пойду погуляю! Хоть это хочу себе позволить при такой собачьей жизни!

Она встала. Ее расплывшееся лицо дрожало от бешенства, и с него осыпалась пудра. Я заметил, что она очень ярко накрасила губы и вообще расфуфырилась вовсю. Когда она прошла мимо меня, шурша платьем, от нее пахло, как от целого

парфюмерного магазина.

Я озадаченно поглядел ей вслед. Потом опять подробно осмотрел комнату, прикидывая, как бы получше расставить мебель Пат. Но сразу же отбросил эти мысли. Пат здесь, всегда здесь, всегда со иной, — этого я не мог себе представить! Будь она здорова, мне такая мысль вообще бы в голову не пришла. Ну, если все-таки... Я отворил дверь на балкон и измерил его, но одумался, покачал головой и вернулся к себе.

* * *

Когда я вошел к Пат, она еще спала. Я тихонько опустился в кресло у кровати, но она тут же проснулась.

— Жаль, я тебя разбудил, — сказал я.

— Ты все время был здесь? — спросила она.

— Нет. Только сейчас вернулся.

Она потянулась и прижалась лицом к моей руке.

— Это хорошо. Не люблю, чтобы на меня смотрели, когда я сплю!

— Это я понимаю. И я не люблю. Я и не собирался подглядывать за тобой. Просто не хотел будить. Не поспать ли тебе еще немного?

— Нет, я хорошо выспалась. Сейчас встану.

Пока она одевалась, я вышел в соседнюю комнату. На улице становилось темно. Из полуоткрытого окна напротив доносились квакающие звуки военного марша. У патефона хлопотал лысый мужчина в подтяжках. Окончив крутить ручку, он принялся ходить взад и вперед по комнате, выполняя в такт музыке вольные движения. Его лысина сияла в полумраке, как взволнованная луна. Я равнодушно наблюдал за ним. Меня охватило чувство пустоты и печали.

Вошла Пат. Она была прекрасна и свежа. От утомления и следа не осталось.

— Ты блестяще выглядишь, — удивленно сказал я.

— Я и чувствую себя хороню, Робби. Как будто проспала целую ночь. У меня все быстро меняется.

— Да, видит Бог. Иногда так быстро, что и не уследить.

Она прислонилась к моему плечу и посмотрела на меня.

— Слишком быстро, Робби?

— Нет. Просто я очень медлительный человек. Правда, я часто бываю не в меру медлительным, Пат?

Она улыбнулась.

— Что медленно — то прочно. А что прочно — хорошо.

— Я прочен, как пробка на воде.

Она покачала головой:

— Ты гораздо прочнее, чем тебе кажется. Ты вообще не знаешь, какой ты. Я редко встречала людей, которые бы так сильно заблуждались относительно себя, как ты.

Я отпустил ее.

— Да, любимый, — сказала она и кивнула головой, — это действительно так. А теперь пойдем ужинать.

— Куда же мы пойдем? — спросил я.

— К Альфонсу. Я должна увидеть все это опять. Мне кажется, будто я уезжала на целую вечность.

— Хорошо! — сказал я. — А аппетит у тебя соответствующий? К Альфонсу надо приходить очень голодным.

Она рассмеялась.

— У меня зверский аппетит.

— Тогда пошли!

Я вдруг очень обрадовался.

* * *

Наше появление у Альфонса оказалось сплошным триумфом. Он поздоровался с нами, тут же исчез и вскоре вернулся в белом воротничке и зеленом в крапинку галстуке. Даже ради германского кайзера он бы так не вырядился. Он и сам немного растерялся от этих неслыханных признаков декаданса.

— Итак, Альфонс, что у вас сегодня хорошего? — спросила Пат и положила руки на стол.

Альфонс осклабился, чуть открыл рот и прищурил глаза.

— Вам повезло! Сегодня есть раки!

Он отступил на шаг, чтобы посмотреть, какую это вызвало реакцию. Мы, разумеется, были потрясены.

— И, вдобавок, найдется молодое мозельское вино, — восхищенно прошептал он и отошел еще на шаг. В ответ раздались бурные аплодисменты, они послышались и в дверях. Там стоял последний романтик с всклокоченной желтой копной волос, с опаленным носом и, широко улыбаясь, тоже хлопал в ладоши.

— Готтфрид! — вскричал Альфонс. — Ты? Лично? Какой день! Дай прижать тебя к груди!

— Сейчас ты получишь удовольствие, — сказал я Пат.

Они бросились друг другу в объятия. Альфонс хлопал Ленца по спине так, что звенело, как в кузне.

— Ганс, — крикнул он затем кельнеру, — принеси нам «наполеон»!

Он потащил Готтфрида к стойке. Кельнер принес большую запыленную бутылку. Альфонс налил две рюмки.

— За тебя, Готтфрид, свинья ты жареная, черт бы тебя побрал!

— За тебя, Альфонс, старый каторжник!

Оба выпили залпом свои рюмки.

— Первоклассно! — сказал Готтфрид. — Коньяк для мадонн!

— Просто стыдно пить его так! — подтвердил Альфонс.

— А как же пить его медленно, когда так радуешься! Давай выпьем еще по одной! — Ленц налил снова и поднял рюмку. — Ну ты, проклятая, неверная тыква! — захохотал он. — Мой любимый старый Альфонс!

У Альфонса навернулись слезы на глаза.

— Еще по одной, Готтфрид! — сказал он, сильно волнуясь.

— Всегда готов! — Ленц подал ему рюмку. — От такого коньяка я откажусь не раньше, чем буду валяться на полу и не смогу поднять головы!

— Хорошо сказано! — Альфонс налил по третьей.

Чуть задыхаясь, Ленц вернулся к столику. Он вынул часы.

— Без десяти восемь «ситроен» подкатил к мастерской. Что вы на это скажете?

— Рекорд, — ответила Пат. — Да здравствует Юпп! Я ему тоже подарю коробку сигарет.

— А ты за это получишь лишнюю порцию раков! — заявил Альфонс, не отступавший ни на шаг от Готтфрида. Потом он роздал нам какие-то скатерки. — Снимайте пиджаки и повяжите эти штуки вокруг шеи. Дама не будет возражать, не так ли?

— Считаю это даже необходимым, — сказала Пат.

Альфонс обрадованно кивнул головой.

— Вы разумная женщина, я знаю. Раки нужно есть с вдохновением, не боясь испачкаться. — Он широко улыбнулся. — Вам я, конечно, дам нечто поэлегантнее.

Кельнер Ганс принес белоснежный кухонный халат. Альфонс развернул его и помог Пат обла-

читься.

— Очень вам идет, — сказал он одобрительно.

— Крепко, крепко! — ответила она смеясь.

— Мне приятно, что вы это запомнили, — сказал Альфонс, тая от удовольствия. — Душу мне согревайте.

— Альфонс! — Готтфрид завязал скатерку на затылке так, что кончики торчали далеко в стороны. — Пока что все здесь напоминает салон для бритья.

— Сейчас все изменится. Но сперва немного искусства.

Альфонс подошел к патефону. Вскоре загремел хор пилигримов из «Тангейзера». Мы слушали и молчали.

Едва умолк последний звук, как отворилась дверь из кухни и вошел кельнер Ганс, неся миску величиной с детскую ванну. Она была полна дымящихся раков. Кряхтя от натуги, он поставил ее на стол.

— Принеси салфетку и для меня, — сказал Альфонс.

— Ты будешь есть с нами? Золотко ты мое! — воскликнул Ленц. — Какая честь!

— Если дама не возражает.

— Напротив, Альфонс!

Пат подвинулась, и он сел возле нее.

— Хорошо, что я сижу рядом с вами, — сказал он чуть растерянно. — Дело в том, что я расправляюсь с ними довольно быстро, а для дамы это весьма скучное занятие.

Он выхватил из миски рака и с чудовищной быстротой стал разделывать его для Пат. Он действовал своими огромными ручищами так ловко и изящно, что Пат оставалось только брать аппетитные куски, протягиваемые ей на вилке, и съедать их.

— Вкусно? — спросил он.

— Роскошно! — Она подняла бокал. — За вас, Альфонс.

Альфонс торжественно чокнулся с ней и медленно выпил свой бокал. Я посмотрел на нее. Мне не хотелось, чтобы она пила спиртное. Она почувствовала мой взгляд.

— За тебя, Робби, — сказала она.

Она сияла очарованием и радостью.

— За тебя, Пат, — сказал я и выпил.

— Ну, не чудесно ли здесь? — спросила она, все еще глядя на меня.

— Изумительно! — Я снова налил себе. — Салют, Пат!

Ее лицо просветлело.

— Салют, Робби! Салют, Готтфрид!

Мы выпили.

— Доброе вино! — сказал Ленц.

— Прошлогодний «граахский абтсберг», — объяснил Альфонс. — Рад, что ты оценил его!

Он взял другого рака и протянул Пат раскрытую клешню.

Она отказалась.

— Съешьте его сами, Альфонс, а то вам ничего не достанется.

— Потом. Я ем быстрее всех вас. Наверстаю.

— Ну хорошо. — Она взяла клешню. Альфонс таял от удовольствия в продолжал угощать ее. Казалось, что старая огромная сова кормит птенчика в гнезде.

* * *

Перед уходом мы выпили еще но рюмке «наполеона». Потом стали прощаться с Альфонсом. Пат была счастлива.

— Было чудесно! — сказала она, протягивая Альфонсу руку. — Я вам очень благодарна, Альфонс. Правда, все было чудесно!

Альфонс что-то пробормотал и поцеловал ей руку. Ленц так удивился, что глаза у него полезли на лоб.

— Приходите поскорее опять, — сказал Альфонс. — И ты тоже, Готтфрид.

На улице под фонарем стоял наш маленький, всеми покинутый «ситроен».

— О! — воскликнула Пат. Ее лицо исказила судорога.

— После сегодняшнего пробега я окрестил его Геркулесом! — Готтфрид распахнул дверцу. — Отвезти вас домой?

— Нет, — сказала Пат.

— Я так и думал. Куда же нам поехать?

— В бар. Или не стоит, Робби? — Она повернулась ко мне.

— Конечно, — сказал я. — Конечно, мы еще поедем в бар.

Мы не спеша поехали по улицам. Был теплый и ясный вечер. На тротуарах перед кафе сидели люди. Доносилась музыка. Пат сидела возле меня. Вдруг я подумал: не может она быть больна. От этой мысли меня обдало жаром. Какую-то минуту я считал ее совсем здоровой.

В баре мы застали Фердинанда и Валентина. Фердинанд был в отличном настроении. Он встал и пошел навстречу Пат.

— Диана, вернувшаяся из лесов под родную сень…

Она улыбнулась. Он обнял ее за плечи.

— Смуглая отважная охотница с серебряным луком! Что будем пить?

Готтфрид отстранил руку Фердинанда.

— Патетические люди всегда бестактны, — сказал он. — Даму сопровождают двое мужчин. Ты, кажется, не заметил этого, старый зубр!

— Романтики — всего лишь свита. Они могут следовать, но не сопровождать, — невозмутимо возразив Грау.

Ленц усмехнулся и обратился к Пат:

— Сейчас я вам приготовлю особую смесь. Коктейль «колибри», бразильский рецепт.

Он подошел к стойке, долго смешивал разные напитки и наконец принес коктейль.

— Нравится? — спросил он Пат.

— Для Бразилии слабовато, — ответила Пат.

Готтфрид рассмеялся.

— Между тем очень крепкая штука. Замешано на роме и водке.

Я сразу увидел, что там нет ни рома, ни водки.

Готтфрид смешал фруктовый, лимонный и томатный соки и, может быть, добавил каплю «ангостуры». Безалкогольный коктейль. Но Пат, к счастью, ничего не поняла.

Ей подали три больших коктейля «колибри»,

и она радовалась, что с ней не обращаются, как с больной. Через час мы вышли. В баре остался только Валентин. Об этом позаботился Ленц. Он посадил Фердинанда в «ситроен» и уехал. Таким образом, Пат не могла подумать, что мы уходим раньше других. Все это было очень трогательно, но мне стало на минуту страшно тяжело.

Пат взяла меня под руку. Она шла рядом своей грациозной, гибкой походкой, я ощущал тепло ее руки, видел, как по ее оживленному лицу скользили отсветы фонарей, — нет, я не мог понять, что она больна, я понимал это только днем, но не вечером, когда жизнь становилась нежнее и теплее и так много обещала…

— Зайдем еще ненадолго ко мне? — спросил я.

Она кивнула.

* * *

В коридоре нашего пансиона горел яркий свет.

— Проклятье! — сказал я. — Что там случилось? Подожди минутку.

Я открыл дверь и посмотрел. Пустынный голый коридор напоминал маленький переулок в предместье. Дверь комнаты фрау Бендер была широко распахнута. По коридору протопал Хассе, согнувшись под тяжестью большого торшера с

абажуром из розового шелка. Маленький черный муравей. Он переезжал.

— Добрый вечер, — сказал я, — Так поздно, а вы все переезжаете?

Он поднял бледное лицо с шелковистыми темными усиками.

— Я только час назад вернулся из конторы. Для переселения у меня остается только вечернее время.

— А вашей жены разве нет?

Он покачал головой.

— Она у подруги. Слава Богу, у нее теперь есть подруга, с которой она проводит много времени.

Он улыбнулся, беззлобно и удовлетворенно, и снова затопал. Я быстро провел Пат через коридор.

— Я думаю, нам лучше не зажигать свет, правда? — спросил я.

— Нет, зажги, дорогой. Совсем ненадолго, а потом можешь его опять выключить.

— Ты ненасытный человек, — сказал я, на мгновение озарив ярким светом красное плюшевое великолепие моей комнаты, и тут же повернул выключатель.

От деревьев, как из леса, в открытые окна лился свежий ночной аромат.

— Как хорошо! — сказала Пат, забираясь на подоконник.

— Тебе здесь в самом деле нравится?

— Да, Робби. Здесь как в большом парке летом. Чудесно.

— Когда мы шли по коридору, ты не заглянула в соседнюю комнату слева? — спросил я.

— Нет. А зачем?

— Из нее можно выйти на этот роскошный большой балкон. Он полностью перекрыт, и напротив нет дома. Если бы ты сейчас жила здесь, то могла бы принимать солнечные ванны даже без купального костюма.

— Да, если бы я жила здесь…

— А это можно устроить, — сказал я небрежно. — Ты ведь заметила, что оттуда выезжают. Комната освободится через день-другой.

Она посмотрела на меня и улыбнулась.

— А ты считаешь, что это будет правильно для нас? Быть все время вместе?

— И вовсе мы не будем все время вместе, — возразил я. — Днем меня здесь вообще нет. Вечерами тоже часто отсутствую. Но уже если мы вместе, то нам незачем будет ходить по ресторанам и вечно спешить расставаться, словно мы в гостях друг у друга.

Пат уселась поудобнее.

— Мой дорогой, ты говоришь так, словно уже обдумал все подробности.

— И обдумал, — сказал я. — Целый вечер об этом думаю.

Она выпрямилась.

— Ты действительно говоришь об этом серьезно, Робби?

— Да, черт возьми, — сказал я. — А ты разве до сих пор не заметила этого?

Она немного помолчала.

— Робби, — сказала она затем чуть более низким голосом, — почему ты именно сейчас заговорил об этом?

— А вот заговорил, — сказал я резче, чем хотел. Внезапно я почувствовал, что теперь должно решиться многое более важное, чем комната. — Заговорил потому, что в последние недели понял, как чудесно быть все время неразлучными. Я больше не могу выносить эти встречи на час! Я хочу от тебя большего! Я хочу, чтобы ты всегда была со мной, не желаю продолжать умную любовную игру в прятки, она мне противна и не нужна, я просто хочу тебя и только тебя, и никогда мне этого не будет достаточно, и ни одной минуты я потерять не хочу.

Я слышал ее дыхание. Она сидела на подоконнике, обняв колени руками, и молчала. Красные огни рекламы напротив, за деревьями, медленно поднимались вверх и бросали матовый отблеск на ее светлые туфли, освещали юбку и руки.

— Пожалуйста, можешь смеяться надо мной, — сказал я.

— Смеяться? — удивилась она.

— Ну да, потому что я все время говорю: я хочу. Ведь в конце концов и ты должна хотеть.

Она подняла глаза.

— Тебе известно, что ты изменился, Робби?

— Нет.

— Правда, изменился. Это видно из твоих же слов. Ты хочешь. Ты уже не спрашиваешь. Ты просто хочешь.

— Ну, это еще не такая большая перемена. Как бы сильно я ни желал чего-то, ты всегда можешь сказать «нет».

Она вдруг наклонилась ко мне.

— Почему же я должна сказать «нет», Робби? — проговорила она очень теплым и нежным голосом. — Ведь и я хочу того же…

Растерявшись, я обнял ее за плечи. Ее волосы коснулись моего лица.

— Это правда, Пат?

— Ну конечно, дорогой.

— Проклятие, — сказал я, — а я представлял себе все это гораздо сложнее.

Она покачала головой.

— Ведь все зависит только от тебя, Робби…

— Я и сам почти так думаю, — удивленно сказал я.

Она обняла мою голову.

— Иногда бывает очень приятно, когда можно ни о чем не думать. Не делать все самой. Когда можно опереться. Ах, дорогой мой, все, собственно, довольно легко, — не надо только самим усложнять себе жизнь!

На мгновение я стиснул зубы. Услышать от нее такое! Потом я сказал:

— Правильно, Пат. Правильно!

И совсем это не было правильно.

Мы постояли еще немного у окна.

— Все твои вещи перевезем сюда, — сказал я, — чтобы у тебя здесь было все. Даже заведем чайный столик па колесах. Фрида научится обращаться с ним.

— Есть у нас такой столик, милый. Он мой.

— Тем лучше. Тогда я завтра начну тренировать Фриду.

Она прислонила голову к моему плечу. Я почув-

ствовал, что она устала.

— Проводить тебя домой? — спросил я.

— Погоди. Полежу еще минутку.

Она лежала спокойно на кровати, не разговаривая, будто спала. Но ее глаза были открыты, и иногда я улавливал в них отблеск огней рекламы, бесшумно скользивших по стенам и потолку, как северное сияние. На улицах все замерло. За стеной время от времени слышался шорох, — Хассе бродил по комнате среди остатков своих надежд, своего брака и, вероятно, всей своей жизни.

— Ты бы осталась здесь, — сказал я.

Она привстала.

— Сегодня нет, милый…

— Мне бы очень хотелось, чтобы ты осталась…

— Завтра…

Она встала и тихо прошлась по темной комнате. Я вспомнил, как Пат впервые осталась у меня, как в сером свете занимающегося дня она точно так же прошлась по комнате, чтобы одеться. Не знаю почему, но в этом было что-то поразительно естественное и трогательное, — какой-то отзвук далекого прошлого, погребенного под обломками времени, молчаливое подчинение закону, которого уже никто не помнит. Она вернулась из темноты и прикоснулась ладонями к моему

лицу.

— Хорошо мне было у тебя, милый. Очень хорошо. Я так рада, что ты есть.

Я ничего не ответил. Я не мог ничего ответить.

* * *

Я проводил ее домой и снова пошел в бар. Там я застал Кестера.

— Садись, — сказал он. — Как поживаешь?

— Да не особенно, Отто.

— Выпьешь чего-нибудь?

— Если мне начать пить, придется выпить много. Этого я не хочу. Обойдется. Но я мог бы заняться чем-нибудь другим. Готтфрид сейчас работает на такси?

— Нет.

— Ладно. Тогда я поезжу несколько часов.

— Я пойду с тобой в гараж, — сказал Кестер.

Простившись с Отто, я сел в машину и направился к стоянке. Впереди меня уже были две машины. Потом подъехали Густав и актер Томми. Оба передних такси ушли, вскоре нашелся пассажир и для меня. Молодая девушка попросила отвезти ее в «Винету», модный дансинг с телефонами на столиках, с пневматической почтой и тому подобными атрибутами, рассчитанными на

провинциалов. «Винета» находилась в стороне от других ночных кафе, в темном переулке.

Мы остановились. Девушка порылась в сумочке и протянула мне бумажку в пятьдесят марок. Я пожал плечами.

— К сожалению, не могу разменять.

Подошел швейцар.

— Сколько я вам должна? — спросила девушка.

— Одну марку семьдесят пфеннигов.

Она обратилась к швейцару:

— Вы не можете заплатить за меня? Я рассчитаюсь с вами у кассы.

Швейцар распахнул дверцу машины и проводил девушку к кассе. Потом он вернулся.

— Вот…

Я пересчитал деньги.

— Здесь марка пятьдесят…

— Не болтай попусту… зелен еще… Двадцать пфеннигов полагается швейцару за то, что вернулся. Такая такса!

Сматывайся!

Были рестораны, где швейцару давали чаевые, но только если он приводил пассажира, а не когда ты сам привозил ему гостя.

— Я еще недостаточно зелен для этого, — сказал я, — мне причитается марка семьдесят.

— А в морду не хочешь?.. Ну-ка, парень, сматывайся отсюда. Здешние порядки я знаю лучше тебя.

Мне было наплевать на двадцать пфеннигов. Но я не хотел, чтобы он обдурил меня.

— Брось трепаться и отдай остаток, — сказал я.

Швейцар нанес удар мгновенно, — уклониться, сидя за рулем, было невозможно, я даже не успел прикрыться рукой и стукнулся головой о рулевое колесо. Потом в оцепенении выпрямился. Голова гудела, как барабан, из носа текла кровь. Швейцар стоял передо мной.

— Хочешь еще раз, жалкий труп утопленника?

Я сразу оценил свои шансы. Ничего нельзя было сделать. Этот тип был сильнее меня. Чтобы ответить ему, я должен был действовать неожиданно. Бить из машины я не мог — удар не имел бы силы. А пока я выбрался бы на тротуар, он трижды успел бы повалить меня. Я посмотрел на него. Он дышал мне в лицо пивным перегаром.

— Еще удар, и твоя баба — вдова.

Я смотрел на него, не шевелясь, уставившись в это широкое, здоровое лицо. Я пожирал его глазами, видел, куда надо бить, бешенство сковало меня, словно лед. Я сидел неподвижно, видел его лицо слишком близко, слишком отчетливо, как

сквозь увеличительное стекло, каждый волосок щетины, красную, обветренную, пористую кожу…

Сверкнула каска полицейского.

— Что случилось?

Швейцар услужливо вытянулся.

— Ничего, господин полицейский.

Он посмотрел на меня.

— Ничего, — сказал я.

Он переводил взгляд со швейцара на меня.

— Но ведь вы в крови.

— Ударился.

Швейцар отступил на шаг назад. В его глазах была подленькая усмешка. Он думал, что я боюсь донести на него.

— Проезжайте, — сказал полицейский.

Я дал газ и поехал обратно на стоянку.

* * *

— Ну и вид у тебя, — сказал Густав.

— Только нос, — ответил я и рассказал о случившемся.

— Ну-ка зайдем со мной в трактир, — сказал Густав. — Недаром я когда-то был санитарным ефрейтором. Какое свинство бить сидячего! — Он повел меня на кухню, попросил лед и обрабаты-

вал меня с полчаса. — И следа не останется, — заявил он.

Наконец он кончил.

— Ну, а с черепком как дело? Все в порядке? Тогда не будем терять времени.

Вошел Томми.

— Большой швейцар из дансинга «Винета»? Вечно дерется, тем в известен. К сожалению, ему еще никто не надавал.

— Сейчас получит, — сказал Густав.

— Да, но от меня, — добавил я.

Густав недовольно посмотрел на меня.

— Пока ты вылезешь из машины…

— Я уже придумал прием. Если у меня не выйдет, так ты ведь не опоздаешь.

— Ладно.

Я надел фуражку Густава, и мы сели в его машину, чтобы швейцар не понял сразу, в чем дело. Так или иначе, много он бы не увидел — в переулке было довольно темно.

Мы подъехали. Около «Винеты» не было ни души. Густав выскочил, держа в руке бумажку в двадцать марок.

— Черт возьми, нет мелочи! Швейцар, вы не можете разменять? Марка семьдесят по счетчику? Уплатите, пожалуйста.

Он притворился, что направляется в кассу. Швейцар подошел ко мне, кашляя, и сунул мне марку пятьдесят. Я продолжал держать вытянутую руку.

— Отчаливай! — буркнул он.

— Отдай остаток, сука! — рявкнул я.

На секунду он окаменел.

— Послушай, — тихо сказал он, облизывая губы, — ты еще много месяцев будешь жалеть об этом! — Он размахнулся. Этот удар мог бы лишить меня сознания. Но я был начеку. Повернувшись, я пригнулся, и кулак налетел со всего маху на острый стальной шпенёк пусковой ручки, которую я незаметно держал в левой руке. Вскрикнув, швейцар отскочил назад и затряс рукой. Он шипел от боли, как паровая машина, и стоял во весь рост, без всякого прикрытия.

Я вылетел из машины.

— Узнаешь? — глухо прорычал я и ударил его в живот.

Он свалился. Густав стоял у входа. Подражая судье на ринге, он начал считать:

— Раз, два… три…

При счете «пять» швейцар поднялся, точно стеклянный. Как и раньше, я видел перед собой его лицо, опять это здоровое, широкое, глупое,

подлое лицо; я видел его всего, здорового, сильного парня, свинью, у которой никогда не будут больны легкие; и вдруг я почувствовал, как красноватый дым застилает мне мозг и глаза, я кинулся на него и принялся его избивать. Все, что накопилось во мне за эти дни и недели, я вбивал в это здоровое, широкое, мычащее лицо, пока меня не оттащили…

— С ума сошел, забьешь насмерть!.. — крикнул Густав.

Я оглянулся. Швейцар прислонился к стене. Он истекал кровью. Потом он согнулся, упал и, точно огромное блестящее насекомое, пополз в своей роскошной ливрее на четвереньках ко входу.

— Теперь он не скоро будет драться, — сказал Густав. — А сейчас давай ходу отсюда, пока никого нет! Это уже называется тяжелым телесным повреждением.

Мы бросили деньга на мостовую, сели в машину и поехали.

— У меня тоже идет кровь? — спросил я. — Или это я об него замарался?

— Из носу опять капает, — сказал Густав. — Он очень красиво навесил тебе слева.

— А я и не заметил.

Густав рассмеялся.

— Знаешь, — сказал я, — а мне сейчас гораздо лучше.

XVIII

Наше такси стояло перед баром. Я вошел туда, чтобы сменить Ленца, взять у него документы и ключи. Готтфрид вышел со мной.

— Какие сегодня доходы? — спросил я.

— Неважные, — ответил он. — То ли слишком много развелось такси, то ли слишком мало пассажиров... А у тебя как?

— Плохо. Всю ночь за рулем, и даже двадцати марок не набрал.

— Мрачные времена! — Готтфрид поднял брови. — Сегодня ты, наверно, не очень торопишься?

— Нет, а почему ты спрашиваешь?

— Не подвезешь ли?.. Мне недалеко.

— Ладно.

Мы сели.

— А куда тебе? — спросил я.

— К собору.

— Что? — переспросил я. — Не ослышался ли я? Мне показалось, ты сказал, к собору.

— Нет, сын мой, ты не ослышался. Именно к собору!

Я удивленно посмотрел на него.

— Не удивляйся, а поезжай! — сказал Готтфрид.

— Что ж, давай.

Мы поехали.

Собор находился в старой части города, на открытой площади, вокруг которой стояли дома священнослужителей. Я остановился у главного портала.

— Дальше, — сказал Готтфрид. — Объезжай кругом.

Он попросил меня остановиться у входа с обратной стороны и вышел.

— Ну, дай тебе Бог! — сказал я. — Ты, кажется, хочешь исповедоваться.

— Пойдем-ка со мной, — ответил он.

Я рассмеялся.

— Только не сегодня. Утром я уже помолился. Мне этого хватит на весь день.

— Не болтай чушь, детка! Пойдем! Я буду великодушен и покажу тебе кое-что.

С любопытством я последовал за ним. Мы вошли через маленькую дверь и очутились в крытой монастырской галерее. Длинные ряды арок, покоившихся на серых гранитных колоннах, окаймляли садик, образуя большой прямоугольник. В середине возвышался выветрившийся

крест с распятым Христом. По сторонам были каменные барельефы, изображавшие муки крестного пути. Перед каждым барельефом стояла старая скамья для молящихся. Запущенный сад разросся буйным цветением.

Готтфрид показал мне несколько огромных кустов белых и красных роз.

— Вот смотри! Узнаешь?

Я остановился в изумлении.

— Конечно, узнаю, — Сказал я. — Значит, здесь ты снимал свой урожай, старый церковный ворюга!

За неделю до того Пат переехала к фрау Залевски, и однажды вечером Ленц прислал ей с Юппом огромный букет роз. Цветов было так много, что Юппу пришлось внести их в два приема. Я ломал себе голову, гадая, где Готтфрид мог их раздобыть. Я знал его принцип — никогда не покупать цветы. В городском парке я таких роз не видел.

— Это идея! — сказал я одобрительно. — До этого нужно было додуматься!

Готтфрид ухмыльнулся.

— Не сад, а настоящая золотая жила!

Он торжественно положил мне руку на плечо.

— Беру тебя в долю! Думаю, теперь тебе это

пригодится!

— Почему именно теперь? — спросил я.

— Потому что городской парк довольно сильно опустел. А ведь он был твоим единственным источником, не так ли?

Я кивнул.

— Кроме того, — продолжал Готтфрид, — ты теперь вступаешь в период, когда проявляется разница между буржуа и кавалером. Чем дольше буржуа живет с женщиной, тем он менее внимателен к ней. Кавалер, напротив, все более внимателен. — Он сделал широкий жест рукой. — А с таким садом ты можешь быть совершенно потрясающим кавалером.

Я рассмеялся.

— Все это хорошо, Готтфрид, — сказал я. — Ну, а если я попадусь? Отсюда очень плохо удирать, а набожные люди скажут, что я оскверняю священное место.

— Мой дорогой мальчик, — ответил Ленц. — Ты здесь видишь кого-нибудь? После войны люди стали ходить на политические собрания, а не в церковь.

Это было верно.

— А как быть с пасторами? — спросил я.

— Им до цветов дела нет, иначе сад был бы

ухожен лучше. А Господь Бог будет только рад, что ты доставляешь кому-то удовольствие. Ведь он не вредный.

— Ты прав! — Я смотрел на огромные, старые кусты. — На ближайшие недели я обеспечен!

— Дольше. Тебе повезло. Это очень устойчивый, долгоцветущий сорт роз. Дотянешь минимум до сентября. А потом пойдут астры и хризантемы. Пойдем, покажу, где.

Мы пошли по саду. Розы пахли одуряюще. Как гудящее облако, с цветка на цветок перелетали рои пчел.

— Посмотри на пчел, — сказал я и остановился. — Откуда они взялись в центре города? Ведь поблизости нет ульев. Может быть, пасторы разводят их на крышах своих домов?

— Нет, братец мой, — ответил Ленц. — Голову даю наотрез, что они прилетают с какого-нибудь крестьянского двора. Просто они хорошо знают свой путь… — он прищурил глаза, — а мы вот не знаем…

Я повел плечами.

— А может быть, знаем? Хоть маленький отрезок пути, но знаем. Насколько это возможно. А ты разве нет?

— Нет. Да и знать не хочу. Когда есть цель,

жизнь становится мещанской, ограниченной.

Я посмотрел на башню собора. Шелковисто-зеленым силуэтом высилась она на фоне голубого неба, бесконечно старая и спокойная. Вокруг нее вились ласточки.

— Как здесь тихо, — сказал я.

Ленц кивнул.

— Да, старик, тут, собственно, и начинаешь понимать, что тебе не хватало только одного, чтобы стать хорошим человеком, — времени. Верно я говорю?

— Времени и покоя, — ответил я. — Покоя тоже не хватало.

Он рассмеялся.

— Слишком поздно! Теперь дело дошло уже до того, что покой стал бы невыносим. А поэтому пошли! Опять окунемся в грохот!

* * *

Я отвез Готтфрида и возвращался на стоянку. По пути я проехал мимо кладбища. Я знал, что Пат лежит в своем шезлонге на балконе, и дал несколько гудков. Но она не показалась, и я поехал дальше. Зато вскоре я увидел фрау Хассе. В развевающейся пелерине из шелковой тафты она проплыла вдоль улицы и скрылась за углом. Я

поехал за ней, чтобы спросить, не могу ли я подвезти ее куда-нибудь. Но у перекрестка заметил, как она села в стоявший за поворотом лимузин, довольно потрепанный «мерседес» выпуска двадцать третьего года. Машина тут же тронулась. За рулем сидел мужчина с носом, похожим на утиный клюв. На нем был пестрый клетчатый костюм. Довольно долго я смотрел вслед удаляющемуся лимузину. Так вот что получается, когда женщина непрерывно сидит дома в одиночестве. Размышляя об этом, я приехал на стоянку и пристроился в хвост других такси.

Солнце накалило крышу. Машины очень медленно подвигались вперед. Меня охватила дремота, и я старался уснуть. Но образ фрау Хассе не переставал меня тревожить. Правда, у нас все было по-другому, но ведь, в конце концов, Пат тоже сидела весь день дома одна.

Я сошел на тротуар в направился вперед, к машине Густава.

— На, выпей, — предложил он мне, протягивая термос. — Великолепный холодный напиток! Собственное изобретение — кофе со льдом. Держится в таком виде часами, при любой жаре. Знай, что Густав — практичный человек!

Я выпил стаканчик холодного кофе.

— Уж если ты такой практичный, — сказал я, — расскажи мне, чем можно занять женщину, когда она подолгу сидит одна.

— Да ведь это так просто! — Густав посмотрел на меня с видом превосходства. — Ты, право, чудак, Роберт! Нужен ребенок или собака! Нашел проблему! Задал бы мне вопрос потруднее.

— Собака! — повторил я удивленно, — Конечно же, черт возьми, нужна собака! Верно говоришь! С собакой никогда не будешь одинок!

Я предложил ему сигарету.

— Послушай, а ты случайно не знаешь, где бы ее раздобыть? Ведь в наши дни за пса дорого не возьмут.

Густав с упреком покачал головой.

— Эх, Роберт, ты действительно еще не знаешь, какой я клад для тебя! Мой будущий тесть — второй секретарь союза владельцев доберман-пинчеров! Конечно, достанем тебе молодого кобелька, и даже бесплатно. Лучших кровей. Есть у нас шесть щенят. Их бабушка медалистка, Герта фон дер Тоггенбург.

Густав был везучим человеком. Отец его невесты не только разводил доберманов, но был еще и трактирщиком, владельцем «Новой кельи»; сама невеста держала плиссировочную мастерскую.

Густав жил припеваючи. Он бесплатно ел в пил у тестя, а невеста стирала и гладила его рубашки. Он не торопился с женитьбой, — ведь тогда ему самому пришлось бы заботиться обо всем.

Я объяснил Густаву, что доберман мне не нужен. Он слишком велик, да и характер у него ненадежный. Густав подумал с минутку и сказал:

— Пойдем со мной. Выясним положение. Есть у меня кое-что на примете. Только ты помалкивай и не мешай.

— Хорошо.

Он привел меня к маленькому магазину. В витрине стояли аквариумы, затянутые водорослями. Две понурые морские свинки сидели в ящике. В клетках, висевших по бокам, неутомимо метались во все стороны чижики, снегири и канарейки.

К нам вышел маленький кривоногий человек в коричневом вязаном жилете. Водянистые глаза, выцветшее лицо и какой-то светильник вместо носа. Словом, большой любитель пива и шнапса.

— Скажи-ка, Антон, как поживает Аста? — спросил Густав.

— Второй приз и почетный приз в Кельне, — ответил Антон.

— Какая подлость! — возмутился Густав. — Почему не первый?

— Первый они дали Удо Бланкенфельсу, — пробурчал Антон.

— Вот хамство! Жулье!..

Сзади под стойкой скулили и тявкали щенки. Густав прошел за стойку, взял за шиворот двух маленьких терьеров и принес их. В его левой руке болтался бело-черный щенок, в правой — красновато-коричневый. Незаметно он встряхнул щенка в правой руке. Я посмотрел на него: да, этот подойдет.

Щенок был очарователен, настоящая игрушка. Прямые ножки, квадратное тельце, прямоугольная головка, умные наглые глазки. Густав опустил собачонок на пол.

— Смешная помесь, — сказал он, показывая на красновато-коричневого. — Где ты его взял?

Антон якобы получил его от какой-то дамы, уехавшей в Южную Америку. Густав разразился издевательским хохотом. Антон обиделся и достал родословную, восходившую к самому Ноеву ковчегу. Густав недоверчиво махнул рукой и начал разглядывать черно-белого щенка. Антон потребовал сто марок за коричневого. Густав предложил пять. Он заявил, что ему не нравится

прадед, и раскритиковал хвост и уши. Другое дело черно-белый — этот, мол, безупречен.

Я стоял в углу и слушал. Вдруг кто-то дернул мою шляпу. Я удивленно обернулся. Маленькая желтая обезьянка с печальным личиком сидела, сгорбившись, в углу на штанге. У нее были черные круглые глаза и озабоченный старушечий рот. Кожаный ремень, прикрепленный к цепи опоясывал брюшко. Маленькие черные ручки пугали своим человеческих видом.

Я стоял неподвижно. Обезьянка медленно подвигалась ко мне по штанге. Она неотрывно смотрела на меня, без недоверия, но каким-то странным, сдержанным взглядом. Наконец осторожно протянула вперед ручонку. Я сунул ей палец. Она слегка отпрянула назад, но потом, взяла его. Ощущение прохладной детской ручки, стиснувшей мне палец, было странным. Казалось, что в этом скрюченном тельце заключен несчастный, немой человечек, который хочет спастись. Я не мог долго смотреть в эти глаза, полные смертельной тоски.

Отдуваясь, Густав вынырнул из чащи родословных деревьев.

— Значит, договорились, Антон! Ты получишь за него щенка-добермана, потомка Герты. Лучшая

сделка в твоей жизни! — Потом он обратился ко мне: — Возьмешь его сразу с собой?

— А сколько он стоит?

— Нисколько. Он обменен на добермана, которого я подарил тебе раньше. Предоставь Густаву обделывать такие дела! Густав — мужчина высшей пробы! Золото!

Мы договорились, что я зайду за собачкой потом, после работы.

— Ты в состоянии понять, что именно ты сейчас приобрел? — спросил меня Густав на улице. — Это же редчайший экземпляр! Ирландский терьер! Ни одного изъяна! Да еще родословная в придачу. Ты не смеешь даже смотреть на него, раб Божий! Прежде чем заговорить с этой скотинкой, ты должен ей низко поклониться.

— Густав, — сказал я, — ты оказал мне очень большую услугу. Пойдем и выпьем самого старого коньяку, какой только найдется.

— Сегодня не могу! — заявил Густав. — Сегодня у меня должна быть верная рука. Вечером иду в спортивный союз играть в кегли. Обещай, что пойдешь туда со мной как-нибудь. Очень приличные люди, есть даже обер-постсекретарь.

— Пойду, — сказал я. — Даже если там и не будет обер-постсекретаря.

* * *

Около шести я вернулся в мастерскую. Кестер ждал меня.

— Жаффе звонил после обеда. Просил, чтобы ты позвонил ему.

У меня на мгновенье остановилось. дыхание.

— Он сказал что-нибудь, Отто?

— Нет, ничего особенного. Сказал только, что принимает у себя до пяти, а потом поедет в больницу Святой Доротеи. Значит, именно туда тебе и надо позвонить.

— Хорошо.

Я пошел в контору. Было тепло, даже душно, но меня знобило, и телефонная трубка дрожала в моей руке.

— Глупости все, — сказал я и покрепче ухватился за край стола.

Прошло немало времени, пока я услышал голос Жаффе.

— Вы свободны? — спросил он.

— Да.

— Тогда приезжайте сразу. Я еще побуду здесь с часок.

Я хотел спросить его, не случилось ли что-нибудь с Пат, но у меня язык не повернулся.

— Хорошо, — сказал я. — Через десять минут буду.

Я повесил трубку, снова снял ее и позвонил домой. К телефону подошла горничная. Я попросил позвать Пат.

— Не знаю, дома ли она, — угрюмо сказала Фрида, — Сейчас посмотрю.

Я ждал. Моя голова отяжелела, лицо горело. Ожидание казалось бесконечным. Потом в трубке послышался шорох и голос Пат:

— Робби?

На секунду я закрыл глаза.

— Как поживаешь, Пат?

— Хорошо. Я до сих пор сидела на балконе и читала книгу. Очень волнующая.

— Вот как, волнующая книга… — сказал я. — Это хорошо. Я хотел тебе сказать, что сегодня приду домой чуть попозже. Ты уже прочитала свою книгу?

— Нет, я на самой середине. Еще хватит на несколько часов.

— Ну, тогда я вполне успею. А ты читай пока.

Я еще немного посидел в конторе. Потом встал.

— Отто, — сказал я, — можно взять «Карла»?

— Конечно. Если хочешь, я поеду с тобой. Мне здесь нечего делать.

— Не стоит. Ничего не случилось. Я уже звонил домой.

«Какой свет, — подумал я, когда «Карл» вырвался на улицу, — какой чудесный вечерний свет над крышами! Как полна и чудесна жизнь!»

* * *

Мне пришлось подождать Жаффе несколько минут. Сестра провела меня в маленькую комнату, где были разложены старые журналы. На подоконнике стояло несколько цветочных горшков с вьющимися растениями. Вечно повторяющаяся картина: все те же журналы в коричневых обложках, все те же печальные вьющиеся растения; их можно увидеть только в приемных врачей и в больницах.

Вошел Жаффе. На нем был свежий белоснежный халат. Но когда он подсел ко мне, я заметил на внутренней стороне правого рукава маленькое ярко-красное пятнышко. В своей жизни я видел много крови, но это крохотное пятнышко потрясло меня сильнее, чем все виденные прежде насквозь пропитанные кровью повязки. Мое бодрое настроение исчезло.

— Я обещал вам рассказать о здоровье фрейлейн Хольман, — сказал Жаффе.

Я кивнул и уставился на пеструю плюшевую скатерть. Я разглядывал переплетение шестиугольников, по-дурацки решив про себя, что все будет хорошо, если я не оторву глаз от узора и не моргну ни разу, пока Жаффе не заговорит снова.

— Два года назад она провела шесть месяцев в санатории. Об этом вы знаете?

— Нет, — сказал я, продолжая смотреть на скатерть.

— Тогда ей стало лучше. Теперь я очень внимательно осмотрел ее. Этой зимой она обязательно должна снова поехать туда. Ей нельзя оставаться здесь, в городе.

Я все еще смотрел на шестиугольники. Они начали расплываться и заплясали.

— Когда? — спросил я.

— Осенью. Не позднее конца октября.

— Значит, это не было случайным кровотечением?

— Нет.

Я поднял глаза.

— Мне едва ли надо вам говорить, — продолжал Жаффе, — что при этой болезни ничего нельзя предвидеть. Год назад мне казалось, будто процесс остановился, наступила инкапсуляция, и можно было предположить, что очаг закрылся.

И так же, как недавно процесс неожиданно возобновился, он может столь же неожиданно приостановиться. Я это говорю неспроста, — болезнь действительно такова. Я сам был свидетелем удивительных исцелений.

— И ухудшений?

Он посмотрел на меня.

— Бывало, конечно, и так.

Он начал объяснять мне подробности. Оба легких были поражены, правое меньше, левое сильнее. Потом он нажал кнопку звонка. Вошла сестра.

— Принесите мой портфель, — сказал он.

Сестра принесла портфель. Жаффе извлек из шуршащих конвертов два больших рентгеновских снимка и поднес на свет к окну.

— Так вам будет лучше видно.

На прозрачной серой пластинке я увидел позвоночник, лопатки, ключицы, плечевые суставы и пологие дуги ребер. Но я видел больше — я видел скелет. Темный и призрачный, он выделялся среди бледных теней, сливавшихся на фотопленке. Я видел скелет Пат. Скелет Пат.

Жаффе указал мне пинцетом на отдельные линии и затемнения и объяснил их значение. Он не заметил, что я больше не слушаю его. Теперь это

был только ученый, любивший основательность и точность. Наконец он повернулся ко мне.

— Вы меня поняли?

— Да, — сказал я.

— Что с вами? — спросил он.

— Ничего, — ответил я. — Я что-то плохо вижу.

— Ах, вот что. — Он поправил очки. Потом он вложил снимки обратно в конверты и испытующе посмотрел на меня. — Не предавайтесь бесполезным размышлениям.

— Я этого и не делаю. Но что за проклятый ужас! Миллионы людей здоровы! Почему же она больна?

Жаффе помолчал немного.

— На это никто вам не даст ответа, — сказал он затем.

— Да, — воскликнул я, охваченный внезапно горьким, бессильным бешенством, — на это никто не даст ответа! Конечно, нет! Никто не может ответить за муку и смерть! Проклятье! И хоть бы что-нибудь можно было сделать!

Жаффе долго смотрел на меня.

— Простите меня, — сказал я, — но я не могу себя обманывать. Вот в чем весь ужас.

Он все еще смотрел на меня.

— Есть у вас немного времени? — спросил он.

— Да. — сказал я. — Времени у меня достаточно.

Он встал.

— Мне нужно теперь сделать вечерний обход. Я хотел бы, чтобы вы пошли со мной. Сестра даст вам халат. Для пациентов вы будете моим ассистентом.

Я не понимал, чего он хотел; но я взял халат, поданный мне сестрой.

* * *

Мы шли но длинным коридорам. Широкие окна светились розоватым вечерним сиянием. Это был мягкий, приглушенный, совершенно неправдоподобно парящий свет. В раскрытые окна лился аромат цветущих лип.

Жаффе открыл одну из дверей. В нос ударил удушливый, гнилостный запах. Женщина с чудесными волосами цвета старинного золота, на которых ярко переливались отсветы сумерек, бессильно подняла руку. Благородный лоб суживался у висков. Под глазами начиналась повязка доходившая до рта. Жаффе осторожно удалил ее. Я увидел, что у женщины нет носа. Вместо него зияла кровавая рана, покрытая струпьями, багрово-красная, с двумя отверстиями посередине.

Жаффе вновь наложил повязку.

— Хорошо, — сказал он приветливо и повернулся к выходу.

Он закрыл за собой дверь. В коридоре я остановился на минуту и стал смотреть на вечернее небо.

— Пойдемте! — сказал Жаффе, направляясь к следующей комнате.

Мы услышали горячее прерывистое дыхание больного, метавшегося в жару. На свинцовом лице мужчины ярко проступали странные красные пятна. Рот был широко открыт, глаза выкатились, а руки беспокойно двигались по одеялу. Он был без сознания. У кровати сидела сестра и читала. Когда Жаффе вошел, она отложила книгу и поднялась. Он посмотрел на температурный лист, показывавший сплошь сорок градусов, и покачал головой.

— Двустороннее воспаление легких плюс плеврит. Вот уже неделю борется со смертью, как бык. Рецидив. Был почти здоров. Слишком рано вышел на работу. Жена и четверо детей. Безнадежно.

Он выслушал сердце и проверил пульс. Сестра, помогая ему, уронила книгу на пол. Я поднял ее, — это была поваренная книга. Руки больного непрерывно, как пауки, сновали по одеялу. Это

был единственный звук, нарушавший тишину.

— Останьтесь здесь на ночь, сестра, — сказал Жаффе.

Мы вышли. Розовый закат стал ярче. Теперь его свет заполнял весь коридор, как облако.

— Проклятый свет, — сказал я.

— Почему? — спросил Жаффе.

— Несовместимые явления. Такой закат — и весь этот ужас.

— Но они сосуществуют, — сказал Жаффе.

В следующей комнате лежала женщина, которую доставили днем. У нее было тяжелое отравление вероналом. Она хрипела. Накануне произошел несчастный случай с ее мужем — перелом позвоночника. Его привезли домой в полном сознании, и он надсадно кричал. Ночью он умер.

— Она выживет? — спросил я.

— Вероятно.

— Зачем?

— За последние годы у меня было пять подобных случаев, — сказал Жаффе. — Только одна пациентка вторично пыталась отравиться. Из остальных две снова вышли замуж.

В комнате рядом лежал мужчина с параличом двенадцатилетней давности. У него была вос-

ковая кожа, жиденькая черная бородка и очень большие, спокойные глаза.

— Как себя чувствуете? — спросил Жаффе.

Больной сделал неопределенный жест. Потом он показал на окно.

— Видите, какое небо! Будет дождь, я это чувствую. — Он улыбнулся. — Когда идет дождь, лучше спится.

Перед ним на одеяле была кожаная шахматная доска с фигурками на штифтах. Тут же лежали кипа газет и несколько книг.

Мы пошли дальше. Я видел молодую женщину с синими губами и дикими от ужаса глазами, совершенно истерзанную тяжелыми родами; ребенка-калеку с тонкими скрюченными ножками и рахитичной головой; мужчину без желудка; дряхлую старушку с совиным лицом, плакавшую оттого, что родные не заботились о ней, — они считали, что она слишком медленно умирает; слепую, которая верила, что вновь прозреет; сифилитического ребенка с кровавой сыпью и его отца, сидевшего у постели; женщину, которой утром ампутировали вторую грудь; еще одну женщину с телом, искривленным от суставного ревматизма; третью, у которой вырезали яичники; рабочего с раздавленными почками.

Так мы шли из комнаты в комнату, и всюду было одно и то же — стонущие, скованные судорогой тела, неподвижные, почти угасшие тени, какой-то клубок мучений, нескончаемая цепь страданий, страха, покорности, боли, отчаяния, надежды, нужды; и всякий раз, когда за нами затворялась дверь, в коридоре нас снова встречал розоватый свет этого неземного вечера; сразу после ужаса больничных палат это нежное серовато-золотистое облако. И я не мог понять, чудовищная ли это насмешка или непостижимое сверхчеловеческое утешение. Жаффе остановился у входа в операционный зал. Через матовое стекло двери лился резкий свет. Две сестры катили низкую тележку. На ней лежала женщина. Я уловил ее взгляд. Она даже не посмотрела на меня. Но эти глаза заставили меня вздрогнуть, — столько было в них мужества, собранности и спокойствия.

Лицо Жаффе показалось мне вдруг очень усталым.

— Не знаю, правильно ли я поступил, — сказал он, — но было бы бессмысленно успокаивать вас словами. Вы бы мне просто не поверили. Теперь вы увидели, что многие из этих людей страдают сильнее, чем Пат Хольман. У иных не осталось ни-

чего, кроме надежды. Но большинство выживает. Люди становятся опять совершенно здоровыми. Вот что я хотел вам показать.

Я кивнул.

— Вы поступили правильно, — сказал я.

— Девять лет назад умерла моя жена. Ей было двадцать пять лет. Никогда не болела. От гриппа. — Он немного помолчал. — Вы понимаете, зачем я вам это говорю?

Я снова кивнул.

— Ничего нельзя знать наперед. Смертельно больной человек может пережить здорового. Жизнь — очень странная штука. — На его лице резко обозначились морщины. Вошла сестра и шепнула что-то ему на ухо. Он выпрямился и кивком головы указал на операционный зал. — Мне нужно туда. Не показывайте Пат своего беспокойства. Это важнее всего. Сможете?

— Да, — сказал я.

Он пожал мне руку и в сопровождении сестры быстро прошел через стеклянную дверь в ярко освещенный известково-белый зал.

Я медленно пошел вниз по лестнице. Чем ниже я спускался, тем становилось темнее, а на втором этаже уже горел электрический свет. Выйдя на улицу, я увидел, как на горизонте снова вспых-

нули розоватые сумерки, словно небо глубоко вздохнуло. И сразу же розовый свет исчез, и горизонт стал серым.

* * *

Какое-то время я сидел за рулем неподвижно, уставившись в одну точку. Потом собрался с мыслями и поехал обратно в мастерскую. Кестер ожидал меня у ворот. Я поставил машину во двор и вышел.

— Ты уже знал об этом? — спросил я.

— Да. Но Жаффе сам хотел тебе сказать.

Кестер взглянул мне в лицо.

— Отто, я не ребенок и понимаю, что еще не все потеряно. Но сегодня вечером мне, вероятно, будет трудно не выдать себя, если я останусь с Пат наедине. Завтра будет легче. Переборю себя. Не пойти ли нам сегодня куда-нибудь всем вместе?

— Конечно, Робби. Я уже подумал об этом и предупредил Готтфрида.

— Тогда дай мне еще раз «Карла». Поеду домой, заберу Пат, а потом, через часок, заеду за вами.

— Хорошо.

Я уехал. На Николаиштрассе вспомнил о собаке. Развернулся и поехал за ней.

Лавка не была освещена, но дверь была от-

крыта. Антон сидел в глубине помещения на походной койке. Он держал в руке бутылку. От него несло, как из винной бочки.

— Околпачил меня Густав! — сказал он.

Терьер запрыгал мне навстречу, обнюхал и лизнул руку. Его зеленые глаза мерцали в косом свете, падавшем с улицы. Антон встал. Он с трудом держался на ногах и вдруг расплакался.

— Собачонка моя, теперь и ты уходишь… все уходит… Тильда умерла… Минна ушла… скажите-ка, и чего это ради мы живем на земле?

Только этого мне не хватало! Он включил маленькую лампочку, загоревшуюся тусклым, безрадостным светом. Шорох черепах и птиц, низенький одутловатый человек в лавчонке.

— Толстяки — те знают, зачем… но скажите мне, для чего, собственно, существует наш брат? Зачем жить нам, горемыкам?.. Скажите, сударь…

Обезьянка жалобно взвизгнула и исступленно заметалась по штанге. Ее огромная тень прыгала по стене.

— Коко, — всхлипнул одинокий, наклюкавшийся в темноте человек, — иди сюда, мой единственный! — Он протянул ей бутылку. Обезьянка ухватилась за горлышко.

— Вы погубите животное, если будете его по-

ить, — сказал я.

— Ну и пусть, — пробормотал он. — Годом больше на цепи… годом меньше… не все ли равно… один черт… сударь…

Собачка тепло прижималась ко мне. Я пошел. Мягко перебирая лапками, гибкая и подвижная, она побежала рядом со мной к машине.

Я приехал домой и осторожно поднялся наверх, ведя собаку на поводке. В коридоре остановился и посмотрел в зеркало. Мое лицо было таким, как всегда. Я постучал в дверь к Пат, приоткрыл ее слегка и впустил собаку. Сам же остался в коридоре, крепко держа поводок, и ждал. Но вместо голоса Пат вдруг раздался бас фрау Залевски:

— О Боже мой!

Облегченно вздохнув, я заглянул в комнату. Я боялся только первой минуты наедине с Пат. Теперь мне стало легко. Фрау Залевски была надежным амортизатором. Она величественно восседала у стола за чашкой кофе. Перед ней в каком-то мистическом порядке были разбросаны карты. Пат сидела рядом. Ее глаза блестели, и она жадно слушала предсказания.

— Добрый вечер, — сказал я, внезапно повеселев.

— Вот он и пришел, — с достоинством сказала

фрау Залевски. — По короткой дорожке в вечерний час… а рядом черный король.

Собака рванулась, прошмыгнула между моих ног и с громким лаем выбежала на середину комнаты.

— Господи! — закричала Пат. — Да ведь это ирландский терьер!

— Восхищен твоими познаниями! — сказал я. — Несколько часов тому назад я этого еще не знал.

Она нагнулась, и терьер бурно кинулся к ней.

— Как его зовут, Робби?

— Понятия не имею. Судя по прежнему владельцу. Коньяк, или Виски, или что-нибудь в этом роде.

— Он принадлежит нам?

— Да, насколько одно живое существо может принадлежать другому.

Пат задыхалась от радости.

— Мы назовем его Билли, ладно, Робби? Когда мама была девочкой, у нее была собака Билли. Мама мне часто о ней рассказывала.

— Значит, я хорошо сделал, что привел его? — спросил я.

— А он чистоплотен? — забеспокоилась фрау Залевски.

У него родословная как у князя, — ответил я. — А князья чистоплотны.

— Пока они маленькие… А сколько ему?..

— Восемь месяцев. Все равно что шестнадцать лет для человека.

— А по-моему, он не чистоплотен, — заявила фрау Залевски.

— Его просто надо вымыть, вот и все.

Пат встала и обняла фрау Залевски за плечи. Я обмер от удивления.

— Я давно уже мечтала о собаке, — сказала она. — Мы можем его оставить здесь, правда? Ведь вы ничего не имеете против?

Матушка Залевски смутилась в первый раз с тех пор, как я ее знал.

— Ну что ж… пусть остается… — ответила она. — Да и карты были такие. Король приносит в дом сюрприз.

— А в картах было, что мы уходим сегодня вечером? — спросил я.

Пат рассмеялась.

— Этого мы еще не успеди узнать, Робби. Пока мы только о тебе гадали.

Фрау Залевски поднялась и собрала карты.

— Можно им верить, можно и не верить. А можно верить, но наоборот, как покойный Залевски…

У него всегда над так называемым жидким элементом была пиковая девятка… а ведь это дурное предзнаменование. И вот он решил, что должен остерегаться воды. А все дело было в шнапсе и пильзенском пиве.

* * *

Когда хозяйка вышла, я крепко обнял Пат.

— Как чудесно приходить домой и заставать тебя. Каждый раз это для меня сюрприз. Когда я поднимаюсь по последним ступенькам в открываю дверь, у меня всегда бьется сердце: а вдруг это неправда?

Она посмотрела на меня улыбаясь. Она почти никогда не отвечала, когда я говорил что-нибудь в таком роде. Впрочем, я и не рассчитывал на ответное признание. Мне бы это было даже неприятно. Мне казалось, что женщина не должна говорить мужчине, что любит его. Об этом пусть говорят ее сияющие, счастливые глаза. Они красноречивее всяких слов.

Я долго не отпускал ее, ощущая теплоту ее кожи и легкий аромат волос. Я не отпускал ее, и не было на свете ничего, кроме нее, мрак отступил, она была здесь, она жила, она дышала, и ничто не было потеряно.

— Мы правда уходим, Робби? — спросила она, не отводя лица.

— И даже все вместе, — ответил я. — Кестер и Ленц тоже. «Карл» уже стоит у парадного.

— А Билли?

— Билли, конечно, возьмем с собой. Иначе куда же мы денем остатки ужина? Или, может быть, ты уже поужинала?

— Нет еще. Я ждала тебя.

— Но ты не должна меня ждать. Никогда. Очень страшно ждать чего-то.

Она покачала головой.

— Этого ты не понимаешь, Робби. Страшно, когда нечего ждать.

Она включила свет перед зеркалом.

— А теперь я должна одеться, а то не успею. Ты тоже переоденешься?

— Потом, — сказал я. — Мне ведь недолго. Дай мне еще побыть немного здесь.

* * *

Я подозвал собаку и уселся в кресло у окна. Я любил смотреть, как Пат одевается. Никогда еще я не чувствовал с такой силой вечную, непостижимую тайну женщины, как в минуты, когда она тихо двигалась перед зеркалом, задумчиво

гляделась в него, полностью растворялась в себе, уходя в подсознательное, необъяснимое самоощущение своего пола. Я не представлял себе, чтобы женщина могла одеваться, болтая и смеясь; а если она это делала, значит, ей недоставало таинственности и неизъяснимого очарования вечно ускользающей прелести. Я любил мягкие и плавные движения Пат, когда она стояла у зеркала; какое это было чудесное зрелище, когда она убирала свои волосы или бережно и осторожно, как стрелу, подносила к бровям карандаш. В такие минуты в ней было что-то от лани, и от гибкой пантеры, и даже от амазонки перед боем. Она переставала замечать все вокруг себя, глаза на собранном и серьезном лице спокойно и внимательно разглядывали отражение в зеркале, а когда она вплотную приближала к нему лицо, то казалось, что нет никакого отражения в зеркале, а есть две женщины, которые смело и испытующе смотрят друг другу в глаза извечным всепонимающим взглядом, идущим из тумана действительности в далекие тысячелетия прошлого.

Через открытое окно с кладбища доносилось свежее дыхание вчера. Я сидел не шевелясь. Я не забыл ничего из моей встречи с Жаффе, я помнил

все точно, — но, глядя на Пат, я чувствовал, как глухая печаль, плотно заполнившая меня, снова и снова захлестывалась какой-то дикой надеждой, преображалась и смешивалась с ней, и одно превращалось в другое — печаль, надежда, ветер, вечер и красивая девушка среди сверкающих зеркал и бра; и внезапно меня охватило странное ощущение, будто именно это и есть жизнь, жизнь в самом глубоком смысле, а может быть, даже и счастье: любовь, к которой примешалось столько тоски, страха и молчаливого понимания.

XIX

Я стоял около своего такси на стоянке. Подъехал Густав и пристроился за мной.

— Как поживает твой пес, Роберт? — спросил он.

— Живет великолепно, — сказал я.

— А ты?

Я недовольно махнул рукой.

— И я бы жил великолепно, если бы зарабатывал побольше. За весь день две ездки по пятьдесят пфеннигов. Представляешь?

Он кивнул.

— С каждым днем все хуже. Все становится хуже. Что же дальше будет?

— А мне так нужно зарабатывать деньги! — сказал я. — Особенно теперь! Много денег!

Густав почесал подбородок.

— Много денег!.. — Потом он посмотрел на меня. — Много теперь не заколотишь, Роберт. И думать об этом нечего. Разве что заняться спекуляцией. Не попробовать ли счастья на тотализаторе? Сегодня скачки. Как-то недавно я поставил на Аиду и выиграл двадцать восемь против одного.

— Мне не важно, как заработать. Лишь бы были шансы.

— А ты когда-нибудь играл?

— Нет.

— Тогда с твоей легкой руки дело пойдет. — Он посмотрел на часы. — Поедем? Как раз успеем.

— Ладно! — После истории с собакой я проникся к Густаву большим доверием.

Бюро по заключению пари находилось в довольно большом помещении. Справа был табачный киоск, слева тотализатор. Витрина пестрела зелеными и розовыми спортивными газетами и объявлениями о скачках, отпечатанными на машинке. Вдоль одной стены тянулась стойка с письменными приборами. За стойкой орудовали трое мужчин. Они были необыкновенно деятельны. Один орал что-то в телефон, другой метался взад и вперед с какими-то бумажками, третий, в ярко-фиолетовой рубашке с закатанными рукавами и в котелке, сдвинутом далеко на затылок, стоял за стойкой и записывал ставки. В зубах он перекатывал толстую, черную, изжеванную сигару «Бразил».

К моему удивлению, все здесь шло ходуном. Кругом суетились «маленькие люди» — ремесленники, рабочие, мелкие чиновники, было

несколько проституток и сутенеров. Едва мы переступили порог, как нас остановил кто-то в грязных серых гамашах, сером котелке и обтрепанном сюртуке.

— Фон Билинг. Могу посоветовать господам, на кого ставить. Полная гарантия!

— На том свете будешь нам советовать, — ответил Густав. Очутившись здесь, он совершенно преобразился.

— Только пятьдесят пфеннигов, — настаивал Билинг. — Лично знаком с тренерами. Еще с прежних времен, — добавил он, уловив мой взгляд.

Густав погрузился в изучение списков лошадей.

— Когда выйдет бюллетень о бегах в Отейле? — крикнул он мужчинам за стойкой.

— В пять часов, — проквакал клерк.

— Филомена — классная кобыла, — бормотал Густав. — Особенно на крупной рыси. — Он вспотел от волнения. — Где следующие бега? — спросил он.

— В Хоппегартене, — ответил кто-то рядом.

Густав продолжал листать списки.

— Для начала поставим по две монеты на Тристана. Он придет первым!

— А ты что-нибудь смыслишь в этом? — спросил я.

— Что-нибудь? — удивился Густав. — я знаю каждое конское копыто.

— И ставите на Тристана? — удивился кто-то около нас. — Единственный шанс — это Прилежная Лизхен! Я лично знаком с Джонни Бернсом.

— А я, — ответил Густав, — владелец конюшни, в которой находится Прилежная Лизхен. Мне лучше знать.

Он сообщил наши ставки человеку за стойкой. Мы получили квитанции и прошли дальше, где стояло несколько столиков и стулья. Вокруг нас назывались всевозможные клички. Несколько рабочих спорили о скаковых лошадях в Ницце, два почтовых чиновника изучали сообщение о погоде в Париже, какой-то кучер хвастливо рассказывая о временах, когда он был наездником. За одним из столиков сидел толстый человек с волосами ежиком и уплетал одну булочку за другой. Он был безучастен во всему. Двое других, прислонившись к стене, жадно смотрели на него. Каждый из них держал в руке по квитанции, но, глядя на их осунувшиеся лица, можно было подумать, что они не ели несколько дней.

Резко зазвонил телефон. Все навострили уши.

Клерк выкрикивал клички лошадей. Тристана он не назвал.

— Соломон пришел первым, — сказал Густав, наливаясь краской. — Проклятье! И кто бы подумал? Уж не вы ли? — обратился он злобно к «Прилежной Лизхен». — Ведь это вы советовали ставить на всякую дрянь…

К нам подошел фон Билинг.

— Послушались бы меня, господа… Я посоветовал бы вам поставить на Соломона! Только на Соломона! Хотите на следующий заезд?..

Густав не слушал его. Он успокоился и завел с «Прилежной Лизхен» профессиональный разговор.

— Вы понимаете что-нибудь в лошадях? — спросил меня Билинг.

— Ничего, — сказал я.

— Тогда ставьте! Ставьте! Но только сегодня, — добавил он шепотом, — и больше никогда. Послушайте меня! Ставьте! Неважно, на кого — на Короля Лира, на Серебряную Моль, может быть на Синий Час. Я ничего не хочу заработать. Выиграете — дадите мне что-нибудь… — Он вошел в азарт, его подбородок дрожал. По игре в покер я знал, что новички, как правило, выигрывают.

— Ладно, — сказал я. — На кого?

— На кого хотите… На кого хотите…

— Синий Час звучит недурно, — сказал я. — Значит, десять марок на Синий Час.

— Ты что, спятил? — спросил Густав.

— Нет, — сказал я.

— Десяток марок на эту клячу, которую давно уже надо пустить на колбасу?

«Прилежная Лизхен», только что назвавший Густава живодером, на сей раз энергично поддержал его:

— Вот еще выдувал! Ставить ва Синий Час! Ведь это корова, а не лошадь, уважаемый! Майский Сон обскачет ее на двух ногах! Без всяких! Вы ставите на первое место?

Билинг заклинающе посмотрел на меня и сделал мне знак.

— На первое, — сказал я.

— Ложись в гроб, — презрительно буркнул «Прилежная Лизхен».

— Чудак! — Густав тоже посмотрел на меня, словно я превратился в готтентота. — Ставить надо на Джипси II, это ясно и младенцу.

— Остаюсь при своем. Ставлю на Синий Час, — сказал я. Теперь я уже не мог менять решение. Это было бы против всех тайных законов счастливчиков-новичков.

Человек в фиолетовой рубашке протянул мне квитанцию. Густав и «Прилежная Лизхен» смотрели на меня так, будто я заболел бубонной чумой. Они демонстративно отошли от меня и протиснулись к стойке, где, осыпая друг друга насмешками, в которых все же чувствовалось взаимное уважение специалистов, они поставили на Джипси II и Майский Сон.

Вдруг кто-то упал. Это был один из двух тощих мужчин, стоявших у столиков. Он соскользнул вдоль стены и тяжело рухнул. Почтовые чиновники подняли его и усадили на стул. Его лицо стало серо-белым. Рот был открыт.

— Господи Боже мой! — сказала одна из проституток, полная брюнетка с гладко зачесанными волосами и низким лбом. — Пусть кто-нибудь принесет стакан воды.

Человек потерял сознание, и я удивился, что это почти никого не встревожило. Большинство присутствующих, едва посмотрев на него, тут же повернулись к тотализатору.

— Такое случается каждую минуту, — сказал Густав. — Безработные. Просаживают последние пфенниги. Поставят десять, хотят выиграть тысячу. Шальные деньги им подавай!

Кучер принес из табачного киоска стакан воды.

Черноволосая проститутка смочила платочек и провела им по лбу и вискам мужчины. Он вздохнул и неожиданно открыл глаза. В этом было что-то жуткое: совершенно безжизненное лицо и эти широко открытые глаза, — казалось, сквозь прорези застывшей черно-белой маски с холодным любопытством смотрит какое-то другое, неведомое существо.

Девушка взяла стакан и дала ему напиться. Она поддерживала его рукой, как ребенка. Потом взяла булочку со стола флегматичного обжоры с волосами ежиком.

— На, поешь… только не спеши… не спеши… палец мне откусишь… вот так, а теперь попей еще…

Человек за столом покосился вслед своей булочке, но ничего не сказал. Мужчина постепенно пришел в себя. Лицо его порозовело. Пожевав еще немного, он с трудом поднялся. Девушка помогла ему дойти до дверей. Затем быстро оглянулась и открыла сумочку.

— На, возьми… а теперь проваливай… тебе надо жрать, а не играть на скачках…

Один из сутенеров, стоявший к ней спиной, повернулся. У него было хищное птичье лицо и торчащие уши. Бросались в глаза лакированные

туфли и спортивное кепи.

— Сколько ты ему дала? — спросил он.

— Десять пфеннигов.

Он ударил ее локтем в грудь.

— Наверно, больше! В другой раз спросишь у меня.

— Полегче, Эде, — сказал другой.

Проститутка достала помаду и принялась красить губы.

— Но ведь я прав, — сказал Эде.

Проститутка промолчала.

Опять зазвонил телефон. Я наблюдал за Эде и не следил за сообщениями.

— Вот это называется повезло! — раздался внезапно громовой голос Густава. — Господа, это больше, чем везение, это какая-то сверхфантастика! — Он ударил меня по плечу. — Ты заграбастал сто восемьдесят марок! Понимаешь, чудак ты этакий? Твоя клячонка с этакой смешной кличкой всех обставила!

— Нет, правда? — спросил я.

Человек в фиолетовой рубашке, с изжеванной бразильской сигарой в зубах, скорчил кислую мину и взял мою квитанцию.

— Кто вам посоветовал?

— Я, — поспешно сказал Билинг с ужасно

униженной выжидающей улыбкой и, отвесив поклон, протиснулся ко мне. — Я, если позволите… мои связи…

— Ну, знаешь ли… — Шеф даже не посмотрел на него и выплатил мне деньги. На минуту в помещении тотализатора воцарилась полная тишина. Все смотрели на меня. Даже невозмутимый обжора и тот поднял голову.

Я спрятал деньги.

— Больше не ставьте! — шептал Билинг. — Больше не ставьте! — Его лицо пошло красными пятнами. Я сунул ему десять марок. Густав ухмыльнулся и шутливо ударил меня кулаком в грудь.

— Вот видишь, что я тебе сказал! Слушайся Густава, и будешь грести деньги лопатой!

Что же касается кобылы Джипси II, то я старался не напоминать о ней бывшему ефрейтору санитарной службы. Видимо, она и без того не выходила у него из головы.

— Давай пойдем, — сказал он, — для настоящих знатоков день сегодня неподходящий.

У входа кто-то потянул меня за рукав. Это был «Прилежная Лизхен».

— А на кого вы рекомендуете ставить на следующих скачках? — спросил он, почтительно

и алчно.

— Только на Танненбаум, — сказал я и пошел с Густавом в ближайший трактир, чтобы выпить за здоровье Синего Часа.

Через час у меня было на тридцать марок меньше. Не смог удержаться. Но я все-таки вовремя остановился. Прощаясь, Билинг сунул мне какой-то листок.

— Если вам что-нибудь понадобится! Или вашим знакомым. Я представитель прокатной конторы. — Это была реклама порнографических фильмов, демонстрируемых на дому. — Посредничаю также при продаже поношенной одежды! — крикнул он мне вслед. — За наличный расчет.

* * *

В семь часов я поехал обратно в мастерскую. «Карл» с ревущим мотором стоял во дворе.

— Хорошо, что ты пришел, Робби! — крикнул Кестер. — Мы как раз собираемся испытать его! Садись!

Вся наша фирма была в полной готовности. Отто повозился с «Карлом» и внес в него кое-какие улучшения и изменения, — через две недели предстояли горные гонки. Теперь Кестер хотел

совершить первый испытательный пробег.

Мы сели. Юпп в своих огромных спортивных очках устроился рядом с Кестером. У него был бы разрыв сердца, если бы мы не взяли его с собой. Ленц и я сели сзади.

«Карл» рванулся с места и помчался. Мы выехали из города и шли со скоростью сто сорок километров. Ленц и я крепко ухватились за спинки передних сидений. Ветер дул с такой силой, что, казалось, оторвет нам головы.

По обе стороны шоссе мелькали тополя, баллоны свистели, и чудесный рев мотора пронизывал нас насквозь, как дикий крик свободы. Через четверть часа мы увидели впереди черную точку. Она быстро увеличивалась. Это была довольно тяжелая машина, шедшая со скоростью восемьдесят — сто километров. Не обладая хорошей устойчивостью, она вихляла из стороны в сторону. Шоссе было довольно узким, и Кестеру пришлось сбавить скорость. Когда мы подошли на сто метров и уже собрались сигналить, мы вдруг заметили на боковой дороге справа мотоциклиста, тут же скрывшегося за изгородью у перекрестка.

— Проклятье! — крикнул Ленц. — Сейчас будет дело!

В ту же секунду на шоссе впереди черной машины появился мотоциклист. Он был метрах в двадцати от нее и, видимо, неверно оценив ее скорость, попытался прямо с поворота проскочить вперед. Машина взяла резко влево; но и мотоцикл подался влево. Тогда машина круто метнулась вправо, задев мотоцикл крылом. Мотоциклист перелетел через руль и плюхнулся на шоссе. Машину стало заносить, водитель не мог овладеть ею. Сорвав дорожный знак и потеряв при этом фару, она с грохотом врезалась в дерево.

Все произошло в несколько секунд. В следующее мгновение, на большой еще скорости, подъехали мы. Заскрежетали баллоны. Кестер пустил «Карла», как коня, между помятым мотоциклом и стоявшей боком, дымящейся машиной; он едва не задел левым колесом руку лежавшего мотоциклиста, а правым — задний бампер черной машины. Затем взревел мотор, и «Карл» снова вышел на прямую; взвизгнули тормоза, и все стихло.

— Чистая работа, Отто! — сказал Ленц.

Мы побежали назад и распахнули дверцы машины. Мотор еще работал. Кестер резко выдернул ключ зажигания. Пыхтение двигателя замерло, и мы услышали стоны.

Все стекла тяжелого лимузина разлетелись вдребезги. В полумраке кузова мы увидели окровавленное лицо женщины. Рядом с ней находился мужчина, зажатый между рулем и сиденьем. Сперва мы осторожно вытащили женщину и положили ее у обочины шоссе. Ее лицо было сплошь в порезах. В нем торчало несколько осколков. Кровь лилась беспрерывно. В еще худшем состоянии была правая рука. Рукав белого жакета стал ярко-красным от крови. Ленц разрезал его. Кровь хлынула струей, потом, сильно пульсируя, продолжала идти толчками. Вена была перерезана. Ленц скрутил жгутом носовой платок.

— Вытащите мужчину, с ней я сам справлюсь, — сказал он. — Надо поскорее добраться до ближайшей больницы.

Чтобы освободить мужчину, нужно было отвинтить спинку сиденья. К счастью, мы имели при себе необходимый инструмент, и дело пошло довольно быстро. Мужчина истекал кровью. Казалось, что у него сломано несколько ребер. Колено у него тоже было повреждено. Когда мы стали его вытаскивать, он со стоном упал нам на руки, но оказать ему помощь на месте мы не могли.

Кестер подал «Карла» задним ходом к месту аварии. Женщина, видя его приближение, судо-

рожно закричала от страха, хотя «Карл» двигался со скоростью пешехода. Мы откинули спинку одного из передних сидений и уложили мужчину. Женщину мы усадили сзади. Я стал возле нее на подножку. Ленц пристроился на другой подножке и придерживал раненого.

— Юпп, останься здесь и следи за машиной, — сказал Ленц.

— А куда девался мотоциклист? — спросил я.

— Смылся, пока мы работали, — сказал Юпп.

Мы медленно двинулись вперед. Неподалеку от следующей деревни находился небольшой дом. Проезжая мимо, мы часто видели это низкое белое здание на холме. Насколько мы знали, это была какая-то частная психиатрическая клиника для богатых пациентов. Здесь не было тяжелобольных. Мы полагали, что там, конечно, есть врач и перевязочная.

Мы въехали на холм и позвонили. Нам открыла очень хорошенькая сестра. Увидев кровь, она побледнела и побежала обратно. Вскоре появилась другая, намного старше первой.

— Сожалею, — сказала она сразу, — но мы не имеем возможности оказывать первую помощь при несчастных случаях. Вам придется поехать в больницу имени Вирхова. Это недалеко.

— Почти час езды отсюда, — заметил Кестер.

Сестра недружелюбно посмотрела на него.

— Мы не приспособлены для оказания такой помощи. К тому же, здесь нет врача…

— Тогда вы нарушаете закон, — заявил Ленц. — Частные лечебные учреждения вроде вашего обязаны иметь постоянного врача. Не позволите ли вы мне воспользоваться телефоном? Я хотел бы созвониться с полицией и редакцией газеты.

Сестра заколебалась.

— Думаю, вам незачем волноваться, — холодно заметил Кестер. — Ваш труд будет, безусловно, хорошо оплачен. Прежде всего нам нужны носилки. А врача вы, вероятно, сумеете разыскать.

Она все еще стояла в нерешительности.

— Согласно закону, — пояснил Ленц, — у вас должны быть носилки, а также достаточное количество перевязочных материалов…

— Да, да, — ответила она поспешно, явно подавленная таким детальным знанием законов. — Сейчас я пошлю кого-нибудь…

Она исчезла.

— Ну знаете ли! — возмутился я.

— То же самое может произойти и в городской больнице, — спокойно ответил Готтфрид. — Сначала деньги, затем всяческий бюрократизм, и

уже потом помощь.

Мы вернулись к машине и помогли женщине выйти. Она ничего не говорила и только смотрела на свои руки. Мы доставили ее в небольшое помещение на первом этаже. Потом нам дали носилки для мужчины. Мы принесли его к зданию клиники. Он стонал.

— Одну минутку… — произнес он с трудом. Мы посмотрели на него. Он закрыл глаза. — Я хотел бы, чтобы никто не узнал об этом.

— Вы ни в чем не виноваты, — ответил Кестер. — Мы все видели и охотно будем вашими свидетелями.

— Не в этом дело, — сказал мужчина. — Я по другим причинам не хочу, чтобы это стало известно. Вы понимаете?.. — Он посмотрел на дверь, через которую прошла женщина.

— Тогда вы в надежном месте, — заявил Ленц. — Это частная клиника. Остается только убрать вашу машину, пока полиция не обнаружила ее.

Мужчина привстал.

— Не смогли ли бы вы сделать и это для меня? Позвоните в ремонтную мастерскую и дайте мне, пожалуйста, ваш адрес. Я хотел бы… я вам так обязан…

Кестер сделал рукой отрицательный жест.

— Нет, — сказал мужчина, — я все-таки хочу знать ваш адрес.

— Все очень просто, — ответил ему Ленц. — Мы сами имеем мастерскую и ремонтируем такие машины, как ваша. Если вы согласны, мы можем ее немедленно отбуксировать и привести в порядок. Этим мы поможем вам, а в известной мере в себе.

— Охотно соглашаюсь, — сказал мужчина. — Вот вам мой адрес... я сам приеду за машиной, когда она будет готова, или пришлю кого-нибудь.

Кестер спрятал в карман визитную карточку, и мы внесли пострадавшего в дом. Между тем появился врач, еще совсем молодой человек. Он смыл кровь с лица женщины. Мы увидели глубокие порезы. Женщина привстала, опираясь на здоровую руку, и уставилась на сверкающую никелем чашу, стоявшую на перевязочном столе.

— О! — тихо произнесла она и с глазами, полными ужаса, откинулась назад.

* * *

Мы поехали в деревню, разыскали местного кузнеца и попросили у него стальной трос и приспособление для буксировки.

Мы предложили ему двадцать марок. Но кузнец был полон недоверия и хотел увидеть машину лично. Мы повезли его к месту аварии.

Юпп стоял посредине шоссе и махал рукой. Но и без него мы поняли, что случилось. У обочины мы увидели старый «мерседес» с высоким кузовом. Четверо мужчин собирались увезти разбитую машину.

— Мы поспели как раз вовремя, — сказал Кестер.

— Это братья Фогт, — пояснил нам кузнец. — Опасная банда. Живут вон там, напротив. Уж если на что наложили руку, — не отдадут.

— Посмотрим, — сказал Кестер.

— Я им уже все объяснил, господин Кестер, — прошептал Юпп. — Грязная конкуренция. Хотят ремонтировать машину в своей мастерской.

— Ладно, Юпп. Оставайся пока здесь.

Кестер подошел к самому высокому из четырех и заговорил с ним. Он сказал ему, что машину должны забрать мы.

— Есть у тебя что-нибудь твердое при себе? — спросил я Ленца.

— Только связка ключей, она мне понадобится самому. Возьми маленький гаечный ключ.

— Не стоит, — сказал я, — будут тяжелые повре-

ждения. Жаль, что на мне такие легкие туфли. Самое лучшее — бить ногами.

— Поможете нам? — спросил Ленц у кузнеца. — Тогда нас будет четверо против четверых.

— Что вы! Они завтра же разнесут мою кузню в щепы. Я сохраняю строгий нейтралитет.

— Тоже верно, — сказал Готтфрид.

— Я буду драться, — заявил Юпп.

— Посмей только! — сказал я. — Следи, не появится ли кто. Больше ничего.

Кузнец отошел от нас на некоторое расстояние, чтобы еще нагляднее продемонстрировать свой строгий нейтралитет.

— Голову не морочь! — услышали мы голос самого большого из братьев. — Кто первый пришел, тот и дело делает! — орал он на Кестера. — Все! А теперь сматывайтесь!

Кестер снова объяснил ему, что машина наша. Он предложил Фогту съездить в санаторий и справиться. Тот презрительно ухмыльнулся. Ленц и я подошли поближе.

— Вы что — тоже захотели попасть в больницу? — спросил Фогт.

Кестер ничего не ответил и подошел к автомобилю. Три остальных Фогта насторожились. Теперь они стояли вплотную друг к другу.

— Дайте-ка сюда буксирный трос, — сказал Кестер.

— Полегче, парень! — угрожающе произнес старший Фогт. Он был на голову выше Кестера.

— Очень сожалею, — сказал Кестер, — но машину мы увезем с собой.

Заложив руки в карманы, Ленц и я подошли еще ближе. Кестер нагнулся к машине. В ту же секунду Фогт ударом ноги оттолкнул его в сторону. Отто, ожидавший этого, мгновенно схватил Фогта за ноги и свалил на землю. Тотчас вскочив, Отто ударил в живот второго Фогта, замахнувшегося было ручкой домкрата. Тот покачнулся и тоже упал. В следующую секунду Ленц и я бросились на двух остальных. Меня сразу ударили в лицо. Удар был не страшен, но из носу пошла кровь, и мой ответный выпад оказался неудачным — кулак соскользнул с жирного подбородка противника; тут же меня стукнули в глаз, да так, что я повалился на Фогта, которого Отто сбил ударом в живот. Сбросив меня, Фогт вцепился мне в горло и прижал к асфальту. Я напряг шею, чтобы он не мог меня душить, и пытался вывернуться, оторваться от него, — тогда я мог бы оттолкнуть или ударить его ногами в живот. Но Ленц и его Фогт лежали на моих ногах, и я был

скован. Хоть я и напрягал шею, дышать мне было трудно, — воздух плохо проходил через окровавленный нос. Постепенно все вокруг начало расплываться, лицо Фогта дрожало перед моими глазами, как желе, в голове замелькали черные тени. Я терял сознание. И вдруг я заметил рядом Юппа; он стоял на коленях в кювете, спокойно и внимательно наблюдая за моими судорогами. Воспользовавшись какой-то секундой, когда я и мой противник замерли, он ударил Фогта молотком по запястью. При втором ударе Фогт отпустил меня и, охваченный бешенством, не вставая, попробовал достать Юппа рукой, но тот отскочил на полметра и с тем же невозмутимым видом нанес ему третий, увесистый удар по пальцам, а потом еще один по голове. Я приподнялся, навалился на Фогта и в свою очередь стал душить его. В эту минуту раздался звериный вопль и затем жалобный стон: «Пусти! Пусти!» Это был старший Фогт. Кестер оттянул ему руку за спину, скрутил и резко рванул ее вверх. Фогт опрокинулся лицом на землю. Кестер, придавив спину врага коленом, продолжал выкручивать ему руку. Одновременно он придвигал колено ближе к затылку. Фогт орал благим матом, но Кестер знал, что его надо разделать под орех, иначе он не утихомирится!

Одним рывком он вывихнул ему руку и только тогда отпустил его. Я осмотрелся. Один из братьев еще держался на ногах, но крики старшего буквально парализовали его.

— Убирайтесь, а то все начнется сначала, — сказал ему Кестер.

На прощанье я еще разок стукнул своего Фогта головой о мостовую и отошел. Ленц уже стоял около Кестера. Его пиджак был разорван. Из уголка рта текла кровь. Исход боя был еще неясен, потому что противник Ленца хотя и был избит в кровь, но готов был снова ринуться в драку. Решающим все же оказалось поражение старшего брата. Убедившись в этом, трое остальных словно оцепенели. Они помогли старшему подняться и пошли к своей машине. Уцелевший Фогт подошел к нам и взял свой домкрат. Он покосился на Кестера, словно тот был дьяволом во плоти. Затем «мерседес» затрещал и уехал.

Откуда-то опять появился кузнец.

— Это они запомнят, — сказал он. — Давно с ними такого не случалось. Старший однажды уже сидел за убийство.

Никто ему не ответил. Кестер вдруг весь передернулся.

— Какое свинство, — сказал он. Потом повер-

нулся: — Ну, давайте.

— Я здесь, — откликнулся Юпп, подтаскивая буксирный трос.

— Подойди сюда, сказал я. — С сегодняшнего дня ты унтер-офицер. Можешь начать курить сигары.

* * *

Мы подняли переднюю ось машины я укрепили ее тросами сзади, на кузове «Карла».

— Думаешь, это ему не повредит? — спросил я Кестера. — Наш «Карл» в конце концов скакун чистых кровей, а не вьючный осел.

Он покачал головой.

— Тут недалеко, да и дорога ровная.

Ленц сел в поврежденную машину, и мы медленно поехали. Я прижимал платок к носу и смотрел на солнце, садившееся за вечереющими полями. В них был огромный, ничем не колеблемый покой, и чувствовалось, что равнодушной природе безразлично, как ведет себя на этой земле злобный муравьиный рой, именуемый человечеством. Было гораздо важнее, что тучи теперь постепенно преобразились в золотые горы, что бесшумно надвигались с горизонта фиолетовые тени сумерек, что жаворонки прилетели из

бескрайнего небесного простора на поля, в свои борозды, и что постепенно опускалась ночь.

Мы въехали во двор мастерской. Ленц выбрался из разбитой машины и торжественно снял перед ней шляпу.

— Привет тебе, благословенная! Печальный случай привел тебя сюда, но я гляжу на тебя влюбленными глазами и полагаю, что, даже по самым скромным подсчетам, ты принесешь нам примерно три, а то и три с половиной тысячи марок. А теперь дайте мне большой стакан вишневой настойки и кусок мыла — я должен избавиться от следов, оставленных на мне семейством Фогт!

Мы выпили по стакану вишневки и сразу же приступили к основательной разборке поломанной машины. Не всегда бывало достаточно получить заказ на ремонт от владельца машины: представители страховых компаний нередко требовали передать заказ в одну из мастерских, с которыми у них были контракты. Поэтому мы всегда старались быстрее браться за ремонт. Чем больше мы успевали сделать до прихода страхового агента, тем лучше было для нас: наши расходы по ремонту оказывались настолько большими, что компания уже считала невыгодным для себя передавать машину в другую мастер-

скую. Мы бросили работу, когда стемнело.

— Ты еще выедешь сегодня на такси? — спросил я Ленца.

— Исключается, — ответил Готтфрид. — Ни в коем случае нельзя стремиться к чрезмерным заработкам. Хватит с меня сегодня и этого.

— А с меня не хватит, — сказал я. — Если ты не едешь, то поеду я. Поработаю с одиннадцати до двух около ночных ресторанов.

— Брось ты это, — улыбнулся Готтфрид. — Лучше поглядись в зеркало. Что-то не везет тебе в последнее время с носом. Ни один пассажир не сядет к шоферу с этакой свеклой на лице. Пойди домой в приложи компресс.

Он был прав. С таким носом действительно нельзя было ехать. Поэтому я вскоре простился и направился домой. По дороге я встретил Хассе и прошел с ним остаток пути вдвоем. Он как-то потускнел и выглядел совсем несчастным.

— Вы похудели, — сказал я.

Он кивнул и сказал, что теперь часто не ужинает. Его жена почти ежедневно бывает у каких-то старых знакомых и очень поздно возвращается домой. Он рад, что она нашла себе развлечение, но после работы ему не хочется самому готовить еду. Он, собственно, и не бывает особенно го-

лодным — слишком устает. Я покосился на его опущенные плечи. Может быть, он в самом деле верил в то, о чем рассказывал, но слушать его было очень тяжело. Его брак, вся эта хрупкая, скромная жизнь рухнула: не было мало-мальской уверенности в завтрашнем дне, недоставало каких-то жалких грошей. Я подумал, что есть миллионы таких людей, и вечно им недостает немного уверенности и денег. Жизнь чудовищно измельчала. Она свелась к одной только мучительной борьбе за убогое, голое существование. Я вспомнил о драке, которая произошла сегодня, думал о том, что видел в последние недели, обо всем, что уже сделал… А потом я подумал о Пат и вдруг почувствовал, что из всего этого ничего не выйдет. Я чересчур размахнулся, а жизнь стала слишком пакостной для счастья, оно не могло длиться, в него больше не верилось… Это была только передышка, но не приход в надежную гавань.

Мы поднялись по лестнице и открыли дверь. В передней Хассе остановился.

— Значит, до свидания…

— Поешьте что-нибудь, — сказал я.

Покачав головой, он виновато улыбнулся и пошел в свою пустую, темную комнату. Я по-

смотрел ему вслед. Затем зашагал по длинной кишке коридора. Вдруг я услышал тихое пение, остановился и прислушался. Это не был патефон Эрны Бениг, как мне показалось сначала, это был голос Пат. Она была одна в своей комнате и пела. Я посмотрел на дверь, за которой скрылся Хассе, затем снова подался вперед и продолжал слушать. Вдруг я сжал кулаки. Проклятье! Пусть все это тысячу раз только передышка, а не гавань, пусть это тысячу раз невероятно. Но ведь именно поэтому счастье было снова и снова таким ошеломляющим, непостижимым, бьющимся через край…

* * *

Пат не слышала, как я вошел. Она сидела на полу перед зеркалом и примеряла шляпку — маленький черный ток. На ковре стояла лампа. Комната была полна теплым, коричневато-золотистым сумеречным светом, и только лицо Пат было ярко освещено. Она придвинула к себе стул, с которого свисал шелковый лоскуток. На сиденье стула поблескивали ножницы.

Я замер в дверях и смотрел, как серьезно она мастерила свой ток. Она любила располагаться на полу, и несколько раз, приходя вечером домой,

я заставал ее заснувшей с книгой в руках где-нибудь в уголке, рядом с собакой.

И теперь собака лежала около нее и тихонько заворчала. Пат подняла глаза и увидела меня в зеркале. Она улыбнулась, и мне показалось, что весь мир стал светлее. Я прошел в комнату, опустился за ее спиной на колени и — после всей грязи этого дня — прижался губами к ее теплому, мягкому затылку.

Она подняла ток.

— Я переделала его, милый. Нравится тебе так?

— Совершенно изумительная шляпка, — сказал я.

— Но ведь ты даже не смотришь! Сзади я срезала поля, а спереди загнула их кверху.

— Я прекрасно все вижу, — сказал я, зарывшись лицом в ее волосы. — Шляпка такая, что парижские модельеры побледнели бы от зависти, увидев ее.

— Робби! — Смеясь, она оттолкнула меня. — Ты в этом ничего не смыслишь. Ты вообще когда-нибудь замечаешь, как я одета?

— Я замечаю каждую мелочь, — заявил я и подсел к ней совсем близко, правда стараясь прятать свой разбитый нос в тени.

— Вот как? А какое платье было на мне вчера

вечером?

— Вчера? — Я попытался вспомнить, но не мог.

— Я так я думала, дорогой мой! Ты ведь вообще почти ничего обо мне не знаешь.

— Верно, — сказал я, — но в этом и состоит вся прелесть. Чем больше люди знают друг о друге, тем больше у них получается недоразумений. И чем ближе они сходятся, тем более чужими становятся. Вот возьми Хассе и его жену: они знают друг о друге все, а отвращения между ними больше, чем между врагами.

Она надела маленький черный ток, примеряя его перед зеркалом.

— Робби, то, что ты говоришь, верно только наполовину.

— Так обстоит дело со всеми истинами, — возразил я. — Дальше полуправд нам идти не дано. На то мы н люди. Зная одни только полуправды, мы и то творим немало глупостей. А уж если бы знали всю правду целиком, то вообще не могли бы жить.

Она сняла ток и отложила его в сторону. Потом повернулась и увидела мой нос.

— Что такое? — испуганно спросила она.

— Ничего страшного. Он только выглядит так. Работал под машиной, и что-то свалилось мне

прямо на нос.

Она недоверчиво посмотрела на меня:

— Кто тебя знает, где ты опять был! Ты ведь мне никогда ни о чем не рассказываешь. Я знаю о тебе так же мало, как и ты обо мне.

— Это к лучшему, — сказал я.

Она принесла тазик с водой и полотенце и сделала мне компресс. Потом еще раз осмотрела мое лицо.

— Похоже на удар. И шея исцарапана. Милый, с тобою, конечно, случилось какое-то приключение.

— Сегодня самое большое приключение для меня еще впереди, — сказал я.

Она изумленно посмотрела на меня.

— Так поздно, Робби? Что ты еще надумал?

— Остаюсь здесь! — сказал я, бросил компресс и обнял ее. — Я остаюсь на весь вечер здесь, вдвоем с тобой.

XX

Август был теплым и ясным, и в сентябре погода оставалась почти летней. Но в конце месяца начались дожди, над городом непрерывно висели низкие тучи, с крыш капало, задули резкие осенние ветры, и однажды ранним воскресным утром, когда я проснулся и подошел к окну, я увидел, что листва на кладбищенских деревьях пожелтела и появились первые обнаженные ветви.

Я немного постоял у окна. В последние месяцы, с тех пор как мы возвратились из поездки к морю, я находился в довольно странном состоянии: все время, в любую минуту я думал о том, что осенью Пат должна уехать, но я думал об этом так, как мы думаем о многих вещах, — о том, что годы уходят, что мы стареем и что нельзя жить вечно. Повседневные дела оказывались сильнее, они вытесняли все мысли, и, пока Пат была рядом, пока деревья еще были покрыты густой зеленой листвой, такие слова, как осень, отъезд и разлука, тревожили не больше, чем бледные тени на горизонте, и заставляли меня еще острее чувствовать счастье близости, счастье все еще продолжающейся жизни вдвоем.

Я смотрел на кладбище, мокнущее под дождем, на могильные плиты, покрытые грязноватыми коричневыми листьями. Туман, это бледное животное, высосал за ночь зеленый сок из листьев. Теперь они свисали с ветвей поблекшие и обессиленные, каждый порыв ветра срывал все новые и новые, гоня их перед собой, — и как острую, режущую боль я вдруг впервые почувствовал, что разлука близка, что вскоре она станет реальной, такой же реальной, как осень, прокравшаяся сквозь кроны деревьев и оставившая на них свои желтые следы.

* * *

В смежной комнате все еще спала Пат. Я подошел к двери и прислушался. Она спала спокойно, не кашляла. На минуту меня охватила радостная надежда, — я представил себе: сегодня или завтра позвонит Жаффе и скажет, что ей не надо уезжать, — но потом вспомнились ночи, когда я слышал ее тихое свистящее дыхание, приглушенный хрип, то мерно возникавший, то исчезавший, как звук далекой тонкой пилы, — и надежда погасла так же быстро, как и вспыхнула.

Я вернулся к окну и снова стал смотреть на дождь. Потом присел к письменному столу и при-

нялся считать деньги. Я прикидывал, на сколько их хватит для Пат, окончательно расстроился и спрятал кредитки.

Я посмотрел на часы. Было около семи. До пробуждения Пат оставалось еще по крайней мере два часа. Я быстро оделся, чтобы успеть еще немного поездить. Это было лучше, чем торчать в комнате наедине со своими мыслями.

Я пошел в мастерскую, сел в такси и медленно поехал по улицам. Прохожих было немного. В рабочих районах тянулись длинные ряды доходных домов-казарм. Неприютные и заброшенные, они стояли под дождем, как старые скорбные проститутки. Штукатурка на грязных фасадах обвалилась, в сером утреннем свете безрадостно поблескивали мутные стекла окон, а стены зияли множеством желтовато-серых дыр, словно изъеденные язвами.

Я пересек старую часть города и подъехал к собору. Остановив машину у заднего входа, я вышел. Сквозь тяжелую дубовую дверь приглушенно доносились звуки органа. Служили утреннюю мессу, и по мелодии я понял, что началось освящение святых даров, — до конца богослужения оставалось не менее двадцати минут.

Я вошел в сад. Он тонул в сероватом свете. Розы

еще цвели, с кустов стекали капли дождя. Мой дождевик был довольно просторен, и я мог удобно прятать под ним срезанные ветки. Несмотря на воскресный день, в саду было безлюдно, и я беспрепятственно отнес в машину охапку роз, затем вернулся за второй. Когда она уже была под плащом, я услышал чьи-то шаги. Крепко прижимая к себе букет, я остановился перед одним из барельефов крестного пути и сделал вид, что молюсь.

Человек приблизился, но не прошел мимо, а остановился. Почувствовав легкую испарину, я углубился в созерцание барельефа, перекрестился и медленно пошел к другому изображению, чуть поодаль от галереи. Шаги последовали за мной и вновь замерли. Я не знал, что делать. Сразу идти дальше я не мог. Надо было остаться на месте хотя бы столько, сколько нужно, чтобы повторить десять раз «Богородице Дево, радуйся!» и один раз «Отче наш», иначе я бы выдал себя. Поэтому я не двигался, но, желая понять, в чем дело, осторожно посмотрел в сторону с выражением достойного недоумения, словно было оскорблено мое религиозное чувство.

Я увидел приветливое круглое лицо священника и облегченно вздохнул. Зная, что он не

помешает мне молиться, я уже считал себя спасенным, но тут я заметил, что стою перед последним этапом крестного пути. Как бы медленно я ни молился, через несколько минут все должно было кончиться. Этого он, видимо, и ждал. Затягивать дело было бесцельно. Поэтому, напустив на себя безучастный вид, я медленно направился к выходу.

— Доброе утро, — сказал священник. — Хвала Иисусу Христу.

— Во веки веков аминь! — ответил я. Таково было церковное приветствие католиков.

— Редко кого увидишь здесь так рано, — сказал он приветливо, посмотрев на меня детскими голубыми глазами.

Я что-то пробормотал.

— К сожалению, это стало редкостью, — продолжал он озабоченно. — А мужчин, молящихся у крестного пути, вообще почти никогда не видно. Вот почему я так обрадовался и заговорил с вами. У вас, конечно, какая-нибудь особая просьба к Богу, если вы пришли так рано да еще в такую погоду…

«Да, чтобы ты поскорее шел отсюда», — подумал я и с облегчением кивнул годовой. Он, видимо, не заметил, что у меня под плащом цветы. Теперь

нужно было поскорее избавиться от него, не возбуждая подозрений. Он снова улыбнулся мне.

— Я собираюсь служить мессу и включу в свою молитву и вашу просьбу.

— Благодарю вас, — сказал я изумленно и растерянно.

— За упокой души усопшей? — спросил он.

На мгновение я пристально уставился на него и почувствовал, что букет выскользает у меня.

— Нет, — поспешно сказал я, крепче прижимая руку к плащу.

Беззлобно и внимательно смотрел он на меня ясными глазами.

По-видимому, он ждал, что я объясню ему суть моей просьбы к Богу. Но в эту минуту ничего путного не пришло мне в голову, да к тому же мне и не хотелось врать ему больше, чем это было необходимо. Поэтому я молчал.

— Значит, я буду молиться о помощи неизвестному, попавшему в беду, — сказал он наконец.

— Да. Я очень вам благодарен.

Он улыбнулся и махнул рукой.

— Не надо благодарить. Все в руках Божьих. — Он смотрел на меня еще с минуту, чуть вытянув шею я наклонив голову вперед, и мне показалось, будто его лицо дрогнуло. — Главное, верьте, —

сказал он. — Небесный отец помогает. Он помогает всегда, даже если иной раз мы в не понимаем этого. — Потом он кивнул мне и пошел.

Я смотрел ему вслед, пока за ним не захлопнулась дверь. «Да, — подумал я, — если бы все это было так просто! Он помогает, он всегда помогает! Но помог ли он Бернарду Визе, когда тот лежал в Гоутхолстерском лесу с простреленным животом и кричал, помог ли Катчинскому, павшему под Гандзееме, оставив больную жену и ребенка, которого он так и не увидел, помог ли Мюллеру, и Лееру, и Кеммериху, помог ли маленькому Фридману, и Юргенсу, и Бергеру, и миллионам других? Проклятье! Слишком много крови было пролито на этой земле, чтобы можно было сохранить веру в небесного Отца!»

* * *

Я привез цветы домой, потом пригнал машину в мастерскую в пошел обратно. Из кухни доносился аромат только что заваренного кофе и слышалась возня Фриды. Как ни странно, но от запаха кофе я повеселел. Еще со времен войны я знал: важное, значительное не может успокоить нас… Утешает всегда мелочь, пустяк…

Едва за мной щелкнул замок входной двери,

как в коридор выскочил Хассе с желтым опухшим лицом и красными утомленными глазами. Мне показалось, что он спал не раздеваясь. Когда он увидел, что это я, на его лице появилось выражение беспредельного разочарования.

— Ах, это вы… — пробормотал он.

Я удивленно посмотрел на него.

— Разве вы ждали так рано кого-нибудь?

— Да, — сказал он тихо. — Мою жену. Она еще не пришла. Вы не видели ее?

Я покачал головой.

— Я ушел час назад.

Он кивнул.

— Нет, я только подумал… ведь могло случиться, что вы ее видели.

Я пожал плечами.

— Вероятно, она придет позднее. Вы ей не звонили?

Он посмотрел на меня с какой-то робостью.

— Вчера вечером она ушла к своим знакомым. Не знаю точно, где они живут.

— А вы знаете их фамилию? Тогда можно справиться по телефону.

— Я уже пробовал. В справочном бюро такой фамилии не знают.

Он посмотрел на меня, как побитая собака.

— Она говорила о них всегда так таинственно, а стоило мне спросить, как она начинала злиться. Я и перестал. Я был рад, что ей есть куда пойти. Она всегда говорила, что я хочу лишить ее даже такой маленькой радости.

— Может быть, она еще придет, — сказал я. — Я даже уверен, что она скоро придет. А вы не позвонили на всякий случай в скорую помощь и в полицию?

— Всюду звонил. Там ничего не известно.

— Ну что ж, — сказал я, — тогда тем более не надо волноваться. Может быть, вчера вечером она плохо себя почувствовала и осталась ночевать. Ведь такие вещи часто случаются. Через час-другой она, вероятно, будет здесь.

— Вы думаете?

Отворилась дверь кухни, и оттуда вышла Фрида с подносом в руках.

— Для кого это? — спросил я.

— Для фрейлейн Хольман, — ответила она, раздражаясь от одного моего вида.

— Разве она уже встала?

— Надо думать, что встала, — ответила Фрида, готовая сцепиться со мной, — иначе она, наверно, не позвонила бы мне.

— Благослови вас Господь, Фрида, — сказал

я. — По утрам вы иной раз просто обаятельны! Не могли бы вы заставить себя приготовить кофе и для меня?

Она что-то промычала и пошла по коридору, презрительно вертя задом. Это она умела. Никогда еще я не видел женщину, которая делала бы это так выразительно.

Хассе стоял в ждал. Мне вдруг стало стыдно, когда, обернувшись, я увидел его рядом, такого тихого и покорного.

— Через час или два вы успокоитесь, — сказал я и протянул ему руку, но он не взял ее, а только странно посмотрел на меня.

— Мы не могли бы ее поискать? — спросил он тихо.

— Но вы же не знаете, где она.

— А может быть, все-таки стоит ее поискать, — повторил он. — Вот если бы взять вашу машину… Я, конечно, заплачу, — быстро добавил он.

— Не в этом дело, — ответил я. — Просто это совершенно бесцельно. Куда мы, собственно, поедем? К тому же, в такое время едва ли она будет на улице.

— Не знаю, — сказал он все так же тихо. — Я только думаю, что стоило бы ее поискать.

Прошла Фрида с пустым подносом.

— Мне нужно идти, — сказал я, — и мне кажется, что вы зря волнуетесь. Я, конечно, охотно оказал бы вам такую услугу, но фрейлейн Хольман должна скоро уехать, и мне хотелось бы побыть с ней сегодня. Возможно, это ее последнее воскресенье здесь. Вы меня, конечно, понимаете.

Он кивнул.

Я жалел его, но мне не терпелось пойти к Пат.

— Если вам все-таки хочется немедленно поехать, возьмите любое такси, — продолжал я, — но не советую. Лучше подождите еще немного, — тогда я позвоню моему другу Ленцу, и он поедет с вами на поиски.

Мне казалось, что он совсем не слушает меня.

— Вы не видели ее сегодня утром? — вдруг спросил он.

— Нет, — ответил я удивленно. — Иначе я бы уже давно сказал вам об этом.

Он снова кивнул и с совершенно отсутствующим видом, не проронив больше ни слова, ушел в свою комнату.

* * *

Пат успела зайти ко мне и нашла розы. Когда я вошел в ее комнату, она рассмеялась.

— Робби, — сказала она, — я все-таки довольно

наивна. Только от Фриды я узнала, что свежие розы в воскресенье, да еще в этакую рань, несомненно пахнут воровством. Вдобавок она мне сказала, что этот сорт не найти ни в одном из ближайших цветочных магазинов.

— Думай что хочешь, — ответил я. — Главное, что они доставляют тебе радость.

— Теперь еще большую, чем когда-либо, милый. Ведь ты добыл их, подвергая себя опасности!

— Да еще какой опасности! — Я вспомнил священника. — Но почему ты так рано поднялась?

— Не могла больше спать. Кроме того, я видела сон. Ничего хорошего.

Я внимательно посмотрел на нее. Она выглядела утомленной, под глазами были синие круги.

— С каких пор ты видишь плохие сны? — спросил я. — До сих пор я считал это своей специальностью.

Она покачала головой.

— Ты заметил, что на дворе уже осень?

— У нас это называется бабьим летом, — возразил я. — Ведь еще цветут розы. Просто идет дождь, — вот все, что я вижу.

— Идет дождь. Слишком долго он идет, любимый. Иногда по ночам, когда я просыпаюсь, мне кажется, что я похоронена под этим нескончае-

мым дождем.

— По ночам ты должна приходить ко мне, — заявил я. — Тогда у тебя не будет таких мыслей. Наоборот, так хорошо быть вместе, когда темно и за окном дождь.

— Может быть, — тихо сказала она и прижалась ко мне.

— Я, например, очень люблю, когда в воскресенье идет дождь, — сказал я. — Как-то больше чувствуешь уют. Мы вместе, у нас теплая, красивая комната, и впереди свободный день, — по-моему, это очень много.

Ее лицо просветлело.

— Да, нам хорошо, правда?

— По-моему, нам чудесно. Вспоминаю о том, что было раньше. Господи! Никогда бы не подумал, что мне еще будет так хорошо.

— Как приятно, когда ты так говоришь. Я сразу всему верю. Говори так почаще.

— Разве я не часто говорю с тобой так?

— Нет.

— Может быть, — сказал я. — Мне кажется, что я недостаточно нежен. Не знаю почему, но я просто не умею быть нежным. А мне бы очень хотелось…

— Тебе это не нужно, милый, я и так понимаю

тебя. Но иногда все-таки хочется слышать такие слова.

— С сегодняшнего дня я их стану говорить всегда. Даже если самому себе буду казаться глупым.

— Ну уж и глупым! — ответила она. — В любви не бывает глупостей.

— Слава Богу, нет, — сказал я. — А то просто страшно подумать, во что можно было бы превратиться.

Мы позавтракали вместе, потом Пат снова легла в постель. Так предписал Жаффе.

— Ты останешься? — спросила она, уже укрывшись одеялом.

— Если хочешь, — сказал я.

— Я бы хотела, но это необязательно…

Я подсел к ее кровати.

— Ты меня не поняла. Я просто вспомнил: раньше ты не любила, чтобы на тебя смотрели, когда ты спишь.

— Раньше — да… но теперь я иногда боюсь… оставаться одна…

— И со мной это бывало, — сказал я. — В госпитале, после операции. Тогда я все боялся уснуть ночью. Все время бодрствовал и читал или думал о чем-нибудь и только на рассвете засыпал. Это

пройдет.

Она прижалась щекой к моей руке.

— И все-таки страшно, Робби, боишься, что уже не вернешься…

— Да, — сказал я. — А потом возвращаешься, и все проходит. Ты это видишь по мне. Всегда возвращаешься, хотя необязательно на то же место.

— В том-то и дело, — ответила она, закрывая глаза. — Этого я тоже боюсь. Но ведь ты следишь за мной, правда?

— Слежу, — сказал я и провел рукой по ее лбу и волосам, которые тоже казались мне усталыми.

Она стала дышать глубже и слегка повернулась на бок. Через минуту она крепко спала.

Я опять уселся у окна и смотрел на дождь. Это был сплошной серый ливень, и наш дом казался островком в его мутной бесконечности. Я был встревожен. Редко случалось, чтобы с утра Пат была печальна. Еще на днях она была оживленной и радостной, и, когда проснется, может быть, все будет по-другому. Я знал — она много думает о своей болезни, ее состояние еще не улучшилось, — это мне сказал Жаффе; но на своем веку я видел столько мертвых, что любая болезнь была для меня все-таки жизнью и надеждой; я знал — можно умереть от ранения, этого я навидался,

но мне всегда трудно было поверить, что болезнь, при которой человек с виду невредим, может оказаться опасной. Вот почему, глядя на Пат, я всегда быстро преодолевал тревогу и растерянность.

* * *

В дверь постучали. У порога стоял Хассе. Приложив палец к губам, я тихонько вышел в коридор.

— Простите меня, — с трудом вымолвил он.

— Зайдемте ко мне, — предложил я и отворил дверь своей комнаты.

Хассе остался в коридоре. Казалось, что его лицо стало меньше. Оно было бело как мел.

— Я только хотел вам сказать, что нам уже незачем ехать, — проговорил он, почти не шевеля губами.

— Вы можете войти ко мне — фрейлейн Хольман спит, у меня есть время, — снова предложил я.

В руке у него было письмо. Он выглядел как человек, в которого только что выстрелили, но он еще не верит этому и не чувствует боли, он ощутил пока только толчок.

— Лучше прочитайте сами, — сказал он и дал мне письмо.

— Вы уже пили кофе? — спросил я.

Он покачал головой.

— Читайте письмо…

— Да, а вы пока попейте кофе…

Я вышел и попросил Фриду принести кофе. Потом я прочитал письмо. Оно было от фрау Хассе — всего несколько строк. Она сообщала, что хочет получить еще кое-что от жизни и поэтому решила не возвращаться к нему. Есть человек, понимающий ее лучше, чем Хассе. Предпринимать что-либо бесцельно, — она ни в коем случае не вернется. Так будет, вероятно, лучше и для него. Ему больше не придется тревожиться, хватит или не хватит жалованья. Часть своих вещей она уже взяла; за остальными пришлет кого-нибудь при случае.

Это было деловое и ясное письмо. Я сложил его и вернул Хассе. Он смотрел на меня так, словно все зависело от меня.

— Что же делать? — спросил он.

— Сперва выпейте эту чашку кофе и съешьте что-нибудь, — сказал я. — Не стоит суетиться без толку и терять голову. А потом подумаем. Вам надо постараться успокоиться, и тогда вы примете лучшее решение.

Он послушно выпил кофе. Его рука дрожала, и он не мог есть.

— Что же делать? — опять спросил он.

— Ничего, — сказал я. — Ждать.

Он сделал неопределенное движение.

— А что бы вы хотели сделать? — спросил я.

— Не знаю. Не могу этого понять.

Я молчал. Было трудно сказать ему что-нибудь. Его можно было только успокоить, остальное он должен был решить сам.

Мне думалось, что он больше не любит эту женщину; но он привык к ней, а для бухгалтера привычка могла быть сильнее любви.

Через некоторое время он заговорил, сбивчиво и путанно; чувствовалось, что он окончательно потерял всякую опору. Потом он стал осыпать себя упреками. Он не сказал ни слова против своей жены и только пытался внушить себе, что сам виноват во всем.

— Хассе, — сказал я, — все, что вы говорите, — чушь. В этих делах никогда не бывает виновных. Жена ушла от вас, а не вы от нее. Вам не в чем упрекать себя.

— Нет, я виноват, — ответил он и посмотрел на свои руки, — Я ничего не добился в жизни!

— Чего вы не добились?

— Ничего. А раз не добился, значит виноват.

Я удивленно посмотрел на маленькую жалкую

фигурку в красном плюшевом кресле.

— Господин Хассе, — сказал я спокойно, — это может быть в крайнем случае причиной, но не виной. Кроме того, вы все-таки кое-чего добились.

Он резко покачал головой.

— Нет, нет, это я довел ее до безумия своей вечной боязнью увольнения. Ничего я не добился! Что я мог ей предложить? Ничего…

Он впал в тупое раздумье. Я поднялся и достал коньяк.

— Выпьем немного, — сказал я, — Ведь еще ничто не потеряно.

Он поднял голову.

— Еще ничто не потеряно, — повторил я. — Человека теряешь, только когда он умирает.

Он торопливо кивнул, взял рюмку, но поставил ее обратно, не отпив ни глотка.

— Вчера меня назначили начальником канцелярии, — тихо сказал он. — Теперь я главный бухгалтер и начальник канцелярии. Управляющий сказал мне об этом вечером. Я получил повышение, потому что в последние месяцы постоянно работал сверхурочно. Они слили две канцелярии в одну. Другого начальника уволили. Мое жалованье повышено на пятьдесят марок. — Вдруг он с отчаянием взглянул на меня. — А как

вы думаете, она бы осталась, если бы знала об этом?

— Нет, — сказал я.

— На пятьдесят марок больше. Я бы отдавал их ей. Она могла бы каждый месяц покупать себе что-нибудь новое. И ведь на книжке у меня лежит тысяча двести марок! Зачем же я их откладывал? Думал, пусть будет для нее, если наши дела пошатнутся. И вот она ушла… потому что я был слишком бережлив.

Он опять уставился в одну точку.

— Хассе, — сказал я, — мне думается, что все это не так уж связано одно с другим, как вам кажется. Не стоит копаться в этом. Надо перебороть себя. Пройдет несколько дней, и вам станет яснее, что делать. Может быть, ваша жена вернется сегодня вечером или завтра утром. Ведь она думает об этом так же, как и вы.

— Она больше не придет, — ответил он.

— Этого вы не знаете.

— Если бы ей можно было сказать, что у меня теперь большее жалованье и что мы можем взять отпуск в совершить путешествие на сэкономленные деньги…

— Все это вы ей скажете. Так просто люди не расстаются.

Меня удивило, что он совершенно не думал о другом мужчине. Видимо, еще не понимал этого; он думал только о том, что его жена ушла. Все остальное было пока туманным, неосознанным. Мне хотелось сказать ему, что через несколько недель он, возможно, будет рад ее уходу, но при его состоянии это было бы излишней грубостью с моей стороны. Для оскорбленного чувства правда всегда груба и почти невыносима.

Я посидел с ним еще немного — только чтобы дать ему выговориться. Но я ничего не добился. Он продолжал вертеться в заколдованном кругу, хотя мне показалось, что он немного успокоился. Он выпил рюмку коньяку. Потом меня позвала Пат.

— Одну минутку, — сказал я и встал.

— Да, — ответил он, как послушный ребенок, и тоже поднялся.

— Побудьте здесь, я сейчас…

— Простите…

— Я сейчас же вернусь, — сказал я и пошел к Пат.

Она сидела в кровати, свежая и отдохнувшая.

— Я чудесно спала, Робби! Вероятно, уже полдень.

— Ты спала только час, — сказал я и показал

ей часы.

Она посмотрела на циферблат.

— Тем лучше, значит у нас масса времени впереди. Сейчас я встану.

— Хорошо. Через десять минут я приду к тебе.

— У тебя гости?

— Хассе, — сказал я. — Но это ненадолго.

Я пошел обратно, но Хассе уже не было. Я открыл дверь в коридор. И там было пусто. Прошел по коридору и постучал к нему. Он не ответил. Открыв дверь, я увидел его перед шкафом. Ящики были выдвинуты.

— Хассе, — сказал я, — примите снотворное, ложитесь в постель и прежде всего выспитесь. Вы слишком возбуждены.

Он медленно повернулся ко мне.

— Быть всегда одному, каждый вечер! Всегда торчать здесь, как вчера! Подумать только…

Я сказал ему, что все изменится и что есть много людей, которые по вечерам одиноки. Он проговорил что-то неопределенное. Я еще раз сказал ему, чтобы он ложился спать, — может быть, ничего особенного не произошло и вечером его жена еще вернется. Он кивнул и протянул мне руку.

— Вечером загляну к вам еще раз, — сказал я и с чувством облегчения ушел.

* * *

Перед Пат лежала газета.

— Робби, можно пойти сегодня утром в музей, — предложила она.

— В музей? — спросил я.

— Да. На выставку персидских ковров. Ты, наверно, не часто бывал в музеях?

— Никогда! — ответил я. — Да и что мне там делать?

— Вот тут ты прав, — сказала она, смеясь.

— Пойдем. Ничего страшного в этом нет. — Я встал. — В дождливую погоду не грех сделать что-нибудь для своего образования.

Мы оделись и вышли. Воздух на улице был великолепен. Пахло лесом и сыростью. Когда мы проходили мимо «Интернационаля», я увидел сквозь открытую дверь Розу, сидевшую у стойки. По случаю воскресенья она пила шоколад. На столике лежал небольшой пакет. Видимо, она собиралась после завтрака, как обычно, навестить свою девочку. Я давно не заходил в «Интернациональ», и мне было странно видеть Розу, невозмутимую, как всегда. В моей жизни так много переменилось, что мне казалось, будто везде все должно было стать иным.

Мы пришли в музей. Я думал, что там будет совсем безлюдно, но, к своему удивлению, увидел очень много посетителей. Я спросил у сторожа, в чем дело.

— Ни в чем, — ответил он, — так бывает всегда в дни, когда вход бесплатный.

— Вот видишь, — сказала Пат. — Есть еще масса людей, которым это интересно.

Сторож сдвинул фуражку на затылок.

— Ну, это, положим, не так, сударыня. Здесь почти все безработные. Они приходят не ради искусства, а потому, что им нечего делать. А тут можно хотя бы посмотреть на что-нибудь.

— Вот такое объяснение мне более понятно, — сказал я.

— Это еще ничего, — добавил сторож. — Вот зайдите как-нибудь зимой! Битком набито. Потому что здесь топят.

Мы вошли в тихий, несколько отдаленный от других зал, где были развешаны ковры. За высокими окнами раскинулся сад с огромным платаном. Вся листва была желтой, и поэтому неяркий свет в зале казался желтоватым. Экспонаты поражали роскошью. Здесь были два ковра шестнадцатого века с изображениями зверей, несколько исфаханских ковров, польские шелко-

вые ковры цвета лососины с изумрудно-зеленой каймой. Время и солнце умерили яркость красок, и ковры казались огромными сказочными пастелями. Они сообщали залу особую гармонию, которую никогда не могли бы создать картины. Жемчужно-серое небо, осенняя листва платана за окном — все это тоже походило на старинный ковер и как бы входило в экспозицию.

Побродив здесь немного, мы пошли в другие залы музея. Народу прибавилось, и теперь было совершенно ясно, что многие здесь случайно. С бледными лицами, в поношенных костюмах, заложив руки за спину, они несмело проходили по залам, и их глаза видели не картины эпохи Ренессанса и спокойно-величавые скульптуры античности, а нечто совсем другое. Многие присаживались на диваны, обитые красным бархатом. Сидели усталые, но по их позам было видно, что они готовы встать и уйти по первому знаку служителя.

Они не совсем понимали, как это можно бесплатно отдыхать на мягких диванах. Они не привыкли получать что бы то ни было даром.

Во всех залах было очень тихо. Несмотря на обилие посетителей, почти не слышно было разговоров. И все же мне казалось, что я присутствую

при какой-то титанической борьбе, неслышной борьбе людей, которые повержены, но еще не желают сдаться. Их вышвырнули за борт, лишили работы, оторвали от профессии, отняли все, к чему они стремились, и вот они пришли в эту тихую обитель искусства, чтобы не впасть в оцепенение, спастись от отчаяния. Они думали о хлебе, всегда только о хлебе и о работе; но они приходили сюда, чтобы хоть на несколько часов уйти от своих мыслей. Волоча ноги, опустив плечи, они бесцельно бродили среди чеканных бюстов римлян, среди вечно прекрасных белых изваяний эллинок, — какой потрясающий, страшный контраст! Именно здесь можно было попять, что смогло и чего не смогло достичь человечество в течение тысячелетий: оно создало бессмертные произведения искусства, но не сумело дать каждому из своих собратьев хотя бы вдоволь хлеба.

* * *

После обеда мы пошли в кино. Когда мы возвращались домой, небо уже прояснилось. Оно было яблочно-зеленым и очень прозрачным. Улицы и магазины были освещены. Мы медленно шли и по дороге разглядывали витрины.

Я остановился перед ярко освещенными стек-

лами крупного мехового магазина. Вечера стали прохладными. В витринах красовались пышные связки серебристых чернобурок и теплые зимние шубки. Я посмотрел на Пат; она все еще носила свой легкий меховой жакет. Это было явно не по сезону.

— Будь я героем фильма, я вошел бы сюда и подобрал бы тебе шубку, — сказал я.

Она улыбнулась.

— Какую же?

— Вот! — Я выбрал шубку, показавшуюся мне самой теплой.

Она рассмеялась.

— У тебя хороший вкус, Робби. Это очень красивая канадская норка.

— Хочешь ее?

Она взглянула на меня:

— А ты знаешь, милый, сколько она стоит?

— Нет, — сказал я, — я и не хочу этого знать. Я лучше буду думать о том, как стану дарить тебе все, что только захочу. Почему другие могут делать подарки любимой, а я нет?

Пат внимательно посмотрела на меня.

— Робби, но я вовсе не хочу такой шубы.

— Нет, — заявил я, — ты ее получишь! Ни слова больше об этом. Завтра мы за ней пошлем.

— Спасибо, дорогой, — сказала она с улыбкой и поцеловала меня тут же на улице. — А теперь твоя очередь. — Мы остановились перед магазином мужских мод. — Вот этот фрак! Он подойдет к моей норке. И вот этот цилиндр тоже. Интересно, как бы ты выглядел в цилиндре?

— Как трубочист. — Я смотрел на фрак. Он был выставлен в витрине, декорированной серым бархатом. Я внимательнее оглядел витрину. Именно в этом магазине я купил себе весной галстук, в тот день, когда впервые был вдвоем с Пат и напился. Что-то вдруг подступило к горлу, я и сам не знал, почему. Весной… Тогда я еще ничего не знал обо всем…

Я взял узкую ладонь Пат и прижал к своей щеке. Потом я сказал:

— К шубке надо еще что-нибудь. Одна только норка — все равно что автомобиль без мотора. Два или три вечерних платья…

— Вечерние платья… — подхватила она, останавливаясь перед большой витриной. — Вечерние платья, правда… от них мне труднее отказаться.

Мы подыскали три чудесных платья. Пат явно оживилась от этой игры. Она отнеслась к ней совершенно серьезно, — вечерние платья были

ее слабостью. Мы подобрали заодно все, что было необходимо к ним, и она все больше загоралась. Ее глаза блестели. Я стоял рядом с ней, слушал ее, смеялся и думал, до чего же страшно любить женщину и быть бедным.

— Пойдем, — сказал я наконец в порыве какого-то отчаянного веселья, — уж если делать что-нибудь, так до конца! — Перед нами была витрина ювелирного магазина. — Вот этот изумрудный браслет! И еще вот эти два кольца и серьги! Не будем спорить! Изумруды — самые подходящие камни для тебя.

— За это ты получишь эти платиновые часы и жемчужины для манишки.

— А ты — весь магазин. На меньшее я не согласен…

Она засмеялась и, шумно дыша, прислонилась ко мне.

— Хватит, дорогой, хватит! Теперь купим себе еще несколько чемоданов, пойдем в бюро путешествий, а потом уложим вещи и уедем прочь из этого города, от этой осени, от этого дождя…

«Да, — подумал я. — Господи, конечно да, и тогда она скоро выздоровеет!»

— А куда? — спросил я. — В Египет? Или еще дальше? В Индию и Китай?

— К солнцу, милый, куда-нибудь в солнцу, на юг, к теплу. Где пальмовые аллеи, и скалы, и белые домики у моря, и агавы. Но, может быть, и там дождь. Может быть, дождь везде.

— Тогда мы просто поедем дальше, — сказал я. — Туда, где нет дождей. Прямо в тропики, в южные моря.

Мы стояли перед яркой витриной бюро путешествий «Гамбург — Америка» и смотрели на модель парохода. Он плыл по синим картонным волнам, а за ним мощно поднималась фотографическая панорама небоскребов Манхэттена. В других витринах были развешаны большие пестрые карты с красными линиями пароходных маршрутов.

— И в Америку тоже поедем, — сказала Пат. — В Кентукки, и в Техас, и в Нью-Йорк, и в Сан-Франциско, и на Гавайские острова. А потом дальше, в Южную Америку. Через Мексику и Панамский канал в Буэнос-Айрес и затем через Рио-де-Жанейро обратно.

— Да…

Она смотрела на меня сияющим взглядом.

— Никогда я там не был, — сказал я. — В тот раз я тебе все наврал.

— Это я знаю, — ответила она.

— Ты это знаешь?

— Ну конечно, Робби! Конечно, знаю! Сразу поняла!

— Тогда я был довольно-таки сумасшедшим. Неуверенным, глупым и сумасшедшим. Поэтому я тебе врал.

— А сегодня?

— А сегодня еще больше, — сказал я. — Разве ты сама не видишь? — Я показал на пароход в витрине. — Нам с тобой нельзя на нем поехать. Вот проклятье!

Она улыбнулась и взяла меня под руку.

— Ах, дорогой мой, почему мы не богаты? Уж мы бы сумели отлично воспользоваться деньгами! Как много есть богатых людей, которые не знают ничего лучшего, чем вечно торчать в своих конторах и банках.

— Потому-то они и богаты, — сказал я. — А если бы мы разбогатели, то уж, конечно, ненадолго.

— И я так думаю. Мы бы так или иначе быстро потеряли свое богатство.

— И может быть, стремясь поскорее растранжирить деньги, мы так и не сумели бы толком насладиться ими. В наши дни быть богатым — это прямо-таки профессия. И совсем не простая.

— Бедные богачи! — сказала Пат. — Тогда,

пожалуй, лучше представим себе, что мы уже были богаты и успели все потерять. Просто ты обанкротился на прошлой неделе, и пришлось продать все — наш дом, и мои драгоценности, и твои автомобили. Как ты думаешь?

— Что ж, это вполне современно, — ответил я.

Она рассмеялась.

— Тогда идем! Оба мы банкроты. Пойдем теперь в нашу меблированную комнатушку и будем вспоминать свое славное прошлое.

— Хорошая идея.

Мы медленно пошли дальше по вечерним улицам. Вспыхивали все новые огни. Подойдя к кладбищу, мы увидели в зеленом небе самолет с ярко освещенным салоном. Одинокий и прекрасный, он летел в прозрачном, высоком и тоже одиноком небе, как чудесная птица мечты из старинной сказки. Мы остановились и смотрели ему вслед, пока он не исчез.

* * *

Не прошло и получаса после нашего возвращения, как кто-то постучал в мою дверь. Я подумал, что это опять Хассе, и встал, чтобы открыть. Но это была фрау Залевски. Она выглядела очень расстроенной.

— Идемте скорее, — прошептала она.

— Что случилось?

— Хассе.

Я посмотрел на нее. Она пожала плечами.

— Заперся и не отвечает.

— Минутку.

Я вошел к Пат и попросил ее отдохнуть, пока я переговорю с Хассе.

— Хорошо, Робби. Я и в самом деле опять устала.

Я последовал за фрау Залевски по коридору. У дверей Хассе собрался почти весь пансион: рыжеволосая Эрна Бениг в пестром кимоно с драконами, — еще две недели назад она была золотистой блондинкой; филателист-казначей в домашней куртке военного покроя; бледный и спокойный Орлов, только что вернувшийся из кафе, где он танцевал с дамами; Джорджи, нервно стучавший в дверь и сдавленным голосом звавший Хассе, и наконец Фрида, с глазами, перекошенными от волнения, страха и любопытства.

— Ты давно уже стучишься, Джорджи? — спросил я.

— Больше четверти часа, — мгновенно выпалила Фрида, красная как рак. — Он, конечно, дома и вообще никуда не выходил, с обеда не выходил,

только все носился взад и вперед, а потом стало тихо…

— Ключ торчит изнутри, — сказал Джорджи. — Дверь заперта.

Я посмотрел на фрау Залевски.

— Надо вытолкнуть ключ и открыть дверь. Есть у вас второй ключ?

— Сейчас сбегаю за связкой с ключами, — заявила Фрида с необычайной услужливостью. — Может, какой-нибудь подойдет.

Мне дали кусок проволоки. Я повернул ключ и вытолкнул его из замочной скважины. Звякнув, он упал с другой стороны двери. Фрида вскрикнула и закрыла лицо руками.

— Убирайтесь-ка отсюда подальше, — сказал я ей и стал пробовать ключи. Один из них подошел. Я повернул его и открыл дверь. Комната была погружена в полумрак, в первую минуту я никого не увидел. Серо-белыми пятнами выделялись кровати, стулья были пусты, дверцы шкафа заперты.

— Вот он стоит! — прошептала Фрида, снова протиснувшаяся вперед. Меня обдало горячим дыханием и запахом лука. — Вон там, сзади, у окна.

— Нет, — сказал Орлов, который быстро вошел в комнату и тут же вернулся. Он оттолкнул меня,

взялся за дверную ручку, прикрыл дверь, затем обратился к остальным: — Вам лучше уйти. Не стоит смотреть на это, — медленно проговорил он со своим твердым русским акцентом и остался стоять перед дверью.

— О Боже! — пролепетала фрау Залевски и отошла назад. Эрна Бениг тоже отступила на несколько шагов. Только Фрида пыталась протиснуться вперед и ухватиться за дверную ручку. Орлов отстранил ее.

— Будет действительно лучше… — снова сказал он.

— Сударь! — зарычал внезапно казначей, распрямляя грудь. — Как вы смеете! Будучи иностранцем!..

Орлов спокойно посмотрел на него.

— Иностранец… — сказал он. — Иностранец… здесь это безразлично. Не в этом дело…

— Мертвый, да? — не унималась Фрида.

— Фрау Залевски, — сказал я, — и я думаю, что остаться здесь надо только вам и, может быть, Орлову и мне.

— Немедленно позвоните врачу, — сказал Орлов.

Джорджи уже снял трубку. Все это длилось несколько секунд.

— Я остаюсь, — заявил казначей, побагровев. — Как немецкий мужчина, я имею право…

Орлов пожал плечами и отворил дверь. Затем он включил свет. Женщины с криком отпрянули назад. В окне висел Хассе с иссиня-черным лицом и вывалившимся языком.

— Отрезать шнур! — крикнул я.

— Нет смысла, — сказал Орлов медленно, жестко и печально. — Мне это знакомо… такое лицо… он уже несколько часов мертв…

— Попробуем все-таки…

— Лучше не надо… Пусть сначала придет полиция.

В ту же секунду раздался звонок. Явился врач, живший по соседству. Он едва взглянул на тощее надломленное тело.

— Тут уже ничего не сделаешь, — сказал он, — но все-таки попробуем искусственное дыхание. Немедленно позвоните в полицию и дайте мне нож.

Хассе повесился на витом шелковом шнурке. Это был поясок от розового халата его жены, и он очень искусно прикрепил его к крючку над окном. Шнур был натерт мылом. Видимо, Хассе встал на подоконник и потом соскользнул с него. Судорога свела руки, на лицо было страшно смот-

реть. Странно, но в эту минуту мне бросилось в глаза, что он успел переодеться. Теперь на нем был его лучший костюм из синей камвольной шерсти, он был побрит и в свежей рубашке. На столе с педантичностью были разложены паспорт, сберегательная книжка, четыре бумажки по десять марок, немного серебра и два письма — одно жене, другое в полицию. Около письма к жене лежали серебряный портсигар и обручальное кольцо.

Видимо, он долго и подробно обдумывал каждую мелочь и наводил порядок. Комната была безукоризненно прибрана. Осмотревшись внимательней, мы обнаружили на комоде еще какие-то деньги и листок, на котором было написано: «Остаток квартирной платы за текущий месяц». Эти деньги он положил отдельно, словно желая показать, что они не имеют никакого отношения к его смерти.

Пришли два чиновника в штатском. Врач, успевший тем временем снять труп, встал.

— Мертв, — сказал он. — Самоубийство. Вне всяких сомнений.

Чиновники ничего не ответили. Закрыв дверь, они внимательно осмотрели комнату, затем извлекли из ящика шкафа несколько писем, взяли

оба письма со стола и сличили почерк. Чиновник помоложе понимающе кивнул головой.

— Кто-нибудь знает причину?

Я рассказал ему, что знал. Он снова кивнул и записал мой адрес.

— Можно его увезти? — спросил врач.

— Я заказал санитарную машину в больнице Шаритэ, — ответил молодой чиновник. — Сейчас она приедет.

Мы остались ждать. В комнате было тихо. Врач опустился на колени возле Хассе. Расстегнув его одежду, он стал растирать ему грудь полотенцем, поднимая и опуская его руки. Воздух проникал в мертвые легкие и со свистом вырывался наружу.

— Двенадцатый за неделю, — сказал молодой человек.

— Все по той же причине? — спросил я.

— Нет. Почти все из-за безработицы. Два семейства. В одном было трое детей. Газом, разумеется. Семьи почти всегда отравляются газом.

Пришли санитары с носилками. Вместе с ними в комнату впорхнула Фрида и с какой-то непонятной жадностью уставилась на жалкое тело Хассе. Ее потное лицо покрылось красными пятнами.

— Что вам здесь нужно? — грубо спросил старший чиновник.

Она вздрогнула.

— Ведь я должна дать показания, — проговорила она, заикаясь.

— Убирайся отсюда! — сказал чиновник.

Санитары накрыли Хассе одеялом и унесли. Затем стали собираться и оба чиновника. Они взяли с собой документы.

— Он оставил деньги на погребение, — сказал молодой чиновник. — Мы передадим их по назначению. Когда появятся жена, скажите ей, пожалуйста, чтобы зашла в полицию. Он завещал ей свои деньги. Могут ли остальные вещи оставаться пока здесь?

Фрау Залевски кивнула.

— Эту комнату мне уже все равно не сдать.

— Хорошо.

Чиновник откланялся и вышел. Мы тоже вышли.

Орлов запер дверь и передал ключ фрау Залевски.

— Надо поменьше болтать обо всем этом, — сказал я.

— И я так считаю, — сказала фрау Залевски.

— Я имею в виду прежде всего вас, Фрида, — добавил я.

Фрида точно очнулась. Ее глаза заблестели. Она

не ответила мне.

— Если вы скажете хоть слово фрейлейн Хольман, — сказал я, — тогда просите милости у Бога, от меня ее не ждите!

— Сама знаю, — ответила она задиристо. — Бедная дама слишком больна для этого!

Ее глаза сверкали. Мне пришлось сдержаться, чтобы не дать ей пощечину.

— Бедный Хассе! — сказала фрау Залевски.

В коридоре было совсем темно.

— Вы были довольно грубы с графом Орловым, — сказал я казначею. — Не хотите ли извиниться перед ним?

Старик вытаращил на меня глаза. Затем он воскликнул:

— Немецкий мужчина не извиняется! И уж меньше всего перед азиатом! — Он с треском захлопнул за собой дверь своей комнаты.

— Что творится с нашим ретивым собирателем почтовых марок? — спросил я удивленно. — Ведь он всегда был кроток, как агнец.

— Он уже несколько месяцев ходит на все предвыборные собрания, — донесся голос Джорджи из темноты.

— Ах вот оно что!

Орлов и Эрна Бениг уже ушли. Фрау Залевски

вдруг разрыдалась.

— Не принимайте это так близко к сердцу, — сказал я. — Все равно уже ничего не изменишь.

— Это слишком ужасно, — всхлипывала она. — Мне надо выехать отсюда, я не переживу этого!

— Переживете, — сказал я. — Однажды я видел несколько сотен англичан, отравленных газом. И пережил это…

Я пожал руку Джорджи и пошел к себе. Было темно. Прежде чем включить свет, я невольно посмотрел в окно. Потом прислушался. Пат спала. Я подошел к шкафу, достал коньяк и налил себе рюмку. Это был добрый коньяк, и хорошо, что он оказался у меня. Я поставил бутылку на стол. В последний раз из нее угощался Хассе. Я подумал, что, пожалуй, не следовало оставлять его одного. Я был подавлен, но не мог упрекнуть себя ни в чем. Чего я только не видел в жизни, чего только не пережил! И я знал: можно упрекать себя за все, что делаешь, или вообще не упрекать себя ни в чем. К несчастью для Хассе, все стряслось в воскресенье. Случись это в будний день, он пошел бы на службу, и, может быть, все бы обошлось.

Я выпил еще коньяку. Не имело смысла думать об этом. Да и какой человек знает, что ему предстоит? Разве хоть кто-нибудь может знать, не

покажется ли ему со временем счастливым тот, кого он сегодня жалеет.

Я услышал, как Пат зашевелилась, и пошел к ней. Она лежала с открытыми глазами.

— Что со мной творится, Робби, с ума можно сойти! — сказала она. — Опять я спала как убитая.

— Так это ведь хорошо, — ответил я.

— Нет. — Она облокотилась на подушку. — Я не хочу столько спать.

— Почему же нет? Иногда мне хочется уснуть и проспать ровно пятьдесят лет.

— И состариться на столько же?

— Не знаю. Это можно сказать только потом.

— Ты огорчен чем-нибудь?

— Нет, — сказал я. — Напротив. Я как раз решил, что мы оденемся, пойдем куда-нибудь и роскошно поужинаем. Будем есть все, что ты любишь. И немножко выпьем.

— Очень хорошо, — ответила она. — Это тоже пойдет в счет нашего великого банкротства?

— Да, — сказал я. — Конечно.

XXI

В середине октября Жаффе вызвал меня к себе. Было десять часов утра, но небо хмурилось и в клинике еще горел электрический свет. Смешиваясь с тусклым отблеском утра, он казался болезненно ярким.

Жаффе сидел один в своем большом кабинете. Когда я вошел, он поднял поблескивающую лысиной голову и угрюмо кивнул в сторону большого окна, по которому хлестал дождь:

— Как вам нравится эта чертова погода?

Я пожал плечами.

— Будем надеяться, что она скоро кончится.

— Она не кончится.

Он посмотрел на меня и ничего не сказал. Потом взял карандаш, постучал им по письменному столу и положил на место.

— Я догадываюсь, зачем вы меня позвали, — сказал я.

Жаффе буркнул что-то невнятное.

Я подождал немного. Потом сказал:

— Пат, видимо, уже должна уехать…

— Да…

Жаффе мрачно смотрел на стол.

— Я рассчитывал на конец октября. Но при такой погоде… — Он опять взял серебряный карандаш.

Порыв ветра с треском швырнул дождевые струи в окно. Звук напоминал отдаленную пулеметную стрельбу.

— Когда же, по-вашему, она должна поехать? — спросил я.

Он взглянул на меня вдруг снизу вверх ясным открытым взглядом.

— Завтра, — сказал он.

На секунду мне показалось, что почва уходит у меня из-под ног. Воздух был как вата и липнул к легким. Потом это ощущение прошло, и я спросил, насколько мог спокойно, каким-то далеким голосом, словно спрашивал кто-то другой:

— Разве ее состояние так резко ухудшилось?

Жаффе решительно покачал головой и встал.

— Если бы оно резко ухудшилось, она вообще не смогла бы поехать, — заявил он хмуро. — Просто ей лучше уехать. В такую погоду она все время в опасности. Всякие простуды и тому подобное…

Он взял несколько писем со стола.

— Я уже все подготовил. Вам остается только выехать. Главного врача санатория я знал еще в бытность мою студентом. Очень дельный чело-

век. Я подробно сообщил ему обо всем.

Жаффе дал мне письма. Я взял их, но не спрятал в карман. Он посмотрел на меня, встал и положил мне руку на плечо. Его рука была легка, как крыло птицы, я почти не ощущал ее.

— Тяжело, — сказал он тихим, изменившимся голосом. — Знаю… Поэтому я и оттягивал отъезд, пока было возможно.

— Нетяжело… — возразил я.

Он махнул рукой.

— Оставьте, пожалуйста…

— Нет, — сказал я, — не в этом смысле… Я хотел бы знать только одно: она вернется?

Жаффе ответил не сразу. Его темные узкие глаза блестели в мутном желтоватом свете.

— Зачем вам это знать сейчас? — спросил он наконец.

— Потому что если не вернется, так лучше пусть не едет, — сказал я.

Он быстро взглянул на меня.

— Что это вы такое говорите?

— Тогда будет лучше, чтобы она осталась.

Он посмотрел на меня.

— А понимаете ли вы, к чему это неминуемо приведет? — спросил он тихо и резко.

— Да, — сказал я. — Это приведет к тому, что

она умрет, но не в одиночестве. А что это значит, я тоже знаю.

Жаффе поднял плечи, словно его знобило. Потом он медленно подошел к окну и постоял возле него, глядя на дождь. Когда он повернулся ко мне, лицо его было как маска.

— Сколько вам лет? — спросил он.

— Тридцать, — ответил я, не понимая, чего он хочет.

— Тридцать, — повторил он странным тоном, будто разговаривал сам с собой и не понимал меня. — Тридцать, Боже мой! — Он подошел к письменному столу и остановился. Рядом с огромным и блестящим столом он казался маленьким и как бы отсутствующим. — Мне скоро шестьдесят, — сказал он, не глядя на меня, — но я бы так не мог. Я испробовал бы все снова и снова, даже если бы знал точно, что это бесцельно.

Я молчал. Жаффе застыл на месте. Казалось, он забыл обо всем, что происходит вокруг. Потом он снова очнулся, и маска сошла с его лица. Он улыбнулся.

— Я определенно считаю, что в горах она хорошо перенесет зиму.

— Только зиму? — спросил я.

— Надеюсь, весной она сможет снова спустить-

ся вниз.

— Надеяться… — сказал я. — Что значит надеяться?

— Все вам скажи! — ответил Жаффе. — Всегда и все. Я не могу сказать теперь больше. Мало ли что может быть. Посмотрим, как она будет себя чувствовать наверху. Но я твердо надеюсь, что весной она сможет вернуться.

— Твердо?

— Да. — Он обошел стол и так сильно ударил ногой по выдвинутому ящику, что зазвенели стаканы. — Черт возьми, поймите же, дорогой, мне и самому тяжело, что она должна уехать! — пробормотал он.

Вошла сестра. Знаком Жаффе предложил ей удалиться. Но она осталась на месте, коренастая, неуклюжая, с лицом бульдога под копной седых волос.

— Потом! — буркнул Жаффе. — Зайдите потом!

Сестра раздраженно повернулась и направилась к двери. Выходя, она нажала на кнопку выключателя. Комната наполнилась вдруг серовато-молочным светом. Лицо Жаффе стало землистым.

— Старая ведьма! — сказал он. — Вот уж двадцать лет, как я собираюсь ее выставить. Но

очень хорошо работает. — Затем он повернулся ко мне. — Итак?

— Мы уедем сегодня вечером, — сказал я.

— Сегодня?

— Да. Уж если надо, то лучше сегодня, чем завтра. Я отвезу ее. Смогу отлучиться на несколько дней.

Он кивнул и пожал мне руку.

Я ушел. Путь до двери показался мне очень долгим.

На улице я остановился и заметил, что все еще держу письма в руке. Дождь барабанил по конвертам. Я вытер их и сунул в боковой карман. Потом посмотрел вокруг. К дому подкатил автобус. Он был переполнен, и из него высыпала толпа пассажиров. Несколько девушек в черных блестящих дождевиках шутили с кондуктором. Он был молод, белые зубы ярко выделялись на смуглом лице. «Ведь так нельзя, — подумал я, — это невозможно! Столько жизни вокруг, а Пат должна умереть!»

Кондуктор дал звонок, и автобус тронулся. Из-под колес взметнулись снопы брызг и обрушились на тротуар. Я пошел дальше. Надо было предупредить Кестера и достать билеты.

* * *

К двенадцати часам дня я пришел домой и успел сделать все, отправил даже телеграмму в санаторий.

— Пат, — сказал я, еще стоя в дверях, — ты успеешь уложить вещи до вечера?

— Я должна уехать?

— Да, — сказал я, — да, Пат.

— Одна?

— Нет. Мы поедем вместе. Я отвезу тебя.

Ее лицо слегка порозовело.

— Когда же я должна быть готова? — спросила она.

— Поезд уходит в десять вечера.

— А теперь ты опять уйдешь?

— Нет. Останусь с тобой до отъезда.

Она глубоко вздохнула.

— Тогда все просто, Робби, — сказала она. — Начнем сразу?

— У нас еще есть время.

— Я хочу начать сейчас. Тогда все скоро будет готово.

— Хорошо.

За полчаса я упаковал несколько вещей, которые хотел взять с собой. Потом я зашел к фрау

Залевски и сообщил ей о нашем отъезде. Я договорился, что с первого ноября или даже раньше она может сдать комнату Пат. Хозяйка собралась было завести долгий разговор, но я тут же вышел из комнаты.

Пат стояла на коленях перед чемоданом-гардеробом, вокруг висели ее платья, на кровати лежало белье. Она укладывала обувь. Я вспомнил, что точно так же она стояла на коленях, когда въехала в эту комнату и распаковывала свои вещи, и мне казалось, что это было бесконечно давно и будто только вчера.

Она взглянула на меня.

— Возьмешь с собой серебряное платье? — спросил я.

Она кивнула.

— Робби, а что делать с остальными вещами? С мебелью?

— Я уже говорил с фрау Залевски. Возьму к себе в комнату сколько смогу. Остальное сдадим на хранение. Когда вернешься, — заберем все.

— Когда я вернусь… — сказала она.

— Ну да, весной, когда ты приедешь вся коричневая от солнца.

Я помог ей уложить чемоданы, и к вечеру, когда стемнело, все было готово. Было очень странно;

мебель стояла на прежних местах, только шкафы и ящики опустели, и все-таки комната показалась мне вдруг голой и печальной. Пат уселась на кровать. Она выглядела усталой.

— Зажечь свет? — спросил я.

Она покачала головой.

— Подожди еще немного.

Я сел возле нее.

— Хочешь сигарету?

— Нет, Робби. Просто посидим так немного.

Я встал и подошел к окну. Фонари беспокойно горели под дождем. В деревьях буйно гулял ветер. Внизу медленно прошла Роза. Ее высокие сапожки сверкали. Она держала под мышкой пакет и направлялась в «Интернациональ». Вероятно, это были нитки и спицы, — она постоянно вязала для своей малышки шерстяные вещи. За ней проследовали Фрицци и Марион, обе в новых белых, плотно облегающих фигуру дождевиках, а немного спустя за ними прошлепала старенькая Мими, обтрепанная и усталая.

Я обернулся. Было уже так темно, что я не мог разглядеть Пат. Я только слышал ее дыхание. За деревьями кладбища медленно и тускло начали карабкаться вверх огни световых реклам. Светящееся название знаменитых сигарет про-

тянулось над крышами, как пестрая орденская лента, запенились синие и зеленые круги фирмы вин и ликеров, вспыхнули яркие контуры рекламы бельевого магазина. Огни отбрасывали матовое рассеянное сияние, ложившееся на стены и потолок, и скользили во всех направлениях, и комната показалась мне вдруг маленьким водолазным колоколом, затерянным на дне моря. Дождевые волны шумели вокруг него; а сверху, сквозь толщу воды, едва проникал слабый отблеск далекого мира.

* * *

Было восемь часов вечера. На улице загудел клаксон. — Готтфрид приехал на такси, — сказал я. — Он отвезет нас поужинать.

Я встал, подошел к окну и крикнул Готтфриду, что мы идем. Затем я включил маленькую настольную лампу и пошел в свою комнату. Она показалась мне до неузнаваемости чужой. Я достал бутылку рома и наспех выпил рюмку. Потом сел в кресло и уставился на обои. Вскоре я снова встал, подошел к умывальнику, чтобы пригладить щеткой волосы. Но, увидев свое лицо в зеркале, я забыл об этом. Разглядывая себя с холодным любопытством, я сжал губы и усмех-

нулся. Напряженное и бледное лицо в зеркале усмехнулось мне в ответ.

— Эй, ты! — беззвучно сказал я. Затем я пошел обратно к Пат.

— Пойдем, дружище? — спросил я.

— Да, — ответила Пат, — но я хочу еще раз зайти в твою комнату.

— К чему? В эту старую халупу…

— Останься здесь, — сказала она. — Я сейчас приду.

Я немного подождал, а потом пошел за ней. Заметив меня, Пат вздрогнула. Никогда еще я не видел ее такой. Словно угасшая, стояла она посреди комнаты. Но это длилось только секунду, и улыбка снова появилась на ее лице.

— Пойдем, — сказала она. — Уже пора.

У кухни нас ждала фрау Залевски. Ее седые букли дрожали. На черном шелковом платье у нее была брошь с портретом покойного Залевски.

— Держись! — шепнул я Пат. — Сейчас она тебя обнимет.

В следующее мгновение Пат утонула в грандиозном бюсте. Огромное заплаканное лицо фрау Залевски судорожно подергивалось. Еще несколько секунд — и поток слез залил бы Пат с головы до ног, — когда матушка Залевски плакала, ее глаза

работали под давлением, как сифоны.

— Извините, — сказал я, — но мы очень торопимся! Надо немедленно отправляться!

— Немедленно отправляться? — Фрау Залевски смерила меня уничтожающим взглядом. — Поезд уходит только через два часа! А в промежутке вы хотите, наверно, напоить бедную девочку!

Пат не выдержала и рассмеялась.

— Нет, фрау Залевски. Надо проститься с друзьями.

Матушка Залевски недоверчиво покачала головой.

— Фрейлейн Хольман, вам кажется, что этот молодой человек — сосуд из чистого золота, на самом деле он, в лучшем случав, позолоченная водочная бутылка.

— Как образно, — сказал я.

— Дитя мое!.. — снова заволновалась фрау Залевски. — Приезжайте поскорее обратно! Ваша комната всегда будет ждать вас. И даже если в ней поселится сам кайзер, ему придется выехать, когда вы вернетесь!

— Спасибо, фрау Залевски! — сказала Пат. — Спасибо за все. И за гадание на картах. Я ничего не забуду.

— Это хорошо. Как следует поправляйтесь и

выздоравливайте окончательно!

— Да, — ответила Пат, — попробую. До свидания, фрау Залевски. До свидания, Фрида.

Мы пошли. Входная дверь захлопнулась за нами. На лестнице был полумрак, — несколько лампочек перегорело. Тихими мягкими шагами спускалась Пат по ступенькам. Она ничего не говорила. А у меня было такое чувство, будто окончилась побывка, и теперь, серым утром, мы едем на вокзал, чтобы снова уехать на фронт.

* * *

Ленц распахнул дверцу такси.

— Осторожно! — предупредил он. Машина была завалена розами. Два огромных букета белых и красных бутонов лежали на заднем сиденье. Я сразу увидел, что они из церковного сада. — Последние, — самодовольно заявил Ленц. — Стоило известных усилий. Пришлось довольно долго объясняться по этому поводу со священником.

— С голубыми детскими глазами? — спросил я.

— Ах, значит, это был ты, брат мой! — воскликнул Готтфрид. — Так, значит, он мне о тебе рассказывал. Бедняга страшно разочаровался, когда после твоего ухода увидел, в каком состоянии кусты роз у галереи. А уж он было подумал,

что набожность среди мужского населения снова начала расти.

— А тебя он прямо так и отпустил с цветами? — спросил я.

— С ним можно столковаться. Напоследок он мне даже сам помогал срезать бутоны.

Пат рассмеялась.

— Неужели правда?

Готтфрид хитро улыбнулся.

— А как же! Все это выглядело очень здорово: духовный отец подпрыгивает в полумраке, стараясь достать самые высокие ветки. Настоящий спортсмен. Он сообщил мне, что в гимназические годы слыл хорошим футболистом. Кажется, играл правым полусредним.

— Ты побудил пастора совершить кражу, — сказал я. — За это ты проведешь несколько столетий в аду. Но где Отто?

— Уже у Альфонса. Ведь мы ужинаем у Альфонса?

— Да, конечно, — сказала Пат.

— Тогда поехали!

* * *

Нам подали нашпигованного зайца с красной капустой и печеными яблоками. В заключение

ужина Альфонс завел патефон. Мы услышали хор донских казаков. Это была очень тихая песня. Над хором, звучавшим приглушенно, как далекий орган, витал одинокий ясный голос. Мне показалось, будто бесшумно отворилась дверь, вошел старый усталый человек, молча присел к столику и стал слушать песню своей молодости.

— Дети, — сказал Альфонс, когда пение, постепенно затихая, растаяло, наконец, как вздох. — Дети, знаете, о чем я всегда думаю, когда слушаю это? Я вспоминаю Ипр в тысяча девятьсот семнадцатом году. Помнишь, Готтфрид, мартовский вечер и Бертельсмана?..

— Да, — сказал Ленц, — помню, Альфонс. Помню этот вечер и вишневые деревья…

Альфонс кивнул.

Кестер встал.

— Думаю, пора ехать. — Он посмотрел на часы. — Да, надо собираться.

— Еще по рюмке коньяку, — сказал Альфонс. — Настоящего «наполеона». Я его принес специально для вас.

Мы выпили коньяк и встали.

— До свидания, Альфонс! — сказала Пат. — Я всегда с удовольствием приходила сюда. — Она подала ему руку.

Альфонс покраснел. Он крепко сжал ее ладонь в своих лапах.

— В общем, если что понадобится… просто дайте знать. — Он смотрел на нее в крайнем замешательстве. — Ведь вы теперь наша. Никогда бы не подумал, что женщина может стать своей в такой компании.

— Спасибо, — сказала Пат. — Спасибо, Альфонс. Это самое приятное из всего, что вы могли мне сказать. До свидания и всего хорошего.

— До свидания! До скорого свидания!

Кестер и Ленц проводили нас на вокзал. Мы остановились на минуту у нашего дома, и я сбегал за собакой. Юпп уже увез чемоданы.

Мы прибыли в последнюю минуту. Едва мы вошли в вагон, как поезд тронулся. Тут Готтфрид вынул из кармана завернутую бутылку и протянул ее мне.

— Вот, Робби, прихвати с собой. В дороге всегда может пригодиться.

— Спасибо, — сказал я, — распейте ее сегодня вечером сами, ребята. У меня кое-что припасено.

— Возьми, — настаивал Ленц. — Этого всегда не хватает! — Он шел по перрону рядом с движущимся поездом и кинул мне бутылку.

— До свидания, Пат! — крикнул он. — Если мы

здесь обанкротимся, приедем все к вам. Отто в качестве тренера по лыжному спорту, а я как учитель танцев. Робби будет играть на рояле. Сколотим бродячую труппу и будем кочевать из отеля в отель.

Поезд пошел быстрее, и Готтфрид отстал. Пат высунулась из окна и махала платочком, пока вокзал не скрылся за поворотом. Потом она обернулась, лицо ее было очень бледно, глаза влажно блестели. Я взял ее за руку.

— Пойдем, — сказал я, — давай выпьем чего-нибудь. Ты прекрасно держалась.

— Но на душе у меня совсем не прекрасно, — ответила она, пытаясь изобразить улыбку.

— И у меня тоже, — сказал я. — Поэтому мы и выпьем немного.

Я откупорил бутылку и налил ей стаканчик коньяку.

— Хорошо? — спросил я.

Она кивнула и положила мне голову на плечо.

— Любимый мой, чем же все это кончится?

— Ты не должна плакать, — сказал я. — Я так горжусь, что ты не плакала весь день.

— Да я и не плачу, — проговорила она, покачав головой, и слезы текли по ее тонкому лицу.

— Выпей еще немного, — сказал я и прижал ее

к себе. — Так бывает в первую минуту, а потом дело пойдет на лад.

Она кивнула:

— Да, Робби. Не обращай на меня внимания. Сейчас все пройдет; лучше, чтобы ты этого совсем не видел. Дай мне побыть одной несколько минут, я как-нибудь справлюсь с собой.

— Зачем же? Весь день ты была такой храброй, что теперь спокойно можешь плакать сколько хочешь.

— И совсем я не была храброй. Ты этого просто не заметил.

— Может быть, — сказал я, — но ведь в том-то и состоит храбрость.

Она попыталась улыбнуться.

— А в чем же тут храбрость, Робби?

— В том, что ты не сдаешься. — Я провел рукой по ее волосам. — Пока человек не сдается, он сильнее своей судьбы.

— У меня нет мужества, дорогой, — пробормотала она. — У меня только жалкий страх перед последним и самым большим страхом.

— Это и есть настоящее мужество, Пат.

Она прислонилась ко мне.

— Ах, Робби, ты даже не знаешь, что такое страх.

— Знаю, — сказал я.

* * *

Отворилась дверь. Проводник попросил предъявить билеты. Я дал их ему.

— Спальное место для дамы? — спросил он.

Я кивнул.

— Тогда вам придется пройти в спальный вагон, — сказал он Пат. — В других вагонах ваш билет недействителен.

— Хорошо.

— А собаку надо сдать в багажный вагон, — заявил он. — Там есть купе для собак.

— Ладно, — сказал я. — А где спальный вагон?

— Третий справа. Багажный вагон в голове поезда.

Он ушел. На его груди болтался маленький фонарик.

Казалось, он идет по забою шахты.

— Будем переселяться, Пат, — сказал я. — Билли я как-нибудь протащу к тебе. Нечего ему делать в багажном вагоне.

Для себя я не взял спального места. Мне ничего не стоило просидеть ночь в углу купе. Кроме того, это было дешевле.

Юпп поставил чемоданы Пат в спальный вагон.

Маленькое, изящное купе сверкало красным деревом. У Пат было нижнее место. Я спросил проводника, занято ли также и верхнее?

— Да, — сказал он, — пассажир сядет во Франкфурте.

— Когда мы прибудем туда?

— В половине третьего.

Я дал ему на чай, и он ушел в свой уголок.

— Через полчаса я приду к тебе с собакой, — сказал я Пат.

— Но ведь с собакой нельзя: проводник остается в вагоне.

— Можно. Ты только не запирай дверь.

Я пошел обратно мимо проводника, он внимательно посмотрел на меня. На следующей станции я вышел с собакой на перрон, прошел вдоль спального вагона, остановился и стал ждать. Проводник сошел с лесенки и завел разговор с главным кондуктором. Тогда я юркнул в вагон, прошмыгнул к спальным купе и вошел к Пат, никем не замеченный. На ней был пушистый белый халат, и она чудесно выглядела. Ее глаза блестели.

— Теперь я опять в полном порядке, Робби, — сказала она.

— Это хорошо. Но не хочешь ли ты прилечь?

Очень уж здесь тесно. А я посижу возле тебя.

— Да, но… — Она нерешительно показала на верхнее место. — А что, если вдруг откроется дверь и перед нами окажется представительница союза спасения падших девушек?..

— До Франкфурта еще далеко, — сказал я. — Я буду начеку. Не усну.

Когда мы подъезжали к Франкфурту, я перешел в свой вагон, сел в углу у окна и попытался вздремнуть. Но во Франкфурте в купе вошел мужчина с усами, как у тюленя, немедленно открыл чемодан и принялся есть. Он ел так интенсивно, что я никак не мог уснуть. Трапеза продолжалась почти час. Потом тюлень вытер усы, улегся и задал концерт, какого я никогда еще не слышал. Это был не обычный храп, а какие-то воющие вздохи, прерываемые отрывистыми стонами и протяжным бульканьем. Я не мог уловить в этом никакой системы, так все было разнообразно. К счастью, в половине шестого он вышел.

Когда я проснулся, за окном все было бело. Снег падал крупными хлопьями. Странный, неправдоподобный полусвет озарял купе. Поезд уже шел по горной местности. Было около девяти часов. Я потянулся и пошел умыться. Когда я вернулся, в купе стояла Пат, посвежевшая после сна.

— Ты хорошо спала? — спросил я.

Она кивнула.

— А кем оказалась старая ведьма на верхней полке?

— Она молода и хороша собой. Ее зовут Хельга Гутман, она едет в тот же санаторий.

— Правда?

— Да, Робби. Но ты спал плохо, это заметно. Тебе надо позавтракать как следует.

— Кофе, — сказал я, — кофе и немного вишневой настойки.

Мы пошли в вагон-ресторан. Вдруг на душе у меня стало легко. Все выглядело не так страшно, как накануне вечером.

Хельга Гутман уже сидела за столиком. Это была стройная живая девушка южного типа.

— Какое странное совпадение, — сказал я. — Вы едете в один и тот же санаторий.

— Совсем не странное, — возразила она.

Я посмотрел на нее. Она рассмеялась.

— В это время туда слетаются все перелетные птицы. Вот видите столик напротив?.. — Она показала в угол вагона. — Все они тоже едут туда.

— Откуда вы знаете? — спросил я.

— Я их знаю всех по прошлому году. Там, наверху, все знают друг друга.

Кельнер принес кофе. Я заказал еще большую стопку вишневки. Мне нужно было выпить чего-нибудь. И вдруг все стало как-то сразу очень простым. Рядом сидели люди и ехали в санаторий, некоторые даже во второй раз, и эта поездка была для них, по-видимому, всего лишь прогулкой. Было просто глупо так сильно тревожиться. Пат вернется так же, как возвращались все эти люди. Я не думал о том, что они едут туда вторично… Мне было достаточно знать, что оттуда можно вернуться и прожить еще целый год. А за год может случиться многое. Наше прошлое научило нас не заглядывать далеко вперед.

* * *

Мы приехали перед вечером. Солнце заливало золотистым светом заснеженные поля, а прояснившееся небо было таким голубым, каким мы его уже давно не видели. На вокзале собралось множество людей. Встречающие и прибывшие обменивались приветствиями. Хельгу Гутман встретили хохочущая блондинка и двое мужчин в светлых брюках гольф. Хельга была очень возбуждена, словно вернулась в родной дом после долгого отсутствия.

— До свидания, наверху увидимся! — крикнула

она нам и села со своими друзьями в сани.

Все быстро разошлись, и через несколько минут мы остались на перроне одни. К нам подошел носильщик.

— Какой отель? — спросил он.

— Санаторий «Лесной покой», — ответил я.

Он кивнул и подозвал кучера. Оба уложили багаж в голубые пароконные сани. Головы белых лошадей были украшены султанами из пестрых перьев, пар из ноздрей окутывал их морды перламутровым облаком.

Мы уселись.

— Поедете наверх по канатной дороге или на санях? — спросил кучер.

— А долго ехать на санях?

— Полчаса.

— Тогда на санях.

Кучер щелкнул языком, и мы тронулись. За деревней дорога спиралью поднималась вверх. Санаторий находился на возвышенности над деревней. Это было длинное белое здание с высокими окнами, выходившими на балконы. Флаг на крыше корпуса колыхался на слабом ветру. Я полагал, что увижу нечто вроде больницы. Но санаторий походил скорее на отель, по крайней мере в нижнем этаже. В холле пылал камин. На

нескольких столиках стояла чайная посуда.

Мы зашли в контору. Служитель внес наш багаж, и какая-то пожилая дама сказала нам, что для Пат приготовлена комната 79. Я спросил, можно ли будет и мне получить комнату на несколько дней. Она покачала головой.

— Не в санатории. Но вы сможете поселиться во флигеле.

— Где он?

— Тут же, рядом.

— Хорошо, — сказал я, — тогда отведите мне там комнату и скажите, чтобы туда отнесли мой багаж.

Бесшумный лифт поднял нас на третий этаж. Здесь все гораздо больше напоминало больницу. Правда, очень комфортабельную, но все же больницу. Белые коридоры, белые двери, блеск чистоты, стекла и никеля. Нас встретила старшая сестра.

— Фрейлейн Хольман?

— Да, — сказала Пат, — комната 79, не так ли?

Старшая сестра кивнула, прошла вперед и открыла дверь.

— Вот ваша комната.

Это была светлая, средних размеров комната. В широком окне сияло заходящее солнце. На столе

стояла ваза с желтыми и красными астрами, а за окном лежал искристый снег, в который деревня укуталась, как в большое мягкое одеяло.

— Нравится тебе? — спросил я Пат.

Она посмотрела на меня и ответила не сразу.

— Да, — сказала она затем.

Коридорный внес чемоданы.

— Когда мне надо показаться врачу? — спросила Пат сестру.

— Завтра утром. А сегодня вам лучше лечь пораньше, чтобы хорошенько отдохнуть.

Пат сняла пальто и положила его на белую кровать, над которой висел чистый температурный лист.

— В этой комнате есть телефон? — спросил я.

— Есть розетка, — сказала сестра. — Можно поставить аппарат.

— Я должна еще что-нибудь сделать? — спросила Пат.

Сестра покачала головой.

— Сегодня нет. Режим вам будет назначен только завтра. К врачу пойдете в десять утра. Я зайду за вами.

— Благодарю вас, сестра, — сказала Пат.

Сестра ушла. Коридорный все еще ждал в дверях. В комнате вдруг стало очень тихо. Пат

смотрела в окно на закат. Ее темный силуэт вырисовывался на фоне сверкающего неба.

— Ты устала? — спросил я.

Она обернулась.

— Нет.

— У тебя утомленный вид, — сказал я.

— Я по-другому устала, Робби. Впрочем, для этого у меня еще есть время.

— Хочешь переодеться? — спросил я. — А то, может, спустимся на часок? Думаю, нам лучше сперва сойти вниз.

— Да, — сказала она, — так будет лучше.

Мы спустились в бесшумном лифте и сели за один из столиков в холле. Вскоре подошла Хельга Гутман со своими друзьями. Они подсели к нам. Хельга была возбуждена и не в меру весела, но я был доволен, что она с нами и что у Пат уже есть несколько новых знакомых. Труднее всего здесь было прожить первый день.

XXII

Через неделю я поехал обратно и прямо с вокзала отправился в мастерскую. Был вечер. Все еще лил дождь, и мне казалось, что со времени нашего отъезда прошел целый год.

В конторе я застал Кестера и Ленца.

— Ты пришел как раз вовремя, — сказал Готтфрид.

— А что случилось? — спросил я.

— Пусть сперва присядет, — сказал Кестер.

Я сел.

— Как здоровье Пат? — спросил Отто.

— Хорошо. Насколько это вообще возможно. Но скажите мне, что тут произошло?

Речь шла о машине, которую мы увезли после аварии на шоссе. Мы ее отремонтировали и сдали две недели тому назад. Вчера Кестер пошел за деньгами. Выяснилось, что человек, которому принадлежала машина, только что обанкротился и автомобиль пущен с молотка вместе с остальным имуществом.

— Так это ведь не страшно, — сказал я. — Будем иметь дело со страховой компанией.

— И мы так думали, — сухо заметил Ленц. — Но

машина не застрахована.

— Черт возьми! Это правда, Отто?

Кестер кивнул.

— Только сегодня выяснил.

— А мы-то нянчились с этим типом, как сестры милосердия, да еще ввязались в драку из-за его колымаги, — проворчал Ленц. — А четыре тысячи марок улыбнулись!

— Кто же мог знать! — сказал я.

Ленц расхохотался.

— Очень уж все это глупо!

— Что же теперь делать, Отто? — спросил я.

— Я заявил претензию распорядителю аукциона. Но боюсь, что из этого ничего не выйдет.

— Придется нам прикрыть лавочку. Вот что из этого выйдет, — сказал Ленц, — Финансовое управление и без того имеет на нас зуб из-за налогов.

— Возможно, — согласился Кестер.

Ленц встал.

— Спокойствие и выдержка в трудных ситуациях — вот что украшает солдата. — Он подошел к шкафу и достал коньяк.

— С таким коньяком можно вести себя даже геройски, — сказал я. — Если не ошибаюсь, это у нас последняя хорошая бутылка.

— Героизм, мой мальчик, нужен для тяжелых времен, — поучительно заметил Ленц. — Но мы живем в эпоху отчаяния. Тут приличествует только чувство юмора. — Он выпил свою рюмку. — Вот, а теперь я сяду на нашего старого Росинанта и попробую наездить немного мелочи.

Он прошел по темному двору, сел в такси и уехал. Кестер и я посидели еще немного вдвоем.

— Неудача, Отто, — сказал я. — Что-то в последнее время у нас чертовски много неудач.

— Я приучил себя думать не больше, чем это строго необходимо, — ответил Кестер. — Этого вполне достаточно. Как там в горах?

— Если бы не туберкулез, там был бы сущий рай. Снег и солнце.

Он поднял голову.

— Снег и солнце. Звучит довольно неправдоподобно, верно?

— Да. Очень даже неправдоподобно. Там, наверху, все неправдоподобно.

Он посмотрел на меня.

— Что ты делаешь сегодня вечером?

Я пожал плечами.

— Надо сперва отнести домой чемодан.

— Мне надо уйти на час. Придешь потом в бар?

— Приду, конечно, — сказал я. — А что мне еще делать?

* * *

Я съездил на вокзал за чемоданом и привез его домой. Я постарался проникнуть в квартиру без всякого шума — не хотелось ни с кем разговаривать. Мне удалось пробраться к себе, не попавшись на глаза фрау Залевски. Немного посидел в комнате. На столе лежали письма и газеты. В конвертах были одни только проспекты. Да и от кого мне было ждать писем? «А вот теперь Пат будет мне писать», — подумал я.

Вскоре я встал, умылся и переоделся. Чемодан я не распаковал, — хотелось, чтобы было чем заняться, когда вернусь. Я не зашел в комнату Пат, хотя знал, что там никто не живет. Тихо прошмыгнув по коридору, я очутился на улице и только тогда вздохнул свободно.

Я пошел в кафе «Интернациональ», чтобы поесть. У входа меня встретил кельнер Алоис. Он поклонился мне.

— Что, опять вспомнили нас?

— Да, — ответил я. — В конце концов люди всегда возвращаются обратно.

Роза и остальные девицы сидели вокруг боль-

шого стола. Собрались почти все: был перерыв между первым и вторым патрульными обходами.

— Мой Бог, Роберт! — сказала Роза. — Вот редкий гость!

— Только не расспрашивай меня, — ответил я. — Главное, что я опять здесь.

— То есть как? Ты собираешься приходить сюда часто?

— Вероятно.

— Не расстраивайся, — сказала она и посмотрела на меня. — Все проходит.

— Правильно, — подтвердил я. — Это самая верная истина на свете.

— Ясно, — подтвердила Роза. — Лилли тоже могла бы порассказать кое-что на этот счет.

— Лилли? — Я только теперь заметил, что она сидит рядом с Розой. — Ты что здесь делаешь? Ведь ты замужем и должна сидеть дома в своем магазине водопроводной арматуры.

Лилли не ответила.

— Магазин! — насмешливо сказала Роза. — Пока у нее еще были деньги, все шло как по маслу. Лилли была прекрасна. Лилли была мила, и ее прошлое не имело значения. Все это счастье продолжалось ровно полгода! Когда же муж вы-

удил у нее все до последнего пфеннига и стал благородным господином на ее деньги, он вдруг решил, что проститутка не может быть его женой. — Роза задыхалась от негодования. — Вдруг, видите ли, выясняется: он ничего не подозревал и был потрясен, узнав о ее прошлом. Так потрясен, что потребовал развода. Но денежки, конечно, пропали.

— Сколько? — спросил я.

— Четыре тысячи марок! Не пустяк! Как ты думаешь, со сколькими свиньями ей пришлось переспать, чтобы их заработать?

— Четыре тысячи марок, — сказал я. — Опять четыре тысячи марок. Сегодня они словно висят в воздухе.

Роза посмотрела на меня непонимающим взглядом.

— Сыграй лучше что-нибудь, — сказала она, — это поднимет настроение.

— Ладно, уж коль скоро мы все снова встретились.

Я сел за пианино и сыграл несколько модных танцев.

Я играл и думал, что денег на санаторий у Пат хватит только до конца января и что мне нужно зарабатывать больше, чем до сих пор. Пальцы

механически ударяли по клавишам, у пианино на диване сидела Роза и с восторгом слушала. Я смотрел на нее и на окаменевшую от страшного разочарования Лилли. Ее лицо было более холодным и безжизненным, чем у мертвеца.

* * *

Раздался крик, и я очнулся от своих раздумий. Роза вскочила. От ее мечтательного настроения не осталось и следа. Она стояла у столика, вытаращив глаза, шляпка съехала набок, в раскрытую сумочку со стола стекал кофе, вылившийся из опрокинутой чашки, но она этого не замечала.

— Артур! — с трудом вымолвила она. — Артур, неужели это ты?

Я перестал играть. В кафе вошел тощий вертлявый тип в котелке, сдвинутом на затылок. У него был желтый, нездоровый цвет лица, крупный нос и очень маленькая яйцевидная голова.

— Артур, — снова пролепетала Роза. — Ты?

— Ну да, а кто же еще? — буркнул Артур.

— Боже мой, откуда ты взялся?

— Откуда мне взяться? Пришел с улицы через дверь.

Хотя Артур вернулся после долгой разлуки, он был не особенно любезен. Я с любопытством

разглядывал его. Вот, значит, каков легендарный кумир Розы, отец ее ребенка. Он выглядел так, будто только что вышел из тюрьмы. Я не мог обнаружить в нем ничего, что объясняло бы дикую обезьянью страсть Розы. А может быть, именно в этом и был секрет. Удивительно, на что только могут польститься эти женщины, твердые, как алмаз, знающие мужчин вдоль и поперек.

Не спрашивая разрешения, Артур взял полный стакан пива, стоявший возле Розы, и выпил его. Кадык на его тонкой, жилистой шее скользил вверх и вниз, как лифт. Роза смотрела на него и сияла.

— Хочешь еще? — спросила она.

— Конечно, — бросил он. — Но побольше.

— Алоис! — Роза радостно обратилась к кельнеру. — Он хочет еще пива!

— Вижу, — равнодушно сказал Алоис и наполнил стакан.

— А малышка! Артур, ты еще не видел маленькую Эльвиру!

— Послушай, ты! — Артур впервые оживился. Он поднял руку к груди, словно обороняясь. — Насчет этого ты мне голову не морочь. Это меня не касается! Ведь я же хотел, чтобы ты избавилась от этого ублюдка. Так бы оно и случилось, если бы

меня не… — Он помрачнел. — А теперь, конечно, нужны деньги и деньги.

— Не так уж много, Артур. К тому же, это девочка.

— Тоже стоит денег, — сказал Артур и выпил второй стакан пива. — Может быть, нам удастся найти какую-нибудь сумасшедшую богатую бабу, которая ее удочерит. Конечно, за приличное вознаграждение. Другого выхода не вижу.

Потом он прервал свои размышления.

— Есть у тебя при себе наличные?

Роза услужливо достала сумочку, залитую кофе.

— Только пять марок, Артур, ведь я не знала, что ты придешь, но дома есть больше.

Жестом паши Артур небрежно опустил серебро в жилетный карман.

— Ничего и не заработаешь, если будешь тут продавливать диван задницей, — пробурчал он недовольно.

— Сейчас пойду, Артур. Но теперь какая же работа? Время ужина.

— Мелкий скот тоже дает навоз, — заявил Артур.

— Иду, иду.

— Что ж… — Артур прикоснулся к котелку. —

Часов в двенадцать загляну снова.

Развинченной походкой он направился к выходу. Роза блаженно смотрела ему вслед. Он вышел, не закрыв за собою дверь.

— Вот верблюд! — выругался Алоис.

Роза с гордостью посмотрела на нас.

— Разве он не великолепен? Его ничем не проймешь. И где это он проторчал столько времени?

— Разве ты не заметила по цвету лица? — сказала Валли. — В надежном местечке. Тоже мне! Герой!

— Ты не знаешь его…

— Я его достаточно знаю, — сказала Валли.

— Тебе этого не понять. — Роза встала. — Настоящий мужчина, вот он кто! Не какая-нибудь слезливая размазня. Ну, я пошла. Привет, детки!

Помолодевшая и окрыленная, она вышла, покачивая бедрами. Снова появился кто-то, кому она сможет отдавать свои деньги, чтобы он их пропивал, а потом еще и бил ее в придачу. Роза была счастлива.

* * *

Через полчаса ушли и остальные. Только Лилли не трогалась с места. Ее лицо было по-прежнему каменным.

Я еще побренчал немного на пианино, затем съел бутерброд и тоже ушел. Было невозможно оставаться долго наедине с Лилли.

Я брел по мокрым темным улицам. У кладбища выстроился отряд Армии спасения. В сопровождении тромбонов и труб они пели о небесном Иерусалиме. Я остановился. Вдруг я почувствовал, что мне не выдержать одному, без Пат. Уставившись на бледные могильные плиты, я говорил себе, что год назад я был гораздо более одинок, что тогда я еще не был знаком с Пат, что теперь она есть у меня, пусть не рядом… Но все это не помогало, — я вдруг совсем расстроился и не знал, что делать. Наконец я решил заглянуть домой, — узнать, нет ли от нее письма. Это было совершенно бессмысленно: письма еще не было, да и не могло быть, но все-таки я поднялся к себе.

Уходя, я столкнулся с Орловым. Под его распахнутым пальто был виден смокинг. Он шел в отель, где служил наемным танцором. Я спросил Орлова, не слыхал ли он что-нибудь о фрау Хассе.

— Нет, — сказал он. — Здесь она не была. И в полиции не показывалась. Да так оно и лучше. Пусть не приходит больше…

Мы пошли вместе по улице. На углу стоял

грузовик с углем. Подняв капот, шофер копался в моторе. Потом он сел в кабину. Когда мы поравнялись с машиной, он запустил мотор и дал сильный газ на холостых оборотах. Орлов вздрогнул. Я посмотрел на него. Он побледнел как снег.

— Вы больны? — спросил я.

Он улыбнулся побелевшими губами и покачал головой.

— Нет, но я иногда пугаюсь, если неожиданно слышу такой шум. Когда в России расстреливали моего отца, на улице тоже запустили мотор грузовика, чтобы выстрелы не были так слышны. Но мы их все равно слышали. — Он опять улыбнулся, точно извиняясь. — С моей матерью меньше церемонились. Ее расстреляли рано утром в подвале. Брату и мне удалось ночью бежать. У нас еще были бриллианты. Но брат замерз по дороге.

— За что расстреляли ваших родителей? — спросил я.

— Отец был до войны командиром казачьего полка, принимавшего участие в подавлении восстания. Он знал, что все так и будет, и считал это, как говорится, в порядке вещей. Мать придерживалась другого мнения.

— А вы?

Он устало и неопределенно махнул рукой.

— С тех пор столько произошло…

— Да, — сказал я, — в этом все дело. Больше, чем может переварить человеческий мозг.

Мы подошли к гостинице, в которой он работал. К подъезду подкатил «бьюик». Из него вышла дама и, заметив Орлова, с радостным возгласом устремилась к нему. Это была довольно полная элегантная блондинка лет сорока. По ее слегка расплывшемуся, бездумному лицу было видно, что она никогда не знала ни забот, ни горя.

— Извините, — сказал Орлов, бросив на меня быстрый выразительный взгляд, — дела…

Он поклонился блондинке и поцеловал ей руку.

* * *

В баре были Валентин, Кестер, Ленц и Фердинанд Грау. Я подсел к ним и заказал себе полбутылки рома. Я все еще чувствовал себя отвратительно.

На диване в углу сидел Фердинанд, широкий, массивный, с изнуренным лицом и ясными голубыми глазами. Он уже успел выпить всего понемногу.

— Ну, мой маленький Робби, — сказал он и хлопнул меня по плечу, — что с тобой творится?

— Ничего, Фердинанд, — ответил я, — в том-то и вся беда.

— Ничего? — Он внимательно посмотрел на меня, потом снова спросил: — Ничего? Ты хочешь сказать, ничто! Но Ничто — это уже много! Ничто — это зеркало, в котором отражается мир.

— Браво! — крикнул Ленц. — Необычайно оригинально, Фердинанд!

— Сиди спокойно, Готтфрид! — Фердинанд повернул к нему свою огромную голову. — Романтики вроде тебя — всего лишь патетические попрыгунчики, скачущие по краю жизни. Они понимают ее всегда ложно, и все для них сенсация. Да что ты можешь знать про Ничто, легковесное ты существо!

— Знаю достаточно, чтобы желать и впредь быть легковесным, — заявил Ленц. — Порядочные люди уважают это самое Ничто, Фердинанд. Они не роются в нем, как кроты.

Грау уставился на него.

— За тебя! — сказал Готтфрид.

— За тебя! — сказал Фердинанд. — За твое здоровье, пробка ты этакая!

Они выпили свои рюмки до дна.

— С удовольствием был бы и я пробкой, — сказал я и тоже выпил свою рюмку. — Пробкой,

которая делает все правильно и добивается успеха. Хоть бы недолго побыть в таком состоянии!

— Вероотступник! — Фердинанд откинулся в своем кресле так, что оно затрещало. — Хочешь стать дезертиром? Предать наше братство?

— Нет, — сказал я, — никого я не хочу предавать. Но мне бы хотелось, чтобы не всегда и не все шло у нас прахом.

Фердинанд подался вперед. Его крупное лицо, в котором в эту минуту было что-то дикое, дрогнуло.

— Потому, брат, ты и причастен к одному ордену, — к ордену неудачников и неумельцев, с их бесцельными желаниями, с их тоской, не приводящей ни к чему, с их любовью без будущего, с их бессмысленным отчаянием. — Он улыбнулся. — Ты принадлежишь к тайному братству, члены которого скорее погибнут, чем сделают карьеру, скорее проиграют, распылят, потеряют свою жизнь, но не посмеют, предавшись суете, исказить или позабыть недосягаемый образ, — тот образ, брат мой, который они носят в своих сердцах, который был навечно утвержден в часы, и дни, и ночи, когда не было ничего, кроме голой жизни и голой смерти. — Он поднял свою рюмку и сделал знак Фреду, стоявшему у стойки: — Дай

мне выпить.

Фред принес бутылку.

— Пусть еще поиграет патефон? — спросил он.

— Нет, — сказал Ленц. — Выбрось свой патефон ко всем чертям и принеси бокалы побольше. Убавь свет, поставь сюда несколько бутылок и убирайся к себе в конторку.

Фред кивнул и выключил верхний свет. Горели только лампочки под пергаментными абажурами из старых географических карт. Ленц наполнил бокалы.

— Выпьем, ребята! За то, что мы живем! За то, что мы дышим! Ведь мы так сильно чувствуем жизнь! Даже не знаем, что нам с ней делать!

— Это так, — сказал Фердинанд. — Только несчастный знает, что такое счастье. Счастливец ощущает радость жизни не более чем манекен: он только демонстрирует эту радость, но она ему не дана. Свет не светит, когда светло. Он светит во тьме. Выпьем за тьму! Кто хоть раз попал в грозу, тому нечего объяснять, что такое электричество. Будь проклята гроза! Да будет благословенна та малая толика жизни, что мы имеем! И так как мы любим ее, не будем же закладывать ее под проценты! Живи напропалую! Пейте, ребята! Есть звезды, которые распались десять тысяч

световых лет тому назад, но они светят и поныне! Пейте, пока есть время! Да здравствует несчастье! Да здравствует тьма!

Он налил себе полный бокал коньяку и выпил залпом.

* * *

Ром шумел в моей голове. Я тихо встал и пошел в конторку Фреда. Он спал. Разбудив его, я попросил заказать телефонный разговор с санаторием.

— Подождите немного, — сказал он. — В это время соединяют быстро.

Через пять минут телефон зазвонил. Санаторий был на проводе.

— Я хотел бы поговорить с фрейлейн Хольман, — сказал я.

— Минутку, соединяю вас с дежурной.

Мне ответила старшая сестра:

— Фрейлейн Хольман уже спит.

— А в ее комнате нет телефона?

— Нет.

— Вы не можете ее разбудить?

Сестра ответила не сразу.

— Нет. Сегодня она больше не должна вставать.

— Что-нибудь случилось?

— Нет. Но в ближайшие дни она должна оставаться в постели.

— Я могу быть уверен, что ничего не случилось?

— Ничего, ничего, так всегда бывает вначале. Она должна оставаться в постели и постепенно привыкнуть к обстановке.

Я повесил трубку.

— Слишком поздно, да? — спросил Фред.

— Как то есть поздно?

Он показал мне свои часы:

— Двенадцатый час.

— Да, — сказал я. — Не стоило звонить.

Я пошел обратно и выпил еще.

В два часа мы ушли. Ленц поехал с Валентином и Фердинандом на такси.

— Садись, — сказал мне Кестер и завел мотор «Карла».

— Мне отсюда рукой подать, Отто. Могу пройтись пешком.

Он посмотрел на меня.

— Поедем еще немного за город.

— Ладно. — Я сел в машину.

— Берись за руль, — сказал Кестер.

— Глупости, Отто. Я не сяду за руль, я пьян.

— Поезжай! Под мою ответственность.

— Вот увидишь… — сказал я и сел за руль.

Мотор ревел. Рулевое колесо дрожало в моих руках. Качаясь, проплывали мимо улицы, дома наклонялись, фонари стояли косо под дождем.

— Отто, ничего не выходит, — сказал я. — Еще врежусь во что-нибудь.

— Врезайся, — ответил он.

Я посмотрел на него. Его лицо было ясно, напряженно и спокойно. Он смотрел вперед на мостовую. Я прижался к спинке сиденья и крепче ухватился за руль. Я сжал зубы и сощурил глаза. Постепенно улица стала более отчетливой.

— Куда, Отто? — спросил я.

— Дальше. За город.

Мы проехали окраину и вскоре выбрались на шоссе.

— Включи большой свет, — сказал Кестер.

Ярко заблестел впереди серый бетон. Дождь почти перестал, но капли били мне в лицо, как град. Ветер налетал тяжелыми порывами. Низко над лесом нависали рваные облака, и сквозь них сочилось серебро. Хмельной туман, круживший мне голову, улетучился. Рев мотора отдавался в руках, во всем теле. Я чувствовал всю мощь машины. Взрывы в цилиндрах сотрясали тупой, оцепеневший мозг. Поршни молотками стучали

в моей крови. Я прибавил газу. Машина пулей неслась по шоссе.

— Быстрее, — сказал Кестер.

Засвистели покрышки. Гудя, пролетали мимо деревья и телеграфные столбы. Прогрохотала какая-то деревня. Теперь я был совсем трезв.

— Больше газу, — сказал Кестер.

— Как же я его тогда удержу? Дорога мокрая.

— Сам сообразишь. Перед поворотами переключай на третью скорость и не сбавляй газ.

Мотор загремел еще сильней. Воздух бил мне в лицо. Я пригнулся за ветровым щитком. И будто провалился в грохот двигателя, машина и тело слились в одном напряжении, в одной высокой вибрации, я ощущал под ногами колеса, я ощущал бетон шоссе, скорость… И вдруг, словно от толчка, все во мне встало на место. Ночь завывала и свистела, вышибая из меня все постороннее, мои губы плотно сомкнулись, руки сжались, как тиски, и я весь превратился в движение, в бешеную скорость, я был в беспамятстве и в то же время предельно внимателен.

На каком-то повороте задние колеса машины занесло. Я несколько раз резко рванул руль в противоположную сторону и снова дал газ. На мгновение устойчивость исчезла, словно мы

повисли в корзине воздушного шара, но потом колеса опять прочно сцепились с полотном дороги.

— Хорошо, — сказал Кестер.

— Мокрые листья, — объяснил я. По телу пробежала теплая волна, и я почувствовал облегчение, как это бывает всегда, когда проходит опасность.

Кестер кивнул.

— Осенью на лесных поворотах всегда такая чертовщина. Хочешь закурить?

— Да, — сказал я.

Мы остановились и закурили.

— Теперь можно повернуть обратно, — сказал Кестер.

Мы приехали в город, и я вышел из машины.

— Хорошо, что прокатились, Отто. Теперь я в норме.

— В следующий раз покажу тебе другую технику езды на поворотах, — сказал он. — Резкий поворот руля при одновременном торможении. Но это когда дорога посуше.

— Ладно, Отто. Доброй ночи.

— Доброй ночи, Робби.

«Карл» умчался. Я вошел в дом. Я был совершенно измотан, но спокоен. Моя печаль рассеялась.

XXIII

В начале ноября мы продали «ситроен». На вырученные деньги можно было еще некоторое время содержать мастерскую, но наше положение ухудшалось с каждой неделей. На зиму владельцы автомобилей ставили свои машины в гаражи, чтобы экономить на бензине и налогах. Ремонтных работ становилось все меньше. Правда, мы кое-как перебивались выручкой от такси, но скудного заработка не хватало на троих, и поэтому я очень обрадовался, когда хозяин «Интернационаля» предложил мне, начиная с декабря, снова играть у него каждый вечер на пианино. В последнее время ему повезло: союз скотопромышленников проводил свои еженедельные встречи в одной из задних комнат «Интернационаля»; примеру скотопромышленников последовали союз торговцев лошадьми и наконец «Общество борьбы за кремацию во имя общественной пользы». Таким образом, я мог предоставить такси Ленцу и Кестеру. Меня это вполне устраивало еще и потому, что по вечерам я часто не знал, куда деваться.

Пат писала регулярно. Я ждал ее писем, но я не

мог себе представить, как она живет, и иногда, в мрачные и слякотные декабрьские дни, когда даже в полдень не бывало по-настоящему светло, я думал, что она давным-давно ускользнула от меня, что все прошло. Мне казалось, что со времени нашей разлуки прошла целая вечность, и тогда я не верил, что Пат вернется. Потом наступали вечера, полные тягостной, дикой тоски, и тут уж ничего не оставалось — я просиживал ночи напролет в обществе проституток и скотопромышленников и пил с ними.

Владелец «Интернационаля» получил разрешение не закрывать свое кафе в сочельник. Холостяки всех союзов устраивали большой вечер. Председатель союза скотопромышленников, свиноторговец Стефан Григоляйт, пожертвовал для праздника двух молочных поросят и много свиных ножек. Григоляйт был уже два года вдовцом. Он отличался мягким и общительным характером; вот ему и захотелось встретить рождество в приятном обществе.

Хозяин кафе раздобыл четырехметровую ель, которую водрузили около стойки. Роза, признанный авторитет по части уюта и задушевной атмосферы, взялась украсить дерево. Ей помогали Марион и Кики, — в силу своих наклонностей

он тоже обладал чувством прекрасного. Они приступили к работе в полдень и навесили на дерево огромное количество пестрых стеклянных шаров, свечей и золотых пластинок. В конце концов елка получилась на славу. В знак особого внимания к Григоляйту на ветках было развешано множество розовых свинок из марципана.

* * *

После обеда я прилег и проспал несколько часов. Проснулся я уже затемно и не сразу сообразил, вечер ли теперь или утро. Мне что-то снилось, но я не мог вспомнить, что. Сон унес меня куда-то далеко, и мне казалось, что я еще слышу, как за мной захлопывается черная дверь. Потом я услышал стук.

— Кто там? — откликнулся я.

— Я, господин Локамп.

Я узнал голос фрау Залевски.

— Войдите, — сказал я. — Дверь открыта.

Скрипнула дверь, и я увидел фигуру фрау Залевски, освещенную желтым светом, лившимся из коридора.

— Пришла фрау Хассе, — прошептала она. — Пойдемте скорее. Я не могу ей сказать это.

Я не пошевелился. Нужно было сперва прийти

в себя.

— Пошлите ее в полицию, — сказал я, подумав.

— Господин Локамп! — Фрау Залевски заломила руки. — Никого нет, кроме вас. Вы должны мне помочь. Ведь вы же христианин!

В светлом прямоугольнике двери она казалась черной, пляшущей тенью.

— Перестаньте, — сказал я с досадой. — Сейчас приду.

Я оделся и вышел. Фрау Залевски ожидала меня в коридоре.

— Она уже знает? — спросил я.

Она покачала головой и прижала носовой платок к губам.

— Где она?

— В своей прежней комнате.

У входа в кухню стояла Фрида, потная от волнения.

— На ней шляпа со страусовыми перьями и брильянтовая брошь, — прошептала она.

— Смотрите, чтобы эта идиотка не подслушивала, — сказал я фрау Залевски и вошел в комнату.

Фрау Хассе стояла у окна. Услышав шаги, она быстро обернулась. Видимо, она ждала кого-то другого. Как это ни было глупо, я прежде всего невольно обратил внимание на ее шляпу с перья-

ми и брошь. Фрида оказалась права: шляпа была шикарна. Брошь — скромнее. Дамочка расфуфырилась, явно желая показать, до чего хорошо ей живется. Выглядела она в общем неплохо; во всяком случае куда лучше, чем прежде.

— Хассе, значит, работает и в сочельник? — едко спросила она.

— Нет, — сказал я.

— Где же он? В отпуске?

Она подошла ко мне, покачивая бедрами. Меня обдал резкий запах ее духов.

— Что вам еще нужно от него? — спросил я.

— Взять свои вещи. Рассчитаться. В конце концов кое-что здесь принадлежит и мне.

— Не надо рассчитываться, — сказал я. — Теперь все это принадлежит только вам.

Она недоуменно посмотрела на меня.

— Он умер, — сказал я.

Я охотно сообщил бы ей это иначе. Не сразу, с подготовкой. Но я не знал, с чего начать. Кроме того, моя голова еще гудела от сна — такого сна, когда, пробудившись, человек близок к самоубийству.

Фрау Хассе стояла посредине комнаты, и в момент, когда я ей сказал это, я почему-то совершенно отчетливо представил себе, что она

ничего не заденет, если рухнет на пол. Странно, но я действительно ничего другого не видел и ни о чем другом не думал.

Но она не упала. Продолжая стоять, она смотрела на меня. Только перья на ее роскошной шляпе затрепетали.

— Вот как… — сказала она, — вот как…

И вдруг — я даже не сразу понял, что происходит, — эта расфранченная, надушенная женщина начала стареть на моих глазах, словно время ураганным ливнем обрушилось на нее и каждая секунда была годом. Напряженность исчезла, торжество угасло, лицо стало дряхлым. Морщины наползли на него, как черви, и когда неуверенным, нащупывающим движением руки она дотянулась до спинки стула и села, словно боясь разбить что-то, передо мной была другая женщина, — усталая, надломленная, старая.

— Отчего он умер? — спросила она, не шевеля губами.

— Это случилось внезапно, — сказал я.

Она не слушала и смотрела на свои руки.

— Что мне теперь делать? — бормотала она. — Что мне теперь делать?

Я подождал немного. Чувствовал я себя ужасно.

— Ведь есть, вероятно, кто-нибудь, к кому вы можете пойти, — сказал я наконец. — Лучше вам уйти отсюда. Вы ведь и не хотели оставаться здесь…

— Теперь все обернулось по-другому, — ответила она, не поднимая глаз. — Что же мне теперь делать?..

— Ведь кто-нибудь, наверно, ждет вас. Пойдите к нему и обсудите с ним все. А после Рождества зайдите в полицейский участок. Там все документы и банковые чеки. Вы должны явиться туда. Тогда вы сможете получить деньги.

— Деньги, деньги, — тупо бормотала она. — Что за деньги?

— Довольно много. Около тысячи двухсот марок.

Она подняла голову. В ее глазах вдруг появилось выражение безумия.

— Нет! — взвизгнула она. — Это неправда!

Я не ответил.

— Скажите, что это неправда, — прошептала она. — Это неправда, но, может быть, он откладывал их тайком на черный день?

Она поднялась. Внезапно она совершенно преобразилась. Ее движения стали автоматическими. Она подошла вплотную ко мне.

— Да, это правда, — прошипела она, — я чувствую, это правда! Какой подлец! О, какой подлец! Заставить меня проделать все это, а потом вдруг такое! Но я возьму их и выброшу, выброшу все в один вечер, вышвырну на улицу, чтобы от них не осталось ничего! Ничего! Ничего!

Я молчал. С меня было довольно. Ее первое потрясение прошло, она знала, что Хассе умер, во всем остальном ей нужно было разобраться самой. Ее ждал еще один удар — ведь ей предстояло узнать, что он повесился. Но это было уже ее дело. Воскресить Хассе ради нее было невозможно.

Теперь она рыдала. Она исходила слезами, плача тонко и жалобно, как ребенок. Это продолжалось довольно долго. Я дорого дал бы за сигарету. Я не мог видеть слез.

Наконец она умолкла, вытерла лицо, вытащила серебряную пудреницу и стала пудриться, не глядя в зеркало. Потом спрятала пудреницу, забыв защелкнуть сумочку.

— Я ничего больше не знаю, — сказала она надломленным голосом, — я ничего больше не знаю. Наверно, он был хорошим человеком.

— Да, это так.

Я сообщил ей адрес полицейского участка и сказал, что сегодня он уже закрыт. Мне казалось,

что ей лучше не идти туда сразу. На сегодня с нее было достаточно.

* * *

Когда она ушла, из гостиной вышла фрау Залевски.

— Неужели, кроме меня, здесь нет никого? — спросил я, злясь на самого себя.

— Только господин Джорджи. Что она сказала?

— Ничего.

— Тем лучше.

— Как сказать. Иногда это бывает и не лучше.

— Нет у меня к ней жалости, — энергично заявила фрау Залевски. — Ни малейшей.

— Жалость самый бесполезный предмет на свете, — сказал я раздраженно. — Она — обратная сторона злорадства, да будет вам известно. Который час?

— Без четверти семь.

— В семь я хочу позвонить фрейлейн Хольман. Но так, чтобы никто не подслушивал. Это возможно?

— Никого нет, кроме господина Джорджи. Фриду я отправила. Если хотите, можете говорить из кухни. Длина шнура как раз позволяет дотянуть туда аппарат.

— Хорошо.

Я постучал к Джорджи. Мы с ним давно не виделись. Он сидел за письменным столом и выглядел ужасно. Кругом валялась разорванная бумага.

— Здравствуй, Джорджи, — сказал я, — что ты делаешь?

— Занимаюсь инвентаризацией, — ответил он, стараясь улыбнуться. — Хорошее занятие в сочельник.

Я поднял клочок бумаги. Это были конспекты лекций с химическими формулами.

— Зачем ты их рвешь? — спросил я.

— Нет больше смысла, Робби.

Его кожа казалась прозрачной. Уши были как восковые.

— Что ты сегодня ел? — спросил я.

Он махнул рукой.

— Неважно. Дело не в этом. Не в еде. Но я просто больше не могу. Надо бросать.

— Разве так трудно?

— Да.

— Джорджи, — спокойно сказал я, — посмотрика на меня. Неужели ты сомневаешься, что и я в свое время хотел стать человеком, а не пианистом в этом б…ском кафе «Интернациональ»?

Он теребил пальцы.

— Знаю, Робби. Но от этого мне не легче. Для меня учеба была всем. А теперь я понял, что нет смысла. Что ни в чем нет смысла. Зачем же, собственно, жить?

Он был очень жалок, страшно подавлен, но я все-таки расхохотался.

— Маленький осел! — сказал я. — Открытие сделал! Думаешь, у тебя одного столько грандиозной мудрости? Конечно, нет смысла. Мы и не живем ради какого-то смысл. Не так это просто. Давай одевайся, пойдешь со мной в «Интернациональ». Отпразднуем твое превращение в мужчину. До сих пор ты был школьником. Я зайду за тобой через полчаса.

— Нет, — сказал он.

Он совсем скис.

— Нет, пойдем, — сказал я. — Сделай мне одолжение. Я не хотел бы быть сегодня один.

Он недоверчиво посмотрел на меня.

— Ну как хочешь, — ответил он безвольно. — В конце концов, не все ли равно.

— Ну вот видишь, — сказал я. — Для начала это совсем не плохой девиз.

* * *

В семь часов я заказал телефонный разговор с Пат. После семи действовал половинный тариф, и я мог говорить вдвое дольше. Я сел на стол в передней и стал ждать. Идти на кухню не хотелось. Там пахло зелеными бобами, и я не хотел, чтобы это хоть как-то связывалось с Пат даже при телефонном разговоре. Через четверть часа мне дали санаторий. Пат сразу подошла к аппарату. Услышав так близко ее теплый, низкий, чуть неуверенный голос, я до того разволновался, что почти не мог говорить. Я был как в лихорадке, кровь стучала в висках, я никак не мог овладеть собой.

— Боже мой, Пат, — сказал я, — это действительно ты?

Она рассмеялась.

— Где ты, Робби? В конторе?

— Нет, я сижу на столе у фрау Залевски. Как ты поживаешь?

— Хорошо, милый.

— Ты встала?

— Да. Сижу в белом купальном халате на подоконнике в своей комнате. За окном идет снег.

Вдруг я ясно увидел ее. Я видел кружение снеж-

ных хлопьев, темную точеную головку, прямые, чуть согнутые плечи, бронзовую кожу.

— Господи, Пат! — сказал я. — Проклятые деньги! Я бы тут же сел в самолет и вечером был бы у тебя.

— О, дорогой мой…

Она замолчала. Я слышал тихие шорохи и гудение провода.

— Ты еще слушаешь, Пат?

— Да, Робби. Но не надо говорить таких вещей. У меня совсем закружилась голова.

— И у меня здорово кружится голова, — сказал я. — Расскажи, что ты там делаешь наверху.

Она заговорила, но скоро я перестал вникать в смысл слов и слушал только ее голос. Я сидел в темной передней под кабаньей головой, из кухни доносился запах бобов. Вдруг мне почудилось, будто распахнулась дверь и меня обдала волна тепла и блеска, нежная, переливчатая, полная грез, тоски и молодости. Я уперся ногами в перекладину стола, прижал ладонь к щеке, смотрел на кабанью голову, на открытую дверь кухни и не замечал всего этого, — вокруг было лето, ветер, вечер над пшеничным полем и зеленый свет лесных дорожек. Голос умолк. Я глубоко дышал.

— Как хорошо говорить с тобой, Пат. А что ты

делаешь сегодня вечером?

— Сегодня у нас маленький праздник. Он начинается в восемь. Я как раз одеваюсь, чтобы пойти.

— Что ты наденешь? Серебряное платье?

— Да, Робби. Серебряное платье, в котором ты нес меня по коридору.

— А с кем ты идешь?

— Ни с кем. Вечер будет в санатории. Внизу, в холле. Тут все знают друг друга.

— Тебе, должно быть, трудно сохранять мне верность, — сказал я. — Особенно в серебряном платье.

Она рассмеялась.

— Только не в этом платье. У меня с ним связаны кое-какие воспоминания.

— У меня тоже. Я видел, какое оно производит впечатление. Впрочем, я не так уж любопытен. Ты можешь мне изменить, только я не хочу об этом знать. Потом, когда вернешься, будем считать, что это тебе приснилось, позабыто и прошло.

— Ах, Робби, — проговорила она медленно и глухо. — Не могу я тебе изменить. Я слишком много думаю о тебе. Ты не знаешь, какая здесь жизнь. Сверкающая, прекрасная тюрьма. Стараюсь отвлечься как могу, вот и все. Вспоминая

твою комнату, я просто не знаю, что делать. Тогда я иду на вокзал и смотрю на поезда, прибывающие снизу, вхожу в вагоны или делаю вид, будто встречаю кого-то. Так мне кажется, что я ближе к тебе.

Я крепко сжал губы. Никогда еще она не говорила со мной так. Она всегда была застенчива, и ее привязанность проявлялась скорее в жестах или взглядах, чем в словах.

— Я постараюсь приехать к тебе, Пат, — сказал я.

— Правда, Робби?

— Да, может быть, в конце января.

Я знал, что это вряд ли будет возможно: в конце февраля надо было снова платить за санаторий. Но я сказал это, чтобы подбодрить ее. Потом я мог бы без особого труда оттягивать свой приезд до того времени, когда она поправится и сама сможет уехать из санатория.

— До свидания, Пат, — сказал я. — Желаю тебе всего хорошего! Будь весела, тогда и мне будет радостно. Будь веселой сегодня.

— Да, Робби, сегодня я счастлива.

* * *

Я зашел за Джорджи, и мы отправились в «Интернациональ». Старый, прокопченный зал был почти неузнаваем. Огни на елке ярко горели, и их теплый свет отражался во всех бутылках, бокалах, в блестящих никелевых и медных частях стойки. Проститутки в вечерних туалетах, с фальшивыми драгоценностями, полные ожидания, сидели вокруг одного из столов.

Ровно в восемь часов в зале появился хор объединенных скотопромышленников. Они выстроились перед дверью по голосам: справа — первый тенор, слева — второй бас. Стефан Григоляйт, вдовец и свиноторговец, достал камертон, дал первую ноту, и пение началось:

Небесный мир, святая ночь,
Пролей над сей душой.
Паломнику терпеть невмочь —
Подай ему покой.
Луна сияет там вдали,
И звезды огоньки зажгли,
Они едва не увлекли

Меня вслед за тобой[2]

— Как трогательно, — сказала Роза, вытирая глаза.

Отзвучала вторая строфа. Раздались громовые аплодисменты. Хор благодарно кланялся. Стефан Григоляйт вытер пот со лба.

— Бетховен есть Бетховен, — заявил он. Никто не возразил ему. Стефан спрятал носовой платок. — А теперь — в ружье!

Стол был накрыт в большой комнате, где обычно собирались члены союза. Посредине на серебряных блюдах, поставленных на маленькие спиртовки, красовались оба молочных поросенка, румяные и поджаристые. В зубах у них были ломтики лимона, на спинках — маленькие зажженные елочки. Они уже ничему не удивлялись.

Появился Алоис в свежевыкрашенном фраке, подаренном хозяином. Он принес полдюжины больших глиняных кувшинов с вином и наполнил бокалы. Пришел Поттер из общества содействия кремации.

— Мир на земле! — сказал он с большим достоинством, пожал руку Розе и сел возле нее.

---

[2] Примечания: 2
Перевод Б. Слуцкого.

Стефан Григоляйт, сразу же пригласивший Джорджи к столу, встал и произнес самую короткую и самую лучшую речь в своей жизни. Он поднял бокал с искристым «ваххольдером», обвел всех лучезарным взглядом и воскликнул:

— Будем здоровы!

Затем он снова сел, и Алоис притащил свиные ножки, квашеную капусту и жареный картофель. Вошел хозяин с подносом, уставленным кружками с золотистым пильзенским пивом.

— Ешь медленнее, Джорджи, — сказал я. — Твой желудок должен сперва привыкнуть к жирному мясу.

— Я вообще должен сперва привыкнуть ко всему, — ответил он и посмотрел на меня.

— Это делается быстро, — сказал я. — Только не надо сравнивать. Тогда дело пойдет.

Он кивнул и снова наклонился над тарелкой.

Вдруг на другом конце стола вспыхнула ссора. Мы услышали каркающий голос Поттера. Он хотел чокнуться с Бушем, торговцем сигарами, но тот отказался, заявив, что не желает пить, а предпочитает побольше есть.

— Глупости все, — раздраженно заворчал Поттер. — Когда ешь, надо пить! Кто пьет, тот может съесть даже еще больше.

— Ерунда! — буркнул Буш, тощий высокий человек с плоским носом и в роговых очках.

Поттер вскочил с места.

— Ерунда?! И это говоришь ты, табачная сова?

— Тихо! — крикнул Стефан Григоляйт. — Никаких скандалов в сочельник!

Ему объяснили, в чем дело, и он принял соломоново решение — проверить дело практически. Перед спорщиками поставили несколько мисок с мясом, картофелем и капустой. Порции были огромны. Поттеру разрешалось пить что угодно, Буш должен был есть всухомятку. Чтобы придать состязанию особую остроту, Григоляйт организовал тотализатор, и гости стали заключать пари.

Поттер соорудил перед собой полукруг из стаканов с пивом и поставил между ними маленькие рюмки с водкой, сверкавшие как брильянты. Пари были заключены в соотношении 3 : 1 в пользу Поттера.

Буш жрал с ожесточением, низко пригнувшись к тарелке. Поттер сражался с открытым забралом и сидел выпрямившись. Перед каждым глотком он злорадно желал Бушу здоровья, на что последний отвечал ему взглядами, полными ненависти.

— Мне становится дурно, — сказал мне Джор-

джи.

— Давай выйдем.

Я прошел с ним к туалету и присел в передней, чтобы подождать его. Сладковатый запах свечей смешивался с ароматом хвои, сгоравшей с легким треском. И вдруг мне померещилось, будто я слышу любимые легкие шаги, ощущаю теплое дыхание и близко вижу пару темных глаз…

— Черт возьми! — сказал я и встал. — Что это со мной?

В тот же миг раздался оглушительный шум.

— Поттер!

— Браво, Алоизиус!

Кремация победила.

* * *

В задней комнате клубился сигарный дым. Разносили коньяк. Я все еще сидел около стойки. Появились девицы. Они сгрудились недалеко от меня и начали деловито шушукаться.

— Что у вас там? — спросил я.

— Для нас приготовлены подарки, — ответила Марион.

— Ах вот оно что.

Я прислонил голову к стойке и попытался представить себе, что теперь делает Пат. Я видел холл

санатория, пылающий камин и Пат, стоящую у подоконника с Хельгой Гутман и еще какими-то людьми. Все это было так давно… Иногда я думал: проснусь в одно прекрасное утро, и вдруг окажется, что все прошло, позабыто, исчезло. Не было ничего прочного — даже воспоминаний.

Зазвенел колокольчик. Девицы всполошились, как вспугнутая стайка кур, и побежали в биллиардную. Там стояла Роза с колокольчиком в руке. Она кивнула мне, чтобы я подошел. Под небольшой елкой на биллиардном столе были расставлены тарелки, прикрытые шелковой бумагой. На каждой лежал пакетик с подарком и карточка с именем. Девицы одаривали друг друга. Все подготовила Роза. Подарки были вручены ей в упакованном виде, а она разложила их по тарелкам.

Возбужденные девицы тараторили, перебивая друг друга; они суетились, как дети, желая поскорее увидеть, что для них приготовлено.

— Что же ты не возьмешь свою тарелку? — спросила меня Роза.

— Какую тарелку?

— Твою. И для тебя есть подарки.

На бумажке изящным рондо и даже в два цвета — красным и черным — было выведено мое

имя. Яблоки, орехи, апельсины, от Розы свитер, который она сама связала, от хозяйки — травянисто-зеленый галстук, от Кики — розовые носки из искусственного шелка, от красавицы Валли — кожаный ремень, от кельнера Алоиса — полбутылки рома, от Марион, Лины и Мими общий подарок — полдюжины носовых платков, и от хозяина — две бутылки коньяка.

— Дети, — сказал я, — дети, но это совершенно неожиданно.

— Ты изумлен? — воскликнула Роза.

— Очень.

Я стоял среди них, смущенный и тронутый до глубины души.

— Дети, — сказал я, — знаете, когда я получал в последний раз подарки? Я и сам не помню. Наверно, еще до войны. Но ведь у меня-то для вас ничего нет.

Все были страшно рады, что подарки так ошеломили меня.

— За то, что ты нам всегда играл на пианино, — сказала Лина и покраснела.

— Да сыграй нам сейчас, — это будет твоим подарком, — заявила Роза.

— Все, что захотите, — сказал я. — Все, что захотите.

— Сыграй «Мою молодость», — попросила Марион.

— Нет, что-нибудь веселое, — запротестовал Кики.

Его голос потонул в общем шуме. Он вообще не котировался всерьез как мужчина. Я сел за пианино и начал играть. Все запели:

Мне песня старая одна
Мила с начала дней,
Она из юности слышна,
Из юности моей[3].

Хозяйка выключила электричество. Теперь горели только свечи на елке, разливая мягкий свет. Тихо булькал пивной кран, напоминая плеск далекого лесного ручья, и плоскостопый Алоис сновал по залу неуклюжим черным привидением, словно колченогий Пан. Я заиграл второй куплет. С блестящими глазами, с добрыми лицами мещаночек, сгрудились девушки вокруг пианино. И — о чудо! — кто-то заплакал навзрыд. Это был Кики, вспомнивший свой родной Люкенвальде.

Тихо отворилась дверь. С мелодичным напевом

---

[3] Примечания: 3
Перевод В. Слуцкого.

гуськом в зал вошел хор во главе с Григоляйтом, курившим черную бразильскую сигару. Певцы выстроились позади девиц.

О, как был полон этот мир,
Когда я уезжал!
Теперь вернулся я назад —
Каким пустым он стал.

Тихо отзвучал смешанный хор.

— Красиво, — сказала Лина.

Роза зажгла бенгальские огни. Они шипели и разбрызгивали искры.

— Вот, а теперь что-нибудь веселое! — крикнула она. — Надо развеселить Кики.

— Меня тоже, — заявил Стефан Григоляйт.

В одиннадцать часов пришли Кестер и Ленц. Мы сели с бледным Джорджи за столик у стойки. Джорджи дали закусить, он едва держался на ногах. Ленц вскоре исчез в шумной компании скотопромышленников. Через четверть часа мы увидели его у стойки рядом с Григоляйтом. Они обнимались и пили на брудершафт.

— Стефан! — воскликнул Григоляйт.

— Готтфрид! — ответил Ленц, и оба опрокинули по рюмке коньяку.

— Готтфрид, завтра я пришлю тебе пакет с кро-

вяной и ливерной колбасой. Договорились?

— Договорились! Все в порядке! — Ленц хлопнул его по плечу. — Мой старый добрый Стефан!

Стефан сиял.

— Ты так хорошо смеешься, — восхищенно сказал он, — люблю, когда хорошо смеются. А я слишком легко поддаюсь грусти, это мой недостаток.

— И мой тоже, — ответил Ленц, — потому я и смеюсь. Иди сюда, Робби, выпьем за то, чтобы в мире никогда не умолкал смех!

Я подошел к ним.

— А что с этим пареньком? — спросил Стефан, показывая на Джорджи. — Очень уж у него печальный вид.

— Его легко осчастливить, — сказал я. — Ему бы только немного работы.

— В наши дни это хитрый фокус, — ответил Григоляйт.

— Он готов на любую работу.

— Теперь все готовы на любую работу. — Стефан немного отрезвел.

— Парню надо семьдесят пять марок в месяц.

— Ерунда. На это ему не прожить.

— Проживет, — сказал Ленц.

— Готтфрид, — заявил Григоляйт, — я старый

пьяница. Пусть. Но работа — дело серьезное. Ее нельзя сегодня дать, а завтра отнять. Это еще хуже, чем женить человека, а назавтра отнять у него жену. Но если этот парень честен и может прожить на семьдесят пять марок, значит ему повезло. Пусть придет во вторник в восемь утра. Мне нужен помощник для всякой беготни по делам союза и тому подобное. Сверх жалованья будет время от времени получать пакет с мясом. Подкормиться ему не мешает — очень уж тощий.

— Это верное слово? — спросил Ленц.

— Слово Стефана Григоляйта.

— Джорджи, — позвал я, — поди-ка сюда.

Когда ему сказали, в чем дело, он задрожал. Я вернулся к Кестеру.

— Послушай, Отто, — сказал я, — ты бы хотел начать жизнь сначала, если бы мог?

— И прожить ее так, как прожил?

— Да.

— Нет, — сказал Кестер.

— Я тоже нет, — сказал я.

XXIV

Это было три недели спустя, в холодный январский вечер. Я сидел в «Интернационале» и играл с хозяином в «двадцать одно». В кафе никого не было, даже проституток. Город был взволнован. На улице то и дело проходили демонстранты: одни маршировали под громовые военные марши, другие шли с пением «Интернационала». А затем снова тянулись длинные молчаливые колонны. Люди несли транспаранты с требованиями работы и хлеба. Бесчисленные шаги на мостовой отбивали такт, как огромные неумолимые часы. Перед вечером произошло первое столкновение между бастующими и полицией. Двенадцать раненых. Вся полиция давно уже была в боевой готовности. На улицах завывали сирены полицейских машин.

— Нет покоя, — сказал хозяин, показывая мне шестнадцать очков. — Война кончилась давно, а покоя все нет, а ведь только покой нам и нужен. Сумасшедший мир!

На моих картах было семнадцать очков. Я взял банк.

— Мир не сумасшедший, — сказал я. — Только

люди.

Алоис стоял за хозяйским стулом, заглядывая в карты.

Он запротестовал:

— Люди не сумасшедшие. Просто жадные. Один завидует другому. Всякого добра на свете хоть завались, а у большинства людей ни черта нет. Тут все дело только в распределении.

— Правильно, — сказал я, пасуя. — Вот уже несколько тысяч лет, как все дело именно в этом.

Хозяин открыл карты. У него было пятнадцать очков, и он неуверенно посмотрел на меня. Прикупив туза, он себя погубил. Я показал свои карты. У меня было только двенадцать очков. Имея пятнадцать, он бы выиграл.

— К черту, больше не играю! — выругался он. — Какой подлый блеф! А я-то думал, что у вас не меньше восемнадцати.

Алоис что-то пробормотал. Я спрятал деньги в карман. Хозяин зевнул и посмотрел на часы.

— Скоро одиннадцать. Думаю, пора закрывать. Все равно никто уже не придет.

— А вот кто-то идет, — сказал Алоис.

Дверь отворилась. Это был Кестер.

— Что-нибудь новое, Отто?

Он кивнул.

— Побоище в залах «Боруссии». Два тяжелораненых, несколько десятков легкораненых и около сотни арестованных. Две перестрелки в северной части города. Одного полицейского прикончили. Не знаю, сколько раненых. А когда кончатся большие митинги, тогда только все и начнется. Тебе здесь больше нечего делать?

— Да, — сказал я. — Как раз собирался закрывать.

— Тогда пойдем со мной.

Я вопросительно посмотрел на хозяина. Он кивнул.

— Ну, прощайте, — сказал я.

— Прощайте, — лениво ответил хозяин. — Будьте осторожны.

Мы вышли. На улице пахло снегом. Мостовая была усеяна белыми листовками; казалось, это большие мертвые бабочки.

— Готтфрида нет, — сказал Кестер. — Торчит на одном из этих собраний. Я слышал, что их будут разгонять, и думаю, всякое может случиться. Хорошо бы успеть разыскать его. А то еще ввяжется в драку.

— А ты знаешь, где он? — спросил я.

— Точно не знаю. Но скорее всего он на одном

из трех главных собраний. Надо заглянуть на все три. Готтфрида с его соломенной шевелюрой узнать нетрудно.

— Ладно.

Кестер запустил мотор, и мы помчались к месту, где шло одно из собраний.

* * *

На улице стоял грузовик с полицейскими. Ремешки форменных фуражек были опущены. Стволы карабинов смутно поблескивали в свете фонарей. Из окон свешивались пестрые флаги. У входа толпились люди в униформах. Почти все были очень молоды.

Мы взяли входные билеты. Отказавшись от брошюр, не опустив ни одного пфеннига в копилки и не регистрируя свою партийную принадлежность, мы вошли в зал. Он был переполнен и хорошо освещен, чтобы можно было сразу увидеть всякого, кто подаст голос с места. Мы остались у входа, и Кестер, у которого были очень зоркие глаза, стал внимательно рассматривать ряды.

На сцене стоял сильный коренастый человек и говорил. У него был громкий грудной голос, хорошо слышный в самых дальних уголках зала. Этот голос убеждал, хотя никто особенно и не вслу-

шивался в то, что он говорил. А говорил он вещи, понять которые было нетрудно. Оратор непринужденно расхаживал по сцене, чуть размахивая руками. Время от времени он отпивал глоток воды и шутил. Но затем он внезапно замирал, повернувшись лицом к публике, и измененным, резким голосом произносил одну за другой хлесткие фразы. Это были известные всем истины о нужде, о голоде, о безработице. Голос нарастал все сильнее, увлекая слушателей; он звучал фортиссимо, и оратор остервенело швырял в аудиторию слова: «Так дальше продолжаться не может! Это должно измениться!» Публика выражала шумное одобрение, она аплодировала и кричала, словно благодаря этим словам все уже изменилось. Оратор ждал. Его лицо блестело. А затем пространно, убедительно и неодолимо со сцены понеслось одно обещание за другим. Обещания сыпались градом на головы людей, и над ними расцветал пестрый, волшебный купол рая; это была лотерея, в которой на каждый билет падал главный выигрыш, в которой каждый обретал личное счастье, личные права и мог осуществить личную месть.

Я смотрел на слушателей. Здесь были люди всех профессий — бухгалтеры, мелкие ремесленники, чиновники, несколько рабочих и множество

женщин. Они сидели в душном зале, откинувшись назад или подавшись вперед, ряд за рядом, голова к голове. Со сцены лились потоки слов, и, странно — при всем разнообразии лиц на них было одинаковое, отсутствующее выражение, сонливые взгляды, устремленные в туманную даль, где маячила фата-моргана; в этих взглядах была пустота и вместе с тем ожидание какого-то великого свершения. В этом ожидании растворялось все: критика, сомнения, противоречия, наболевшие вопросы, будни, современность, реальность. Человек на сцене знал ответ на каждый вопрос, он мог помочь любой беде. Было приятно довериться ему. Было приятно видеть кого-то, кто думал о тебе. Было приятно верить.

Ленца здесь не было. Кестер толкнул меня и кивнул головой в сторону выхода. Мы вышли. Молодчики, стоявшие в дверях, посмотрели на нас мрачно и подозрительно. В вестибюле выстроился оркестр, готовый войти в зал. За ним колыхался лес знамен и виднелось несметное количество значков.

— Здорово сработано, как ты считаешь? — спросил Кестер на улице.

— Первоклассно. Могу судить об этом как старый руководитель отдела рекламы.

В нескольких кварталах отсюда шло другое политическое собрание. Другие знамена, другая униформа, другой зал, но в остальном все было одинаково. На лицах то же выражение неопределенной надежды, веры и пустоты. Перед рядами стол президиума, покрытый белой скатертью. За столом партийные секретари, члены президиума, несколько суетливых старых дев. Оратор чиновничьего вида был слабее предыдущего. Он говорил суконным немецким языком, приводил цифры, доказательства; все было правильно, и все же не так убедительно, как у того, хотя тот вообще ничего не доказывал, а только утверждал. Усталые партийные секретари за столом президиума клевали носом; они уже бывали на сотнях подобных собраний.

— Пойдем, — сказал Кестер немного погодя. — Здесь его тоже нет. Впрочем, я так и думал.

Мы поехали дальше. После духоты переполненных залов мы снова дышали свежим воздухом. Машина неслась по улицам. Мы проезжали мимо канала. Маслянисто-желтый свет фонарей отражался в темной воде, тихо плескавшейся о бетонированный берег. Навстречу нам медленно проплыла черная плоскодонная баржа. Ее тащил буксирный пароходик с красными и зелеными

сигнальными огнями. На палубе буксира залаяла собака, и какой-то человек, пройдя под фонарем, скрылся в люке, вспыхнувшем на секунду золотистым светом. Вдоль другого берега тянулись ярко освещенные дома западного района. К ним вел мост с широкой аркой. По нему в обе стороны безостановочно двигались автомобили, автобусы и трамваи. Мост над ленивой черной водой походил на искрящуюся пеструю змею.

— Давай оставим машину здесь и пройдем немного пешком, — сказал Кестер. — Не надо бросаться в глаза.

Мы остановили «Карла» у фонаря около пивной. Когда я выходил из машины, под ногами у меня прошмыгнула белая кошка. Несколько проституток в передниках стояли чуть поодаль под аркой ворот. Когда мы проходили мимо них, они замолчали. На углу стоял шарманщик. Он спал, прислонившись к стене дома. Какая-то старуха рылась в отбросах, сваленных у края тротуара. Мы подошли к огромному грязному дому-казарме с множеством флигелей, дворов и проходов. В нижнем этаже разместились лавчонки и булочная; рядом принимали тряпье и железный лом. На улице перед воротами стояли два грузовика с полицейскими.

В одном из углов первого двора был сооружен деревянный стенд, на котором висело несколько карт звездного неба. За столиком, заваленным бумагами, на небольшом возвышении стоял человек в тюрбане. Над его головой красовался плакат: «Астрология, графология, предсказание будущего! Ваш гороскоп за 50 пфеннигов!» Вокруг стояла толпа. Резкий свет карбидного фонаря падал на желтое сморщенное лицо астролога. Он настойчиво убеждал в чем-то слушателей, молча смотревших на него. Те же потерянные, отсутствующие взгляды людей, желавших увидеть чудо. Те же взгляды, что и на собраниях с флагами и оркестрами.

— Отто, — сказал я Кестеру, шедшему впереди меня, — теперь я знаю, чего хотят эти люди. Вовсе им не нужна политика. Им нужно что-то вместо религии.

Он обернулся.

— Конечно. Они хотят снова поверить. Все равно во что. Потому-то они так фанатичны.

Мы пришли во второй двор, где был вход в пивную. Все окна были освещены. Вдруг оттуда послышался шум, и через темный боковой вход во двор, как по сигналу, вбежали несколько молодых людей в непромокаемых спортивных

куртках. Прижимаясь к стене, они устремились к двери, ведшей в зал собрания. Передний рванул ее, и все ворвались внутрь.

— Ударная группа, — сказал Кестер. — Иди сюда к стене, станем за пивными бочками.

В зале поднялись рев и грохот. В следующее мгновение звякнуло стекло и кто-то вылетел из окна. Дверь распахнулась, и через нее стала протискиваться плотно сбившаяся куча людей. Передние были сбиты с ног, задние повалились на них. Какая-то женщина, истошно зовя на помощь, пробежала к воротам. Затем выкатилась вторая группа. Все были вооружены ножками от стульев и пивными кружками; они дрались, ожесточенно вцепившись друг в друга. Огромный плотник отделился от дерущихся и, заняв удобную позицию, продолжал бой: всякий раз, заметив голову противника, он ударял по ней кругообразным движением длинной руки и загонял его обратно в свалку. Он проделывал это совершенно спокойно, словно колол дрова.

Новый клубок людей подкатился к дверям, и вдруг в трех метрах от себя мы увидели всклокоченную светлую шевелюру Готтфрида, попавшего в руки какого-то буйного усача.

Кестер пригнулся и исчез в свалке. Через

несколько секунд усач отпустил Готтфрида. С выражением крайнего удивления он поднял руки кверху и, точно подрубленное дерево, рухнул обратно в толпу. Сразу вслед за этим я увидел Кестера, тащившего Ленца за шиворот.

Ленц сопротивлялся.

— Отто, пусти меня туда… только на одну минутку… — задыхаясь, говорил он.

— Глупости, — кричал Кестер, — сейчас нагрянет полиция! Бежим! Вот сюда!

Мы опрометью помчались по двору к темному парадному. Спешка была отнюдь не напрасной. В тот же момент во дворе раздались пронзительные свистки, замелькали черные фуражки шупо, и полиция оцепила двор. Мы взбежали вверх по лестнице, чтобы скрыться от полицейских. Дальнейший ход событий мы наблюдали из окна на лестнице. Полицейские работали блестяще. Перекрыв выходы, они вклинились в свалку, расчленили ее и тут же стали увозить народ на машинах. Первым они погрузили ошеломленного плотника, который пытался что-то объяснить.

За нами отворилась дверь. Какая-то женщина в одной рубашке, с голыми худыми ногами и свечой в руке, высунула голову.

— Это ты? — угрюмо спросила она.

— Нет, — сказал Ленц, уже пришедший в себя. Женщина захлопнула дверь. Ленц повернулся и осветил карманным фонариком табличку на двери. Здесь ждали Герхарда Пешке, каменщика.

Внизу все стихло. Полиция убралась восвояси, и двор опустел. Мы подождали еще немного и спустились по лестнице. За какой-то дверью тихо и жалобно плакал ребенок.

Мы прошли через передний двор. Покинутый всеми астролог стоял у карт звездного неба.

— Угодно господам получить гороскоп? — крикнул он. — Или узнать будущее по линиям рук?

— Давай рассказывай, — сказал Готтфрид и протянул ему руку.

Астролог недолго, но внимательно рассматривал ее.

— У вас порок сердца, — заявил он категорически. — Ваши чувства развиты сильно, линия разума очень коротка. Зато вы музыкальны. Вы любите помечтать, но как супруг многого не стоите. И все же я вижу здесь троих детей. Вы дипломат по натуре, склонны к скрытности и доживете до восьмидесяти лет.

— Правильно, — сказал Готтфрид. — Моя фрейлейн мамаша говорила всегда: кто зол, тот проживет долго. Мораль — это выдумка челове-

чества, но не вывод из жизненного опыта.

Он дал астрологу деньги, и мы пошли дальше. Улица была пуста. Черная кошка перебежала нам дорогу. Ленц показал на нее рукой:

— Теперь, собственно, полагается поворачивать обратно.

— Ничего, — сказал я. — Раньше мы видели белую. Одна нейтрализует другую.

Мы продолжали идти. Несколько человек шли нам навстречу по другой стороне. Это были четыре молодых парня. Один из них был в новых кожаных крагах светло-желтого оттенка, остальные — в сапогах военного образца. Они остановились и уставились на нас.

— Вот он! — вдруг крикнул парень в крагах и побежал через улицу к нам. Раздались два выстрела, парень отскочил в сторону, и вся четверка пустилась со всех ног наутек. Я увидел, как Кестер рванулся было за ними, но тут же как-то странно повернулся, издал дикий, сдавленный крик и, выбросив вперед руки, пытался подхватить Ленца, тяжело грохнувшегося на брусчатку.

На секунду мне показалось, что Ленц просто упал; потом я увидел кровь. Кестер распахнул пиджак Ленца и разодрал на нем рубашку.

Кровь хлестала сильной струей. Я прижал но-

совой платок к ране.

— Побудь здесь, я пригоню машину, — бросил Кестер и побежал.

— Готтфрид, ты слышишь меня? — сказал я.

Его лицо посерело. Глаза были полузакрыты. Веки не шевелились. Поддерживая одной рукой его голову, другой я крепко прижимал платок к ране. Я стоял возле него на коленях, стараясь уловить хоть вздох или хрип; но не слышал ничего, вокруг была полная тишина, бесконечная улица, бесконечные ряды домов, бесконечная ночь, — я слышал только, как на камни лилась кровь, и знал, что с ним такое не раз уже могло случиться, но теперь я не верил, что это правда.

Кестер примчался на полном газу. Он откинул спинку левого сиденья. Мы осторожно подняли Готтфрида и уложили его. Я вскочил в машину, и Кестер пустился во весь опор к ближайшему пункту скорой помощи. Здесь он осторожно затормозил.

— Посмотри, есть ли там врач. Иначе придется ехать дальше.

Я вбежал в помещение. Меня встретил санитар.

— Есть у вас врач?

— Да. Вы привезли кого-нибудь?

— Да. Пойдемте со мной! Возьмите носилки.

Мы положили Готтфрида на носилки и внесли его. Врач с закатанными рукавами уже ждал нас. Мы поставили носилки на стол. Врач опустил лампу, приблизив ее к ране.

— Что это?

— Огнестрельное ранение.

Он взял комок ваты, вытер кровь, пощупал пульс, выслушал сердце и выпрямился.

— Ничего нельзя сделать.

Кестер не сводил с него глаз.

— Но ведь пуля прошла совсем сбоку. Ведь это не может быть опасно!

— Тут две пули! — сказал врач.

Он снова вытер кровь. Мы наклонились, и ниже раны, из которой сильно шла кровь, увидели другую — маленькое темное отверстие около сердца.

— Он, видимо, умер почти мгновенно, — сказал врач. Кестер выпрямился. Он посмотрел на Готтфрида. Врач затампонировал раны и заклеил их полосками пластыря.

— Хотите умыться? — спросил он меня.

— Нет, — сказал я.

Теперь лицо Готтфрида пожелтело и запало. Рот чуть искривился, глаза были полузакрыты, —

один чуть плотнее другого. Он смотрел на нас. Он непрерывно смотрел на нас.

— Как это случилось? — спросил врач.

Никто не ответил. Готтфрид смотрел на нас. Он неотрывно смотрел на нас.

— Его можно оставить здесь, — сказал врач.

Кестер пошевелился.

— Нет, — возразил он. — Мы его заберем!

— Нельзя, — сказал врач. — Мы должны позвонить в полицию. И в уголовный розыск. Надо сразу же предпринять все, чтобы найти преступника.

— Преступника? — Кестер посмотрел на врача непонимающим взглядом. Потом он сказал: — Хорошо, я поеду за полицией.

— Можете позвонить. Тогда они прибудут скорее.

Кестер медленно покачал головой.

— Нет. Я поеду.

Он вышел, и я услышал, как заработал мотор «Карла». Врач подвинул мне стул.

— Не хотите пока посидеть?

— Благодарю, — сказал я и не сел. Яркий свет все еще падал на окровавленную грудь Готтфрида. Врач поднял лампу повыше.

— Как это случилось? — спросил он снова.

— Не знаю. Видимо, его приняли за другого.

— Он был на фронте? — спросил врач.

Я кивнул.

— Видно по шрамам, — сказал он. — И по простреленной руке. Он был несколько раз ранен.

— Да. Четыре раза.

— Какая подлость, — сказал санитар. — Вшивые молокососы. Тогда они еще небось в пеленках лежали.

Я ничего не ответил. Готтфрид смотрел на меня. Смотрел, не отрывая глаз.

* * *

Кестера долго не было. Он вернулся один. Врач отложил газету, которую читал.

— Приехали представители полиции? — спросил он. Кестер молчал. Он не слышал слов врача.

— Полиция здесь? — спросил врач еще раз.

— Да, — проговорил Кестер. — Полиция. Надо позвонить, пусть приезжают.

Врач посмотрел на него, но ничего не сказал и пошел к телефону. Несколько минут спустя пришли два полицейских чиновника. Они сели за стол и принялись записывать сведения о Готтфриде. Не знаю почему, но теперь, когда он был мертв, мне казалось безумием говорить, как

его звали, когда он родился и где жил. Я отвечал механически и не отводил глаз от черного карандашного огрызка, который чиновник то и дело слюнявил.

Второй чиновник принялся за протокол. Кестер давал ему необходимые показания.

— Вы можете приблизительно сказать, как выглядел убийца? — спросил чиновник.

— Нет, — ответил Кестер. — Не обратил внимания.

Я мельком взглянул на него. Я вспомнил желтые краги и униформу.

— Вы не знаете, к какой политической партии он принадлежал? Вы не заметили значков или формы?

— Нет, — сказал Кестер. — До выстрелов я ничего не видел. А потом я только… — он запнулся на секунду, — потом я только заботился о моем товарище.

— Вы принадлежите к какой-нибудь политической партии?

— Нет.

— Я спросил потому, что, как вы говорите, он был вашим товарищем…

— Он мой товарищ по фронту, — сказал Кестер.

Чиновник обратился ко мне:

— Можете вы описать убийцу?

Кестер твердо посмотрел на меня.

— Нет, — сказал я. — Я тоже ничего не видел.

— Странно, — заметил чиновник.

— Мы разговаривали и ни на что не обращали внимания. Все произошло очень быстро.

Чиновник вздохнул.

— Тогда мало надежды, что мы поймаем этих ребят.

Он дописал протокол.

— Мы можем взять его с собой? — спросил Кестер.

— Собственно говоря… — Чиновник взглянул на врача. — Причина смерти установлена точно?

Врач кивнул.

— Я уже составил акт.

— А где пуля? Я должен взять с собой пулю.

— Две пули. Обе остались в теле. Мне пришлось бы… — Врач медлил.

— Мне нужны обе, — сказал чиновник. — Я должен видеть, выпущены ли они из одного оружия.

— Да, — сказал Кестер в ответ на вопросительный взгляд врача.

Санитар пододвинул носилки и опустил лампу. Врач взял инструменты и ввел пинцет в рану.

Первую пулю он нашел быстро, она засела неглубоко. Для извлечения второй пришлось сделать разрез. Он поднял резиновые перчатки до локтей, взял скобки и скальпель. Кестер быстро подошел к носилкам и закрыл Готтфриду глаза. Услышав тихий скрежет скальпеля, я отвернулся. Мне захотелось вдруг кинуться к врачу и оттолкнуть его — на мгновение мне показалось, что Готтфрид просто в обмороке и что только теперь врач его в самом деле убивает, — но тут же я опомнился и осознал все снова. Мы видели достаточно мертвецов…

— Вот она, — сказал врач, выпрямляясь. Он вытер пулю и передал ее чиновнику. — Такая же. Обе из одного оружия, правда?

Кестер наклонился и внимательно рассмотрел маленькие тупые пули. Они тускло поблескивали, перекатываясь на ладони чиновника.

— Да, — сказал он.

Чиновник завернул их в бумагу и сунул в карман.

— Вообще это не разрешено, — сказал он затем, — но если вы хотите забрать его домой… Суть дела ясна, не так ли, господин доктор? — Врач кивнул. — К тому же, вы судебный врач, — продолжал чиновник, — так что… как хотите… вы

только должны… может статься, что завтра приедет еще одна комиссия…

— Я знаю, — сказал Кестер. — Все останется, как есть.

Чиновники ушли. Врач снова прикрыл и заклеил раны Готтфрида.

— Вы как хотите? — спросил он. — Можете взять носилки. Только завтра пришлите их обратно.

— Да, спасибо, — сказал Кестер. — Пойдем, Робби.

— Я могу вам помочь, — сказал санитар.

Я покачал головой.

— Ничего, справимся.

Мы взяли носилки, вынесли их и положили на оба левых сиденья, которые вместе с откинутой спинкой образовали одну плоскость. Санитар и врач вышли и смотрели на нас. Мы накрыли Готтфрида его пальто и поехали. Через минуту Кестер обернулся ко мне.

— Проедем еще раз по этой улице. Я уже был там, но слишком рано. Может быть, теперь они уже идут.

Тихо падал снег. Кестер вел машину почти бесшумно, то и дело выжимая сцепление и выключая зажигание. Он не хотел, чтобы нас

слышали, хотя четверка, которую мы искали, не могла знать, что у нас машина. Бесшумно, как белое привидение, мы скользили в густеющем снегопаде. Я достал из ящика с инструментами молоток и положил его рядом с собой, чтобы бить сразу, едва выскочив из машины. Мы ехали по улице, где это случилось. Под фонарем еще чернело пятно крови. Кестер выключил фары. Мы двигались вдоль края тротуара и наблюдали улицу. Никого не было видно. Только из освещенной пивной доносились голоса.

Кестер остановился у перекрестка.

— Останься здесь, — сказал я. — Я загляну в пивную.

— Я пойду с тобой, — ответил я.

Он посмотрел на меня взглядом, запомнившимся мне еще с тех пор, когда он отправлялся один в разведку.

— В пивной я ничего не буду делать, — сказал Кестер, — а то он еще, чего доброго, улизнет. Только посмотрю, там ли он. Тогда будем караулить. Останься здесь с Готтфридом.

Я кивнул, и Отто исчез в снежной метели. Хлопья таяли на моем лице. Вдруг мне стало невыносимо больно оттого, что Готтфрид укрыт, словно он уже не наш. Я стянул пальто с его го-

ловы. Теперь снег падал и на его лицо, на глаза и губы, но не таял. Я достал платок, смахнул снег и снова укрыл голову Ленца краем пальто.

Кестер вернулся.

— Ничего?

— Нет, — сказал он.

— Поедем еще по другим улицам. Я чувствую, что мы можем встретить их в любую минуту.

Мотор взревел, но тут же заработал на низких оборотах. Мы тихо крались сквозь белую взвихренную ночь, переезжая с одной улицы на другую; на поворотах я придерживал Готтфрида. чтобы он не соскользнул; время от времени мы останавливались в сотне метров от какой-нибудь пивной, и Кестер размашисто бежал посмотреть, там ли они. Он был одержим мрачным, холодным бешенством. Дважды он собирался ехать домой, чтобы отвезти Готтфрида, но оба раза поворачивал обратно, — ему казалось, что именно в эту минуту четверка должна быть где-то поблизости.

Вдруг на длинной пустынной улице мы увидели далеко впереди себя темную группу людей. Кестер сейчас же выключил зажигание, и мы поехали вслед за ними бесшумно, с притушенным светом. Они не слыхали нас и разговаривали.

— Их четверо, — шепнул я Кестеру.

В ту же секунду мотор взревел, машина стрелой пролетела последние двести метров, выскочила на тротуар, заскрежетала тормозами и, заносясь вбок, остановилась на расстоянии метра от четырех прохожих, вскрикнувших от испуга.

Кестер наполовину высунулся из машины. Его тело, словно стальная пружина, было готово рвануться вперед, а лицо дышало неумолимостью смерти.

Мы увидели четырех, мирных пожилых людей. Один из них был пьян. Они обругали нас. Кестер ничего им не ответил. Мы поехали дальше.

— Отто, — сказал я, — сегодня нам их не разыскать. Не думаю, чтобы они рискнули сунуться на улицу.

— Да, может быть, — не сразу ответил он и развернул машину. Мы поехали на квартиру Кестера. Его комната имела отдельный вход, и можно было войти в нее, не тревожа никого. Когда мы вышли из машины, я сказал;

— Почему ты не сообщил следователям приметы? Это помогло бы розыску. Ведь мы его разглядели достаточно подробно.

Кестер посмотрел на меня.

— Потому что мы это обделаем сами, без поли-

ции. Ты что же думаешь?.. — Его голос стал совсем тихим, сдавленным и страшным. — Думаешь, я перепоручу его полиции? Чтобы он отделался несколькими годами тюрьмы? Сам знаешь, как кончаются такие процессы! Эти парни знают, что они найдут милосердных судей! Не выйдет! Если бы полиция даже и нашла его, я заявил бы, что это не он! Сам его раздобуду! Готтфрид мертвый, а он живой! Не будет этого!

Мы сняли носилки, пронесли их сквозь ветер и метель в дом, и казалось, будто мы воюем во Фландрии и принесли убитого товарища с переднего края в тыл.

* * *

Мы купили гроб и место для могилы на общинном кладбище. Похороны Готтфрида состоялись в ясный солнечный день. Мы сами укрепили крышку и снесли гроб вниз по лестнице. Провожающих было немного. Фердинанд, Валентин, Альфонс, бармен Фред, Джорджи, Юпп, фрау Штосс, Густав, Стефан Григоляйт и Роза. У ворот кладбища нам пришлось немного подождать. Впереди были еще две похоронные процессии. Одна шла за черным автомобилем, другая за каретой, в которую были впряжены лошади, украшенные черным и

серебряным крепом. За каретой шла бесконечная вереница провожающих, оживленно беседовавших между собой.

Мы сняли гроб с машины и сами опустили его на веревках в могилу. Могильщик был этим доволен, у него и без нас хватало дел. Мы пригласили пастора. Правда, мы не знали, как бы отнесся к этому Готтфрид, но Валентин сказал, что так нужно. Впрочем, мы просили пастора не произносить надгробную речь. Он должен был только прочитать небольшую выдержку из библии. Пастор был старый, близорукий человек. Подойдя к могиле, он споткнулся о ком земли и свалился бы вниз, если бы не Кестер и Валентин, подхватившие его. Но, падая, он выронил библию и очки, которые как раз собирался надеть. Смущенный и расстроенный, щуря глаза, пастор смотрел в яму.

— Не беспокойтесь, господин пастор, — сказал Валентин, — мы возместим вам потерю.

— Дело не в книге, — тихо ответил пастор, — а в очках: они мне нужны.

Валентин сломал ветку у кладбищенской изгороди. Он встал на колени у могилы, ухитрился подцепить очки за дужку и извлечь их из венка. Оправа была золотая. Может быть, пастор

поэтому и хотел получить их обратно. Библия проскользнула сбоку и очутилась под гробом; чтобы достать ее, пришлось бы поднять гроб и спуститься вниз. Этого не желал и сам пастор. Он стоял в полном замешательстве.

— Не сказать ли мне все-таки нескольких слов? — спросил он.

— Не беспокойтесь, господин пастор, — сказал Фердинанд. — Теперь у него под гробом весь Ветхий и Новый завет.

Остро пахла вскопанная земля. В одном из комьев копошилась белая личинка. Я подумал: «Могилу завалят, а личинка будет жить там внизу; она превратится в куколку и в будущем году, пробившись сквозь слой земли, выйдет на поверхность. А Готтфрид мертв. Он погас». Мы стояли у могилы, зная, что его тело, глаза и волосы еще существуют, правда, уже изменившись, но все-таки еще существуют, и что, несмотря на это, он ушел и не вернется больше. Это было непостижимо. Наша кожа была тепла, мозг работал, сердце гнало кровь по жилам, мы были такие же, как прежде, как вчера, у нас было по две руки, мы не ослепли и не онемели, все было, как всегда… Но мы должны были уйти отсюда, а Готтфрид оставался здесь и никогда уже не мог пойти за

нами. Это было непостижимо.

Комья земли забарабанили по крышке гроба. Могильщик дал нам лопаты, и вот мы закапывали его — Валентин, Кестер, Альфонс, я, — как закапывали когда-то не одного товарища. Вдруг мне почудилось, будто рядом грянула старая солдатская песня, старая, печальная солдатская песня, которую Готтфрид часто пел:

Аргоннский лес, Аргоннский лес,

Ты как большой могильный крест...

Альфонс принес черный деревянный крест, простой крест, какие стоят сотнями тысяч во Франции вдоль бесконечных рядов могил. Мы укрепили его у изголовья могилы Готтфрида.

— Пошли, — хрипло проговорил наконец Валентин.

— Да, — сказал Кестер. Но он остался на месте. Никто не шелохнулся. Валентин окинул всех нас взглядом.

— Зачем? — медленно сказал он, — Зачем же?.. Проклятье!

Ему не ответили.

Валентин устало махнул рукой.

— Пойдемте.

Мы пошли к выходу по дорожке, усыпанной

гравием. У ворот нас ждали Фред, Джорджи и остальные.

— Как он чудесно смеялся, — сказал Стефан Григоляйт, и слезы текли по его беспомощному печальному лицу.

Я оглянулся. За нами никто не шел.

XXV

В феврале мы с Кестером сидели в последний раз в нашей мастерской. Нам пришлось ее продать, и теперь мы ждали распорядителя аукциона, который должен был пустить с молотка все оборудование и такси. Кестер надеялся устроиться весной гонщиком в небольшой автомобильной фирме. Я по-прежнему играл в кафе «Интернациональ» и пытался подыскать себе еще какое-нибудь дневное занятие, чтобы увеличить свой заработок.

Во дворе собралось несколько человек. Пришел аукционист.

— Ты выйдешь, Отто? — спросил я.

— Зачем? Все выставлено напоказ, а цены он знает.

У Кестера был утомленный вид. Его усталость не бросалась в глаза посторонним людям, но те, кто знал его хорошо, замечали ее сразу по несколько более напряженному и жесткому выражению лица. Вечер за вечером он рыскал в одном и том же районе. Он уже давно знал фамилию парня, застрелившего Готтфрида, но не мог его найти, потому что, боясь преследований

полиции, убийца переехал на другую квартиру и прятался. Все эти подробности установил Альфонс. Он тоже был начеку. Правда, могло статься, что преступник выехал из города. Он не знал, что Кестер и Альфонс выслеживают его. Они же рассчитывали, что он вернется, когда почувствует себя в безопасности.

— Отто, я выйду и погляжу, — сказал я.

— Хорошо.

Я вышел. Наши станки и остальное оборудование были расставлены в середине двора. Справа у стены стояло такси. Мы его хорошенько помыли. Я смотрел на сиденья и баллоны. Готтфрид часто называл эту машину «наша старая дойная корова». Нелегко было расставаться с ней.

Кто-то хлопнул меня по плечу. Я быстро обернулся. Передо мной стоял молодой человек ухарского вида, в пальто с поясом. Вертя бамбуковую трость, он подмигнул мне.

— Алло! А ведь мы знакомы!

Я стал припоминать.

— Гвидо Тисс из общества «Аугека»!

— Ну вот видите! — самодовольно заявил Гвидо. — Мы встретились тогда у этой же рухляди. Правда, с вами был какой-то отвратительный тип. Еще немного, и я бы дал ему по морде.

Представив себе, что этот мозгляк осмелился бы замахнуться на Кестера, я невольно скорчил гримасу. Тисс принял ее за улыбку и тоже осклабился, обнажив довольно скверные зубы.

— Ладно, забудем! Гвидо не злопамятен. Ведь вы тогда уплатили огромную цену за этого автомобильного дедушку. Хоть что-нибудь выгадали на нем?

— Да, — сказал я. — Машина неплохая.

Тисс затараторил:

— Послушались бы меня, получили бы больше. И я тоже. Ладно, забудем! Прощено и забыто! Но сегодня мы можем обтяпать дельце. Пятьсот марок — и машина наша. Наверняка. Покупать ее больше некому. Договорились.

Я все понял. Он полагал, что мы тогда перепродали машину, и не знал, что мастерская принадлежит нам. Напротив, он считал, что мы намерены снова купить это такси.

— Она еще сегодня стоит полторы тысячи, — сказал я. — Не говоря уже о патенте на право эксплуатации.

— Вот именно, — с жаром подхватил Гвидо. — Поднимем цену до пятисот. Это сделаю я. Если нам отдадут ее за эти деньги — выплачиваю вам триста пятьдесят наличными.

— Не пойдет, — сказал я. — У меня уже есть покупатель.

— Но все же... — Он хотел предложить другой вариант.

— Нет, это бесцельно... — Я перешел на середину двора. Теперь я знал, что он будет поднимать цену до тысячи двухсот.

Аукционист приступил к делу. Сначала пошли детали оборудования. Они не дали большой выручки. Инструмент также разошелся по дешевке. Настала очередь такси. Кто-то предложил триста марок.

— Четыреста, — сказал Гвидо.

— Четыреста пятьдесят, — предложил после долгих колебаний покупатель в синей рабочей блузе.

Гвидо нагнал цену до пятисот. Аукционист обвел всех взглядом. Человек в блузе молчал. Гвидо подмигнул мне и поднял четыре пальца.

— Шестьсот, — сказал я.

Гвидо недовольно покачал головой и предложил семьсот. Я продолжал поднимать цену. Гвидо отчаянно набавлял. При тысяче он сделал умоляющий жест, показав мне пальцем, что я еще могу заработать сотню. Он предложил тысячу десять марок. При моей следующей надбавке до тысячи

ста марок он покраснел и злобно пропищал:

— Тысяча сто десять.

Я предложил тысячу сто девяносто марок, рассчитывая, что Гвидо назовет свою последнюю цену — тысячу двести. После этого я решил выйти из игры.

Но Гвидо рассвирепел. Считая, что я хочу вытеснить его окончательно, он неожиданно предложил тысячу триста. Я стал быстро соображать. Если бы он действительно хотел купить машину, то, бесспорно, остановился бы на тысяче двухстах. Теперь же, взвинчивая цену, он просто мстил мне. Из нашего разговора он понял, что мой предел — тысяча пятьсот, и не видел для себя никакой опасности.

— Тысяча триста десять, — сказал я.

— Тысяча четыреста, — поспешно предложил Гвидо.

— Тысяча четыреста десять, — нерешительно проговорил я, боясь попасть впросак.

— Тысяча четыреста девяносто! — Гвидо торжествующе и насмешливо посмотрел на меня. Он был уверен, что здорово насолил мне.

Выдержав его взгляд, я молчал.

— Кто больше? — спросил аукционист.

Молчание.

— Кто больше? — спросил он второй раз. Потом он поднял молоток. В момент, когда Гвидо оказался владельцем машины, торжествующая мина на его лице сменилась выражением беспомощного изумления. В полном смятении он подошел ко мне.

— А я думал, вы хотите…

— Нет, — сказал я.

Придя в себя, он почесал затылок.

— Черт возьми! Нелегко будет навязать моей фирме такую покупку. Думал, что вы дойдете до полутора тысяч. Но на сей раз я все-таки вырвал у вас этот ящик из-под носа!

— Это вы как раз и должны были сделать! — сказал я.

Гвидо захлопал глазами. Только когда появился Кестер, он сразу понял все и схватился за голову.

— Господи! Так это была ваша машина? Какой же я осел, безумный осел! Так влипнуть! Взяли на пушку! Бедный Гвидо! Чтобы с тобой случилось такое! Попался на простенькую удочку! Ладно, забудем! Самые прожженные ребята всегда попадаются в ловушку, знакомую всем детям! В следующий раз как-нибудь отыграюсь! Свое не упущу!

Он сел за руль и поехал. С тяжелым чувством

смотрели мы вслед удалявшейся машине.

* * *

Днем пришла Матильда Штосс. Надо было рассчитаться с ней за последний месяц. Кестер выдал ей деньги и посоветовал попросить нового владельца оставить ее уборщицей в мастерской. Нам уже удалось пристроить у него Юппа. Но Матильда покачала головой.

— Нет, господин Кестер, с меня хватит. Болят старые кости.

— Что же вы будете делать? — спросил я.

— Поеду к дочери. Она живет в Бунцлау. Замужем. Вы бывали в Бунцлау?

— Нет, Матильда.

— Но господин Кестер знает этот город, правда?

— И я там не бывал, фрау Штосс.

— Странно, — сказала Матильда. — Никто не знает про Бунцлау. А ведь моя дочь живет там уже целых двенадцать лет. Она замужем за секретарем канцелярии.

— Значит, город Бунцлау есть. Можете не сомневаться. Раз там живет секретарь канцелярии…

— Это конечно. Но все-таки довольно странно, что никто не знает про Бунцлау.

Мы согласились.

— Почему же вы сами за все эти годы ни разу не съездили туда? — спросил я.

Матильда ухмыльнулась.

— Это целая история. Но теперь я должна поехать к внукам. Их уже четверо.

— Мне кажется, что в тех краях изготовляют отличный шнапс, — сказал я. — Из слив или чего-то в этом роде…

Матильда замахала рукой.

— В том-то и все дело. Мой зять, видите ли, трезвенник. Эти люди вообще ничего не пьют.

Кестер достал с опустевшей полки последнюю бутылку.

— Ну что же, фрау Штосс, придется выпить на прощанье по рюмочке.

— Я готова, — сказала Матильда.

Кестер поставил на стол рюмки и наполнил их. Матильда выпила ром с такой быстротой, словно пропустила его через сито. Ее верхняя губа резко вздрагивала, усики подергивались.

— Еще одну? — спросил я.

— Не откажусь.

Я налил ей доверху еще большую рюмку. Потом она простилась.

— Всего доброго на новом месте, — сказал я.

— Премного благодарна. И вам всего хорошего. Но странно, что никто не знает про Бунцлау, не правда ли?

Она вышла неверной походкой. Мы постояли еще немного в пустой мастерской.

— Собственно, и нам можно идти, — сказал Кестер.

— Да, — согласился я. — Здесь больше нечего делать. Мы заперли дверь и пошли за «Карлом». Его мы не продали, и он стоял в соседнем гараже. Мы заехали на почту и в банк, где Кестер внес гербовый сбор заведующему управлением аукционов.

— Теперь я пойду спать, — сказал он. — Будешь у себя?

— У меня сегодня весь вечер свободен.

— Ладно, зайду за тобой к восьми.

* * *

Мы поели в небольшом пригородном трактире и поехали обратно. На первой же улице у нас лопнул передний баллон. Мы сменили его. «Карл» давно не был в мойке, и я здорово перепачкался.

— Я хотел бы вымыть руки, Отто, — сказал я.

Поблизости находилось довольно большое кафе. Мы вошли и сели за столик у входа. К нашему

удивлению, почти все места были заняты. Играл женский ансамбль, и все шумно веселились. На оркестрантках красовались пестрые бумажные шапки, многие посетители были в маскарадных костюмах, над столиками взвивались ленты серпантина, к потолку взлетали воздушные шары, кельнеры с тяжело нагруженными подносами сновали по залу. Все было в движении, гости хохотали и галдели.

— Что здесь происходит? — спросил Кестер.

Молодая блондинка за соседним столиком швырнула в нас пригоршню конфетти.

— Вы что, с луны свалились? — рассмеялась она. — Разве вы не знаете, что сегодня первый день масленицы?

— Вот оно что! — сказал я. — Ну тогда пойду вымою руки.

Чтобы добраться до туалета, мне пришлось пройти через весь зал. У одного из столиков я задержался — несколько пьяных гостей пытались поднять какую-то девицу на столик, чтобы она им спела. Девица отбивалась и визжала. При этом она опрокинула столик, и вся компания повалилась на пол. Я ждал, пока освободится проход. Вдруг меня словно ударило током. Я оцепенел, кафе куда-то провалилось, не было

больше ни шума, ни музыки. Кругом мелькали расплывчатые, неясные тени, но необыкновенно резко и отчетливо вырисовывался один столик, один-единственный столик, за которым сидел молодой человек в шутовском колпаке и обнимал за талию охмелевшую соседку. У него были стеклянные тупые глаза, очень тонкие губы. Из-под стола торчали ярко-желтые, начищенные до блеска краги…

Меня толкнул кельнер. Как пьяный, я прошел несколько шагов и остановился. Стало невыносимо жарко, но я трясся, как в ознобе, руки повлажнели. Теперь я видел и остальных, сидевших за столиком. С вызывающими лицами они что-то распевали хором, отбивая такт пивными кружками. Меня снова толкнули.

— Не загораживайте проход, — услышал я.

Я машинально двинулся дальше, нашел туалет, стал мыть руки и, только когда почувствовал резкую боль, сообразил, что держу их под струей кипятка. Затем я вернулся к Кестеру.

— Что с тобой? — спросил он.

Я не мог ответить.

— Тебе плохо? — спросил он.

Я покачал головой и посмотрел на соседний столик, за которым сидела блондинка и погля-

дывала на нас. Вдруг Кестер побледнел. Его глаза сузились. Он подался вперед.

— Да? — спросил он очень тихо.

— Да, — ответил я.

— Где?

Я кивнул в сторону столика, за которым сидел убийца Готтфрида.

Кестер медленно поднялся. Казалось, кобра выпрямляет свое тело.

— Будь осторожен, — шепнул я. — Не здесь, Отто.

Он едва заметно махнул рукой и медленно пошел вперед. Я был готов броситься за ним. Какая-то женщина нахлобучила ему на голову красно-зеленый бумажный колпак и повисла у него на шее. Отто даже не заметил ее. Женщина отошла и удивленно посмотрела ему вслед. Обойдя вокруг зала, Отто вернулся к столику.

— Его там нет, — сказал он.

Я встал, окинул взглядом зал. Кестер был прав.

— Думаешь, он узнал меня? — спросил я.

Кестер пожал плечами. Только теперь он почувствовал, что на нем бумажная шапка, и смахнул ее.

— Не понимаю, — сказал я. — Я был в туалете не более одной-двух минут.

— Более четверти часа.

— Что?.. — Я снова посмотрел в сторону столика. — Остальные тоже ушли. С ними была девушка, ее тоже нет. Если бы он меня узнал, он бы наверняка исчез один.

Кестер подозвал кельнера:

— Здесь есть еще второй выход?

— Да, с другой стороны есть выход на Гарденбергштрассе.

Кестер достал монету и дал ее кельнеру.

— Пойдем, — сказал он.

— Жаль, — сказала блондинка за соседним столиком. — Такие солидные кавалеры.

Мы вышли. Ветер ударил нам в лицо. После душного угара кафе он показался нам ледяным.

— Иди домой, — сказал Кестер.

— Их было несколько, — ответил я и сел рядом с ним.

Машина рванулась с места. Мы изъездили все улицы в районе кафе, все больше удаляясь от него, но не нашли никого. Наконец Кестер остановился.

— Улизнул, — сказал он, — но это ничего. Теперь он нам попадется рано или поздно.

— Отто, — сказал я, — надо бросить это дело.

Он посмотрел на меня.

— Готтфрид мертв, — сказал я и сам удивился своим словам, — От этого он не воскреснет…

Кестер все еще смотрел на меня.

— Робби, — медленно заговорил он, — не помню, скольких я убил. Но помню, как я сбил молодого английского летчика. У него заело патрон, задержка в подаче, и он ничего не мог сделать. Я был со своим пулеметом в нескольких метрах от него и ясно видел испуганное детское лицо с глазами, полными страха; потом выяснилось, что это был его первый боевой вылет и ему едва исполнилось восемнадцать лет. И в это испуганное, беспомощное и красивое лицо ребенка я всадил почти в упор пулеметную очередь. Его череп лопнул, как куриное яйцо. Я не знал этого паренька, и он мне ничего плохого не сделал. Я долго не мог успокоиться, гораздо дольше, чем в других случаях. С трудом заглушил совесть, сказав себе: «Война есть война!» Но, говорю тебе, если я не прикончу подлеца, убившего Готтфрида, пристрелившего его без всякой причины, как собаку, значит эта история с англичанином была страшным преступлением. Понимаешь ты это?

— Да, — сказал я.

— А теперь иди домой. Я хочу довести дело до конца. Это как стена. Не могу идти дальше, пока

не свалю ее.

— Я не пойду домой, Отто. Уж если так, останемся вместе.

— Ерунда, — нетерпеливо сказал он. — Ты мне не нужен. — Он поднял руку, заметив, что я хочу возразить. — Я его не прозеваю! Найду его одного, без остальных! Совсем одного! Не бойся.

Он столкнул меня с сиденья и тут же умчался. Я знал: ничто не сможет его удержать. Я знал также, почему он меня не взял с собой. Из-за Пат. Готтфрида он бы не прогнал.

* * *

Я пошел к Альфонсу. Теперь я мог говорить только с ним. Хотелось посоветоваться, можно ли что-нибудь предпринять. Но Альфонса я не застал. Заспанная девушка сообщила мне, что час назад он ушел на собрание. Я сел за столик и стал ждать.

В трактире было пусто. Над пивной стойкой горела маленькая лампочка. Девушка снова уселась и заснула. Я думал об Отто и Готтфриде и смотрел из окна на улицу, освещенную полной луной, медленно поднимавшейся над крышами, я думал о могиле с черным деревянным крестом и стальной каской и вдруг заметил, что плачу. Я

смахнул слезы.

Вскоре послышались быстрые тихие шаги. Альфонс вошел с черного хода. Его лицо блестело от пота.

— Это я, Альфонс!

— Иди сюда, скорее! — сказал он.

Я последовал за ним в комнату справа за стойкой. Альфонс подошел к шкафу и достал из него два старых санитарных пакета времен войны.

— Можешь сделать перевязку? — спросил он, осторожно стягивая штаны.

У него была рваная рана на бедре.

— Похоже на касательное ранение, — сказал я.

— Так и есть, — буркнул Альфонс. — Давай перевязывай!

— Альфонс, — сказал я, выпрямляясь, — где Отто?

— Откуда мне знать, где Отто, — пробормотал он, выжимая из раны кровь.

— Вы не были вместе?

— Нет.

— Ты его не видел?

— И не думал. Разверни второй пакет и наложи его сверху. Это только царапина.

Занятый своей раной, он продолжал бормотать.

— Альфонс, — сказал я, — мы видели его… того, который убил Готтфрида… ты ведь знаешь… мы видели его сегодня вечером. Отто выслеживает его.

— Что? Отто? — Альфонс насторожился. — Где же он? Теперь это уже ни к чему! Пусть убирается оттуда!

— Он не уйдет.

Альфонс отбросил ножницы.

— Поезжай туда! Ты знаешь, где он? Пускай убирается. Скажи ему, что за Готтфрида я расквитался. Я знал об этом раньше вас! Сам видишь, что я ранен! Он стрелял, но я сбил его руку. А потом стрелял я. Где Отто?

— Где-то в районе Менкештрассе.

— Слава Богу. Там он уже давно не живет. Но все равно убери оттуда Отто.

Я подошел к телефону и вызвал стоянку такси, где обычно находился Густав. Он оказался на месте.

— Густав, — сказал я, — можешь подъехать на угол Визенштрассе и площади Бельвю? Только поскорее! Я жду.

— Буду через десять минут.

Я повесил трубку и вернулся к Альфонсу. Он надевал другие брюки.

— А я и не знал, что вы разъезжаете по городу, — сказал он. Его лицо все еще было в испарине. — Лучше бы сидели где-нибудь. Для алиби. А вдруг вас спросят. Никогда нельзя знать…

— Подумай лучше о себе, — сказал я.

— А мне-то что! — Он говорил быстрее, чем обычно. — Я был с ним наедине. Поджидал в комнате. Этакая жилая беседка. Кругом ни души. К тому же, вынужденная оборона. Он выстрелил, как только переступил через порог. Мне и не надо алиби. А захочу — буду иметь целых десять.

Он смотрел на меня, сидя на стуле и обратив ко мне широкое мокрое лицо. Его волосы слиплись, крупный рот искривился, а взгляд стал почти невыносимым — столько обнаженной и безнадежной муки, боли и любви было в его глазах.

— Теперь Готтфрид успокоится, — сказал он тихо и хрипло. — До сих пор мне все казалось, что ему неспокойно.

Я стоял перед ним и молчал.

— А теперь иди, — сказал он.

Я прошел через зал. Девушка все еще спала и шумно дышала. Луна поднялась высоко, и на улице было совсем светло. Я пошел к площади Бельвю. Окна домов сверкали в лунном свете, как серебряные зеркала. Ветер улегся. Было совсем

тихо.

Густав подъехал через несколько минут.

— Что случилось, Роберт? — спросил он.

— Сегодня вечером угнали мою машину. Только что мне сказали, что ее видели в районе Менкештрассе. Подъедем туда?

— Подъедем, ясное дело! — Густав оживился. — И чего только теперь не воруют! Каждый день несколько машин. Но чаще всего на них разъезжают, пока не выйдет бензин, а потом бросают.

— Да, так, вероятно, будет и с нашей.

Густав сказал, что скоро собирается жениться. Его невеста ожидает ребенка, и тут, мол, уж ничего не поделаешь. Мы проехали по Менкештрассе и по соседним улицам.

— Вот она! — крикнул вдруг Густав. Машина стояла в темном переулке. Я подошел к ней, достал свой ключ и включил зажигание.

— Все в порядке, Густав, — сказал я. — Спасибо, что подвез.

— Не пропустить ли нам где-нибудь по рюмочке? — спросил он.

— Не сегодня. Завтра. Очень спешу.

Я полез в карман, чтобы заплатить ему за ездку.

— Ты что, спятил? — спросил он.

— Тогда спасибо, Густав. Не задерживайся. До свидания.

— А что, если устроить засаду и накрыть молодца, который угнал ее?

— Нет, нет, он уже, конечно, давно смылся. — Меня вдруг охватило дикое нетерпение. — До свидания, Густав.

— А бензин у тебя есть?

— Да, достаточно. Я уже проверил. Значит, спокойной ночи.

Он уехал. Выждав немного, я двинулся вслед за ним, добрался до Менкештрассе и медленно проехал по ней на третьей скорости. Потом развернулся и поехал обратно. Кестер стоял на углу.

— Что это значит?

— Садись, — быстро сказал я. — Тебе уже не к чему стоять здесь. Я как раз от Альфонса. Он его… он его уже встретил.

— И что?

— Да, — сказал я.

Кестер молча забрался на сиденье. Он не сел за руль. Чуть сгорбившись, он примостился возле меня. Машина тронулась.

— Поедем ко мне? — спросил я.

Он кивнул. Я прибавил газу и свернул на набережную канала. Вода тянулась широкой

серебряной полосой. На противоположном берегу в тени стояли черные как уголь сараи, но на мостовой лежал бледно-голубой свет, и шины скользили по нему, как по невидимому снегу. Широкие серебристо-зеленые башни собора в стиле барокко высились над рядами крыш. Они сверкали на далеком фоне фосфоресцирующего неба, в котором, как большая световая ракета, повисла луна.

— Отто, я рад, что все случилось именно так, — сказал я.

— А я нет, — ответил он.

* * *

У фрау Залевски еще горел свет. Когда я открыл входную дверь, она вышла из гостиной.

— Вам телеграмма, — сказала она.

— Телеграмма? — повторил я удивленно. Я все еще думал о прошедшем вечере. Но потом я понял и побежал в свою комнату. Телеграмма лежала на середине стола, светясь, как мел, под резкими лучами лампы. Я сорвал наклейку. Сердце сжалось, буквы расплылись, убежали, снова появились… и тогда я облегченно вздохнул, успокоился и показал телеграмму Кестеру.

— Слава Богу. А я уже думал, что…

Там было только три слова: «Робби, приезжай скорее…»

Я снова взял у него листок. Чувство облегчения улетучилось. Вернулся страх.

— Что там могло случиться, Отто? Боже мой, почему она не позвонила по телефону? Что-то неладно!

Кестер положил телеграмму на стол.

— Когда ты разговаривал с ней в последний раз?

— Неделю назад… Нет, больше.

— Закажи телефонный разговор. Если что-нибудь не так, сразу же поедем. На машине. Есть у тебя железнодорожный справочник?

Я заказал разговор с санаторием и принес из гостиной фрау Залевски справочник. Кестер раскрыл его.

— Самый удобный поезд отправляется завтра в полдень, — сказал он. — Лучше сесть в машину и подъехать возможно ближе к санаторию. А там пересядем на ближайший поезд. Так мы наверняка сэкономим несколько часов. Как ты считаешь?

— Да, это, пожалуй, лучше. — Я не мог себе представить, как просижу несколько часов в поезде в полной бездеятельности.

Зазвонил телефон. Кестер взял справочник и ушел в мою комнату. Санаторий ответил. Я попросил позвать Пат. Через минуту дежурная сестра сказала, что Пат лучше не подходить к телефону.

— Что с ней? — крикнул я.

— Несколько дней назад у нее было небольшое кровотечение. Сегодня она немного температурит.

— Скажите ей, что я еду. С Кестером и «Карлом». Мы сейчас выезжаем. Вы поняли меня?

— С Кестером и Карлом, — повторил голос.

— Да. Но скажите ей об этом немедленно. Мы сейчас же выезжаем.

— Я ей тут же передам.

Я вернулся в свою комнату. Мои ноги двигались удивительно легко. Кестер сидел за столом и выписывал расписание поездов.

— Уложи чемодан, — сказал он. — Я поеду за своим домой. Через полчаса вернусь.

Я снял со шкафа чемодан. Это был все тот же старый чемодан Ленца с пестрыми наклейками отелей. Я быстро собрал вещи и предупредил о своем отъезде фрау Залевски и хозяина «Интернационаля». Потом я сел к окну и стал дожидаться Кестера. Было очень тихо. Я подумал, что завтра вечером увижу Пат, и меня вдруг охватило жгу-

чее, дикое нетерпение. Перед ним померкло все: страх, беспокойство, печаль, отчаяние. Завтра вечером я увижу ее, — это было немыслимое, невообразимое счастье, в которое я уже почти не верил. Ведь я столько потерял с тех пор, как мы расстались…

Я взял чемодан и вышел из квартиры. Все стало вдруг близким и теплым: лестница, устоявшийся запах подъезда, холодный, поблескивающий резиново-серый асфальт, по которому стремительно подкатил «Карл».

— Я захватил пару одеял, — сказал Кестер. — Будет холодно. Укутайся как следует.

— Будем вести по очереди, ладно? — спросил я.

— Да. Но пока поведу я. Ведь я поспал после обеда.

Через полчаса город остался позади, и нас поглотило безграничное молчание ясной лунной ночи. Белое шоссе бежало перед нами, теряясь у горизонта. Было так светло, что можно было ехать без фар. Гул мотора походил на низкий органный звук; он не разрывал тишину, но делал ее еще более ощутимой.

— Поспал бы немного, — сказал Кестер.

Я покачал головой.

— Не могу, Отто.

— Тогда хотя бы полежи, чтобы утром быть свежим. Ведь нам еще через всю Германию ехать.

— Я и так отдохну.

Я сидел рядом с Кестером. Луна медленно скользила по небу. Поля блестели, как перламутр. Время от времени мимо пролетали деревни, иногда заспанный, пустынный город. Улицы, тянувшиеся между рядами домов, были словно ущелья, залитые призрачным, бесплотным светом луны, преображавшим эту ночь в какой-то фантастический фильм.

Под утро стало холодно. На лугах заискрился иней, на фоне бледнеющего неба высились деревья, точно отлитые из стали, в лесах поднялся ветер, и кое-где над крышами уже вился дымок. Мы поменялись местами, и я вел машину до десяти часов. Затем мы наскоро позавтракали в придорожном трактире и поехали дальше. В двенадцать Кестер снова сел за руль. Отто вел машину быстрее меня, и я его больше не подменял.

Уже смеркалось, когда мы прибыли к отрогам гор. У нас были цепи для колес и лопата, и мы стали расспрашивать, как далеко можно пробраться своим ходом.

— С цепями можете рискнуть, — сказал секретарь автомобильного клуба. — В этом году

выпало очень мало снега. Только не скажу точно, каково положение на последних километрах. Возможно, что там вы застрянете.

Мы намного обогнали поезд и решили попытаться доехать на машине до места. Было холодно, и поэтому тумана мы не опасались. «Карл» неудержимо поднимался по спиральной дороге. Проехав полпути, мы надели на баллоны цепи. Шоссе было очищено от снега, но во многих местах оно обледенело. Машину частенько заносило и подбрасывало. Иногда приходилось вылезать и толкать ее. Дважды мы застревали и выгребали колеса из снега. В последней деревне мы раздобыли ведро песку. Теперь мы находились на большой высоте и боялись обледеневших поворотов на спусках. Стало совсем темно, голые, отвесные стены гор терялись в вечернем небе, дорога суживалась, мотор ревел на первой скорости. Мы спускались вниз, беря поворот за поворотом. Вдруг свет фар сорвался с каменной стены, провалился в пустоту, горы раскрылись, и внизу мы увидели огни деревушки.

Машина прогрохотала между пестрыми витринами магазинов на главной улице. Испуганные необычным зрелищем, пешеходы шарахались в стороны, лошади становились на дыбы. Какие-то

сани съехали в кювет. Машина быстро поднялась по извилистой дороге к санаторию и остановилась у подъезда. Я выскочил. Как сквозь пелену промелькнули люди, любопытные взгляды, контора, лифт, белый коридор… Я рванул дверь и увидел Пат. Именно такой я видел ее сотни раз во сне и в мечтах, и теперь она шла мне навстречу, и я обхватил ее руками, как жизнь. Нет, это было больше, чем жизнь…

* * *

— Слава Богу, — сказал я, придя немного в себя, — я думал, ты в постели.

Она покачала головой, ее волосы коснулись моей щеки. Потом она выпрямилась, сжала ладонями мое лицо и посмотрела на меня.

— Ты приехал! — прошептала она. — Подумать только, ты приехал!

Она поцеловала меня осторожно, серьезно и бережно, словно боялась сломать. Почувствовав ее губы, я задрожал. Все произошло слишком быстро, и я не мог осмыслить это до конца. Я еще не был здесь по-настоящему; я был еще полон ревом мотора и видел убегающую ленту шоссе. Так чувствует себя человек, попадающий из холода и мрака в теплую комнату, — он ощущает тепло

кожей, глазами, но еще не согрелся.

— Мы быстро ехали, — сказал я.

Она не ответила и продолжала молча смотреть на меня в упор, и казалось, она ищет и хочет снова найти что-то очень важное. Я был смущен, я взял ее за плечи и опустил глаза.

— Ты теперь останешься здесь? — спросила она.

Я кивнул.

— Скажи мне сразу. Скажи, уедешь ли ты… Чтобы я знала.

Я хотел ответить, что еще не знаю этого и что через несколько дней мне, видимо, придется уехать, так как у меня нет денег, чтобы оставаться в горах. Но я не мог. Я не мог сказать этого, когда она так смотрела на меня.

— Да, — сказал я, — останусь здесь. До тех пор, пока мы не сможем уехать вдвоем.

Ее лицо оставалось неподвижным. Но внезапно оно просветлело, словно озаренное изнутри.

— О, — пробормотала она, — я бы этого не вынесла.

Я попробовал разглядеть через ее плечо температурный лист, висевший над изголовьем постели. Она это заметила, быстро сорвала листок, скомкала его и швырнула под кровать.

— Теперь это уже ничего не стоит, — сказала она.

Я заметил, куда закатился бумажный шарик, и решил незаметно поднять его потом и спрятать в карман.

— Ты была больна? — спросил я.

— Немного. Все уже прошло.

— А что говорит врач?

Она рассмеялась.

— Не спрашивай сейчас о врачах. Вообще ни о чем больше не спрашивай. Ты здесь, и этого достаточно!

Вдруг мне показалось, что она уже не та. Может быть, оттого, что я так давно ее не видел, но она показалась мне совсем не такой, как прежде. Ее движения стали более плавными, кожа теплее, и даже походка, даже то, как она пошла мне навстречу, — все было каким-то другим… Она была уже не просто красивой девушкой, которую нужно оберегать, было в ней что-то новое, и если раньше я часто не знал, любит ли она меня, то теперь я это ясно чувствовал. Она ничего больше не скрывала; полная жизни, близкая мне, как никогда прежде, она была прекрасна, даря мне еще большее счастье… Но все-таки в ней чувствовалось какое-то странное беспокойство.

— Пат, — сказал я, — мне нужно поскорее спуститься вниз. Кестер ждет меня. Нам надо найти квартиру.

— Кестер? А где Ленц?

— Ленц… — сказал я. — Ленц остался дома.

Она ни о чем не догадалась.

— Ты можешь потом прийти вниз? — спросил я. — Или нам подняться к тебе?

— Мне можно все. Теперь мне можно все. Мы спустимся и выпьем немного. Я буду смотреть, как вы пьете.

— Хорошо. Тогда мы подождем тебя внизу в холле.

Она подошла к шкафу за платьем. Улучив минутку, я вытащил из-под кровати бумажный шарик и сунул его в карман.

— Значит, скоро придешь, Пат?

— Робби! — Она подошла и обняла меня. — Ведь я так много хотела тебе сказать.

— И я тебе, Пат. Теперь у нас времени будет вдоволь. Целый день будем что-нибудь рассказывать друг другу. Завтра. Сразу как-то не получается.

Она кивнула.

— Да, мы все расскажем друг другу, и тогда все время, что мы не виделись, уже не будет для нас разлукой. Каждый узнает все о другом, и тогда

получится, будто мы и не расставались.

— Да так это и было, — сказал я.

Она улыбнулась.

— Ко мне это не относится. У меня нет таких сил. Мне тяжелее. Я не умею утешаться мечтами, когда я одна. Я тогда просто одна, и все тут. Одиночество легче, когда не любишь.

Она все еще улыбалась, но я видел, что это была вымученная улыбка.

— Пат, — сказал я. — Дружище!

— Давно я этого не слышала, — проговорила она, и ее глаза наполнились слезами.

* * *

Я спустился к Кестеру. Он уже выгрузил чемоданы. Нам отвели две смежные комнаты во флигеле.

— Смотри, — сказал я, показывая ему кривую температуры, — так и скачет вверх и вниз.

Мы пошли по лестнице к флигелю. Снег скрипел под ногами.

— Сама по себе кривая еще ни о чем не говорит, — сказал Кестер. — Спроси завтра врача.

— И так понятно, — ответил я, скомкал листок и снова положил его в карман.

Мы умылись. Потом Кестер пришел ко мне в

комнату. Он выглядел так, будто только что встал после сна.

— Одевайся, Робби.

— Да. — Я очнулся от своих раздумий и распаковал чемодан.

Мы пошли обратно в санаторий. «Карл» еще стоял перед подъездом. Кестер накрыл радиатор одеялом.

— Когда мы поедем обратно, Отто? — спросил я.

Он остановился.

— По-моему, мне нужно выехать завтра вечером или послезавтра утром. А ты ведь остаешься…

— Но как мне это сделать? — спросил я в отчаянии. — Моих денег хватит не более чем на десять дней, а за Пат оплачено только до пятнадцатого. Я должен вернуться, чтобы зарабатывать. Здесь им едва ли понадобится такой плохой пианист.

Кестер наклонился над радиатором «Карла» и поднял одеяло.

— Я достану тебе денег, — сказал он и выпрямился. — Так что можешь спокойно оставаться здесь.

— Отто, — сказал я, — ведь я знаю, сколько у тебя осталось от аукциона. Меньше трехсот марок.

— Не о них речь. Будут другие деньги. Не беспо-

койся. Через неделю ты их получишь.

Я мрачно пошутил:

— Ждешь наследства?

— Нечто в этом роде. Положись на меня. Нельзя тебе сейчас уезжать.

— Нет, — сказал я. — Даже не знаю, как ей сказать.

Кестер снова накрыл радиатор одеялом и погладил капот. Потом мы пошли в холл и уселись у камина.

— Который час? — спросил я.

Кестер посмотрел на часы.

— Половина седьмого.

— Странно, — сказал я, — а я думал, что уже больше.

По лестнице спустилась Пат в меховом жакете. Она быстро прошла через холл и поздоровалась с Кестером. Только теперь я заметил, как она загорела. По светлому красновато-бронзовому оттенку кожи ее можно было принять за молодую индианку. Но лицо похудело и глаза лихорадочно блестели.

— У тебя температура? — спросил я.

— Небольшая, — поспешно и уклончиво ответила она. — По вечерам здесь у всех поднимается температура. И вообще это из-за вашего приезда.

Вы очень устали?

— От чего?

— Тогда пойдемте в бар, ладно? Ведь вы мои первые гости…

— А разве тут есть бар?

— Да, небольшой. Маленький уголок, напоминающий бар. Это тоже для «лечебного процесса». Они избегают всего, что напоминало бы больницу. А если больному что-нибудь запрещено, ему этого все равно не дадут.

Бар был переполнен. Пат поздоровалась с несколькими посетителями. Я заметил среди них итальянца. Мы сели за освободившийся столик.

— Что ты выпьешь?

— Коктейль с ромом. Мы его всегда пили в баре. Ты знаешь рецепт?

— Это очень просто, — сказал я девушке, обслуживавшей нас. — Портвейн пополам с ямайским ромом.

— Две порции, — попросила Пат. — И один коктейль «специаль».

Девушка принесла два «порто-ронко» и розоватый напиток.

— Это для меня, — сказала Пат и пододвинула нам рюмки. — Салют!

Она поставила свой бокал, не отпив ни капли,

затем оглянулась, быстро схватила мою рюмку и выпила ее.

— Как хорошо! — сказала она.

— Что ты заказала? — спросил я и отведал подозрительную розовую жидкость. Это был малиновый сок с лимоном без всякого алкоголя. — Очень вкусно, — сказал я.

Пат посмотрела на меня.

— Утоляет жажду, — добавил я.

Она рассмеялась.

— Закажите-ка еще один «порто-ронко». Но для себя. Мне не подадут.

Я подозвал девушку.

— Один «порто-ронко» и один «специаль», — сказал я. Я заметил, что за столиками пили довольно много коктейля «специаль».

— Сегодня мне можно, Робби, правда? — сказала Пат. — Только сегодня! Как в старое время. Верно, Кестер?

— «Специаль» неплох, — ответил я и выпил второй бокал.

— Я ненавижу его! Бедный Робби, из-за меня ты должен пить эту бурду!

— Я свое наверстаю!

Пат рассмеялась.

— Потом за ужином я выпью еще чего-нибудь.

Красного вина.

Мы заказали еще несколько «порто-ронко» и перешли в столовую. Пат была великолепна. Ее лицо сияло. Мы сели за один из маленьких столиков, стоявших у окон. Было тепло. Внизу раскинулась деревня с улицами, посеребренными снегом.

— Где Хельга Гутман? — спросил я.

— Уехала, — сказала Пат после недолгого молчания.

— Уехала? Так рано?

— Да, — сказала Пат, и я понял, что она имела в виду.

Девушка принесла темно-красное вино. Кестер налил полные бокалы. Все столики были уже заняты. Повсюду сидели люди и болтали. Пат коснулась моей руки.

— Любимый, — сказала она очень тихо и нежно. — Я просто больше не могла!

XXVI

Из кабинета главного врача я направился в холл, где меня ждал Кестер. Мы вышли из санатория и сели на скамью напротив входа.

— Все плохо, Отто, — сказал я. — Хуже, чем я опасался.

Мимо прошла шумная группа лыжников. Среди них было несколько большеротых и белозубых женщин с загорелыми лицами, смазанными кремом. Они кричали друг другу, что нагуляли волчий аппетит. Мы подождали, пока они не прошли.

— Вот такие твари, конечно, живут, — сказал я. — Живут и здоровы, как мало кто. Кровь с молоком! До чего же тошно!

— Ты говорил с главным врачом? — спросил Кестер.

— Да. Он мне все объяснил, но, знаешь, как-то очень заумно, со всякими оговорками. Но в итоге я понял, что ее состояние ухудшилось. Правда, он утверждает, будто дело пошло на лад.

— То есть как это?

— Он утверждает, что, останься она там, внизу, ее положение уже давным-давно было бы

совершенно безнадежно. Здесь же, мол, процесс замедлился. Это он и называет улучшением.

Кестер разгребал каблуками слежавшийся снег. Потом повернулся ко мне лицом.

— Значит, он все-таки на что-то надеется?

— Врач всегда должен надеяться — такая уж у него профессия. Но я надеюсь куда меньше. Я спросил, сделал ли он пневмоторакс. Нет, говорит, больше нельзя. Несколько лет назад ей уже делали поддувание. А теперь поражены оба легких. Все очень скверно, Отто.

Перед нашей скамьей остановилась какая-то старая женщина в стоптанных галошах. У нее было синюшное лицо с запавшими щеками и потухшие, словно слепые, глаза цвета грифельной доски. Вокруг шеи она обмотала старомодное боа из перьев. Медленно подняв лорнет, она с минуту разглядывала нас. Потом зашаркала дальше.

— Вот так уродина! Привидение да и только!

— Что он еще сказал? — спросил Кестер.

— Объяснил вероятную историю ее болезни. Сказал, что имел много пациентов в том же возрасте. Он считает все это последствием войны. Недоедание в решающие годы развития организма. А мне плевать на эти объяснения. Пат должна выздороветь, и все! — Я посмотрел на Ке-

стера. — Конечно, врач мне сказал, что на своем веку видел немало чудесных исцелений. Как раз при туберкулезе бывает так, что процесс вдруг останавливается, происходит инкапсуляция — и человек выздоравливает, иногда даже, казалось бы, в совершенно безнадежных случаях. То же говорил мне и Жаффе. Но я в чудеса не верю.

Кестер ничего не ответил. Мы продолжали сидеть рядом и молчали. Да и о чем было говорить? Оба мы пережили слишком много тяжелого, и утешения нам и в самом деле были ни к чему.

— Только бы она не догадалась, — сказал наконец Кестер.

— Это, конечно, не нужно, — ответил я.

Так мы и сидели до прихода Пат. Я ни о чем не думал. Даже не испытывал чувства отчаяния, а просто отупел, стал каким-то неживым.

— А вот и она, — сказал Кестер.

— Да, она, — сказал я и встал.

— Алло! — Пат подошла к нам, помахивая рукой. Она чуть пошатывалась. — Я немного пьяна. Наверно, от солнца. Стоит мне полежать на солнце, и я давай качаться, как старый моряк.

Я внимательно посмотрел на нее, и все сразу изменилось. Я поверил в чудо — она была здесь, живая. Она стояла здесь и смеялась, и рядом с

этим все остальное было неважно.

— Что это у вас за рожицы сегодня? — спросила она.

— Да городские у нас рожицы. Сюда они не вписываются, — сказал Кестер. — Все никак не привыкнем к солнцу.

Она засмеялась.

— Сегодня у меня отличный день. Бестемпературный. Мне разрешили выйти. Давайте пойдем в деревню и выпьем по аперитиву.

— Конечно, пойдем.

— Пошли!

— А не прокатиться ли нам в санях? — спросил Кестер.

— Я вполне смогу дойти пешком, — сказала Пат.

— Это ясно, — сказал Кестер. — Только я никогда еще не садился в такую штуку. Хочется попробовать.

Мы позвали санного извозчика и по спиральной дороге спустились вниз, в деревню. Мы остановились перед кафе с небольшой террасой, залитой солнечным светом. Здесь было полно народу. Некоторых посетителей я узнал — они мне запомнились по санаторию. Был тут и Антонио — итальянец из бара. Он подошел к нашему сто-

лику и поклонился Пат. Рассказал, что прошлой ночью какие-то весельчаки выкатили кровать с лежавшим на вей пациентом из его комнаты и втолкнули в палату одной уже совсем ветхой старушки учительницы.

— А зачем они это сделали? — спросил я.

— Потому что он выздоровел и на днях должен уехать отсюда, — объяснил Антонио. — В таких случаях здесь всегда устраивают что-нибудь в этом роде.

— Таков, дорогой мой, пресловутый юмор висельников, то есть остающихся, — сказала Пат.

— В горах взрослые дяди превращаются в малых ребят, — как бы извиняясь, сказал Антонио.

«А ведь вылечился, — подумал я. — Кто-то вылечился и едет домой».

— Хочешь выпить, Пат? — спросил я.

— Хочу. Бокал мартини. Сухого мартини.

Заиграло радио. Венские вальсы. Словно легкие светлые флаги, они ритмично развевались в прогретом солнцем воздухе. Кельнер принес очень холодное мартини. Росинки на запотевших бокалах искрились на солнце.

— А ведь как приятно посидеть вот так, правда? — сказала Пат.

— Очень приятно, — ответил я.

— Но иной раз это невыносимо, — сказала она.

* * *

Пат пожелала пообедать в деревне. В последнее время она непрерывно находилась в санатории, и это был ее первый выезд. Она заявила, что если пообедает в деревне, то почувствует себя вдвойне здоровой. Антонио присоединился к нам. После обеда мы вернулись в санях наверх, и Пат ушла к себе: доктор предписал ей двухчасовой дневной отдых. Мы же с Кестером выкатили «Карла» из гаража и осмотрели его. Два рессорных листа сломались — надо было их заменить. Хозяин гаража дал нам инструмент, и мы взялись за работу. Затем долили масло и смазали все точки шасси. Когда все было готово, мы вытолкнули «Карла» на улицу. Замызганный грязью, с обвисшими крыльями, он стоял на снегу.

— А не помыть ли его? — спросил я.

— Нет, в дороге не надо, — сказал Кестер. — Ему это не нравится.

Тут к нам подошла Пат, выспавшаяся и посвежевшая. Собачонка прыгала вокруг нее и бесновалась.

— Билли! — прикрикнул я. Песик застыл на месте, но оскалился — он не узнал хозяина и явно

смутился, когда Пат указала ему на меня.

— Вот это другое дело, — сказал я. — Слава Богу, что людская память лучше собачьей. А где он был вчера?

Пат засмеялась.

— Вчера все время лежал под кроватью. Ревнует всякого, кто ко мне приходит. Обижается и прячется.

— А ведь ты замечательно выглядишь, — сказал я.

Она посмотрела на меня счастливым взглядом. Потом подошла к «Карлу».

— Хотелось бы мне еще разок сесть в него и прокатиться.

— Естественно, — сказал я. — А ты как, Отто?

— Конечно, прокатимся. На вас теплое пальто, а в машине есть пледы и шарфы.

Пат уселась впереди, за ветровым стеклом, рядом с Кестером. «Карл» взревел. В холодном воздухе заклубились бело-голубые выхлопные газы. Мотор еще не прогрелся. Цепи на колесах медленно и с лязгом начали перемалывать снег. С громким треском и гулом «Карл» сполз в деревню и, словно матерый волк, растерявшийся от топота конских копыт и звона бубенцов, резво побежал по главной улице.

Мы выехали на природу. Уже смеркалось, и заснеженные поля переливались красноватыми отблесками заходящего солнца. Несколько стогов сена, стоявших на склоне, почти до верхушек ушли под снег. Тоненькими извивающимися запятыми стремительно неслись в долину последние лыжники. Они пересекали красное солнце, которое за склоном вновь всплыло огромным темно-раскаленным шаром.

— Вчера вы ехали по этой же дороге? — спросила Пат.

— Да.

На вершине первого подъема Кестер остановил машину. Отсюда открывалась захватывающая панорама. Накануне, когда мы с громом и грохотом мчались сквозь стеклянный синий вечер, мы следили только за дорогой.

За грядой склонов пролегла резко пересеченная долина. Хребты далекого горного кряжа четко вырисовывались на фоне бледно-зеленого неба и золотисто светились. Золотые пятна лежали и на заснеженных скатах и сияли так, будто их почистили да еще и надраили. С каждой секундой бело-багровые склоны становились все роскошнее, а тени все синее. Солнце висело прямо в просвете между двумя мерцающими вершинами,

а широкая долина с ее высотками и склонами словно выстроилась для могучего, беззвучного и сверкающего парада, который принимает солнце — этот исчезающий на глазах властелин. Фиолетовая полоса шоссе вилась вокруг холмов, пропадала, возникала вновь, темнела на поворотах, минуя деревни и устремляясь прямо к перевалу на горизонте.

— Я еще ни разу не отъезжала так далеко от деревни, — сказала Пат, — Это и есть дорога домой?

— Да.

Она молча смотрела вниз, в долину. Потом вышла из машины и, защитив глаза ладонью, стала смотреть на север, словно могла отсюда различить башни нашего города.

— А это далеко?

— Около тысячи километров. В мае мы с тобой спустимся с гор, и Отто приедет за нами.

— В мае, — повторила она. — Боже мой, в мае!..

Медленно садилось солнце. Долина ожила, тени, недвижно лежавшие в складках местности, теперь вдруг начали бесшумно вспархивать и карабкаться все выше и выше, точно какие-то огромные синие пауки. Становилось прохладно.

— Надо возвращаться, Пат, — сказал я.

Она взглянула на меня, и неожиданно лицо ее словно раскололось от боли. И тут я понял, что она все знает. Знает, что уже никогда не окажется за этим беспощадным хребтом на горизонте. Она это знала и хотела скрыть от нас, так же как мы хотели скрыть это от нее. Но на какое-то мгновение выдержка изменила ей, и из ее глаз хлынула вся боль мира, все его страдания.

— Поедем еще немного дальше, — сказала она. — Поедем самую малость вниз.

Я переглянулся с Кестером.

— Поедем…

Она устроилась рядом со мной на заднем сиденье. Я обнял ее одной рукой и укрыл нас обоих пледом.

— Робби, милый, — прошептала она у моего плеча, — теперь мы как будто бы едем домой, возвращаемся в нашу прежнюю жизнь…

— Да, — сказал я и подтянул плед, укрывая ее с головой.

Чем ниже мы спускались, тем быстрее темнело. Пат полулежала, укутанная пледом. Она просунула руку мне на грудь, под рубашку. Кожей я чувствовал ее ладонь, потом ее дыхание, ее губы и — слезы.

Осторожно, чтобы Пат не заметила разворота, в

следующей деревне Кестер, объехав по большому кругу рыночную площадь, медленно направил «Карла» в обратный путь.

Когда мы вновь переезжали через хребет, солнце уже исчезло, а на востоке между поднимающимися облаками повисла бледная и ясная луна. Мы ехали обратно. Колеса в цепях, монотонно шурша, катились по дороге, стало совсем тихо, я сидел неподвижно, боясь шелохнуться, и чувствовал на своем сердце слезы моей Пат, словно там кровоточила рана.

* * *

Через час я сидел в холле. Пат была у себя, а Кестер отправился на метеостанцию — узнать, ожидается ли снегопад. Вечер выдался серый и мягкий, как бархат. Сквозь легкий туман проглядывал месяц в венце. Вскоре появился и подсел ко мне Антонио. Поодаль от нас, за одним из столиков, сидело какое-то, я бы сказал, пушечное ядро в грубо-шерстяном спортивном костюме с чрезмерно короткими штанами «гольф». Младенческое лицо с толстыми губами и холодными глазками венчал круглый, розово-красный и совершенно лысый череп, голый, как бильярдный шар. Рядом сидела узкокостая худая женщина

с глубокими тенями под глазами и с каким-то молящим, горестным взглядом. Пушечное ядро было явно оживлено, голова его непрерывно двигалась, ладошки описывали в воздухе гладкие и округлые линии.

— Как все-таки чудесно здесь, наверху, просто удивительно хорошо! Эта панорама, этот воздух, это питание! Тут тебе действительно должно быть просто здорово…

— Бернгард, — тихо сказала женщина.

— Действительно здорово! И мне бы так когда-нибудь. Так тебя лелеют, так ухаживают за тобой! — Он залился маслянистым хохотком. — Впрочем, ты достойна этого…

— Ах, Бернгард, — уныло произнесла женщина.

— А что, а что? — радостно гудело ядро. — Ведь лучше и не придумаешь! Ты здесь просто как в раю! А ты знаешь, что творится там, внизу? Не знаешь! А мне завтра снова надо погрузиться в эту кутерьму! Благодари Бога, что ты так далеко от всего этого! Я же очень рад — воочию убедился, как тебе здесь хорошо.

— Да нехорошо мне, Бернгард, — сказала женщина.

— Что ты, милая, — бодро затараторил Берн-

гард, — хныкать не надо! Что же тогда говорить нашему брату! Ни минуты передышки, везде сплошные банкротства… Не говорю уже о налогах… Хотя работаем-то мы в общем с охоткой…

Женщина ничего не ответила.

— Экий бодрячок! — сказал я Антонио.

— Да еще какой! Я наблюдаю его с позавчерашнего дня. Любая попытка его жены что-то сказать разбивается о его неизменное: «Да здесь же тебе просто чудесно!» Он, знаете ли, ничего не хочет замечать — ни ее страха, ни ее болезни, ни ее одиночества. Видимо, давным-давно живет в Берлине с каким-то себе подобным пушечным ядром женского пола, а сюда приезжает раз в полгода и, потирая жирные ручки, наносит жене, так сказать, протокольный визит. А сколько жизнелюбия в этом типе, помышляющем только о том, что удобно ему! Лишь бы ни во что не вникать!.. Такое здесь часто можно увидеть.

— Эта женщина здесь давно?

— Да уже около двух лет.

Через холл с хохотом прошла стайка молодежи. Антонио засмеялся.

— Они с почты. Послали телеграмму Роту.

— А кто такой Рот?

— Человек, которому вскоре предстоит уехать

отсюда. В телеграмме они ему сообщают, что ввиду эпидемии гриппа в его родных краях отправляться туда не следует, а надо, мол, побыть еще какое-то время здесь. Такие шутки тут в ходу. Ведь им-то самим придется остаться, понимаете? Наверняка придется.

Я смотрел в окно на серый бархат померкших гор. Все это неправда, подумал я, непохоже на действительность, так не может быть. Санаторий — не более чем сцена, на которой люди слегка играют в смерть. Когда в самом деле умирают, это должно быть страшно серьезно. Мне захотелось догнать этих молодых людей, похлопать их по плечу и сказать: «Ведь здесь только салонная, мнимая смерть, не так ли? Вы просто веселые актеры-любители, и вам нравится играть в умирание! Потом вы все воскреснете, встанете и будете раскланиваться, разве нет? Кто же умирает из-за чуть повышенной температуры или хриплого дыхания? Смерть не бывает без стрельбы, без ран. Уж это-то я точно знаю…»

— Вы тоже больны? — спросил я Антонио.

— Естественно, — с улыбкой ответил он.

— Какой же тут замечательный кофе, — шумело по соседству пушечное ядро. — Попробуй найди такой в Берлине. Ты живешь в стране с

молочными реками и кисельными берегами.

* * *

Кестер возвратился с метеостанции.

— Я должен ехать, Робби, — сказал он. — Барометр упал, ночью, вероятно, будут снежные заносы, и завтра мне уже не пробиться. Сегодня вечером у меня последняя надежда выбраться отсюда.

— Хорошо. Мы успеем поужинать вместе?

— Да. Только пойду и уложусь.

— Я с тобой, — сказал я.

Мы собрали вещи Кестера и отнесли их в гараж. Потом вернулись за Пат.

— Если что случится, Робби, сразу звони мне, — сказал Отто.

Я кивнул.

— Деньги ты на днях получишь. Какое-то время сможешь продержаться. Делай все, что необходимо.

— Да, Отто, — сказал я и после паузы добавил: — Дома у нас осталось несколько ампул с морфием. Ты сможешь прислать их мне?

Он удивленно посмотрел на меня.

— А зачем они тебе?

— Не знаю, как у нее пойдут дела. Может, мор-

фий и не понадобится. Несмотря ни на что, я все-таки не теряю надежды. Но стоит мне остаться одному, и надежда улетучивается. Я не хочу, чтобы она страдала, Отто, чтобы превратилась в сплошной сгусток боли. Возможно, они и сами будут давать ей морфий, но если я смогу ей помочь, мне будет спокойнее.

— Значит, морфий тебе нужен только для этого? — спросил Кестер.

— Только для этого, Отто. Поверь мне. Иначе я бы тебе ничего не сказал.

Он кивнул.

— Нас уже только двое, — медленно проговорил он.

— Да, только двое.

— Ладно, Робби.

Мы вышли в холл, и вскоре я привел туда Пат. Потом быстро поужинали — небо все больше затягивалось облаками. Кестер выкатил «Карла» из гаража и остановился у подъезда.

— Ну, Робби, всего тебе хорошего, — сказал он.

— И тебе, Отто.

— До свидания, Пат. — Он протянул ей руку, глядя в ее глаза. — Весной приеду за вами.

— Прощайте, Кестер. — Пат задержала его руку в своей. — Я так рада, что еще раз увиделась с

вами. Привет от меня Готтфриду Ленцу.

— Передам, — сказал Кестер.

Она все не отпускала его руку. Ее губы дрожали. Вдруг она подошла к нему вплотную и поцеловала.

— Прощайте, — пробормотала она сдавленным голосом.

Лицо Кестера словно озарилось ярко-красным пламенем. Он хотел еще что-то сказать, но отвернулся, сел в машину, рванул с места и, не оборачиваясь, понесся вниз по спиральной дороге. Мы глядели ему вслед. Машина прогрохотала по главной улице деревни и пошла крутыми виражами вверх. Бледный свет фар скользил по серому снегу… Одинокий светлячок. На вершине подъема Кестер остановился, встал перед радиатором и помахал нам рукой. Его темный силуэт выделялся на фоне света фар. Потом он исчез, и мы еще долго слышали замирающее гудение мотора.

* * *

Пат стояла, подавшись вперед, и вслушивалась, покуда что-то еще было слышно. Потом повернулась ко мне.

— Значит, отплыл последний корабль, Робби.

— Предпоследний, — возразил я. — Последним буду я. И ты знаешь, какой у меня план? Хочу подыскать себе другую якорную стоянку. Комната во флигеле перестала мне нравиться. Не вижу, почему бы нам с тобой не поселиться рядом. Я попытаюсь получить комнату поблизости от тебя.

Она улыбнулась.

— Исключено! Не дадут! Как ты этого добьешься?

— А если добьюсь, будешь довольна?

— Что за вопрос, милый! Это было бы просто чудесно! Совсем как у фрау Залевски!

— Ладно, тогда дай-ка мне поработать с полчасика.

— Хорошо. А мы с Антонио сыграем пока в шахматы. Меня здесь научили.

Я пошел в контору и заявил, что остаюсь на продолжительный срок и желал бы поселиться на том же этаже, где живет Пат. Пожилая плоскогрудая дама возмущенно посмотрела на меня и отклонила мою просьбу, ссылаясь на правила внутреннего распорядка.

— Кто составил эти правила? — спросил я.

— Дирекция, — ответила дама и разгладила складки на своем платье.

Наконец она довольно неохотно сообщила мне,

что исключения допускаются только с разрешения главного врача.

— Но он уже ушел, — добавила она. — А тревожить его вечером, дома, можно только по служебным делам.

— Хорошо, — сказал я, — тогда я и потревожу его по делам службы: по вопросу о внутреннем распорядке.

Главный врач жил в домике рядом с санаторием. Он немедленно меня принял и сразу же дал просимое мною разрешение.

— Вот уж не думал, что все получится так легко. Начало было совсем другим, — сказал я.

Он рассмеялся.

— Понимаю. Видимо, вы напоролись на старую Рексрот. Ничего, сейчас я ей позвоню.

Я вернулся в контору. Увидев вызывающее выражение моего лица, старая Рексрот не без достоинства удалилась. Я договорился обо всем с секретаршей и поручил коридорному перенести ко мне в комнату мой багаж, а затем доставить туда несколько бутылок со спиртным. Потом я пошел в холл, где меня ждала Пат.

— Удалось? — спросила она.

— Еще нет, но через два-три дня все будет в порядке.

— Жаль. — Она опрокинула шахматные фигуры и встала.

— Что будем делать? — спросил я. — Пойдем в бар?

— По вечерам мы часто играем в карты, — сказал Антонио. — Скоро задует фен — это уже чувствуется. И тогда карты — самое милое дело.

— Ты играешь в карты, Пат? — удивился я. — Во что же? В подкидного? Или, может, пасьянсы раскладываешь?

— В покер, дорогой мой, — заявила Пат.

Я рассмеялся.

— Правда, правда, она играет, — сказал Антонио. — Но очень уж отчаянно. Блефует напропалую.

— Я и сам так играю, — ответил я.

— Значит, давайте попробуем.

Мы сели в уголок и начали играть. Пат совсем неплохо разбиралась в тонкостях покера и действительно блефовала так, что, как говорится, клочья летели. Через час Антонио показал на пейзаж перед окном. Шел снег. Густые хлопья медленно, словно нехотя, почти отвесно падали на землю.

— Полное безветрие, — сказал Антонио. — Значит, снега будет много.

— Где сейчас может быть Кестер? — спросила Пат.

— Уже за главным перевалом, — сказал я.

На минуту мне отчетливо представился «Карл», и в нем Кестер, и как они мчатся сквозь эту белую ночь, и вдруг все показалось мне каким-то нереальным — и то, что я тут сижу вместе с Пат, а Отто где-то в пути. Счастливая, уперев руку с картами в край стола, она улыбалась мне.

— Твой ход, Робби!

Пушечное ядро перекатилось через холл, остановилось за нашим столиком и доброжелательно стало подсказывать, кому и как ходить. Видимо, жена его уже спала, а ему было невтерпеж с кем-нибудь поговорить. Положив карты на стол, я ехидно уставился на него. Не выдержав моего взгляда, он ушел.

— А ты не очень-то любезен, — с удовольствием сказала Пат.

— Нет, — ответил я. — И не желаю быть таковым.

Потом мы пошли в бар, выпили несколько коктейлей «специаль», после чего Пат надо было отправляться спать. Я простился с ней в холле. Она поднялась по лестнице и, прежде чем свернуть в коридор, остановилась и оглянулась. Я еще

немного подождал, а затем зашел в дирекцию за ключом от моей комнаты. Маленькая секретарша усмехнулась.

— Семьдесят восьмой, — сказала она.

Это было рядом с комнатой Пат.

— Уж не по указанию ли фрейлейн Рексрот? — спросил я.

— Что вы! Фрейлейн Рексрот ушла в дом миссионерской организации. Они там молятся, — ответила она.

— Оказывается, и такой дом может быть благословеньем Божьим, — сказал я и быстро поднялся наверх. Мой чемодан уже был распакован. Через полчаса я постучал в дверь, соединявшую наши комнаты.

— Кто там? — послышался голос Пат.

— Полиция нравов, — ответил я.

Щелкнул замок, и дверь распахнулась.

— Это ты, Робби! — обалдело пролепетала Пат.

— Я! — сказал я. — Я — одержавший победу над фрейлейн Рексрот! Я — обладатель коньяка и «порто-ронко». — Я вытащил две бутылки из карманов своего купального халата, — А теперь говори сразу: сколько здесь перебывало мужчин?

— Никого, кроме всех ребят из футбольного клу-

ба и филармонического оркестра расширенного состава, — смеясь, заявила Пат. — Ах, миленький ты мой! Значит, теперь все снова так, как в добрые старые времена!

Она уснула у меня на плече. А я еще долго бодрствовал. В углу горел ночник. Снежные хлопья тихо бились о стекло, и казалось, что в этом тусклом, золотисто-коричневом полумраке время остановилось. В комнате было очень тепло. Иногда слышался какой-то треск в трубах центрального отопления, Пат ворочалась во сне, и одеяло, шурша, медленно соскользнуло на пол. О, эта бронзово поблескивающая кожа! А эти узкие колени — какое чудо! А нежная тайна груди! Ее волосы на моем плече, и губами я чувствую, как бьется пульс в ее руке! Да неужто же ты умрешь, подумал я. Не можешь ты умереть! Ты — само счастье…

Я осторожно подтянул одеяло. Пат что-то пробормотала, потом умолкла и, совсем сонная, медленно обняла меня за шею.

XXVII

Снег шел несколько дней подряд. У Пат была температура, и ей не разрешали вставать с постели. В этом доме многие температурили.

— Всё из-за погоды, — сказал Антонио. — Слишком тепло. И вдобавок этот фен. Недаром говорят: лихорадочная погода.

— Прогулялся бы ты хоть немного, дорогой, — сказала Пат. — А на лыжах кататься умеешь?

— Нет. Откуда мне уметь, я никогда не был в горах.

— Антонио тебя научит. Ему это только доставит удовольствие — ты ему симпатичен.

— Мне куда приятнее находиться здесь.

Она привстала на кровати. Ночная рубашка соскользнула с плеч. Господи, до чего она отощала! Да и шея стала совсем тонкой.

— Робби, — сказала она, — сделай это ради меня. Не хочу, чтобы ты тут без конца сидел у ложа больной. И вчера сидел, и позавчера — этого уже более чем достаточно.

— Я с удовольствием сижу здесь, — возразил я, — и снег меня нисколько не привлекает.

Она громко дышала, и я различал неровные

хрипы.

— На этот счет я поопытнее тебя, — сказала она и облокотилась о подушку. — Так будет лучше нам обоим. Сам потом увидишь. — Она с трудом улыбнулась. — Еще успеешь насидеться у меня после обеда и вечером. А с утра не надо, милый. А то мне становится как-то тревожно. Утром у меня жуткий вид. Из-за температуры. А вечером все по-другому. Я поверхностная и глупая женщина — не желаю быть уродливой, когда ты видишь меня.

— Что за чепуха, Пат! — Я встал. — Ладно, будь по-твоему. Прогуляюсь немного с Антонио. К двенадцати вернусь. Надеюсь, моя лыжная вылазка обойдется без переломов костей.

— С лыжами ты быстро освоишься, дорогой. — Ее лицо стало спокойным — выражение боязливой напряженности исчезло. — Ты очень скоро научишься замечательно кататься.

— А у тебя почему-то всегда охота очень скоро и замечательно выпроводить меня отсюда, — сказал я и поцеловал ее. У нее были влажные и горячие руки, а сухие губы потрескались.

* * *

Антонио жил на втором этаже. Он одолжил мне пару ботинок и лыжи. Все подошло — мы с ним были одинакового роста. Мы пошли на учебную поляну за деревней. По дороге Антонио внимательно посмотрел на меня.

— При повышении температуры больные начинают нервничать, — сказал он. — В такие дни здесь творятся странные вещи. — Он положил лыжи перед собой и закрепил их. — Самое страшное — это ожидание и полная невозможность что-либо предпринять. От этого больные лишаются последних сил, теряют рассудок.

— Здоровые тоже, — ответил я. — Потому что присутствовать при сем и быть совершенно бессильным…

Он понимающе кивнул.

— Иные туберкулезники занимаются трудом, — продолжал он, — другие прочитывают целые библиотеки. Но немало и таких, которые ведут себя просто как школьники: стараются удрать с мертвого часа, как в детстве убегали с уроков физкультуры, а завидев на улице врача, трусливо ухмыляются и прячутся в какой-нибудь лавочке или кондитерской. Тайное курение, тайная вы-

пивка, запретные вечеринки, сплетни и всякие дурацкие проделки — все это якобы спасает их от пустоты. И от правды тоже. Я назвал бы это довольно игривым, легкомысленным, но вместе с тем, пожалуй, и героическим пренебрежением к смерти. Впрочем, в конечном счете это все, что им остается.

Да, подумал я, в конце концов всем нам тоже не остается ничего другого.

— Ну что — попробуем? — спросил Антонио и воткнул палки в снег.

— Давайте!

Он показал мне, как закреплять лыжи и как сохранять на них равновесие. Это было нетрудно. Сначала я довольно много падал, но постепенно стал привыкать, и дело пошло на лад.

Через час катанье окончилось.

— Хватит, — сказал Антонио. — Вечером у вас будут ныть все мускулы.

Я отстегнул лыжи и почувствовал сильную пульсацию собственной крови.

— Хорошо, что мы с вами побыли на воздухе, Антонио, — сказал я.

Он кивнул.

— Это мы можем проделывать каждое утро. И, кстати, тогда в голову приходят совсем иные

мысли.

— А не зайти ли нам куда-нибудь выпить? — спросил я.

— Это можно. Зайдем к Форстеру — опрокинем по рюмочке «дюбоне».

Мы выпили «дюбоне» и поднялись наверх, в санаторий. В конторе секретарша сказала мне, что приходил письмоносец и передал, чтобы я зашел на почту за денежным переводом. Я посмотрел на часы. Времени оставалось достаточно, и я вернулся в деревню. На почте мне вручили две тысячи марок и письмо от Кестера. Он просил меня ни о чем не беспокоиться, сообщал, что у него есть еще деньги, которые он вышлет мне по первому требованию.

С удивлением я посмотрел на банкноты. Где же Отто мог раздобыть деньги? Ведь я хорошо знал все источники наших доходов. И вдруг меня осенило: мысленно я увидел перед собой гонщика-любителя Больвиса, фабриканта готовой одежды, вспомнил, как плотоядно он поглаживал нашего «Карла», стоявшего перед баром в вечер, когда он проиграл пари, вспомнил, как он сказал: «Эту машину я готов купить в любое время...» Какой ужас! Значит, Кестер продал «Карла». Вот откуда вдруг такие деньги! Отто продал «Карла»,

о котором как-то сказал, что лучше бы ему лишиться руки, чем этой машины. Значит, «Карла» больше нет, значит, теперь он в пухлых руках фабриканта костюмов, а Отто, чье ухо узнавало этот автомобиль за километры, теперь будет прислушиваться к его завыванию на какой-нибудь дальней улице, словно к жалобному вою брошенной собаки.

Я спрятал письмо и небольшой пакет с ампулами морфия. В растерянности я еще немного постоял перед почтовым окошком. Охотнее всего я бы тут же отправил деньги обратно, но сделать этого не мог — они были нам абсолютно необходимы. Я разгладил кредитки и положил их в карман. Затем я вышел. Черт возьми, подумал я, теперь я буду обходить каждый автомобиль стороной. На машины мы вообще смотрели как на друзей, но «Карл» значил для нас гораздо больше. Он был нам настоящим товарищем — этот «призрак шоссейных дорог». Нам надо было быть вместе. «Карлу» и Кестеру, «Карлу» и Ленцу, «Карлу» и Пат…

Яростно и беспомощно я стучал ботинками о ступеньки, сбивая с них снег. Ленца убили. «Карл» ушел. А Пат? Невидящими глазами я уставился в небо, в это серое и бескрайнее небо какого-то

безумного Бога, который ради собственной забавы выдумал жизнь и умирание.

* * *

Во второй половине дня ветер переменился. Небо прояснилось, воздух стал холодней, и к вечеру Пат почувствовала себя лучше. Утром ей позволили встать, а через несколько дней, когда уезжал Рот — тот самый, который исцелился, — она вместе со всеми отправилась провожать его на вокзал.

Проводы Рота оказались очень многолюдными. Уж так здесь повелось, если кто уезжал домой. Но сам Рот не веселился. Ему как-то по-особенному не повезло. Двумя годами раньше он посетил знаменитого профессора, который на вопрос Рота, сколько ему осталось жить, заявил, что, мол, не более двух лет, да и то при строжайшем соблюдении режима. Из предосторожности Рот проконсультировался еще у одного врача, попросив его быть с ним предельно правдивым и откровенным. Тот приговорил пациента к еще меньшему сроку дожития. Тогда Рот взял все свои деньги, распределил их на два года и, не обращая никакого внимания на свою болезнь, начал прожигать остаток жизни как только мог.

Наконец у него открылось тяжелое кровохарканье, и его доставили в санаторий. Однако здесь вместо того, чтобы умереть, он неудержимо пошел на поправку. По прибытии в санаторий он весил девяносто фунтов, теперь же — целых сто пятьдесят и вообще был в таком состоянии, что его вполне можно было отпустить «вниз»… Но деньги его кончились.

— Что же мне сейчас делать внизу? — спросил он меня и почесал свой череп, поросший жиденьким рыжим волосом. — Вы ведь недавно оттуда. Что там сейчас?

— Там многое изменилось, — ответил я, глядя на его круглое, упитанное лицо с бесцветными ресницами. Осужденный двумя специалистами на смерть, этот человек все-таки выздоровел. В остальном он меня нисколько не интересовал.

— Придется подыскать себе какую-то работу, — сказал он. — Как там в этом отношении?

Я пожал плечами. Стоило ли объяснять ему, что вероятнее всего он ничего не найдет. Он и сам достаточно скоро это поймет.

— Есть у вас связи, друзья или что-нибудь в этом роде?

— Друзья… сами, небось, знаете… — Он иронически улыбнулся. — Когда у тебя вдруг кончаются

деньги, они отскакивают от тебя, как блохи от мертвой собаки.

— Тогда вам будет трудно.

Он наморщил лоб.

— Понятия не имею, чем это все кончится. Осталось у меня всего несколько сотен марок. А если в последнее время я чему и научился, то только одному — расшвыривать деньги. Видимо, мой профессор и в самом деле был прав, но в другом смысле: именно через два отпущенных мне года я действительно сыграю в ящик… но при помощи пули.

И тут меня вдруг охватило какое-то бессмысленное бешенство против этого дурацкого болтуна. Неужто он так и не уразумел, что такое жизнь? Впереди меня шли Пат и Антонио. Я смотрел на ее тоненькую от болезни шею, я понимал, как ей хочется жить, и в эту минуту готов был убить Рота, если бы это могло спасти Пат.

* * *

Поезд ушел. Рот махал шляпой. Провожающие выкрикивали ему вдогонку пожелания всевозможных благ и смеялись. Какая-то девушка, спотыкаясь, бежала по перрону и срывающимся высоким голосом вопила: «До свидания! До

свидания!» Потом она вернулась и разразилась слезами. Остальные вроде бы смутились.

— Эй! — крикнул Антонио. — За плач на вокзале штраф! Старый закон нашего санатория! Штраф в фонд следующего праздника!

Величественно он протянул ей открытую ладонь. Все захохотали. Девушка улыбнулась сквозь слезы, стекавшие по ее жалкому, востроносому лицу, и достала из кармана пальто обшарпанный кошелек. Мне стало совсем плохо от всех этих лиц вокруг меня, от этого наигранного смеха, от этого судорожно-мучительного, деланного веселья, от всех этих гримас…

— Пойдем, — сказал я Пат и крепко взял ее под руку.

Молча мы прошли по деревенской улице. В ближайшей кондитерской я купил коробку конфет.

— Жареный миндаль, — сказал я и протянул ей покупку. — Кажется, ты любишь.

— Робби, — сказала Пат, и ее губы задрожали.

— Погоди еще минутку, — ответил я и быстро направился к расположенному рядом цветочному магазину. Немного успокоившись, я вышел оттуда с розами.

— Робби, — снова сказала Пат.

Я довольно жалко улыбнулся.

— На старости лет из меня получится истинный кавалер, тебе не кажется, Пат?

Я не понимал, что на нас вдруг нашло. Вероятно, подействовала атмосфера идиотских проводов на вокзале. Словно на нас легла какая-то свинцовая тень, словно задул ветер, сметающий все, что с таким трудом стремишься удержать. Вдруг мы оказались не более чем двумя заблудившимися детьми, которые не знают, как им быть, и очень стараются вести себя мужественно.

— Давай выпьем что-нибудь, — сказал я.

Она кивнула. Мы зашли в первое попавшееся кафе и сели за пустой столик у окна.

— Что тебе заказать, Пат?

— Рому, — сказала она и посмотрела на меня.

— Рому, — повторил я и нашарил под столом ее руку. Она крепко прижала свою ладонь к моей.

Принесли ром. Это был «баккарди» с лимоном.

— За тебя, старый мой дружок! — сказала Пат и подняла рюмку.

— За тебя, мой старый добрый дружище! — сказал я.

Мы посидели еще немного.

— Иной раз все как-то очень странно, верно? — сказала Пат.

— Да, сперва странно. А потом проходит.

Она кивнула. Тесно прижавшись друг к другу, мы пошли дальше. От лошадей, запряженных в сани, шел пар. Навстречу нам двигались загорелые лыжники и хоккеисты в красно-белых свитерах. Жизнь бурлила.

— Как ты себя чувствуешь, Пат? — спросил я.

— Хорошо, Робби.

— Нас с тобой ничто не одолеет, правда?

— Правда, дорогой. — Она прижала мою руку к себе.

Улица опустела. Над заснеженными горами раскинулся розовый полог заката.

— Пат, — сказал я, — ты еще не знаешь, что мы располагаем кучей денег — Кестер прислал.

Она остановилась.

— Так это же здорово, Робби! Значит, мы еще сможем как следует кутнуть?

— Запросто, — сказал я. — Сколько душе будет угодно.

— Тогда пойдем в субботу в курзал. Там состоится последний большой бал года.

— Но ведь тебе не разрешают выходить по вечерам.

— Это запрещено почти всем, однако все преспокойно выходят.

На моем лице отразилось опасение.

— Робби, — сказала Пат, — когда тебя здесь не было, я строго соблюдала все, что мне предписывалось. От перепуга стала совсем паинькой. Но все оказалось впустую. Мне стало хуже. Не перебивай меня — заранее знаю, что ты скажешь. И так же знаю, что поставлено на карту. Но в оставшееся мне время, когда ты рядом, разреши мне делать все, что я захочу.

Пурпуровый свет заката окрасил ее лицо. Глаза смотрели серьезно, спокойно и очень нежно. О чем мы говорим? — подумал я и почувствовал сухость во рту. Разве можно вот так стоять и говорить о том, что никогда не должно, не смеет произойти?! А ведь именно Пат произносит все эти слова, произносит их невозмутимо, беспечально, словно ничего уже поделать нельзя, словно нет хотя бы самого крохотного остатка обманчивой надежды. Вот рядом со мной стоит Пат, почти ребенок, которого я обязан оберегать. И вдруг она сама отходит от меня далеко-далеко, породнившись с тем безымянным, что таится за гранью бытия, и покорившись ему.

— Очень прошу, пожалуйста, не говори так, — пробормотал я наконец. — Я просто подумал, не посоветоваться ли нам сначала с врачом.

— Ни с кем мы с тобой советоваться не будем,

ни с кем! — Она вскинула свою красивую маленькую головку. На меня смотрели любимые глаза. — Больше ничего не хочу знать. Хочу только одного — быть счастливой.

Вечером в коридорах санатория слышались шушуканье, беготня. Пришел Антонио и вручил Пат приглашение на вечеринку, которую устраивал у себя в комнате какой-то русский.

— А разве я могу так просто, за здорово живешь, пойти с тобой? — спросил я.

— Это здесь-то! Конечно, можешь.

— Здесь можно делать многое, чего вообще делать нельзя, — сказал Антонио.

Русский оказался смуглолицым пожилым человеком. Он занимал две комнаты, устланные множеством ковров. На комоде стояли бутылки с водкой. В комнатах, освещенных только свечами, был полумрак. Среди гостей выделялась очень красивая молодая испанка. Выяснилось, что празднуется ее день рождения. От мерцания свечей создавалось какое-то особенное настроение. Сумрачные комнаты, где собралось некое братство людей, объединенных общей судьбой, чем-то напоминали мне фронтовой блиндаж.

— Что желаете пить? — спросил меня русский. Его низкий голос звучал очень тепло.

— Что найдется, то и выпью.

Он принес бутылку коньяку и графин с водкой.

— Вы здоровы? — спросил он.

— Да, — смущенно ответил я.

Он предложил мне папиросу. Мы выпили.

— Видимо, здесь многое кажется вам странным, правда? — заметил он.

— Не сказал бы, — ответил я. — Я вообще не очень-то привык к нормальной жизни.

— Да, — сказал он и, сощурив глаза, посмотрел на испанку. — Здесь, в горах, свой особый мир. Он изменяет людей.

Я кивнул.

— И болезнь здесь особая, — задумчиво добавил он, — От нее как-то оживляешься. А иногда даже становишься лучше. Какая-то мистическая болезнь. Она расплавляет шлаки и выводит их.

Он встал, слегка поклонился мне и подошел к улыбавшейся ему испанке.

— Сентиментальный трепач, верно? — сказал кто-то позади меня.

Лицо без подбородка. Шишковатый лоб. Беспокойно бегающие, лихорадочные глазки.

— Я здесь в гостях, — сказал я. — А вы разве нет?

— На это он и ловит женщин, — продолжал он,

не слушая меня. — Только на это он их и ловит. И вот эту малышку тоже поймал.

Я промолчал.

— Кто это? — спросил я Пат, когда он отошел от нас.

— Музыкант. Скрипач. Безнадежно влюблен в эту испанку. Так влюбиться можно только в горах. Но она и знать его не хочет. Любит своего русского.

— И я бы на ее месте так.

Пат рассмеялась.

— По-моему, в такого мужчину нельзя не влюбиться. Ты не находишь? — сказал я.

— Нет, не нахожу, — ответила она.

— Ты здесь никогда не была влюблена?

— Не очень.

— Впрочем, мне это безразлично, — сказал я.

— Вот так признание! — Пат выпрямилась. — А я-то думала, что это тебе никак не должно быть безразлично.

— Да я не в таком смысле. Даже не могу объяснить тебе, в каком. Не могу потому, что так и не понял, что, собственно, ты во мне нашла.

— Уж это моя забота, — ответила Пат.

— Но ты-то сама это понимаешь?

— Не совсем точно, — ответила она с улыб-

кой. — Иначе это уже не было бы любовью.

Бутылки с водкой русский оставил на комоде. Я налил себе и выпил несколько рюмок. Царившее здесь настроение угнетало меня. Очень тяжело было видеть Пат среди всех этих больных.

— Тебе тут не нравится? — спросила она.

— Не слишком. К этому нужно привыкнуть.

— Бедненький ты мой, дорогой… — Она погладила мою руку.

— Я не бедненький, если ты рядом, — сказал я.

— А Рита, по-твоему, не очень хороша собой?

— Не очень, — сказал я. — Ты красивее.

На коленях молодой испанки лежала гитара. Девушка взяла несколько аккордов. Потом запела, и мне показалось, что в полумраке вдруг откуда-то появилась и парит неведомая темная птица. Рита пела испанские песни, пела негромко, чуть хрипловатым и ломким, больным голосом. И я не мог понять — то ли из-за этих непривычных и грустных напевов, то ли из-за берущего за душу и какого-то вечернего голоса девушки, то ли из-за теней, отбрасываемых больными, сидевшими в креслах или прямо на полу, то ли, наконец, из-за выразительного, крупного и смуглого лица нашего русского хозяина, — не знаю отчего, но вдруг мне показалось, что все

происходящее — не более чем слезное и тихое заклинание судьбы, притаившейся там, за занавешенными окнами, не более чем мольба, крик и страх, боязнь остаться наедине с неслышно подтачивающим тебя небытием.

* * *

Наутро Пат, оживленная и радостная, перебирала свои платья.

— Слишком широкими стали… слишком широкими… — машинально бормотала она, стоя перед зеркалом. Потом повернулась ко мне.

— Ты привез с собой смокинг, милый?

— Нет, — сказал я. — Не думал, что он мне здесь понадобится.

— Тогда пойди к Антонио. Он тебе одолжит. У вас совершенно одинаковые фигуры.

— А он что наденет?

— Он наденет фрак. — Она прихватила булавкой складку на платье. — Кроме того, пойди покатайся на лыжах. Мне нужно поработать. А при тебе я не смогу.

— Несчастный Антонио, — сказал я. — Я его просто граблю. Что бы мы делали без него.

— Он хороший парень, правда?

— Да, это правда, — ответил я. — Именно хоро-

ший парень.

— Не знаю, как бы я обошлась без него, когда была тут одна-одинешенька.

— Не надо вспоминать об этом. С тех пор прошло столько времени.

— Правильно. — Она поцеловала меня. — А теперь иди кататься.

Антонио уже ждал меня.

— Признаться, я и сам догадался, что вы приехали без смокинга, — сказал он. — Примерьте-ка мой.

Смокинг был чуть узковат в плечах, но в общем подошел.

— Завтра повеселимся на славу, — заявил он. — К счастью, вечером в конторе будет дежурить маленькая секретарша. Старая Рексрот ни за что не выпустила бы нас. Ведь официально все это запрещено. Но неофициально мы, разумеется, уже не дети.

Мы пошли на лыжах. Я уже довольно прилично овладел ими, и не имело смысла снова тренироваться на учебной поляне. Нам встретился мужчина с бриллиантовыми кольцами на пальцах, в клетчатых штанах, с пышной бабочкой на шее — так одеваются художники.

— И чего только здесь не увидишь, — сказал я.

Антонио улыбнулся.

— Этот как раз довольно важная персона. Он — сопроводитель трупов.

— Как это? — не понял я.

— Сопроводитель трупов, — повторил Антонио. — Ведь сюда стекаются туберкулезники со всего света. Особенно много из Южной Америки. А большинство семей желает хоронить своих близких на родине. И вот такие сопроводители, конечно, за приличное вознаграждение доставляют цинковые гробы к месту назначения. Так они постепенно богатеют и разъезжают по всему свету. А вот этого смерть сделала настоящим денди, в чем вы могли убедиться.

Еще некоторое время мы поднимались вверх, потом встали на лыжи и помчались. Белые склоны вздымались и опускались, а за нами, неистово тявкая и повизгивая, утопая по грудь в снегу, красно-коричневым шариком несся Билли. Он снова привык ко мне, хотя в пути частенько поворачивал обратно и с развевающимися ушами летел напрямик к санаторию.

Я отрабатывал поворот «христианин». Всякий раз, когда я скользил вниз по склону и, готовясь к развороту, расслаблялся всем телом, я загадывал: «Если получится, если устою на ногах, то Пат

выздоровеет». Ветер свистел мне в лицо, лыжи зарывались в тяжелый снег, но раз за разом я карабкался вверх, находил все более крутые спуски, все более пересеченные участки, и когда опять и опять все выходило как нельзя лучше, я шептал: «Спасена!» Конечно, я понимал, что это глупо, но все-таки радовался, чего со мной давно уже не бывало.

* * *

В субботу вечером состоялся массовый тайный побег. Антонио заказал сани, которые ожидали нас на спуске, чуть в стороне от санатория. Сам Антонио в лакированных туфлях и распахнутом пальто, из-под которого сверкала белоснежная манишка, сел на салазки и, оглашая воздух тирольскими фиоритурами, скатился по склону прямо к санным упряжкам.

— С ума сошел парень, — сказал я.

— А он часто так, — ответила Пат. — Легкомыслен до беспредельности. Только это и выручает его. Иначе он бы не мог постоянно пребывать в таком хорошем настроении.

— Понятно. А теперь я тебя как следует укутаю.

Я завернул ее во все пледы и шарфы, какие

нашлись. Затем наш длинный санный поезд двинулся вниз. Удрали все, кто только мог. Можно было подумать, будто в долину спускается свадебный кортеж, — так празднично колыхались при лунном свете пестрые султаны на головах лошадей, так много было хохота и шуток, которыми перебрасывались седоки.

Курзал был убран с расточительной роскошью. Когда мы прибыли, танцы уже начались. Для гостей из санатория приготовили специальный угол, защищенный от сквозняка. В теплом воздухе пахло цветами, духами и вином.

За нашим столиком сидело довольно много людей: русский, Рита, скрипач, какая-то старуха в жемчугах, рядом с ней какая-то размалеванная маска смерти и нанятый ею жиголо, Антонио и еще кое-кто.

— Пойдем, Робби, — сказала Пат, — попробуем потанцевать.

Паркет медленно закружился. Скрипка и виолончель словно откуда-то сверху выводили нежную кантилену, выделявшуюся на фоне тихо рокочущего оркестра. Едва слышно шаркали по полу ноги танцующих.

— Послушай-ка, любимый мой! Вдруг выясняется, что ты отлично танцуешь, — удивленно

сказала Пат.

— Ну уж прямо отлично…

— Правда, отлично. Где ты научился?

— Еще у Готтфрида, — сказал я.

— В вашей мастерской?

— Да, и в кафе «Интернациональ». Ведь для танцев нужны партнерши. Так вот. Роза, Марион и Валли наводили на меня последний лоск. Боюсь, однако, что особого изящества они мне так и не привили.

— А вот и привили! — Ее глаза сияли, — Ведь мы с тобой впервые танцуем вдвоем, Робби!

Рядом с нами танцевали русский с испанкой. Он приветливо улыбнулся и кивнул нам. Испанка была очень бледна. Блестящие черные волосы вороньим крылом окаймляли ее лоб. Она танцевала с неподвижным серьезным лицом. Запястье украшал браслет из крупных четырехугольных изумрудов. Ей было восемнадцать лет. Скрипач, сидевший за столиком, не спускал с нее жадных глаз.

Мы вернулись к столу.

— А теперь дай мне сигарету, — сказала Пат.

— Лучше воздержись, — осторожно возразил я.

— Только несколько затяжек, Робби. Я так давно не курила.

Она взяла сигарету, но вскоре отложила ее.

— Что-то не нравится мне эта сигарета, Робби. Она просто не вкусна.

Я засмеялся.

— Так бывает всегда, когда человек долго чего-то лишен.

— Но ведь и ты меня был долго лишен.

— Это относится только к ядам, — пояснил я. — Только к водке и куреву.

— Люди, дорогой мой, куда более страшный яд, нежели водка и табак.

Я снова рассмеялся.

— А ты, я вижу, неглупый ребенок, Пат. Соображаешь.

Она положила руки на стол и посмотрела на меня.

— В сущности, ты никогда не принимал меня всерьез, — сказала она.

— Я самого себя никогда не принимал всерьез, — ответил я.

— Но меня ведь тоже нет. Скажи правду.

— Этого я не знаю. Однако нас вдвоем я всегда принимал просто ужасно всерьез. Вот это я знаю.

Она улыбнулась. Антонио пригласил ее на танец, и они вышли на паркет. Я смотрел, как Пат танцует. Она улыбалась мне всякий раз, когда

оказывалась около меня. Ее серебряные туфельки едва касались пола. В ее движениях было что-то от грациозности антилопы.

Русский опять танцевал со своей испанкой. Его крупное смуглое лицо выражало сдержанную нежность. Скрипач попытался пригласить испанку на танец, но она отрицательно покачала головой и снова пошла на площадку с русским.

Длинными костлявыми пальцами скрипач раскрошил сигарету. Вдруг мне стало его жаль, и я предложил ему другую сигарету. Он отказался.

— Я должен беречь себя, — сказал он срывающимся голосом.

Я кивнул.

— А вот этот, — продолжал он и, хихикнув, указал на русского, — каждый день выкуривает по пятьдесят штук.

— Что ж, один ведет себя так, а другой наоборот, — ответил я.

— Пусть она сейчас не хочет танцевать со мной. Все равно будет моей.

— Кто будет вашей?

— Рита. — Он придвинулся поближе. — У нас с ней были хорошие отношения. Мы вместе выступали. А потом приехал этот русский и своими пышными тирадами увел ее у меня из-под носа.

Но ничего — я заполучу ее.

— Для этого вам придется очень постараться, — сказал я. Он мне определенно не нравился.

Скрипач глуповато расхохотался.

— Это мне-то стараться? Наивный вы ангелочек! Не стараться мне нужно, а просто ждать.

— Что ж, тогда просто ждите.

— По пятьдесят сигарет, — продолжал он. — Каждый день. Вчера я видел его рентгеновский снимок. Живого места нет — каверна на каверне. Конец! — Он снова расхохотался. — Сперва мы с ним шли вровень. Его рентгеновские снимки можно было принять за мои и наоборот. Посмотрели бы вы, какая теперь разница! Вдобавок, я прибавил два фунта. Нет, уважаемый, мне нужно только беречь себя и ждать. Я уже предвкушаю его следующий снимок. Сестра мне всегда показывает. Понимаете? Он исчезнет, и настанет мой черед.

— Что ж, и это способ, — сказал я.

— «И это способ»! — передразнил он меня. — Это единственный способ, птенец вы желторотый! Если бы я активно попытался встать ему поперек пути, то потом она на меня и смотреть не захотела бы. Так что… мотайте на ус, приготовишка… Надо вести себя дружелюбно и спокойно… Надо

уметь ждать…

В зале становилось душно. Пат закашлялась. Я заметил, что при этом она боязливо покосилась на меня, и притворился, будто ничего не услышал.

Старуха в жемчугах, погруженная в собственные мысли, сидела не шевелясь и время от времени неожиданно разражалась громким хохотом. Потом снова успокаивалась и застывала в неподвижности. Размалеванная маска смерти ссорилась со своим жиголо. Русский курил сигарету за сигаретой. Скрипач услужливо подавал ему огонь. Какая-то девушка внезапно судорожно поперхнулась, поднесла ко рту носовой платок, заглянула в него и побледнела.

Я смотрел в зал. В нем были расставлены столики для спортсменов, для местных жителей, для французов, англичан и голландцев, чей язык с его характерными растянутыми слогами почему-то вызывал у меня представление о лугах, о море… И среди всей этой пестроты пристроилась небольшая колония болезни и смерти. Ее лихорадило, и она была прекрасна в своей обреченности.

«Луга и море. — Я посмотрел на Пат. — Луга и море — пена прибоя — песок — заплывы — о, любимый и такой знакомый лоб! — подумал я. —

Любимые мои руки! Любимая жизнь, которую я могу только любить, но спасти не умею...»

Я поднялся и вышел на воздух. От тревоги и бессилия я покрылся испариной. Я медленно побрел по дороге. Холод пронизывал меня, а от порывов ветра, вырывавшихся из-за домов, моя кожа покрылась пупырышками. Я сжал кулаки и, охваченный каким-то буйным чувством, в котором смешались ярость, бешенство и неизбывная боль, долго смотрел на суровые белые горы.

Внизу, на дороге, послышались бубенцы — проехали сани. Я пошел обратно. Пат шла мне навстречу.

— Где ты был?

— Захотелось пройтись.

— У тебя дурное настроение?

— Нет, нисколько.

— Радуйся, дорогой мой! Сегодня радуйся! Ради меня! Кто знает, когда я снова смогу пойти на бал?

— На балы ты будешь ходить очень часто.

Она прильнула к моему плечу.

— Раз ты это говоришь, значит, так оно наверняка и будет. Пойдем потанцуем. Сегодня мы впервые танцуем вдвоем.

Мы еще потанцевали, и теплый мягкий свет

милосердно маскировал тени, которые в этот поздний час проступали на лицах.

— Как ты себя чувствуешь? — спросил я.

— Хорошо, Робби.

— Какая ты красивая, Пат.

Ее глаза засветились.

— Как хорошо, что ты мне это говоришь.

Я ощутил на своей щеке ее теплые, сухие губы.

* * *

В санаторий мы вернулись совсем поздно.

— Вы только посмотрите, какой у него вид, — хихикнул скрипач и украдкой показал на русского.

— У вас точно такой же вид, — раздраженно ответил я.

Он ошарашенно взглянул на меня, а потом ехидно проговорил:

— Ну понятно — вы-то сами здоровы как бык! Что вам до этих нюансов!

Я подал русскому руку. Он пожал ее с легким поклоном, затем бережно и нежно помог молодой испанке подняться по лестнице. Я смотрел, как они шли наверх, освещенные ночными лампочками, и почему-то мне подумалось, что на этой крупной сутулой спине и на хрупких плечах девушки вся тяжесть мира.

Маска смерти волокла по коридору заартачившегося жиголо. Антонио пожелал нам доброй ночи, и в этом почти беззвучном прощании было что-то призрачное.

* * *

Пат снимала платье через голову. Она стояла согнувшись и дергала что-то у плеча. При этом порвалась парча. Пат пригляделась к месту разрыва.

— Платье, видимо, уже изрядно поистрепалось, — сказал я.

— Неважно, — сказала Пат. — Думаю, что оно мне уже не понадобится.

Она медленно сложила платье, но не повесила его в шкаф, а поместила в чемодан. И вдруг на ее лице как-то сразу обозначилась усталость.

— Посмотри-ка, что я припасла, — быстро сказала она и вынула из кармана пальто бутылку шампанского. — Сейчас мы устроим себе отдельный маленький праздник.

Я взял стаканы и наполнил их. Улыбаясь, она отпила глоток.

— За нас с тобой, Пат.

— Да, дорогой, за нашу с тобой прекрасную жизнь.

Но как же все это было ни на что не похоже — и эта комната, и эта тишина, и наша печаль. Разве не раскинулась за дверью огромная, бесконечная жизнь, с лесами и реками, полная могучего дыхания, цветущая и тревожная, — разве по ту сторону этих больших гор не стучался беспокойный март, будоража просыпающуюся землю?

— Ты останешься у меня на ночь, Робби?

— Останусь. Ляжем в постель и будем так близки, как только могут быть близки люди. Стаканы поставим на одеяло и будем пить.

Шампанское. Золотисто-коричневая кожа. Предвкушение. Бодрствование. А потом тишина и едва слышные хрипы в любимой груди.

XXVIII

Снова задул фен. Он шумно гнал сквозь долину влажное тепло. Снег оседал. С крыш капало. Температурные кривые больных ползли вверх. Пат должна была оставаться в постели. Каждые два-три часа ее смотрел врач, чье лицо становилось все более озабоченным.

Однажды, когда я обедал, ко мне подошел Антонио и сел за мой столик.

— Рита умерла, — сказал он.

— Рита? Это вы о русском?

— Нет, это я о Рите, об испанке.

— Не может быть, — сказал я, похолодев. В сравнении с Пат Рита была гораздо менее опасно больна.

— Здесь может быть больше, чем вы думаете, — грустно возразил Антонио. — Она умерла сегодня утром. Все осложнилось воспалением легких.

— Ах, воспаление легких! Это другое дело, — облегченно сказал я.

— Восемнадцать лет. Страшно все-таки. И как тяжело она умирала.

— А что с русским?

— Лучше не спрашивайте. Никак не хочет по-

верить, что она мертва. Уверяет, что это мнимая смерть. Не отходит от ее постели, никто не может увести его из комнаты.

Антонио ушел. Я уставился в окно. Рита умерла, а я сидел и думал лишь об одном: это не Пат. Это не Пат.

Сквозь остекленную дверь коридора я увидел скрипача. Не успел я встать, как он уже направился ко мне. Выглядел он ужасно.

— Вы курите? — спросил я, чтобы что-то сказать.

Он громко рассмеялся.

— Конечно, курю! А почему бы и нет? Теперь-то уже все равно.

Я пожал плечами.

— Вам все это, небось, смешно. Строите из себя этакого порядочного! Кривляка! — насмешливо проговорил он.

— Вы что, спятили? — удивился я.

— Спятил ли я? Нет, не спятил. Просто влип! — Он перегнулся через стол и обдал меня коньячным перегаром. — Я влип. Они подложили мне свинью. Да и сами они свиньи. Все! И вы тоже — добродетельная свинья!

— Не будь вы больны, я бы вышвырнул вас в окно, — сказал я.

— Больны, больны! — передразнил он. — Вовсе не болен я, а здоров. Или почти здоров. Только что видел свой снимок. Редкостный случай чрезвычайно быстрой инкапсуляции! Звучит прямо как анекдот, верно?

— Так радоваться вам надо! — сказал я. — Уедете отсюда, и все ваши горести позабудутся.

— Вот как! — удивился он. — Неужели вы это серьезно? До чего же у вас практический умишко! Да хранит Господь вашу толстокожую душу!

Он отошел на нетвердых ногах, но тут же обернулся.

— Айда со мной, пошли! Не покидайте меня. Давайте как следует выпьем. За мой счет, разумеется. Не могу я оставаться в одиночестве.

— Нет у меня времени, — сказал я. — Найдите себе кого-нибудь другого…

* * *

Я снова поднялся к Пат. Опираясь на гору подушек, она тяжело дышала.

— Тебе не хочется походить на лыжах? — сказала она. Я покачал головой.

— Снег никуда не годится. Везде тает.

— В таком случае не сыграть ли тебе с Антонио в шахматы?

— Нет, — сказал я. — Хочу остаться здесь, у тебя.

— Бедный ты мой Робби! — Она попыталась пошевельнуть рукой. — Тогда, по крайней мере, выпей что-нибудь.

— Это я могу.

Я пошел в свою комнату и принес оттуда бутылку коньяка и рюмку.

— А ты хочешь немного? — спросил я. — Ведь тебе можно, сама знаешь.

Она сделала глоток и немного погодя — другой. Потом вернула мне рюмку. Я долил ее дополна и выпил.

— Ты не должен пить из одной рюмки со мной, — сказала Пат.

— Еще чего выдумала! Почему это не должен? — Я вновь налил рюмку и разом опрокинул ее.

Она укоризненно покачала головой.

— Не делай этого, Робби. И целоваться нам тоже больше нельзя. И вообще не надо сидеть у меня так долго. Не желаю, чтобы ты заболел.

— А я вот буду тебя целовать, и черт с ним со всем! — возразил я.

— Нет, так нельзя! И точно так же тебе нельзя спать в моей постели.

— Пожалуйста, тогда спи со мной в моей.

Словно обороняясь от меня, Пат сжала губы.

— Оставь все это, Робби. Тебе еще жить и жить. Я хочу, чтобы ты остался здоровым, имел жену и детей.

Мы помолчали.

— Я бы, конечно, тоже хотела иметь от тебя ребенка, Робби, — сказала она после паузы и потерлась щекой о мое плечо. — Раньше никогда и мысли такой не было. Даже представить себе не могла. А теперь часто об этом думаю. Хорошо, когда от человека что-то остается. Иногда ребенок глядел бы на тебя, и ты бы меня вспоминал. В такие минуты я как бы снова была бы у тебя.

— Еще будет у нас ребенок, — сказал я. — Когда выздоровеешь. Мне тоже хочется от тебя ребенка. Но это должна быть девочка, и назовем мы ее так же, как назвали тебя, — Пат.

Она взяла у меня рюмку и отпила еще глоток.

— Милый ты мой, может, оно и лучше, что у нас нет детей. Пусть от меня ничего не останется. Ты должен меня забыть. А если все-таки будешь обо мне думать, так думай лишь о том, что нам было хорошо, и, пожалуйста, ни о чем больше. Ведь нам все равно никогда не постигнуть, почему все это у нас кончилось. А горевать не стоит.

— Мне горько, что ты можешь так говорить.

Она пристально посмотрела на меня.

— Когда долго лежишь в постели вот так, как я, то поневоле думаешь о том, о сем. И многое, на что я раньше не обращала внимания, теперь кажется мне странным. И знаешь, чего мне уже никак не понять? Того, что можно любить друг друга, как мы с тобой, и все-таки один умирает.

— Замолчи, — сказал я. — Один всегда должен умереть первым, так устроена жизнь. Но нам обоим еще очень далеко до этого.

— Право умереть дает только одиночество. Или взаимная ненависть. Но когда люди любят друг друга…

Я заставил себя улыбнуться.

— Да, Пат, — сказал я и взял ее горячие руки в свои, — если бы мы вдвоем сотворили мир, он выглядел бы лучше. Так или нет?

Она кивнула.

— Да, милый. Мы бы такого не допустили. Но только бы знать — а что же дальше? Ты веришь, что потом все будет продолжаться?

— Верю, — сказал я. — Наша жизнь сделана настолько плохо, что на этом она кончиться не может.

Пат улыбнулась.

— Что ж, в этом есть резон. Но вот посмотри

сюда — разве это тоже плохо сделано?

Она показала на корзину чайных роз, стоявшую у ее кровати.

— В том-то все и дело, — ответил я. — Подробности великолепны, но целое лишено всякого смысла. Словно оно было создано каким-то существом, которое при виде чудесного многообразия жизни не додумалось ни до чего лучшего, как попросту уничтожать эту жизнь.

— Но и обновлять тоже, — сказала Пат.

— В этом обновлении я тоже не вижу смысла, — возразил я. — От него жизнь лучше не стала. По сей день.

— Нет, дорогой, — сказала Пат. — У нас с тобой все вполне удалось. Лучше и не придумаешь. Жаль только, что длилось это так недолго. Слишком недолго.

* * *

Несколько дней спустя я почувствовал колотье в груди и начал кашлять. Как-то, проходя по коридору, главный врач услышал мой кашель и заглянул ко мне.

— Пойдемте-ка со мной в кабинет.

— Да у меня все в порядке, — сказал я.

— Не о вас речь, — ответил он. — С таким

кашлем вам нельзя сидеть у фрейлейн Хольман. Немедленно идемте.

Войдя в его кабинет, я с каким-то странным чувством удовлетворения снял с себя рубашку. Здесь, в Альпах, настоящее здоровье казалось мне какой-то почти неправомерной привилегией: я чувствовал себя чем-то вроде авантюриста или дезертира.

Главный врач недоуменно посмотрел на меня и наморщил лоб.

— Похоже, что вы еще и рады этому, — сказал он.

Затем он тщательно выслушал меня. Я разглядывал различные блестящие инструменты на стенах и, в зависимости от его требований, дышал то медленно и глубоко, то быстро и коротко. При этом я снова ощущал покалывание и был очень доволен, что мои преимущества перед Пат несколько сократились.

— Вы простужены, — сказал главный врач. — Полежите день-другой в постели или, по крайней мере, не покидайте своей комнаты. К фрейлейн Хольман не заходите — и не ради вас, а ради нее.

— А переговариваться с ней через дверь можно? — спросил я. — Или через балкон?

— С балкона можно, но только считанные

минуты. Да и через дверь тоже, если будете как следует полоскать горло. Помимо простуды у вас от курения еще и катар дыхательных путей.

— А легкие? — Почему-то я ожидал, что хоть в них окажется что-нибудь не в порядке. Тогда я чувствовал бы себя лучше перед Пат.

— Из ваших двух легких можно выкроить целых шесть, — заявил главный врач. — Давно уже мне не встречался такой здоровый человек, как вы. Только вот печень у вас уплотнена. Видимо, много пьете.

Он мне что-то прописал, и я ушел к себе.

— Робби, что он тебе сказал? — спросила меня Пат из своей комнаты.

— Временно запретил посещать тебя, — ответил я, стоя у двери. — Даже строго запретил. Существует опасность заражения.

— Вот видишь! — испуганно сказала она. — Я уже давно толкую тебе об этом.

— Да нет же, Пат! Это тебе грозит заражение, а не мне.

— Перестань болтать чушь, — сказала она. — Расскажи мне точно, что с тобой случилось.

— Я и так сказал тебе точно. Сестра… — Я сделал знак постовой сестре, которая как раз принесла мне лекарства. — Скажите фрейлейн Хольман,

кто из нас более опасен для окружающих?

— Вы, господин Локамп, — объяснила сестра. — Он не должен к вам входить, а то еще заразитесь от него.

Пат с недоверием посмотрела на сестру, потом перевела взгляд на меня. Я показал ей через дверь лекарства. Поняв, что все правильно, она рассмеялась; она смеялась все громче, смех перешел в хохот, на ее глазах появились слезы, и тут начался приступ мучительного кашля. Сестра бросилась к ней на помощь.

— Господи, — прошептала Пат, — дорогой мой, это, ей-Богу, ужасно смешно. И какой у тебя гордый вид!

Весь вечер она была весела. Конечно, я не оставил ее одну. Надев плотное пальто и обмотав шею шарфом, я просидел до полуночи на балконе. В ногах у меня стояла бутылка коньяка, в одной руке я держал сигару, в другой — рюмку и рассказывал Пат всевозможные события из моей жизни. Время от времени меня прерывал, а заодно и вдохновлял ее тихий, словно птичий, смех, и я усердно врал, врал сколько мог — лишь бы ее лицо озарялось улыбкой. Я был счастлив от своего лающего кашля, я выдул всю бутылку и наутро был здоров.

* * *

И снова задул фен. Ветер бился в окна, низко нависли тучи, по ночам слышался грохот низвергающегося с гор талого снега, а перевозбужденные больные, не смыкая глаз, все время настороженно прислушивались. На защищенных склонах начали расцветать крокусы, а на дороге среди саней появились первые повозки на высоких колесах.

Пат все больше слабела и уже не могла вставать с постели. Ночью у нее часто были приступы удушья. Тогда от смертельного страха ее лицо становилось серым, и я держал ее за влажные бессильные руки.

— Лишь бы пережить этот час! — хрипела она. — Только один этот час! Самое время умирания…

Особенно она страшилась последнего часа между ночью и утром. Почему-то ей казалось, что под конец ночи тайный ток жизненных сил замедляется, почти совсем угасает. В этот час, которого она боялась больше всего ей не хотелось быть одной. В остальное время она держалась так мужественно, что, опасаясь выдать свое волнение, я часто стискивал зубы.

Я попросил перенести свою кровать в комнату Пат и присаживался около нее, когда она пробуждалась или когда в ее глазах появлялось выражение какой-то отчаянной мольбы. Я часто вспоминал о лежавших в моем чемодане ампулах с морфием и, не задумываясь, сам делал бы ей уколы, чтобы она спала. Но я знал, как она благодарна за каждый новый день жизни, и морфий оставался неиспользованным.

Часами я сидел у ее постели и рассказывал решительно все, что мне вспоминалось. Ей самой нельзя было много говорить, и она охотно слушала мое пространное повествование о разных историях, приключившихся со мной. Иногда, сразу вслед за очередным приступом, когда, бледная и разбитая, Пат полулежала, откинувшись на подушки, она просила изобразить ей кого-нибудь из моих зрителей. Тогда, оживленно жестикулируя и сопя, поглаживая воображаемую окладистую рыжую бороду, я степенно расхаживал по комнате и надтреснутым голосом изрекал всяческие перлы школярской премудрости. Ежедневно я придумывал что-нибудь новое, и постепенно Пат подробно узнала про всех забияк и оболтусов нашего класса, которые неутомимо старались причинять учителям все новые и новые огорче-

ния. Однажды, привлеченная раскатистым басом нашего директора, в комнату вошла ночная сестра, и потребовалось немало времени, покуда я, к полному удовольствию Пат, все-таки разъяснил ей, что, хотя я действительно напялил на себя дамскую пелерину и мягкую шляпу, хотя скачу по комнате и на чем свет стоит браню некоего Карла Оссеге за то, что тот злокозненно подпилил учительскую кафедру, — я, тем не менее, все же не сумасшедший, а вполне нормальный человек.

Вскоре за окном забрезжил рассвет. Горные хребты превратились в какие-то бритвенно-острые, черные силуэты. Раскинувшееся за ними холодное я бледное небо начало отступать.

Ночник на тумбочке потускнел до бледной желтизны, и Пат прижалась влажным лицом к моим ладоням.

— Ночь прошла, Робби. На мою долю выпал еще один день.

* * *

Антонио принес мне свой радиоприемник. Я подключил его к сети, заземлил на центральное отопление и вечером опробовал в комнате Пат. Сначала из аппарата вырывался треск и нестройный свист, но мне удалось чисто отстроиться, и

комната наполнилась нежными прозрачными звуками.

— Что это, дорогой? — спросила Пат.

Антонио дал мне еще и журнал с программами. Я нашел нужную страницу.

— По-моему, Рим.

И сразу послышался низкий, металлический голос дикторши.

— Radio Roma — Napoli — Firenze…[4]

Я еще немного повернул ручку. Соло на фортепиано.

— Тут мне справка не нужна, — сказал я. — Это Валленштейнская соната Бетховена[5]. Когда-то и я ее играл. Когда еще верил, что со временем стану учителем гимназии, профессором или композитором. А теперь сыграть бы не смог. Лучше покрутим еще. Эти воспоминания не из приятных.

Зазвучал теплый, тихий, вкрадчивый альт: «Parlez moi d’amour»[6]

---

[4] Примечания: 4

Радио Рим — Неаполь — Флоренция (*итал.*).

[5] Примечания: 5

В честь Альбрехта Валленштейна (1583–1634) — полководца эпохи 30-летней войны.

[6] Примечания: 6

«Говорите мне о любви» (*франц.*).

— Париж, Пат.

Потом было сообщение о борьбе с виноградной филлоксерой. Я продолжал крутить ручку. Рекламные объявления. Квартет.

— А это что? — спросила Пат.

— Прага. Струнный квартет Бетховена, сочинение пятьдесят девятое, — прочитал я.

Дослушав до конца первой части, я довернул ручку, и вдруг появилась скрипка, да еще какая чудесная.

— Это, вероятно, Будапешт, Пат. Цыганская музыка.

Полнозвучно и мягко мелодия словно вознеслась над плещущимся под ней ансамблем цимбал, скрипок и пастушьих рожков.

— Великолепно, Пат, правда?

Она молчала. Я обернулся. Из ее широко раскрытых глаз текли слезы. Я мгновенно выключил приемник.

— Что с тобой, Пат? — Я обнял ее исхудавшие плечи.

— Да ничего, Робби. Просто я глупая. Но когда вдруг слышишь: Париж, Рим, Будапешт… Господи… а я была бы рада хоть разок еще спуститься в деревню.

— Но, Пат…

Я сказал ей все, что мог сказать, чтобы отвлечь ее от этой мысли. Но она недоверчиво покачала головой.

— Я не горюю, дорогой. Ты так не думай. Я не горюю, когда плачу. Просто что-то находит на меня. Но ненадолго. Ведь недаром же я без конца размышляю.

— О чем же ты размышляешь? — спросил я и поцеловал ее волосы.

— О единственном, о чем я еще могу размышлять, — о жизни и смерти. А когда начинаю горевать и ничего больше не понимаю, то говорю себе, что лучше умереть, когда еще хочешь жить, чем умереть, когда и впрямь хочешь смерти. А по-твоему как?

— Не знаю.

— Посуди сам. — Она прислонилась головой к моему плечу. — Когда еще хочется жить, то это значит, что есть у тебя что-то любимое. Так, конечно, тяжелее, но вместе с тем и легче. Ты пойми: умереть мне пришлось бы так или иначе, а теперь я благодарна судьбе за то, что у меня был ты. Ведь могло случиться и так, что я была бы совсем одинока и несчастна. Тогда я бы охотно умерла. Теперь же это мне тяжело, но зато я полна любовью, как пчела медом, когда вечером

она прилетает в свой улей. И будь у меня возможность выбора, я бы выбрала только то, что есть сейчас.

Она посмотрела на меня.

— Пат, — сказал я, — есть еще третий вариант. Когда уляжется фен, все пойдет на лад, и мы уедем отсюда.

Она продолжала пристально смотреть на меня.

— А за тебя, Робби, я просто боюсь. Тебе все намного труднее, чем мне.

— Больше мы об этом говорить не будем, — сказал я.

— Я сказала это только для того, чтобы ты не думал, будто мне грустно, — ответила она.

— А я и не думаю, что тебе грустно, — сказал я.

Она положила руку мне на плечо.

— Не послушать ли нам еще раз цыган?

— Тебе хочется?

— Да, дорогой.

Я снова включил приемник, и заиграла — сначала тихо, а потом все полнозвучнее — скрипка, а затем и флейта. Им аккомпанировали цимбалы.

— Прекрасно! — сказала Пат. — Как ветер. Как ветер, который куда-то уносит тебя.

Это был вечерний концерт, передаваемый

из ресторана в каком-то из парков Будапешта. Сквозь рокот музыки порой слышались голоса посетителей. Внезапно раздавался чей-то радостный и громкий возглас. И можно было себе представить, что на острове Маргариты, прямо посреди Дуная, каштаны оделись в свежую листву, а от ветра, поднятого скрипками, на далекой луне что-то замерцало и задвигалось. И, быть может, там, в Будапеште, дул теплый ветерок, и люди сидели под открытым небом, и перед ними стояли бокалы с желтоватым венгерским вином, и кельнеры в белых кителях сновали туда и сюда, и цыгане играли, а потом, вконец устав, все пошли сквозь зеленый весенний рассвет домой… А передо мною лежала улыбающаяся Пат, которой, я знал, уже никогда не выйти из этой комнаты, никогда не встать с этой постели.

* * *

Потом все вдруг пошло очень быстро. Плоть любимого лица стала таять на глазах — выступили скулы, виски слились со лбом. Тонкие руки сделались совсем детскими, из-под кожи выперли ребра, жар снова и снова сотрясал иссохшее тело. Сестра приносила кислородные подушки, а врач приходил каждый час.

Как-то вечером температура по внезапной причине резко снизилась. Пат очнулась и долго смотрела на меня.

— Дай мне зеркало, — прошептала она.

— Зачем тебе зеркало? — сказал я. — Лучше отдохни, Пат. По-моему, ты начала выздоравливать. Температуры уже почти нет.

— И все-таки, — прошептала она растрескавшимся, словно спаленным голосом, — все-таки дай мне зеркало.

Я обошел вокруг ее кровати, взял зеркало и уронил его. Оно разбилось.

— Прости мне эту неловкость, — сказал я. — Выпало из руки — и сразу на тысячу осколков. Ведь надо же…

— В моей сумочке есть другое. Достань его, Робби.

То было совсем маленькое зеркальце из хромированного никеля. Я провел по нему рукой, чтобы оно хоть немного замутнилось, и дал его Пат. Старательно протерев зеркальце до блеска, она долго и напряженно вглядывалась в него.

— Ты должен уехать, дорогой, — наконец прошептала она.

— Это зачем же? Разлюбила ты меня, что ли?

— Ты не должен больше смотреть на меня. Это

уже не я.

Я взял у нее зеркальце.

— Эта металлическая ерунда ни черта не стоит. Ты только посмотри, как я в нем выгляжу. Бледный, худой. А я, между прочим, еще загорелый и крепкий. Не зеркало — стиральная дощечка.

— Пусть у тебя останется другое воспоминание обо мне, — прошептала она. — Уезжай, дорогой. Я как-нибудь справлюсь сама.

Я ее успокоил. Она еще раз потребовала зеркальце и сумочку. Затем стала пудриться — жалкое, истощенное лицо, потрескавшиеся губы, запавшие коричневые подглазья.

— Я только чуть-чуть, дорогой, — сказала она, пытаясь улыбнуться. — Только бы ты не видел меня такой уродливой.

— Можешь делать все, что тебе угодно, — сказал я, — но никогда ты не будешь уродливой. Для меня ты самая прекрасная из всех женщин.

Я отнял у нее зеркальце и пудреницу и осторожно положил ей ладони под голову. Через минуту она беспокойно зашевелилась.

— Что такое, Пат? — спросил я.

— Они тикают… слишком громко… — прошептала она.

— Что? Часы?

Она кивнула.

— Прямо гремят.

Я снял часы с запястья.

Пат со страхом посмотрела на секундную стрелку.

— Убери их…

С маху я швырнул часы о стенку.

— Вот так, теперь они уже не тикают. Теперь время остановилось. Мы разорвали его на самой середине. Остались только мы с тобой, только мы вдвоем, ты и я — и никого больше.

Она посмотрела на меня удивительно большими глазами.

— Дорогой, — прошептала она.

Я не мог выдержать ее взгляда. Он шел откуда-то издалека, он пронизывал меня и неизвестно куда был направлен.

— Дружище, — бормотал я, — мой родной, мужественный, давний мой дружище…

* * *

Она умерла в последний час ночи, до рассвета. Она умирала тяжко и мучительно, и никто не мог ей помочь. Крепко держа меня за руку, она уже не знала, что я с ней.

Потом кто-то сказал:

— Она мертва…

— Нет, — возразил я. — Она еще не мертва. Она еще крепко держит меня за руку…

Свет. Непереносимо яркий свет. И люди. И врач. Я медленно разжал пальцы. Ее рука упала. И кровь. И ее лицо, искаженное удушьем. Полные муки, остекленевшие глаза. Шелковистые каштановые волосы.

— Пат, — сказал я. — Пат.

И впервые она мне не ответила.

* * *

— Я хотел бы остаться один, — сказал я.

— А разве сначала не надо… — сказал кто-то.

— Нет, — сказал я. — Все вон! Не прикасайтесь к ней.

Потом я смыл с нее кровь. Я словно одеревенел. Я расчесал ей волосы. Она остывала. Я уложил ее на свою кровать, укрыл одеялами. Я сидел подле нее и ни о чем не мог думать. Просто сидел на стуле и глазел. Вошел Билли и сел около меня. Я видел, как изменялось ее лицо. Опустошенней, не в силах сделать что-либо, я все сидел и не сводил с нее глаз. Потом настало утро, а ее уже не было.

ВО ИМЯ МИРА

В ноябре 1928 года тираж одной из старейших берлинских газет, «Фоссише цайтунг», из-за резко возросшего спроса был увеличен на несколько тысяч экземпляров. Внезапный рост популярности этой газеты объяснялся тем, что с 10 ноября по 9 декабря на ее страницах публиковалось произведение, сразу же приковавшее к себе внимание читателей. Это был роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». Если формулировка, употреблявшаяся в сводках верховного командования в периоды затишья и теперь превращенная автором в заглавие романа, за десять лет, прошедших после окончания войны, еще не выветрилась из памяти немцев, то редкая, к тому же написанная на французский лад фамилия писателя могла вызвать какие-то ассоциации лишь у немногочисленных читателей его первых двух книг: «Мансарда грез» (так озаглавлен единственный русский перевод романа «Die Traumbude») и «Станция на горизонте». Но даже у них вряд ли могло появиться желание приняться за чтение нового произведения этого автора, ведь первые два романа Ремарка были

просто-напросто неудачны. К чести писателя следует сказать, что он сам подверг их уничтожающей критике. Говоря, например, о «Мансарде грез», он вспоминал, что через два года после выхода «этой кошмарной книги» в свет был готов скупить и уничтожить все имевшиеся в продаже экземпляры, да только у него не хватило на это денег. Отрекшись со всей решительностью от обеих книг, вычеркнув их из своей творческой биографии, он во всех интервью упорно называл своим первым романом «На Западном фронте без перемен».

31 января 1929 года роман вышел отдельным изданием и имел необычайный успех. Ежедневно раскупалось до 20 тысяч экземпляров. А к концу года количество распроданных экземпляров достигло почти полутора миллионов. Но значение выхода книги в свет не замыкалось рамками германского книжного рынка: роман был уже в том же 1929 году переведен на двенадцать, а в дальнейшем еще на три десятка языков.

Автор, пишущий о войне, не может, вероятно, сохранять нейтралитет, такова, можно сказать, специфика жанра. И «На Западном фронте без перемен» не представляет в этом отношении исключения. В эпиграфе к книге говорится,

правда, что она «не является ни обвинением, ни исповедью», но это, по-видимому, не что иное, как литературный прием, ибо как раз исповедальный тон романа Ремарка — доминирующая особенность его стиля, воздействующая на читателя с первых же строк и играющая решающую роль в установлении контакта между ним и повествованием. Что же касается обвинения, от которого также якобы отрекается в эпиграфе автор, то много ли можно назвать произведений не только немецкой, но и всей мировой литературы первой половины XX века, которые выступали бы с такой же страстной обвинительной речью перед судом истории, как именно этот роман? Только все дело в том, что открытую форму эта речь приобретает лишь в нескольких небольших публицистических отступлениях, где устами своего героя автор осуждает войну, а в основном она содержится в подтексте всех эпизодов романа, описанных с мнимой беспристрастностью человека, который как бы ведет дневник, не рассчитывая на то, что его записи попадутся кому-нибудь на глаза.

Многозначительно само заглавие книги. Смысл его раскрывается в первых строках эпилога: когда был убит главный герой, «на всем фронте было

так тихо и спокойно, что военные сводки состояли из одной только фразы: «На Западном фронте без перемен». С легкой руки Ремарка эта проникнутая горьким сарказмом формула приобрела в немецком языке характер фразеологического оборота, подобного русскому выражению: «На Шипке все спокойно». Емкое, с глубоким подтекстом заглавие романа позволяет читателю расширить рамки повествования и домыслить авторские идеи; если в дни, когда, с «высокой» точки зрения главного командования, на фронте все остается без перемен, происходит столько ужасного, то что же сказать тогда о периодах ожесточенных, кровопролитных сражений?

Следующий роман Ремарка, «Возвращение», вышедший в свет в 1931 году, то есть через два года после опубликования романа «На Западном фронте без перемен», был тесно связан с ним тематически и даже воспринимался многими как его продолжение.

Менее чем через два года после выхода «Возвращения» в свет в Германии произошло событие, ставшее не только национальной, но и мировой катастрофой: к власти пришел Гитлер. За несколько дней до этого Ремарк уехал из Берлина в Швейцарию, в курортное местечко Порто Ронко

близ озера Лаго Маджоре, где в 1931 году им была приобретена вилла «Монте Табор» (в связи с ухудшением здоровья писатель жил здесь месяцами). В Германию, где его как ярого врага милитаризма и национализма мог ожидать лишь арест, он не вернулся, пополнив тем самым многочисленные ряды немецких антифашистов-эмигрантов.

А тем временем оба его антивоенных романа были занесены в черные списки книг, запрещенных в нацистской Германии, и брошены 10 мая 1933 года вместе со многими другими неугодными гитлеровцам выдающимися произведениями немецкой и мировой литературы в огромный костер, зажженный в сердце Берлина.

Живя в эмиграции, Ремарк продолжал творить. Но следующее свое произведение он опубликовал лишь в 1938 году. Это был роман «Три товарища». Место действия книги — Берлин. Об этом мы судим по отдельным приметам города, таким, например, как знаменитая клиника «Шарите», а тот, кто читает роман в оригинале, — по ряду слов и выражений на берлинском диалекте, которые автор вкладывает в уста некоторых персонажей.

Хотя с того момента, как прозвучали последние выстрелы, прошло опять-таки десять лет,

жизнь была еще пропитана памятью о войне, последствия которой сказывались на каждом шагу. Не зря ведь они, эти воспоминания, и самого автора привели к созданию его знаменитого антивоенного романа.

Память о фронтовой жизни прочно входит в нынешнее существование трех главных героев романа — Роберта Локампа, Отто Кестера и Готтфрида Ленца, — как бы продолжается в нем. Это ощущается на каждом шагу, не только в большом, но и в малом: в бесчисленных деталях их быта, их поведения, их разговоров. Даже дымящиеся асфальтовые котлы напоминают им походные полевые кухни, фары автомобиля — прожектор, вцепляющийся в самолет во время его ночного полета, а комнаты одного из пациентов туберкулезного санатория, к которому пришли в гости его товарищи по несчастью, — фронтовой блиндаж.

Война наложила неизгладимый отпечаток на образ мышления товарищей. «Как ни странно, — замечает, например, Роберт, почувствовав, что из кухни доносится аромат только что заваренного кофе, — но от запаха кофе я повеселел. Еще со времен войны я знал: важное, значительное не может успокоить нас... Утешает всегда мелочь,

пустяк...» И если он говорит: «Наше прошлое научило нас не заглядывать далеко вперед», — то мы понимаем, что под «прошлым» здесь тоже имеются в виду военные годы.

Постоянные воспоминания героев об их фронтовой юности не имеют ничего общего с героизацией и романтизацией войны. Напротив, и этот роман Ремарка о мирной жизни является таким же антивоенным произведением, как и два предыдущих. «Слишком много крови было пролито на этой земле, чтобы можно было сохранить веру в небесного отца!» — к такому выводу приходит Локамп после беседы со священником в церковном саду.

Но мысли о войне относятся не только к прошлому: они порождают и страх перед будущим, и Роберт Локамп, глядя на младенца из приюта, горько иронизирует: «Хотел бы я знать, что это будет за война, на которую он поспеет». Эти слова Ремарк вложил в уста героя-рассказчика за год до начала второй мировой войны.

В «Трех товарищах» Ремарк показал себя искуснейшим мастером индивидуальных характеристик. Каждый из трех главных героев имеет свое лицо и действует в полном соответствии с внутренней логикой своей натуры. В самом начале они выступают как некий триединый

персонаж, но очень скоро читатель начинает любого из них сразу же узнавать по поведению, по языку, по манерам, даже по жестам. Несколько позднее двух своих товарищей «раскрывается» Отто Кестер, и это оказывается закономерным, оправданным, — ведь сдержанность едва ли не главное свойство этой удивительно цельной натуры. Но по мере того как мы знакомимся с Кестером, мы все больше убеждаемся в силе его воли, в его целеустремленности, умении быстро ориентироваться в трудной обстановке, принимать и выполнять единственно возможное решение, иногда даже идти ва-банк, особенно когда речь идет о выручке друга. И как не похож на него со своим веснушчатым лицом, голубыми глазами и рыжим чубом, то по-мальчишески озорной, то по-хорошему сентиментальный Готтфрид Ленц, которого он сам и его друзья не зря прозвали «последним романтиком»!

Менее всего «узнаваем», пожалуй, Роберт Локамп. Это объясняется тем, что повествование в романе ведется от его лица и вместо объективных суждений о персонаже читателю преподносится глубинная автохарактеристика, в которой ему приходится разбираться «своими силами». Но фигура Роберта представляет осо-

бый интерес: она более всех идентична самому автору и очень часто используется для передачи его собственных мыслей. Не случайно, видимо, именно этого героя Ремарк заставил во многом повторить свой собственный жизненный путь, как он поступал ранее в отношении Пауля Боймера и Эрнста Биркхольца: Роберту Локампу тридцать лет, ровно столько, сколько было самому писателю в 1928 году; он тоже был мобилизован в 1916 году и тоже был тяжело ранен; его мать, как и мать Ремарка (и Пауля Боймера), умерла от рака; он тоже должен был стать учителем и тоже перепробовал после войны много профессий, в том числе и профессию пианиста-тапера. Таков далеко не полный перечень деталей, подтверждающих автобиографический характер образа героя-рассказчика.

Роберт Локамп в гораздо большей степени, нежели его сотоварищи и вообще кто-либо из других персонажей книги, показан изнутри. По его собственным словам, долгие годы после войны он жил «тупо, бездумно и безнадежно». И если он, недоучившийся студент университета, распростившийся с книгами, концертами и театральными спектаклями, в шутливой словесной перепалке с Ленцем говорит, что у него давно

уже пропала охота чему-нибудь учиться и что он сам не знает, для чего живет на свете, то в этой шутке есть большая доля правды.

Заставляя Роберта заниматься самоанализом, Ремарк исследует думы и настроения «потерянного поколения» в целом. Многое из того, что свойственно ему, характерно и для его товарищей, только у Ленца это таится под покровом шутки, а скупой на слова Кестер вообще редко высказывает свои мысли вслух. Впрочем, то же самое можно сказать и о целом ряде других героев.

В известной степени к «потерянному поколению» относится также одна из главных фигур книги — Патриция Хольман. Хотя обаятельная Пат моложе своего возлюбленного Робби и его друзей и, естественно, не знает, что такое жизнь во фронтовом окопе, она тоже жертва войны как констатируют врачи, ее смертельная болезнь является последствием недоедания в детские и юношеские годы, приходившиеся на военные времена. Кестер, Ленц и их прочие друзья охотно принимают Пат в «ряды товарищей».

Заявка на тему товарищества как главнейшую в романе дана уже в заглавии. Закоренелые холостяки Отто Кестер, Готтфрид Ленц и Ро-

берт Локамп живут, по существу, совместной жизнью. Они не прочь погрубить друг другу, как это делают юноши или молодые мужчины, но интересы товарища неизменно оказываются для каждого из них выше собственных. Судьба товарищества складывается здесь по-иному, чем в «Возвращении»: оно не оказывается иллюзией, выдерживает испытание временем, не распадается, а превращается в дружбу в самом высоком смысле слова, причем дружбу действенную, активную, которой угрожают только внешние силы вроде револьвера убийцы Ленца.

Самую серьезную проверку товарищество проходит после вспышки заболевания Пат вплоть до ее смерти, накануне которой Отто совершает жертвоприношение: продает своего «Карла» — автомобиль, который был как бы их четвертым товарищем и о котором Кестер ранее говорил, что он скорее согласится продать руку, чем эту машину.

В этом романе Ремарку удалось создать удивительную по своей поэтичности картину любви. Тут все — от зарождения взаимного чувства Робби и Пат до трагической развязки — дышит правдой и доставляет истинное эстетическое наслаждение. Искренняя и естественная, начи-

сто лишенная всякого жеманства, всякой игры любовь выводит героя и героиню из состояния душевного оцепенения. У Робби она прорывает панцирь равнодушия, и он признается самому себе, что познал счастье. Тема любви тесно сплетается с темой товарищества. Вместе они образуют якорь спасения для людей «потерянного поколения», освобождают их от одиночества.

Товарищество, активная дружба и любовь — важные аспекты гуманистической программы Ремарка. Еще одной ее существенной стороной является сострадание. За грубостью и цинизмом Роберта и его товарищей скрывается подлинно человечное отношение к тем, кто нуждается в сострадании.

А людей, которым сочувствие необходимо, в романе много, ибо Ремарк хорошо ощущает зависимость судеб своих героев от нелегкой судьбы Германии той эпохи. В ткань книги искусно вплетено множество микросюжетов, посвященных людям, чья жизнь «свелась к одной только мучительной борьбе за убогое, голое существование».

Сквозной темой, превращающейся в один из лейтмотивов романа, становится тема безработицы. Много раз здесь говорится о берлинцах, мечтающих найти хоть какой-то заработок.

Мы встречаем их в самых неожиданных местах — на бегах, где они надеются на улыбку фортуны, в музеях, где есть возможность погреться, — узнаем истории целых семейств, отравившихся газом из-за того, что главы этих семейств окончательно отчаялись получить работу. Но и те, у кого работа есть, живут в страхе: боятся потерять ее, так как за каждым увольнением зияет «пропасть вечной безработицы».

Явной антифашистской тенденции «Три товарища» не содержат, если не считать того, что в погромщиках, убивающих Ленца, хотя их партийная принадлежность не обозначена, определенно угадываются нацистские головорезы. Видимо, в 1938 году Ремарк не вступил еще, как это сделали многие другие писатели-эмигранты, на путь открытой борьбы с ненавистным ему гитлеровским режимом. Но затем вести, приходившие из Германии, и события мировой истории активизировали позицию писателя и заставили его отказаться от политического нейтралитета. Ведь в том самом году, когда были напечатаны «Три товарища», нацисты оккупировали Австрию и Чехословакию, а еще через год навязали человечеству вторую мировую войну. И уже в 1940 году выходит антифашистский роман Ремарка

«Возлюби ближнего своего».

В 1939 году Ремарк переселяется в США, где сочетает литературную деятельность с работой в кинематографе. Он принимает участие в экранизации ряда своих романов («Возвращение» и «Три товарища» были экранизированы уже незадолго до его переезда в Америку), сближается со многими выдающимися кинорежиссерами и актерами, в том числе с Марлен Дитрих и Гретой Гарбо, а также с партнершей Чарли Чаплина Полетт Годдар, ставшей впоследствии женой Ремарка. В 1954 году он возвращается в Швейцарию и вновь поселяется на вилле «Монте Табор». В Швейцарии же, в больнице города Локарно, 25 сентября 1970 года он скончался от инфаркта и был похоронен на кладбище в горах над его любимым озером Лаго Маджоре.

За двадцать пять лет, прожитых Ремарком по окончании войны, им были созданы семь романов и одна пьеса, его единственное драматургическое произведение. Горький опыт второй мировой войны еще больше усилил антивоенную тенденцию, ставшую с давних пор столь характерной для его творчества. Но теперь она переплелась с еще одной линией — антифашистской, ибо чуткий писатель хорошо ощущал, что разгром

фашизма вовсе не исключает возможность его возрождения. Эта линия содержится в романах «Триумфальная арка» (1946), «Искра жизни» (1952), «Время жить и время умирать» (1954), «Ночь в Лиссабоне» (1962), «Тени в раю» (издан посмертно) и в пьесе «Последняя остановка» (1956).

Особое место занимает роман «Черный обелиск» (1956). Здесь Ремарк вновь обращается к теме «потерянного поколения», так что эта книга вместе с романами «На Западном фронте без перемен», «Возвращение» и «Три товарища» образует своеобразную тетралогию. Правда, по времени действия «Черный обелиск» предшествует «Трем товарищам», но зато в удивительно мудро написанном эпилоге писатель, нисколько не нарушая законов логики, перебрасывает мост от двадцатых годов через эпоху фашизма к послевоенной действительности. Страстный призыв писателя-гуманиста, ратующего за то, чтобы его соотечественники извлекли уроки из трагических событий недавнего прошлого, не потерял своей силы и в наши дни.

Г. БЕРГЕЛЬСОН